

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

361/3 3.2016

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Поэзия

Марк Сергеев. Через года, через века.....	3
Татьяна Суровцева. Свет и печаль на твоей остановке.....	48
Геннадий Головатый. Мне кажется, я был уже когда-то.....	76
Людмила Соболевская. Ты пел сегодня о любви.....	97
Александр Никифоров. Вслед за красным диском солнца.....	113
Марина Шамсутдинова. У России хребет железный.....	127
Светлана Чепино. Вершится всё, чего душа желала.....	155
Николай Переяслов. Россия — держава разящего Слова.....	170

Проза

Валерий Хайрюзов. Однова живём. <i>Повесть</i>	10
Василий Забелло. Рассказы последних лет.....	56
Василий Шелехов. Мама умерла... Глава из повести.....	84
Лидия Сычёва. Щедрый стол. <i>Рассказ</i>	105
Владимир Жемчужников. Рыбачьи хитрости. <i>Зарисовки</i>	118

Возвращённые имена

Галина Роголёва. Трудный путь Геннадия Головатого.....	73
--	----

Мастерская художественного очерка

Валерий Дмитриевский. Дорогие мои далёкие.....	131
--	-----

Сибирь. Пути-дороги

Игорь Аброскин. Шемящее чувство дороги.....	162
---	-----

Сибирь театральная

Тамара Бусаргина. «Зажигаю днём свечу...» О творчестве драматурга Владимира Гуркина.....	177
--	-----

Литературные хроники Сибири

Владимир Ходий. Неизвестный Вампилов.....	196
Борис Барановский. Прошлым веком в Иркутске.....	207
Светлана Асламова. Как ты живёшь, Сибирячок?.....	212
Вера Смирнова. «Литературный QUEST»: в поисках сибирского Грааля.....	217
Диана Кан. Запрягающий судьбу. Известному прозаику и эссеисту Эдуарду Анашкину 70 лет.....	219

Уроки Распутина

Эдуард Анашкин. Из глубин памяти	222
Иван Чарота. Валентин Распутин и славянство	227

Пушкин и Сибирь

Иван Козлов. Я приеду искать приюта... ..	239
Иван Иванович Козлов — сибирский патриарх истории и краеведения	255

У книжной полки

Новинки — 2016. По материалам журналов, издательств, библиотек, книжных магазинов Валентин Распутин, Владимир Скиф, венгерский журнал «Зов», Александр Донских, Глеб Пакулов, Василий Шелехов, Татьяна Андрейко, Семён Устинов, Иван Фетисов, Юрий Дилис, Дмитрий Сергеев, Василий Скробот, Виталий Сидорченко	257
--	-----

Исторические чтения

Эльмира Тулькибаева. Н. Карамзин и Н. Полевой. Два взгляда на историю России	263
--	-----

Событие

Журнал «Сибирь» на X ежегодном Германо-Российском фестивале	267
Александр Донских. Германия — Россия: пусть говорят поэты	268

Главный редактор **А.С. ДОНСКИХ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы **С.В. ЗУБАКОВА**

Заведующий отделом критики и публицистики **А.Г. МИРОШНИКОВ**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Воронов,
И.И. Козлов, Р.Г. Михеева, М.П. Попова, А.И. Сальников, С.В. Шеребаева.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. На обложке: особняк купца В. Бревнова в Иркутске, рядом — Харлампиевский Михайло-Архангельский храм; портрет Татьяны Суворцевой работы фотохудожника С. Переносенко. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Л.Н. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.**

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 304. Адрес учредителя: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 303.

Телефон редакции: 48-66-80, добавочный: 300. Телефон главного редактора: 8-964-274-04-95. E-mail: das1959@bk.ru.

Подписано в печать 5.09.2016 г. Выход в свет: ??2016 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 22. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ИП Кухарец И.В., ИНН 382801619250, 664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, 61-43,

тел: +7-914-904-50-25, e-mail: reklamagrad_studio@mail.ru

Отпечатано в типографии: ООО «ВОСТСИБПЕЧАТЬ», ИНН 3849055742, 664009, г. Иркутск,

ул. Советская, 109, тел: (3952) 93-22-94

ПОЭЗИЯ



*90 лет со дня рождения известного поэта,
общественного деятеля Сибири Марка Сергеева*

МАРК СЕРГЕЕВ



Через года, через века...

Иркутску

Плывут и плывут прибайкальские шири,
Саянские горы синеют вдали.
Нас встретит столица таёжной Сибири,
Любимый Иркутск, середина Земли.
Из всех городов — их немало на свете,
Взгляни на восток и на запад взгляни,

Сквозь тысячи верст мы свой город заметим
И сердцем — его мы увидим огни.
Хоть есть города и красивей, и выше,
Но где бы пути иркутян ни легли,
Они тебя видят, они тебя слышат,
Любимый Иркутск, середина Земли!

СЕРГЕЕВ Марк Давидович (1926–1997). Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР (1958). Главный редактор альманаха «Ангара» (1964–1967). Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры РСФСР (1971). Почётный гражданин Иркутска (1986). Кавалер орденов «Знак Почёта» и Дружбы народов. Лауреат премии Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина (1971) — за поэму «Коммунисты». Родился в пос. Енакиеве Донецкой области, в семье строителя. Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета. В 1979 г. вошёл в редакционную коллегию книжных серий «Литературные памятники Сибири» и «Полярная звезда» Восточно-Сибирского книжного издательства (Иркутск). Автор сказочных повестей, составивших сборники «Весёлые беглецы» (1963), «Сказка о летающей снежинке и другие удивительные истории» (1973), «Вот так чудеса» (1976). Написал детскую фантастическую повесть «Машина времени Кольки Спиридонова» (1964), которая затем, вместе с повестью-сказкой «Волшебная галоша» (1958; испр. 1965) объединена в одном томе — «Волшебная галоша. Машина времени Кольки Спиридонова» (1971). Один из создателей журнала «Сибирячок». Произведения переведены на болгарский, венгерский, молдавский, монгольский, эстонский, японский и другие языки. Марк Сергеев — поэт, прозаик, переводчик, литературный и театальный критик, детский писатель, историк, краевед, драматург, поэт-песенник. Автор многих стихотворных сборников.

Иркутский острог

И вдруг привидится такое:
В сплетенье судеб и тревог
Встаёт над дикою рекою
Иркутский рубленый острог.
...Ни знатных зодчих, ни прорабов,
Ни удалых грузовиков,
Весь мир — боярский сын Похабов
Да сотня дюжих казаков.
Да Ангары ни с чем не схожий
Глоток, сжигающий уста,
Да для посева клин угожий,
Да славный выгон для скота.
...Лишь на заре туманы стают
Над дивным бегом Ангары,
Как сирин-птицами взлетают
В руках охочих топоры.

Себя припевкой-шуткой тешат
Первопроходцы-молодцы
И золотые брёвна тешут,
И вяжут вечные венцы.
Смолёвый дух тревогу будит,
Волнует сердце казака:
А что-то будет, что-то будет
Через года, через века?
Поди, поля взойдут хлебами,
Да встанут избы в сто рядов,
И ляжет меж семью горбами
Один из славных городов.
И в нём диковин будет много...
Да вспомнят ли в достойный час
Добром начальный день острога
И пашню первую, и нас?

* * *

Чем выше в гору — тем Байкал видней.
Вдали вода прозрачность потеряла
и кажется мерцанием металла,
что выплавлен из наших дум и дней.
Чем выше в гору — тем видней окрест,
всю суетливость погасили воды,
возник мираж простора и свободы
как испытанье, как особый жест.

Душа, трудись, душа, ищи ответ, —
уступы круты, кислород разрежен, —
но если мы наросты не разрежем,
то счастья нет нам и спасенья нет.
Чем выше в гору — тем всё реже лес.
И глаз с тебя природа не спускает,
и чистота святая возникает
от близости Байкала и небес.

* * *

Колдовские превращения воды.
От моторки золотая полоса.
Облака, как самолётные следы,
непривычно расчертили небеса.
И Байкал не говорлив, не языкат,
и прилив не развлекается, звеня.
Постепенно опускается закат,
точно чайка, за плечами у меня.

И хребтов в оцепененье синий щит,
даже птичьи песнопенья не слышны...
Словно дикий зверь, автобус прорычит
и затихнет, застеснявшись тишины.
И стою я у Байкала, не дыша,
весь пронизанный его голубизной,
и блаженно заполняется душа
этой вечной и святою тишиной.

* * *

Весь мир состоял из контрастов —
из радости, из беды,
из слов «до свиданья» и «здравствуй»,
пожаров и стылой воды.
Вода укрощала горенье,
на пламени билась вода.

Года обнажали корни,
скрывая в песке города.
И вечность таилась в минуте,
таился посев в молотье...
Я выбрал подальше маршруты,
я сразу стал ближе к тебе.

* * *

Как хорошо, что я один:
ложусь — один,
встаю — один,
хожу — один,
пишу — один.

Всё так, всё честь по чести.
И думаю — свободно как!
И думаю — просторно как!
И думаю тревожно так:
когда ж мы будем вместе?

* * *

Обращайте вниманье на мелочи,
на простой поворот головы,
на глаза, что сверкнули по-беличи,
на каблук среди жухлой травы.
Обращайте вниманье на малое,
на слова, что скрывают испуг,

на любую морщинку, на милое —
мимоходом — пожатие рук.
На вопрос, что поставлен умеючи,
на страницы исчёрканных книг.
Обращайте вниманье на мелочи —
всё большое запрятано в них.

Пожар

В чаще леса на закате
Поднялся переполох.
В чаще леса на закате
Кто-то озеро поджёг.
— Караул!
— Пожар!
— Беда!
Загорелась, полыхает,
Полыхает, не стихает
В нашем озере вода.
— Как же мы недосмотрели!
— Кто преступник? Чья вина?!
— Неужели, неужели
Озеро сгорит до дна?
— Посмелей! Огонь — осилим!
Хватит в чаще прокисать!
Эй, берёзы, эй, осины,

Ну-ка озеро спасать!
В бой с огнём
В одно мгновенье
От берёз рванулись тени,
А за ними — в миг один —
Тени сосен и осин
Полетели, как на крыльях.
Тени озеро накрыли.
Полыхнув в последний раз,
Нехотя огонь погас.
Солнце хитро улыбнулось,
Солнце в тучи завернулось,
Словно в шёлковый халат.
Спать ложась, сказала солнце:
— Ну и ну! — сказала солнце.
— Чудаки! — сказала солнце. —
Это ж просто был закат!

* * *

Лесистых гор полуобвалы —
Касанье голубых лекал,
И скалы, срезанные валом,
И небо, павшее в Байкал.
И сам он, величав и вечен,
В гранитной раме вырезной,
И весь — до донышка — просвечен,
И весь — до капельки — родной.

И Ангарты полёт строптивый,
И ветра крик, и гул турбин,
И птицы-сосны над обрывом,
И дикий ветер баргузин —
Всё это, без чего не в силах
Быть далью даль и ширью ширь,
Ты немыслима, Россия,
И ты немыслима, Сибирь.

Галине Новиковой

Нарисуй меня, Галя, красивым,
точно первый весенний листок,
чтоб глаза — с бирюзовым отливом,
чтобы лоб — и открыт, и высок.
Нарисуй меня, Галя, спокойным,
как Байкал накануне грозы,
как патрон непочатой обоймы,
как глаза после тайной слезы.
Нарисуй меня, Галя, весёлым,
как осенний просвеченный лес,

как в поля уходящий пролесок,
как звезда среди зимних небес.
Ты уже на палитре смешала
и любовь, и случайную боль,
и ранимость, и дерзкую шалость —
так теперь за работу изволь.
И, окончив труды на рассвете,
ты задайся вопросом одним:
— Это кто же такой на портрете?
Хорошо б познакомиться с ним!

Шпалы

Мы шумели лесами.
Теперь мы лежим под колёсами,
Над крутыми откосами,
Под снегопадом и росами.
Нам знакомы деревни,
Мы входим в столицы устало.
Мы уже не деревья:
Мы спины,
Мы плечи,
Мы шпалы.
Это так нелегко:
Поездов беспокойные рейсы,
И в жару — не напейся,
В мороз — у тепла не согрейся.
А поэты поют
Не про нас —
Про гудящие рельсы.
Нам всегда тяжелей,
Но на песню, увы,
Не надейся.
Мы покоя не просим,
Мы лёгкого счастья не просим,
Мы горды, словно горы,

Что держат и тучи, и просинь.
Мы врывались в грозу,
Мы прошли через войну и горе.
Пусть лежим мы внизу —
Разве мы не похожи на горы?
Ваш домашний очаг,
Каждый в чаще родившийся город
Мы несли на плечах —
Разве мы не похожи на горы?
Города на Двине
мы связали с Амуром навеки.
Мы течём по стране —
Разве мы не похожи на реки?
Мы б шумели лесами,
Но кто бы лежал под колёсами,
Над крутыми откосами,
Под снегопадом и росами,
Кто бы нёс на себе
Поезда из огня и металла?
Мы гордимся собою:
Мы спины,
Мы плечи,
Мы шпалы!

Рисунок Москвы

Я порою встречаю рассвет
в переулках с названиями странными,
где Москвы белокаменной нет,
где остались дома деревянными.
Шаг кварталов здесь узок и куц,
на окошках — резные наличники,
будто милый мой старый Иркутск
заблудился в столичном величии.

На рассвет наступая, иду
по асфальту, по лаковым лужицам,
а Москва у меня на виду
просыпается, движется, кружится.
А Москва раскрывает, горда,
с добродушьем сердечной хозяйки
города, города, города,
как фрагменты огромной мозаики.

Кострому узнаю, Ленинград,
узнаю переулки калужские,
и сибирский тесовый наряд,
и кирпичную вязь среднерусскую.

От реки Колымы — до Невы
край любой, о каком ни спроси я,
отразила в рисунке Москвы,
проходя сквозь столетья, Россия.

* * *

— Чего ты хочешь? — жизнь меня спросила.
И я ответил ей: — Хочу всего:
Высот, что нележки, как доброта,
Лесов, что обступают, как сомненья,
Дорог, порой ведущих в никуда,
Ладоней, что, встречаясь, дарят сердце.

* * *

Припав к берёзе белоствольной,
глаза насторожённо пряча,
один сказал:
— С меня довольно!
Семь дней спешим, а где удача?!

Второй ответил:
— Путь не ближний,
но только он ведёт нас к цели...
И на снегу скрестились лыжи,
как будто шпаги на дуэли.

* * *

Бывают разные усталости,
неповторимые, как дни.
Спроси у юности, у старости,
потом ответы их сравни.
Усталость после гонки бешеной,
от разговора сгоряча,
усталость тайная, что взвешена
лишь глазом опытным врача.
Усталостью большой и малой
за радость платим, за беду...
Но есть усталость у металла —
она приходит на лету.

Всего минута до стоянки,
рывок — и выпускай шасси...
И — взрыв. И смятые останки
у смятой лесополосы.
О время, ты не знаешь жалости,
взял старт — не отставай, гони!
Бывают разные усталости,
неповторимые, как дни.
Усталость споров бесполезных,
скольженья по крутому льду.
Мне говорят, что я — железный.
А вдруг я тоже — упаду?..

* * *

Каждый день начинать себя снова,
не жалеть протрубивших годов,
приходить из молчанья лесного
в многослойность больших городов.
Не бояться ни крови, ни сшибки
И уметь находить и терять.
Не бояться, проверив ошибки,
начинать свою жизнь, как тетрадь,

где на чистых пресветлых страницах
лишь линеек косые пути,
где ещё нелегко заблудиться,
где непросто до точки дойти.
Авторучку мечтой начинаю,
волосинку снимаю с пера...
Каждый день я себя начинаю —
я сегодня другой, чем вчера.

Рига

Ольге

Почему я нашёл этот город так поздно,
словно дверь, что потеряна где-то во мгле?
Здесь дубовые листья, как жёлтые звёзды,
догорают безмолвно на тихой земле.
Почему я тебя не привёл в этот запах,
что в каналы кварталов прозрачно налит,
где барокко и готика, север и запад,
где, как спящая песня, бетон и гранит.
Я по улицам этим плыву Магелланом,
выхожу в листопад, что янтарно-пунцов,
и, как самые тайные дальние страны,
я внезапно твоё открываю лицо.
И гляжу я на Даугаву будто впервые,
мост холодной рукой прикоснулся к виску.
И, как самые тайные реки ночные,
я внезапно твою открываю тоску.
Слышу страсть. Слышу голос —
он вздрогнул от ласки.
О, таким мы его знаем только вдвоём.
Почему я тебя не привёл в эти краски,
захлестнувшие радостью весь окоём?
Так отчётливо вижу тебя я — до крика,
я тебя узнаю средь людской маеты.
И сливается древняя-древняя Рига,
И сливаешься юная-юная ты.
Рига, Рига! Огни свои в море забрось ты,
положи свою голову мне на ладонь...
Я с земли поднимаю хрустящие звёзды
и в карманы кладу их осенний огонь.

* * *

Я в зеркале себя не узнаю —
там виден незнакомый мне мужчина.
В нём что-то есть от мужа и от чина,
но не видать в нём молодость мою.
А я ещё — внутри — силен и юн:
кошусь на ножки и готов влюбиться.
А в зеркале какой-то бледнолицый,
полуседой, морщинистый ворчун.
Ах, Господи, ты так несправедлив,
что разделил чертой нутро и внешность.
О, как мы платим за твою небрежность
под сенью райских золотых олив.

Когда бы страсти угасали в нас,
как угасают голос или кожа!
Зачем бы нам считать себя моложе,
когда на лицах годы — напоказ.
А может, жизнь как раз и хороша,
и в том была твоя задумка, Боже,
что чем мы стали старше — тем моложе
беснуются и сердце, и душа?
И, значит, старость с юностью делись,
и святость перемешана с грехами,
и что нам делать с вечными стихами,
которые тогда б не родились?

* * *

Мы постепенно город обживаем.
Сначала дом, где мы явились в мир,
потом квартал с грохочущим трамваем,
потом подъезды дружеских квартир.
Затем всё шире сложные квадраты —
дома, деревья, окон конфетти,
куда «сверхскоростные» самокаты
за пять минут нас могут подвезти.

Вот здесь гналась (не догнала!) собака,
здесь замирал я с удочкой в руках,
а здесь была отчаянная драка —
мальчишечья дуэль на кулаках.
И церковь, где теснились богомольцы,
и школьный двор в метельном феврале.
Так — постепенно — годовые кольца
в моей душе круглились, как в стволе.

* * *

Вокзал. Мои отъезды и приезды.
Кино. Больница. Памятник вождя...
И улицы. И сладкие подъезды,
где прятались с любимой от дождя.
И переулки, полные преданий,
скамейка поцелуев у пруда,
затем углы внезапных расставаний...
И чаще — расставаний навсегда.
Мои паденья и мои высоты,
моих детей друзья и кумовья,
и все работы, страхи и заботы,
моя любовь и нелюбовь моя.
Уже ребят, с кем вместе отмечали
и дни рожденья, и конец войны,

выносят из квартир: стоят в печали
их дочери и жёны, и сыны.
Растут дома, и сносятся кварталы.
Другая юность лупит мяч тугой.
Так волны беспокойного Байкала
сменяются — одна вослед другой.
О город, разноликий, разнолицый —
зимой и летом, и в разгул весны —
ты мой дневник, где вырваны страницы,
но многие ещё сохранены.
О город-город, ты подобен бездне,
и в этом, знаю, не твоя вина:
уйду навек, и мой дневник исчезнет,
и на домах погаснут письма.



ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



Одна живём

ПОВЕСТЬ

— Вам кого?

Григорий Пряхин поискал глазами владелицу этого сухого, требовательного, казалось, совсем не женского голоса и с удивлением увидел в дверном проёме, который соединял приёмную с кухней, невысокую девушку. На ней были тёмно-синие облегающие брюки и голубая с погончиками рубашка. Чем-то внешний вид девушки напомнил ему стюардессу.

— Мне Арсения Петровича, — ответил Григорий.

— Он занят. Вы по какому вопросу?

Голос был всё тем же — сухим и казённым. Должно быть, он явился не вовремя.

— Я подожду, — сказал Григорий, присаживаясь на кожаный диван и осматривая офис. В углу, прямо у окна, стоял солидный, цветом под орех, крепкий итальянский стол, на нём — импортный набор канцелярских принадлежностей, а чуть сбоку увидел на столе бронзовую фигурку бегущего медведя и, уже не сдержавшись, улыбнулся, столкнувшись взглядом с ещё одним, который с большой фотографии на стене, подняв лапу, казалось, приветствовал посетителей.

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич, прозаик (род. в 1944 г. в Иркутске). Автор книг: *«Непредвиденная посадка»*: повесть, рассказы (Иркутск, 1979); *«Опекун»*: повесть, рассказы (М., 1980: Первая книга в столице); *«Почтовый круг»*: повесть, рассказы (М., 1982); *«Отцовский штурвал»*: повести (М., 1984); *«Приют для списанных пилотов»*: повести, рассказ (Иркутск, 1984: Современная сибирская повесть); *«Малая Грузинская»*: повести и рассказы (М., 1986); *«Истории таёжного аэродрома»*: для мл. шк. возр. (Иркутск, 1986); *«Плачь, милая, плачь»*: повести и рассказы (Иркутск, 1994; М., 1995); *«Без меня там пусто!»* (М., 1998); *«Иркут»*: избранные произведения (Иркутск, 2009) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение). Награды: премия Ленинского комсомола (1980) — за книги *«Непредвиденная посадка»* и *«Опекун»*; премия Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» (2004); Международная авиационная премия «Авиация глазами журналиста» (2006); Большая литературная премия России (2011).

Прямо над ним висел портрет Дмитрия Медведева, чуть выше — портрет Владимира Путина в лётном шлемофоне с именным автографом, а под ними фотография актера Леонида Быкова, переснятая из кинофильма «В бой идут одни старики».

«Хорошая компания», — подумал Пряхин, на секунду пожалев, что, собираясь сюда, не надел лётную форму, дабы не портить сложившийся в этом офисе пейзаж.

Пряхин мог бы тоже кое-что вспомнить из жизни медведей и рассказать секретарше, но у памяти был свой порядок, почему-то перед глазами встал день, когда он впервые в жизни пришёл устраиваться на работу.

После окончания училища он прибыл в авиационный отряд и первым делом зашёл в отдел кадров. Пожилая секретарша приняла документы и позвонила в общежитие, чтобы там разместили вновь прибывшего пилота. В общежитии хмурый и малоразговорчивый технарь, которых в авиации называют «слонами», кивнул на свободную кровать.

— Занимай, будет твоя, — и, помолчав, добавил: — На ней Кешка Сенотрусов спал, позавчера схоронили. Разбились в горах. Врुхались в облако и оказались на склоне. Никто не выжил.

«Ничего себе, оптимистическое начало!» — подумал Пряхин, рассматривая свёрнутый в рулон матрац. Постояв посреди комнаты, он придвинул к стене чемодан, развернул матрац. Сестра-хозяйка принесла постельное бельё, и Григорий начал застилать кровать. «Где что-то кончается, там что-то и начинается», — успокаивая себя, подумал он.

А потом пошла работа, сегодня ночуешь здесь, завтра — в другом месте. Бывало, что приходилось коротать ночь в кабине вертолётки, и неизвестно, какая кровать ждала тебя в следующий раз. По работе была и зарплата — не обижали. Как иногда сами вертолётчики подшучивали, большой винт считает рубли, маленький — копейки; пошли срочные задания, посадки на буровые, полёты с геологами в тайгу.

В начале девяностых годов появились проблемы, о которых Пряхину не хотелось вспоминать. Распалась страна, а за нею начала разваливаться авиация. Авиакомпания, в которой он летал, была объявлена банкротом, лётчики подались кто куда: одни сторожами в гаражи, другие, полочнее и посообразительнее, с объёмными пропиленовыми сумками, которые сами же называли «мечтой оккупанта», мотались челноками в Китай.

Пряхин улетел на Камчатку. Туда капитализм добрался не сразу, а с некоторым опозданием, и вертолётчики, из-за отсутствия дорог, были всё ещё востребованы. Он начал выполнять заявки, обслуживая зарубежных туристов и ВИП-персон. Однажды поступила заявка от богатого англичанина: тому захотелось иметь в своей коллекции медвежью голову. Медведя подняли в заболоченной низине, он, почуяв опасность, начал убегать от вертолётки со скоростью курьерского поезда. Следуя за медведем, Пряхин засекал скорость вертолётки, стрелка на приборе показывала больше шестидесяти километров в час. Но куда убежишь от железной машины? К тому же медведь не стайер. Догнали, зависли над мишкой. Он заскочил в какую-то болотную лужу и совсем по-детски прикрыл голову лапами. Англичанин через открытую дверь кабины всадил заряд из карабина в спину и перебил мишке позвоночник. Тот присел на зад, уже не в силах сдвинуться с места. Даже сквозь шум работающего двигателя было слышно, как он ревет, жалуясь на боль, пытаясь лапой закрыть рану. Сквозь пробитую шкуру у него вывалился наружу спинной мозг. Следующим выстрелом англичанин добил зверя. Григорий приземлил вертолёт рядом с лежащим мишкой, и охотники, из числа местных, быстро загрузили тушу в вертолёт.

— I would love to hunt a moose, — блеснув ослепительно белыми ровными зубами, с азартом крикнул англичанин, но, натолкнувшись на хмурые глаза Пряхина, уже на ломаном русском пояснил: — Мне обещали стрелять лося.

— Лосей здесь нет! — резко ответил Пряхин и, посчитав, что заявка выполнена, полетел на базу.

Сдав вертолёт, он на другой день рассчитался с авиакомпанией и улетел домой. Убийство зверя, которого эвенки считают лесным человеком, стало для Пряхина навязчивым видением. Где-то в душе он считал, что ему обязательно воздастся за этого мишку, только не знал когда.

А вскоре он и вовсе забыл про камчатскую охоту. Жизнь дала резкий отворот, и он очутился за границей, но не в Китае, а в Непале. Там, для работы в горах, нужны были опытные вертолётчики. Отбор был жёстким, требовались специалисты, имеющие все допуски: полёты днём, ночью, в сложных условиях, с подбором площадок, работа с подвеской в горной местности на высоте до шести тысяч метров. Всё это у Пряхина было.

И вот он уже сидел в кабине вертолёта, обслуживая горноспасателей, а также восходителей со всего земного шара, которые стремились покорить заснеженные гималайские вершины. По узким горным тропам шерпы переносили на своих плечах для альпинистов по тридцать килограммов груза. Буйволы — по шестьдесят. Пряхин на вертолёте доставлял сразу четыре тонны.

В Непале работали вертолётчики из многих стран, но Григория за мастерство и умение находить нестандартные решения зарубежные альпинисты прозвали летающим медведем. Заказчиков на мякине не проведёшь, кто может, тот делает свою работу. И Пряхин её делал, аккуратно и филигранно, где надо — смело, а где и с особой осторожностью. Иногда приходилось сажать винтокрылую машину на такие горные террасы, где и буйволу, казалось бы, не развернуться. Во время полётов Григорию доводилось видеть гималайских медведей, но в Непале охота на них была строжайше запрещена. Он знал, что в России в девяносто восьмом году запрет на отстрел был снят вообще. В своё время Горбачёв произнёс вроде бы безобидную на первый взгляд фразу, мол, «я даю вам волю, что не запрещено, то разрешено». Для многих это стало сигналом: живём-то мы здесь и сейчас, а что будет завтра, об этом будем думать завтра. Было б денег вволю, а если б ещё поболее. Чего тут раздумывать, «однова живём».

За границей Пряхин проработал около года, позже, вспоминая то время, он признавался, что не раз его жизнь висела на волоске. Но судьба неизвестно для чего хранила его. Отработав положенный срок, он вернулся домой. Однако в той России, куда он приехал, авиацией теперь уже распоряжались неизвестно откуда возникшие прохвосты. Другого слова он подобрать не мог. Например, той авиакомпанией, которая отправляла его работать в Непал, управлял милиционер. Он-то и довёл её до банкротства и благополучно растворился среди таких же проходимцев.

Неприятности имеют свойство накапливаться и притягивать к себе новые. Пряхин в это поверил, когда к нему в дом пришла настоящая беда. Жена, его любимая Женька, которая все эти годы терпеливо ждала его после полётов, деля все горести и радости совместной жизни, получила неожиданный удар. С нею случился инсульт, и она потеряла возможность не только говорить, но и передвигаться на собственных ногах. Пряхин перевёз жену в Москву, снял квартиру и начал показывать её московским докторам, покупал самые дорогие импортные лекарства, но все его усилия оказались напрасными. Врачи разводили руками. Приговор был неутешительным, до конца дней она была обречена на неподвижность. Пряхин понимал, болезнь связала не только жену, но и его. Какие тут могут быть полёты и командировки! Семь лет он, как мог, ухаживал за женой. Носил в ванну, мыл, стирал бельё, кормил с ложечки.

Она ушла тихо и спокойно, однажды уснула и не проснулась.

Оставшись один, Пряхин вновь попытался поискать работу. Ему говорили, что рабочих мест, где он мог бы применить свои лётные навыки, нет и не предвидится. Но однажды из Нукутска позвонил бортмеханик Цырен Цыренович Торонов и сказал, что назначенный из Москвы губернатор подыскивает опытного пилота. Пряхин решил попытать счастья, авось, повезёт. Он взял билет и полетел в Сибирь. На этот раз ему не повезло. Губернатору порекомендовали взять другого, уволенного из армии вертолётчика. Не солоно хлебавши Пряхин вернулся в Москву.

Встал вопрос, что делать дальше? Ещё в то время, когда он был привязан к больной жене, Григорий начал писать воспоминания о своей лётной жизни. Некоторые записи он переделывал в сценарии, надеясь, что по ним можно будет снимать фильмы. Сценарии печатали в газетах и журналах, но предложений снять фильм не было. И вот всё решила неожиданная встреча с депутатом, геологом Игорем Толстых, которого раньше Пряхин не

раз забрасывал на вертолёт в тайгу, а позже помогал ему на выборах. Узнав, что лётчик ищет работу, Толстых предложил съездить на Октябрьскую, там, он слышал, открылась киностудия военного кино.

— Я знаю, ты начал писать. И, говорят, неплохо получается, — сказал Толстых. — Так что ноги в руки и чеши. Вот тебе адрес, я позвоню руководителю, там наши люди.

Ждать, когда на него обратят внимание, пришлось долго, но дверь всё же открылась, и Григорий увидел полного мужчину в тёмно-синем костюме, по всей видимости, отставного офицера. Задержавшись в дверях, он продолжал говорить по мобильному телефону. Секретарша вскочила со своего стула и застыла по стойке «смирно». Григорий поймал себя на мысли, что уже встречал этого человека, но не мог припомнить где.

— Я от Толстых, — сказал Григорий, когда мужчина закончил говорить по телефону, — насчёт работы. — Он уже понял, что это и есть Арсений Петрович, который занимается подбором кадров для развития отечественного кино. — ...Игоря Сидоровича, — для солидности добавил Григорий. — Он вам звонил.

— Посмотрите резюмо, — прикрыв ладонью телефон и глядя куда-то в себя, сказал Арсений Петрович.

— Резюме, — не поднимая головы, поправила секретарша, и Григорий увидел, как по её лицу скользнула едва заметная улыбка. Он поразился этой улыбке, точно в комнату неожиданно заглянуло солнышко. Но секретарша быстро спрятала её, и лицо вновь стало мраморным.

— Ну, я и говорю — ремюзе, и всё что надо! — продолжая думать о чём-то своём, махнул рукой Арсений Петрович.

— Да, я принёс! — с торопливой готовностью ответил Григорий. — Автобиографию, трудовую и всё, что полагается в таких случаях.

— Вот и прекрасно! — Арсений Петрович убрал ладонь с телефона. — Передайте секретарю. — И вновь скрылся за дверью.

Пряхину не понравилось, что ему уделили внимание ровно столько, сколько уделяют назойливой мухе. «Неужели Толстых не позвонил?» — подумал Григорий. Что ж, по прошлому опыту он знал: у тех, кто приходит наниматься на работу, вариантов немного, вернее, всего один, да и тот ущербный, сиди и жди своей участи, командуют парадом другие, например, вот такие секретарши.

Кроме резюме, секретарша попросила копию паспорта и выписку из трудовой книжки. Григорий уже с некоторым любопытством следил за её движениями, пытаясь угадать, что ещё может потребовать эта, с казённым выражением лица, молоденькая особа.

— Вот здесь вы указали, что работали за границей. Надо уточнить где, в какой стране или странах, — всё тем же сухим голосом сказала она.

Подчиняясь коротким, как выстрел, командам секретарши — «покажите то», «это не пойдёт», «здесь нужны цветные, а не чёрно-белые фотографии» и так далее и тому подобное, — Григорий, чтобы не забыть, начал записывать на бумаге замечания.

— Вот ещё что, напишите, что вы умеете делать! — наблюдая за Григорием, с еле заметным раздражением в голосе потребовала она.

— Прямо на бумаге?

— Арсений Петрович требует, — уже мягче сказала секретарша.

Григорий взял чистый лист бумаги. В голове мелькнула мысль написать, что он допущен к полётам днём и ночью, с подбором площадок в горной местности и в тайге, но тут же остановил себя — здесь это не зачтётся, и размашисто написал: «Фсё!» Затем внизу поставил свою подпись и дату.

Секретарша взяла листок, прочитала и протянула новый.

— «Всё» пишется через «вэ», — сказала она.

— Вы в каком полку служили? — ещё не зло, но уже с ответным раздражением поинтересовался Григорий.

— Я служила в авиационном училище, — помедлив, ответила секретарша. — Преподавала историю.

— Оно и видно. А как же попали в кино?

— Ну, здесь ещё не кино, — протянула она. — Вы что, из Нукутска?

— А что, этот город не значится в вашем перечне? — спросил Григорий.

— Почему же, — с какой-то новой интонацией произнесла секретарша, — я сама родилась и жила там.

— Вот как! — удивлённо отозвался Григорий. — Выходит, мы с вами земляки?

— Выходит.

— Проникновенье наше по планете особенно приметливо в Москве. И что же вас привело сюда?

— Это отдельная история. Училище закрыли, курсантов ночью посадили в самолёт и отвезли в Воронеж. Городок прикрыли. Все, кто работал на училище, подались кто куда, а я поехала в Москву.

Григорий вновь подивился перемене в её лице. Оно жило своей, неподвластной хозяйке жизнью, всё, что было у неё на душе, и чего она так старательно по-детски прятала, было на лице, и она никак не могла справиться с собой, хмурясь, кусала губы, морщила лоб, сдвигала в одну полосу брови.

— Как вас зовут?

— В армии не зовут, в армии требуют, — с серьёзным лицом ответила секретарша.

— Сурово! — протянул Григорий. — Но, насколько я знаю, армейские уставы на это заведение не распространяются.

Раздался телефонный звонок, и Григорий услышал голос Арсения Петровича.

— Наталья Владимировна, зайдите ко мне!

Наталья Владимировна встала, одернула рубашку и чуть ли не строевым шагом двинулась в кабинет начальника.

«Ну здесь и порядки!» — подумал Григорий.

Он вдруг вспомнил, что встречал Арсения Петровича во время предвыборной кампании несколько лет назад в авиационном училище. Тогда Григорий, поддерживая Толстых, предложил показать курсантам и преподавателям документальный фильм, в котором один из героев фильма накануне войны закончил Нукутское авиационное училище. Толстых согласился, посчитав, что фильм будет интересен преподавателям и курсантам. Но вся беда была в том, что в избирательной кампании, которая развернулась в одном округе с Толстых, за депутатский мандат решил побороться Арсений Петрович Дудко. В училище насчитывалось несколько тысяч потенциальных избирателей, и за их голоса развернулась нешуточная борьба. Когда Пряхин с Толстых приезжали на встречу, то заместитель начальника училища тут же назначал для курсантов строевые занятия или очередную уборку территории, и Толстых приходилось встречаться разве что с работниками библиотеки да пошивочной мастерской.

— Чего вы хотите? — говорили им. — У нас есть свой кандидат.

С курсантами Толстых всё же встречался, происходило это тайно, перед отбоем. Уже другие офицеры на своих машинах провозили Толстых и Пряхина, минуя контрольно-пропускной пункт, прямо в казармы. Те выборы выиграл Толстых, но Дудко ещё долго писал кляузы в избирательную комиссию. Потом его следы потерялись, поговаривали, что после закрытия училища он перевёлся в авиационную часть, которая базировалась под Нукутском.

«Чудны твои дела, Господи! — думал Григорий, разглядывая сквозь окно низкое московское небо. — Кто бы мог подумать, что та давняя история будет иметь такое продолжение».

— Арсений Петрович просит вас зайти, — сказала секретарша, выходя от начальника, и уже по-иному, с каким-то любопытством глянула на Григория.

«Выходит, что и здесь меня вспомнили», — подумал Григорий, открывая дверь в кабинет.

Дудко мельком глянул на Григория, затем, словно раздумывая, постучал пальцами по столу.

— Мы вас возьмём с испытательным сроком, — сказал он. — Нам нужны работники пера. Но запомните, у нас здесь всё же не кабина вертолётa, здесь нужны мозги.

— А что, по вашему мнению, вертолётчики без мозгов?

Пряхин уже пожалел, что пришёл сюда. Нет, он не ждал, что его возьмут под ручки, усадят в кресло и спросят: «Чего изволите?» Как говорится, не тот случай. Едва увидев Дудко и вспомнив всё, что было связано с этим человеком, он понял, мимо него и муха не проскочит.

— Я бы хотел напомнить, что за вас хлопотал уважаемый человек, — медленно, но с особым металлом в голосе, точно говорит не ему, Пряхину, а кому-то ещё невидимому, сказал Дудко. — И мы это учитываем.

Затем нажал на столе какую-то кнопку.

— Жанна Андреевна, не могли бы вы зайти ко мне?

Через минуту в кабинет не вошла, а влетела красивая, одетая во всё красное молодая женщина. Каблучки выбили по паркету цокающую пунктирную строчку. Она мельком, по ходу, глянула в сторону Пряхина, по-хозяйски уселась в жёлтое кожаное кресло, ладонью встряхнула на затылке копну светлых завитых крупными кольцами волос.

«Вот на неё-то действие армейских уставов и других норм внутреннего распорядка в киностудии не распространяется, — подумал Пряхин. — Работать здесь от подъёма до отбоя, высчитывая каждый шаг! Нет уж, увольте», — решил Пряхин, и от этой мысли ему стало легче и свободнее.

От присутствия Жанны Андреевны в кабинете стало светлее, всё мгновенно преобразилось, приобрело домашний вид, и даже хмуро глядящий с портрета Дмитрий Медведев, казалось, заулыбался.

— Жанна Андреевна Королёва, режиссёр и художественный руководитель студии, — с уважительными нотками в голосе представил её Дудко. — Жанна Андреевна, как там у нас со сценаристами? — уже другим, пониженным голосом спросил он.

— Арсений Петрович, хорошие сценаристы на дороге не валяются, — засмеялась Жанна Андреевна. — Ищем.

— Вот, нам порекомендовали Григория Ильича... — Дудко заглянул в лежащие перед ним бумаги, — Пряхина. Поговорите с ним, дайте ему задание. Посмотрим.

— Хорошо, — улыбнувшись, сказала Жанна Андреевна. — Но я сегодня вечером улетаю в Берлин, а после мне надо слетать на Байкал.

— Как скажете, Жанна Андреевна, — с неожиданной торопливостью и угодливостью сказал Дудко.

— Вот что! Пойдёмте ко мне, — повернувшись к Пряхину, сказала она, — там и поговорим.

— Передавайте привет Эрику Петровичу, — уже вслед негромко крикнул Дудко. — Удачной ему охоты.

— Передам, передам! — быстро отозвалась Королёва. И уже в приёмной, когда за ними закрылась дверь, вздохнула: — Ох уж эти горе-охотники! В глаза бы их не видела.

Этот вздох не стал для Пряхина новостью. Как правило, многие женщины недолюбливают охоту и охотников. Но здесь, судя по всему, речь шла о муже Королёвой.

— Откуда вы знаете Толстых? — неожиданно спросила Королёва, когда они с Григорием зашли к ней в кабинет.

— Я его знаю давно. Вместе работали в Забайкалье, я возил геологов в Чару.

— Вот как! И что же вас подвигло писать сценарии?

— Я любил читать книги.

— Ну, это понятно. И что, вы прямо за штурвалом начали писать?

Пряхин окинул взглядом кабинет Королёвой. На окне было много цветов: кактусы, фиалки, орхидеи. Небольшой столик, компьютер, удобное кресло. И неожиданно он увидел в углу на тумбочке в голубой вазе засохшие цветы бессмертника.

— Это мне муж передал, — поймав его взгляд, сказала Королёва. — Он привёз откуда-то из тайги. — И, помолчав немного, добавила: — Выходит, начали писать, не выпуская из рук штурвала.

— Да, я включал автопилот, брал в руки карандаш — и вперёд, — в тон Королёвой ответил Григорий. — Но я хоть синопсис не путаю со скепсисом, хоспис с хостингом, а контент с контингентом.

— Вы такой грамотный?

— Образованный, — поправил Григорий. — Как говорил мой отец, не можешь считать до десяти, тогда думай лопатой или иди в армию и занимайся строевой подготовкой. «Дураков не бывает, их назначают» — так любил говорить генерал Лебедь.

— Кстати, вы пишете сами или делаете ремейки? — приподняв брови, неожиданно спросила Королёва.

— Я ещё со школы не любил списывать.

— Замечательно. Вот вам рукопись. По сюжету террористы пытаются похитить нашего учёного-физика, изобретателя ядерного чемоданчика, а после хотят шантажировать бомбой весь мир. Принёс её какой-то офицер-фантаст.

— Помню одного такого, — засмеялся Пряхин. — На груди его могучей одна медаль висела кучей.

— Не все же в армии занимаются строевой подготовкой, — с еле заметной иронией заметила Королёва. — Как говорил любимый вами Лебедь, оставьте свои шутки для девочек без погон.

— Извините, если что не так, — сбавил обороты Пряхин. — В армии говорят, летящий лом не остановишь.

— Здесь у нас не армия, — сухо заметила Королёва. — Лому мы найдём другое применение.

Жанна Андреевна посмотрела в окно, точно размышляя, как ей поступить с Пряхиным дальше. Затем взяла со стола рукопись, полистала её.

— Арсению Петровичу рукопись понравилась. Сказал, что можно попробовать для кино. Прошу вас прочитать сей роман, — при этом Королева сделала ударение на первом слове, — и написать по нему синопсис. Описания, длинноты надо убрать.

— Понятно, нужен экшен.

Она быстро глянула на Григория.

— Вы говорите по-английски?

— Мне приходилось работать за границей, — пояснил Григорий. — Ещё немного владею бурятским. Но перевожу только со словарём.

— О, да вы настоящая находка! — протянула Королёва и уже с подчеркнутым интересом посмотрела на Пряхина. — И в какой же стране вы работали?

— В Непале.

— Переводчиком?

— Зачем? Вертолётчиком.

— Вот как! И что дальше?

— Дальше была Сагарматха.

— Что это такое?

— В переводе с непальского, «Мать богов». Ещё её называют Джомолунгмой, Эверестом. Гора, имеющая три названия. Самая высокая точка на земле.

— И что вы на ней делали?

— Я на неё восходил.

— Что, правда?

— Да нет, шучу, — засмеялся Пряхин. — Восходил по воздуху до высоты пять тысяч семьсот метров. Высаживал там альпинистов, а дальше они восходили на своих двоих.

— Ну и шуточки у вас.

— Что поделаешь, — улыбувшись, ответил Пряхин. — Это следствия взлётов и падений. И не только своих.

— И чему вы всё время улыбаетесь? — неожиданно спросила Королёва.

— Я — улыбаюсь? Я вами люблюсь.

— А, это делайте на здоровье! — засмеялась Королёва. — Хотите кофе?

— С удовольствием, — быстро согласился Пряхин.

Королёва вскипятила воду, насыпала в чашку кофе и залила водой.

— Вам со сливками?

— Да, спасибо.

Королёва подала Пряхину кофе и налила себе.

— Чего вы стоите? — неожиданно улыбнулась она. — Я погоны не ношу.

— Я тоже списан в запас, — отшутился Пряхин.

— И что там в Непале? — спросила Королёва.

— Что вы имеете в виду? Государственное устройство или обычаи?

— Ну, какие, например, там растут цветы?

Пряхин пожал плечами.

— Цветы? Да кто их знает? В мои обязанности не входило собирать цветы. Скорее всего, эдельвейсы. Ещё, кажется, были недотроги. Хорошее название для девочек. Правда? Очень красивые цветы. Кстати, красное платье у непальцев — цвет замужней женщины. Там не принято обниматься и здороваться за руку. Левая рука у непальцев считается нечистой. Нельзя есть из одной тарелки и пить из одного стакана. Нельзя перешагивать через ноги.

— А что можно?

— Все остальное можно. Непальцы — скромные и выносливые люди. Особенно шерпы. Бывает, у него собственный вес пятьдесят, а он взваливает себе на спину при разгрузке вертолётa восемьдесят, — Пряхин решил перевести разговор. — Я заметил, к авиации у вас особое отношение.

— Да, студию мы назвали «Медведь». Мой муж служил в авиации, и какой-то тяжёлый самолёт они называли медведем.

— Ту-95, — сказал Пряхин. — Так его называют американцы.

— Вот и мы решили так назвать киностудию, символом нашей страны. Кроме того, есть ещё Берлинский кинофестиваль, с которым мы поддерживаем хорошие отношения, у них главный приз — «Золотой медведь».

— Можно ещё подружиться с непальцами. У них водится гималайский. Его за белую полосу на груди называют лунным. Говорят, гималайский медведь встречается и в России. Кажется, он изображён на гербе Хабаровска.

— Интересная мысль, — улыбнулась Королёва. — Мы часто бываем заложниками своих желаний. Например, мой муж любит охоту. Другие любят спагетти. Третьи — Агату Кристи. И что из того? Давайте вернёмся к вашим делам. В этой рукописи, — Жанна Андреевна кивнула на лежащую папку, — агент говорит о какой-то «сыворотке правды». Не могли бы вы пояснить мне, мирному человеку, что это за сыворотка?

«Что, хотите взять препарат на вооружение?» — хотел съязвить Пряхин, но тут же схватил себя за язык. Разговор начал плавно выходить из штопора, и заваливать его вновь в пике не имело смысла.

— Это современное оружие спецслужб, — сказал Пряхин. — Человеку вкалывают препарат, и он говорит всю правду. У бурят есть выражение: худларишь, то есть не говори неправду. Видимо, в ответ правдоискатели изобрели сыворотку.

— Фу, какая гадость! — Жанна Андреевна поднялась. — Вот что, давайте я вам покажу нашу студию.

Студия находилась в подвале, прямо под офисом, и попасть туда можно было только имея собственный ключ. Королёва сняла со стены связку ключей, и они по отдельному коридорчику и узкой лестнице спустились в подвал. То, что студия была предметом гордости Жанны Андреевны, Григорий понял сразу же. Все сотрудники размещались в разных комнатах: отдельно студия звукозаписи, съёмочный павильон, монтажная и маленькая кухня. В конце коридора, где имелся телевизор и стоял диван, располагался конференц-зал.

— Это я у Табуреткина выпросила, — с гордостью сказала Королёва.

Пряхин понял, она говорит о министре обороны. «О, да она, видать, птица высокого

полёта», — подумал он, разглядывая компьютеры, другую аппаратуру и завешенные фотографиями стены. Студия ему понравилась, в ней не было той помпезности, которая была наверху.

— Если не возражаете, то ваше место будет здесь, — сказала Королёва.

Вот так, уже в который раз в жизни, ему указывали место. Он не выбирал, ему показали не привычное пилотское кресло в вертолётё, Пряхина привели туда, куда он не стремился, но всё же попал. И что будет дальше? Это можно было только предполагать. «Видимо, пришло то время, когда уже решают за нас, где сидеть и что делать дальше», — подумал он, следуя за Королёвой.

Дальше Жанна Андреевна пояснила, что основная задача студии — поддерживать депутатов, представляющих интересы комитета по обороне и безопасности, а также органы власти на местах.

— Ещё мы плотно сотрудничаем с межфракционным объединением авиации и космонавтики России, — сказала Королёва. — Насколько я поняла, это и ваша тема.

Уже позже Пряхин узнал, что работникам студии платили крохи, но закрывали глаза, когда они искали приработок на стороне. Звукорежиссёр записывал музыку, монтажёр копировал фильмы, сканировал и чистил старые фотографии. Хорошо платили за съёмки и монтаж, когда частники приглашали на свадьбы и другие юбилейные торжества. Кроме того, в подвале было ещё отдельное помещение, которое сдавали в субаренду. Но это была отдельная, закрытая для всех зона. Здесь же, в студии, технические работники обедали, собираясь в монтажной комнате. Здесь же отмечали свои праздники, накрывая маленькие «поляны». Пряхин отметил, что, когда в монтажную вошла Королёва, видеоинженер проявил неподдельную радость, не зная, куда усадить и чем угостить неожиданную гостью. Было видно, в студии её любили. Потом, по большому секрету, Наталья Владимировна скажет, что Королёва фактически руководит «Фондом поддержки патриотического кино» и что её муж, Эрик Петрович Королёв, недавно назначен губернатором Прибайкалья. Секретарша обмолвилась, что Королёва бывает строга и может врезать правду-матку в глаза, но камня за пазухой не держит, и никто на неё не обижается. «Ну, кто и когда обижался на красивых и умных женщин!» — добавила она.

Дудко, в основном, осуществлял представительские функции. Он встречал и проводил знатных и нужных для фонда людей. Наталья Владимировна подавала кофе, коньяк, конфеты и бутерброды. То, что к студии существует интерес, Пряхин отметил сразу же. Но сюда, в творческие катакомбы, иногда заходила, даже заскакивала, мелкая публика, кому-то срочно нужна была копия фильма, другому — камера или оператор с камерой. К техническому персоналу Дудко спускался редко, но, когда появлялся, все тут же вскакивали. Он приглашал в конференц-зал и проводил, как говорили, «разбор полётов». Творческие и технические работники стояли, слушали его, уткнув глаза в пол. Когда за ним закрывалась дверь, все облегченно вздыхали и вновь принимались за свои обычные дела.

Пряхин прочитал шпионский роман и в тот же вечер сел писать синопсис. Написал быстро, принёс в студию, но Королёва улетела на кинофестиваль в Берлин, и, казалось бы, о Григории в киностудии забыли. Он приходил к девяти и интересовался у секретарши, не приехала ли Королёва.

— Она сейчас на Байкале, — сообщала секретарша. — Звонила, будет в конце следующей недели.

Пряхин вздыхал и спускался к себе в подвал. Там, не зная, куда себя приладить, он заваривал плиточный китайский чай и угощал им своих новых товарищей. С ними ему было легче и проще, они, как и он, были собраны в этом подвале по случаю, чтобы отсидеться и посмотреть, авось, подвернётся другая работа. «В этой берлоге можно просидеть до пенсии, — шутили они. — Хоть и небольшие, но деньги платят. Чего ещё надо? Хочешь большие — иди в шахту». Когда узнали, что Пряхин летал на вертолётё, удивились: такая птица сюда ещё не залетала. Пряхин и сам не понимал, как же это его угораздило попасть сюда, но ответа так и не находил. Ставя себя на место Королёвой, он успокаивался и, как бы оправдывая Жанну Андреевну, говорил: «На нет и суда нет!» Неопределённость уг-

нетала, вроде пообещали, даже определили место, но не было логичного в таких случаях распоряжения или приказа о зачислении на работу. Идти и пытаться прояснить сей юридический момент, выяснять свою дальнейшую судьбу у Дудко не имело смысла. Ему дали испытательный срок. Чего ещё? Сиди и жди! В авиации это было привычным занятием: нет погоды, нет топлива, неисправна матчасть. Первое, чему он научился в те начальные дни, это уменью ждать.

Но через некоторое время Дудко напомнил о себе. Он вызвал Пряхина и поручил ему писать поздравительные адреса и, бывало, что тут поделаешь, — некрологи. Мало того, Арсений Петрович взял на себя обязанности главного редактора. Те тексты, которые Пряхин передавал через секретаршу, Арсений Петрович вычитывал с особой тщательностью. Он вызывал Пряхина на ковёр, делал разнос, а после устранения, как ему казалось, стилистических и смысловых недостатков, поручал Наталье Владимировне отправлять адреса по почте. Пряхина поражало, с какой дотошностью Дудко относился к написанным текстам, он демонстративно, на глазах Пряхина, правил текст, комментировал тот или иной пассаж, расставлял запятые, словно от этого зависело, будет ли дальше существовать студия или её закроют. География адресов была обширна: депутаты Государственной Думы, Министерство культуры, Союз кинематографистов, руководители фондов, компаний и другие важные персоны.

Попривыкнув к Пряхину, Наталья Владимировна порою просила его, чтобы он съездил и вручил очередной срочный адрес. Но среди этой суетливой повинности случались минуты, когда никто не радовал своим рождением и не огорчал уходом в мир иной, и тогда Пряхин, едва открывая дверь в студию, по глазам Натальи Владимировны угадывал, что сегодня все нужные люди поздравлены и других особых, срочных заданий не предвидится. А поскольку на хозяйстве она одна, то можно будет спокойно посидеть, поговорить и выпить чашку чая. Пряхин доставал из пакета сладости, которые покупал по дороге, и протягивал секретарше.

— Ну зачем вы тратитесь! — восклицала Наталья Владимировна. — У меня всё есть.

Григорию нравились такие минуты, непривычно домашние и тёплые; секретарша кипятила воду, заваривала чай, нарезала хлеб и делала бутерброды. Пряхин с улыбкой следил за нею, мысленно собирая себя по кусочкам, того, прежнего, уверенного и влюблённого в свою лётную работу, слегка жалея себя нынешнего, потерянного, но старательно скрывающего это, пытающегося приладиться к новой жизни.

— А вы будете? — спрашивал Наталью Владимировну Пряхин. — Улица должна быть с двухсторонним движением.

— Нет, мне нельзя, я боюсь пополнеть. Уже скоро не влезу ни в одну юбку.

— А я буду. На улице сегодня промозгло и сыро. Кроме того, в отличие от шотландцев, я юбок не ношу, — шутил он, наливая в чай сливки и добавляя немного соли.

— Буду пить по-бурятски, — говорил он. — У меня, как у сохатого, не хватает в организме соли.

Однажды Наталья Владимировна обмолвилась, что у неё сегодня день рождения, и достала початую бутылку коньяка. Пряхин попросил подождать его, надел лётную куртку и чуть ли не бегом полетел в ближайший супермаркет. Возвращаясь, возле метро купил цветы, а потом увидел в ларьке голубой шёлковый платок. «А что, к её глазам, наверное, подойдёт», — подумал он и попросил продавщицу завернуть платок в цветную бумагу.

Наталья Владимировна не ожидала подарка, смутилась.

— Как ваша работа? — спросила она, примеряя перед зеркалом платок.

— Да вот, не могу коньяк совместить с сывороткой правды, — пошутил он.

— И что вас заставило писать сценарии? — поинтересовалась она.

— Нужда.

— Что, правда?

— Я шучу. Придумывая на бумаге чужую жизнь, я как бы отвлекаюсь от всего, что окружает меня, и погружаюсь в мир, который не существовал, но родился в моей голове. Не тот, что есть вокруг нас, а тот, где бы мне хотелось жить. Я придумываю людей, ими

населяю сюжет и двигаю их от одной ситуации к другой. Потом вдруг начинаю понимать, что они живут самостоятельно и уже диктуют мне, куда они пойдут и что скажут в следующую минуту.

— Я тоже, когда не могу заснуть, начинаю придумывать, что я нарядная и красивая, — засмеялась Наталья Владимировна.

— А вы на самом деле красивая, — улыбнулся Григорий.

— Это вы говорите, чтобы не обидеть меня. Я знаю, какая я на самом деле.

— Какая же?

— Обыкновенная. Вот Королёва действительно красивая. А я всего боюсь. Особенно здесь, в Москве. Кстати, когда я собралась сюда, мама мне в дорогу дала мешок картошки. Я была не одна, с подругой. Мы с ней устроились на квартиру в Подмоскowie, и можете себе представить, хозяин оказался наркоманом. Мы там у него всё побросали и убежали, боялись, что убьёт.

— А сейчас вы где живёте?

— Мы с подругой снимаем квартиру в Тушино. Конечно, ездить далеко, но некоторые ездят в Москву из других городов. Вот им-то не позавидуешь.

— Это так, — согласился Пряхин.

— Потом встретила Арсения Петровича, — продолжила она. — Дудко предложил мне работать в фонде. Я ему очень благодарна. Он умелый администратор. Жёсткий, требовательный. Знает, с кем и как обращаться. Где смазать, где погладить, а где и построить. У него есть пританцовка: я сказал люминь, — Наталья Владимировна рубанула рукой воздух, — значит, люминь! А вообще-то мужчины делятся на две категории: одни охотятся, другие коз загоняют.

— К какой же вы относите Арсения Петровича?

— Ко второй, — не глядя на Пряхина, ответила Наталья Владимировна. — Загонщик он умелый. Как-то Жанна Андреевна пошутила: я думала, Арсений Петрович дарит цветы мне, оказалось — моему мужу. А чем в свободное время занимаетесь вы? — неожиданно спросила она.

— У меня его не бывает.

— Как это?

— Вот так, не бывает. Зимой во дворе заливаю для ребят каток, летом чиню забор.

— Вы что, подрабатываете дворником?

— Вроде того, на общественных началах. Мяч гоняю. Красота!

— И вам платят?

— Зачем же? Мне хватает того, что я общаюсь с ребятами.

— А жена вас понимает?

— У меня нет жены. Умерла.

— Извините.

Наталья Владимировна с сочувствием посмотрела на Пряхина, и он тут же выругал себя: лучше бы ему промолчать, но в коньяк, видимо, действительно научились добавлять сыворотку правды, не хочешь, всё равно развяжет язык.

Пока Наталья Владимировна готовила новые бутерброды, Григорий тут же, на открытке, набросал стихи:

*Осень, ветер, под ногами лужи,
Я в толпе размеренно бреду,
Поворот направо. Мне туда не нужно,
Но зачем-то я туда иду...
Захожу, и вижу за столом Наталью,
Кроток взгляд, а я стою, молчу,
Мне бы пригласить ее в Италию,
Вот в Сибирь я ехать не хочу.*

— Вы ещё и стихи пишете? — удивилась Наталья Владимировна. — Но почему так грустно? Так нельзя. А вот про Италию — хорошо, я бы полетела. У Жанны Андреевны

это второй брак, — помолчав немного, сообщила она. — От первого у неё дочка. И у Эрика Петровича тоже была семья. И ребёнок остался. Сейчас она живёт как бы на два дома. Сын, Юрик, здесь в Москве, заканчивает школу. Эрик Петрович уже полгода, как в Сибири. Жанна Андреевна не может бросить сына и уехать к нему в Нукутск. Скоро у Юрика выпускные экзамены. А ему хоть кол на голове теши. Гоняет по ночной Москве — друзья, подружки, какие там экзамены! Они живут по принципу: успеть всё, сегодня и сейчас. А Жанна Андреевна не может ему отказать. Где-то понадеялись, что за ум возьмётся. Так бывает, когда люди больше заняты собой. — Наталья Владимировна замолчала. — Она, Жанна Андреевна, Эрика Петровича сильно ревнует. Особенно когда узнала, что он взял к себе в протокольную службу какую-то симпатичную девуцу.

— Кто любит, тот и ревнует, — заметил Пряхин.

— Женщина чувствует, когда мужчина, глядя ей в глаза, видит другую, — сказала Наталья Владимировна. — Вам, может, ещё чаю?

— Вода ломает мельницы, — пошутил Пряхин. — На сегодня хватит. Говорят, что в ревности больше себялюбия, чем любви.

— Возможно, вы и правы, — заметила Наталья Владимировна.

— Скажу одно, Жанна Андреевна — личность! Чего в этом больше, хорошего или плохого, не разберусь. Мне кажется, женщина предназначена для другого. Любить и быть любимой. Командовать? Нет, нет, только не это! Говорят, когда две личности соприкасаются — искры летят. А что в итоге?

Она улыбнулась и, что-то вспомнив, всплеснула руками.

— Ой, совсем из головы вылетело! Вас разыскивают журналисты с телевидения. Анна Шнайдер. Она оставила телефон.

Это действительно было для него новостью. И, видимо, не только для него. Пряхин тут же вспомнил, что эту телеведущую он часто видел на канале НТВ. Не откладывая дело в долгий ящик, Пряхин тут же набрал номер.

— Вы знаете, что в Сибири произошла катастрофа вертолёт, — услышал он знакомый голос телеведущей. — Мы бы хотели дать комментарий специалиста.

— Ну, таких у нас много, — заметил Пряхин.

— Вас рекомендовал альпинист Саша Яковенко. Он утверждает, что вы его забрасывали в лагерь под Эверестом и что вас в шутку альпинисты называли гималайским медведем.

— Было такое, — засмеялся Пряхин. — Только не гималайским, а сибирским. Так о чём вы хотели спросить?

— А вы приезжайте к нам на телевидение, здесь и поговорим.

Григорий развёл руками, показывая Наталье Владимировне, что должен срочно ехать. Она понимающе закивала головой. Он надел свою куртку, пожалев, что на нём не совсем свежая рубашка, спустился в метро и поехал на телевидение.

Григория встретила ассистентка, сказала, что Аня ждёт его. Затем повела в гримёрную, и уже оттуда он попал прямо в студию.

Шнайдер попросила Пряхина рассказать о полётах в Непале, о работающих там вертолётчиках и русских альпинистах.

— Да что рассказывать? — пожал плечами Пряхин. — Мы их на вертолёте поднимали до Самбочи. Эта площадка на высоте пять тысяч семьсот метров. Помню, меня поражало, что там, куда они дальше поднимаются, десятки лет лежат тела замёрзших альпинистов. Сегодня, при восхождении, у альпинистов есть ориентир: зелёные башмаки на ногах погибшего десяти лет назад англичанина. Люди проходят мимо, вверх — вниз, и всё! Кислородного баллона хватает всего на несколько часов. Спускать погибшего альпиниста вниз нет ни сил, ни средств.

— А как же вы летали туда без кислородных масок?

— Мы летали с масками, — ответил Пряхин. — Но выше вертолёт уже не мог подняться. Поднимались только эти ребята-альпинисты. А мы на этой Самбоче, после выгрузки людей и снаряжения, вновь запускали двигатель и, насколько позволяла площадка, делали коротенький разбег, и уже с обрыва падали в пропасть. А она была глубиной почти два километра. И это мы называли взлётом!

— Да, работёнка у вас! — покачала головой Шнайдер. И помолчав, перешла к тому вопросу, ради которого она пригласила Пряхина. — Какое значение имеет в вашей работе человеческий фактор?

— Мой знакомый альпинист, о котором вы вспомнили, Саша Яковенко, побывал на многих высочайших вершинах мира. Он говорил, что у гор нет души. Продолжая его мысль, добавлю, — у вертолётa тоже нет души, хотя мы перед полётом притрагиваемся к нему как к живому существу, мол, не подведи, дружище! Душа есть у человека, ещё у него есть мозги и характер. Вертолётy и самолётy падают не сами по себе. В них сидят люди. Но не надо сразу же талдычить: «человеческий фактор», «ошибка пилота» и тому подобное. У нас разрушена система подготовки авиационных специалистов и, как следствие, система контроля. Получилось так, что летчик стал истиной в последней инстанции. Вот вы, — обратился он к Шнайдер, — осознанно не пойдёте к врачу-троечнику, он же свой аттестат и диплом не вывешивает на двери. Но вы понимаете, что рискуете. Не показывает свой диплом и пилот. А может, он его купил? Нынче возможно и такое. Но народ всё равно садится в кабины самолётов и вертолётов и ложится на операционный стол. Генерала Лебеда погубил не лётчик, а собственный характер. Он привык всегда и везде командовать, и в вертолётe он тоже был главным. Пилоты это понимали. Погоды нет, всё равно — вперёд! В том роковом полёте командир в самый последний момент увидел в снегопаде высоковольтный трос, он попытался поднырнуть и зацепился за него хвостовым винтом. Так же было и с сахалинским губернатором Игорем Фархутдиновым. Чтобы угодить начальству вертолётчики ушли с трассы, попали в снегопад. Второй пилот при расшифровке вроде бы сказал командиру: давай вернёмся. Какой там! Лучше разбиться, чем вернуться. И, в конечном итоге, нашли гору. Сегодня лётчиков стали нанимать, как бы это помягче? Ну, вроде лакеев. И они вынуждены вести себя так, как им приказывают! В противном случае: вот вам бог, а вот порог.

— Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? — спросила Шнайдер.

— Что лучше гор могут быть только вертолётy, на которых ещё не летал.

Уже прощаясь, Анна Шнайдер сказала, что хотела бы сделать с Григорием светлую, добрую передачу, где все герои оставались бы живы.

— Двумя руками «за», — улыбнувшись, ответил Пряхин.

Вечером передачу показали по телевидению, а утром, когда Пряхин пришёл в офис, Наталья Владимировна сообщила, что его разыскивает Жанна Андреевна.

— Что-то срочное? — спросил Пряхин.

— У нас всегда всё срочно. По пустякам она не звонит, — ответила Наталья Владимировна.

Пряхин почувствовал, как, набирая обороты под рубашкой, тревожно забилось сердце. Сочинять поздравления мог кто угодно. В конечном итоге, сюда он шёл не для этого. То, что Дудко из всей киностудии для этого дела выбрал его, было для Григория понятно. Возможно, он захотел проверить, сможет ли вертолётчик справиться с простой, но важной в его понимании работой. Поразмышляв немного, Пряхин позвонил Королёвой.

— Нам надо поговорить, — сказала она. — Если у вас есть минута свободного времени, я сейчас подъеду.

Пряхин не мог сообразить, чем же его сценарий заинтересовал Королёву. Он знал, что Наталья Владимировна пересылала текст по электронной почте, а потом подтвердила, что Королёва получила материал. И вот, наконец-то, можно будет узнать, что понравилось или что, наоборот, не устроило её.

Пряхин вышел из офиса и стал ждать у входа в метро. Шёл мелкий осенний дождь, мимо него, по капелькам сбрасывая на асфальт небесную влагу, сплошным потоком двигались мокрые зонтики, и Григорию то и дело приходилось прикрывать лицо от их острых краёв. Попав впервые в огромный город, он удивлялся этому бесконечному потоку людей, они напоминали Пряхину броуновское движение. Он не пытался уловить в нём какой-то смысл, поскольку и сам являлся его частицей. Толкая друг друга, люди входят в вагон или автобус, какое-то время даже стоят прижавшись, переговариваются, а потом исчезают навсегда.

Вскоре напротив Пряхина остановился чёрный дорогой джип. Королёва вышла из машины, протянула мягкую руку.

— Мне бы не хотелось разговаривать в машине, — сказала она. — Здесь неподалёку есть неплохой ресторан. «Омулёвая бочка». Не возражаете, если мы перекусим и поговорим там?

Пряхин был готов к разговору, но не готов к походу в ресторан. Он понимал, приглашая его в ресторан, Королёва тем самым оказывала ему особое внимание. Он мгновенно пересчитал в кармане все свои наличные деньги. Не то, что на ресторан, их не было даже на захудалую «кафешку». Идти и заранее знать, что не сможет расплатиться, — нет, это было не в его правилах.

— Я приглашаю, — словно угадав его мысли, сказала Королёва. — Мне сообщили, что вы хорошо работаете с документами, и, думаю, можете рассчитывать на первый гонорар.

— Это звучит обнадеживающе, — усмехнувшись, вздохнул Пряхин. — Скажу честно, у меня сегодня нет денег.

— Бывает, — сказала Королёва. — Сегодня нет, завтра будут.

Они сели в уголке, тут же подошла официантка. Пряхин отметил, что сегодня Жанна Андреевна была в чёрном деловом костюме, белой рубашке и тёмном галстуке. Официантка окинула её оценивающим взглядом, сделала это по-женски быстро с головы до ног и застыла, приготовив блокнотик. Поймав взгляд Пряхина, она убрала с лица казённое выражение, улынулась и миг превратилась в настоящую красавицу.

— Я познакомилась с вашей лётной биографией, и мне пришла в голову одна мысль, — протянув меню Пряхину, сказала Королёва. — Как бы вам её выразить? Байкал, Саяны, Тункинские Альпы... Согласитесь, звучит, как песня. Горы, тайга, природа, олени, медведи... Рядом родина Чингисхана. Рай для туристов. Но его надо раскрутить. Туда могут поехать китайцы, американцы, японцы, европейцы, — Королёва внимательно посмотрела на Пряхина, должно быть, проверяла, какое впечатление произвели её слова. — А что если снять фильм и показать его на Берлинском кинофестивале? — продолжила она. — В Нукутске долгое время не было хозяина, появлялись на время и отбывали.

— Они там появляются и пропадают с частотой электричек, — засмеялся Пряхин.

— Для начала снять рекламный ролик, — сказала Жанна Андреевна. — Я уже говорила с губернатором, он дал добро. За основу взять полёт на вертолёт в урочище Шумак. Меня туда недавно свозили, я была потрясена: на одном гектаре сотня целебных источников! Можно лечить все болезни. Но добираться туда непросто, десятки километров по горам.

— На вертолёт быстрее и удобнее, — согласился Пряхин.

— Вот-вот! Надо наладить туда постоянный рейс, — заторопилась Королёва. — Каждый день. Это всё быстро окупится.

— Кажется, сейчас туда возят туристов и состоятельных людей вертолёт с авиазавода. Ещё, время от времени, летает вертолёт ДОСААФ, — сказал Пряхин. — Но это не выход. Туда нужно вкладывать средства, и немалые.

— Собственно, за этим я вас пригласила. Я предлагаю вам взяться за организацию этого дела. Надо набросать бизнес-проект. Пора прекращать московскую киношную спячку и выходить на международный уровень. Я вас слушала по телику, вы же профессионал! Здесь вырисовывается ещё одно интересное направление — обслуживание ВИП-клиентов.

«У меня был уже некоторый подобный опыт, — вспомнив свои камчатские полёты, подумал Пряхин. — Нет уж, увольте!»

— Знаете, Жанна Андреевна, я пытался устроиться на работу к вашему мужу, но не сложилось.

— Почему? Расскажите!

— Вот вы хорошо говорили: «Одни любят спагетти, другие — детективы...» — Пряхин замолчал.

Прошлой осенью, когда Пряхин по наводке Торонова прилетел в Нукутск, он попросил Толстых, приехавшего тогда в Прибайкалье во главе делегации земляков-москвичей, чтобы тот взял его на приём к губернатору.

— Одно дело, когда за тебя просят, другое дело поговорить самому, посмотреть в глаза. Это уже другая ситуация, — сказал он Толстых. — Если откажет, то и вопросов не будет, почему и отчего. Я знаю, что когда перед тобой сидит человек и смотрит в глаза, отказывать труднее.

Но разговор за столом у губернатора приобрёл неожиданный поворот. Все уже знали, что в своей работе Королёв решил опереться не на местную элиту, а на своих, проверенных ещё по прошлой московской жизни, людей. И уже гуськом полетели в Нукутск перелётные московские птицы. На встрече с новым губернатором Толстых витиевато и осторожно, как подобает опытному политику, начал выяснять, почему Эрик Петрович в своей сложной и ответственной работе решил опереться на приезжих. Сказал, что знает среди местных немало грамотных и опытных специалистов.

Губернатора вопрос Толстых буквально взорвал:

— Да все местные повязаны! — сжав кулаки, буркнул он. — Кумовство, воровство, коррупция! Рука руку моет. Губернаторы приезжают, их съедают, а местные этим сыты бывают!

Пряхину бы помолчать, но он, не сдержавшись, влез в этот непростой разговор.

— Скажите, а чем приезжие будут лучше?

— Они порядочнее и честнее, — глядя Пряхину прямо в глаза, медленно, но с особым значением произнёс Королёв. В этот момент взгляд губернатора напомнил Пряхину наставленную на него в упор двустволку. В маленьких, глубоко посаженных глазах сверкнул холодный металлический блеск. Пряхин понял, что натолкнулся на человека, который не привык к тому, что его ставят в неудобное положение, в такой момент губернатор был похож на поднятого из берлоги медведя.

— Раз они выросли на столичных улицах, то не знают, что такое коррупция?

— Вы что, считаете, что я поступаю неправильно? — глухо сквозь зубы спросил губернатор.

— Нет, это ваше право набирать себе команду. Но не в пробирке же вы их вырастили. У них там всё, а здесь только работа. Каждую пятницу они будут летать в Москву, туда, где у них друзья и семьи.

— Я знаю, что вертолётчика, кстати, первоклассного пилота, губернатору подыскал Арсений Петрович Дудко. Да, да, именно он! — выслушав Пряхина, сообщила Королёва. — Он устраивает моего мужа.

Пряхин развёл руками, показывая, что он не возражает, если подбором кадров для губернатора занимается Дудко, кто будет спорить, пусть будет Дудко. Перед тем как расстаться, Пряхин спросил про переделанный сценарий.

— Да, я просмотрела и передала Арсению Петровичу, — думая о чём-то своём ответила Королёва. — Шпионы, погони, слежки — я в этом не разбираюсь. Пусть он сам принимает решение.

Королёва тряхнула своими золотистыми волосами, как бы показывая, что эта тема закрыта.

— Ко мне приехал гость, — неожиданно сказала она. — Из Берлина. Раньше он жил в России и хорошо говорит по-русски. У меня есть предложение. Не могли бы вы сопроводить его, он никогда не был на Байкале.

— Если надо, я готов, — быстро ответил Пряхин. «От такого предложения трудно отказаться», — хотел было добавить расхожую в таких случаях фразу, но промолчал. Королёва могла подумать, что он набивается на эту поездку. Он и сам удивился столь неожиданному предложению.

— Вот и хорошо, — улыбнулась Королёва. — Завтра я приглашаю вас к себе на дачу, познакомьтесь с ним. За вами заедет мой сын. Предупреждаю, Юра гоняет, но вы не обращайте внимания.

На Юру трудно было не обратить внимания. Крепкий, коротко стриженный, очень похожий на мать, спортивный парень, пожал Пряхину руку, усадил на переднее сидение, и они понеслись по утренней Москве. Уже позже Пряхин узнал, что к моменту их встречи

у Юры за быструю езду набралось больше сорока штрафов из ГИБДД. Он откупался и продолжал гонять по Москве и окрестностям.

Немца из Берлина звали Карлом, фамилия у него была Румпель. Родился он в Казахстане, затем, когда распался Союз, уехал в Германию.

Спустившись в фойе гостиницы «Метрополь», Карл протянул Пряхину руку. Григорий уловил, что от него крепко наносит парфюмом. Юра открыл для гостя дверь машины, и по запруженным московским улицам они начали выбираться из города. Немец хватался за сердце, наблюдая за Юриными виражами. Визжали тормоза, джип то притормаживал перед светофорами, то, набирая огромную скорость, оставлял далеко позади красные светофоры и другие машины, водители которых, глядя им вслед, должно быть, использовали весь набор ненормативной лексики.

— Ой, майн Гот! — восклицал Карл после очередного перекрёстка. — Вы скажите ему, — обращался он к Пряхину, — нельзя ездить на красный свет!

Но правила для младшего Королёва были не писаны. До дачи, где их ждала Жанна Андреевна, он домчал гостей за полчаса.

Дверь во двор Юра открыл при помощи кнопки на электронном брелке, который болтался у него на груди. Жанна Андреевна ждала гостя на крыльце с хлебом и солью. Карл тут же показал, что ему плохо, он взволнован и расстроен до такой степени, что ему даже трудно дышать. Жанна Андреевна, одетая во всё серое: тёмно-серый с блёстками кокетливый пиджак, серую юбку, туфли на высоком каблуке, полуобняв дорогого гостя, как могла, старалась успокоить Карла. Она повела его по комнатам и этажам огромного особняка, показала бильярдную, шкаф мужа с ружьями. Карл уже отошёл от сумасшедшей езды и с улыбкой и любопытством начал рассматривать особняк, комнаты и картины на стенах. Не остался он равнодушным к коллекции охотничьих ружей, его внимание привлёк немецкий «Маузер» в кожаном чехле, затем он осмотрел ружья фирмы «Зауэр», «Меркель» и «Зимсон».

— Фантастишь! — то и дело восклицал он.

Действительно, коллекция у Королёва-старшего была отменной. В ней были ружья, приобретённые как самим Эриком Петровичем, так и те, что дарили друзья и знакомые; несомненно, они хорошо знали об этой страсти Королёва. Рядом с оружейным шкафом на полу лежала выделанная шкура бурого медведя. Карл приподнял голову медведя, потрогал клыки, зачем-то заглянул под шкуру. Затем достал из сумки видеокамеру и начал снимать.

— Большой, очень большой, — сказал он. — Мне не поверят.

— Его добыл Эрик, мой муж, — с некоторой гордостью в голосе, сказала Королёва.

— Эвенки говорят, что вместе со шкурой в дом заносится и душа убитого зверя, — заметил Пряхин. — Прежде чем добыть зверя, они долго шаманят и уговаривают его, чтобы он не обижался и не злился на них. Боятся, что может отомстить. Они верят в то, что человек может превратиться в медведя. Чтобы этого не произошло, собираясь на охоту, произносят такие слова: «Пень, колода, крутая гора, не видать чёрному зверю меня». Почему-то считается, что медведь особенно не любит беременных женщин и, если среди ягодниц появляется такая, то медведь будет преследовать, прежде всего, её, чтобы убить вместе с нею будущего охотника.

— Я была против, — вздохнула Жанна Андреевна, — но Эрик настоял, чтобы шкура лежала здесь.

— Но вы не расстраивайтесь, — сказал Пряхин. — Буряты обычно хранили голову медведя на крыше дома, она должна была отпугивать злых духов. Если у женщин случалась опухоль груди, то шаман проводил по ней медвежьей лапой сверху вниз, и опухоль пропадала. Никто из охотников не называл медведя «топтыгин», «косопалый», «чёрный зверь». Эвенки зовут «хозяином» или «дедушкой».

Когда Пряхин начал рассказывать про медведя, Карл навёл на него камеру, стараясь не пропустить ни одного слова. Григорию польстило внимание зарубежного гостя, и он вспомнил ещё один случай. Было это на Севере, когда Пряхин только начинал летать. Охотники на Ми-4 преследовали медведя. Догнали, выстрелили через дверной проём —

он упал. Подлетели, посадили вертолёт рядом с лежащим зверем. Командир решил выключить двигатель и отключил трансмиссию несущего винта. Едва охотники, выбравшись из вертолёта, ступили на землю, медведь вдруг ожил, встал на дыбы и, откашливаясь кровью, двинулся на них. Охотники бросились в кабину вертолёта. Командир вновь запустил двигатель, раскрутил винт и даже успел оторвать колёса от земли, когда медведь схватил за колесо и машина опрокинулась. От полученных ран зверь всё же сдох, неподалёку от упавшего вертолёта, но своё дело он сделал. Позже говорили, что тот медведь весил восемьсот килограммов. А ещё в старину охотники вели подсчёт добытых ими медведей. Считалось, что сороковой — роковой. Даже самые заядлые охотники прекращали ходить на топыгына, когда вплотную подходили к этой цифре.

Не выпуская из рук камеры, Карл показывал Григорию большой палец, он был очень доволен рассказом. Довольна была и Королёва. Григорий улыбался, чувствуя, что в этом доме со своими рассказами он неожиданно оказался к месту и ко времени.

И всё же Карл не забыл стресса, полученного от сумасшедшей езды Юры. Когда сели за стол, он попросил Жанну Андреевну, чтобы обратно его отправили на такси.

— Я вас повезу сама, — сказала Жанна Андреевна. — Если говорить честно, я боюсь за него. Юрий с моим мужем участвовали в гонках по Байкалу и однажды даже опрокинулись. Хорошо, что были привязаны.

— Немцы всегда ездят пристёгнутые, а вот русские почему-то забывают это делать, — заметил Карл. — К тому же, Москва не Берлин. У нас за такую езду очень бы строго наказали.

— Но он попросил, и я не могла ему отказать, — смутившись, ответила Королёва.

Угощала Жанна Андреевна широко, по-русски, с размахом. Сначала холодные закуски: рыба, мясо, салаты. Затем борщ, запечённое свиное мясо на косточке. Потом подали баварское баночное пиво «Шпатен». Пряхин вспомнил, что его первый командир, когда ему предлагали отведать этот заграничный напиток, говорил: «Не пей, Гриша, пиво немецкое, козлёночком станешь. Я знаю, лучше нашей водочки ничего не придумано. Пить пиво — пускать деньги на ветер».

Королёва решила угодить дорогому гостю, кроме немецкого пива на столе стоял мускат «Троллингер».

Домработница подала к пиву сушёную рыбу, байкальский вяленый омуль и копчёный сиг.

Позже, когда сидели, пили кофе, Королёва вспоминала прошедший в Берлине кинофестиваль, обсуждали предстоящую поездку Карла в Сибирь. Жанна Андреевна сообщила Румпелю, что сопровождать его будет Пряхин.

— Он опытный вертолётчик. В Непале охотился на гималайских медведей.

— Снять на камеру гималайского медведя — моя мечта! — воскликнул Карл.

— Я пытался там всего лишь увидеть снежного человека — йети, — поправил Королёву Пряхин. — Но, к сожалению, не встретил.

Уже поздно вечером Жанна Андреевна отвезла их в Москву, высадила Карла у «Метрополя», затем повезла домой Пряхина.

— Карл — наш потенциальный инвестор, — прощаясь сказала она. — Завтра зайдёте в офис, получите билеты и деньги. В Нукутске вас встретят. Ваша задача сделать так, чтобы у Карла осталось хорошее впечатление о Сибири.

— Понял, — кивнул Пряхин. — Только мне надо предупредить Арсения Петровича.

— Не беспокойтесь, — сказала Жанна Андреевна. — Наталья Владимировна оформит командировку. Я подпишу распоряжение, думаю, Арсений Петрович не будет возражать.

Их действительно встретили люди из администрации. Начались объятия, поцелуи, намерения схватить чемоданы гостей и отнести их в машины. С Карла Румпеля попытались даже сдуть пылинки, но немец держался молодцом, выставив вперёд руки, он показывал, что знает границу гостеприимства. Когда везли из аэропорта, Карл с некоторым удивлением и неподдельным интересом осматривал деревянные дома, потрескавшийся асфальт и зелёные заборы. Чуть было не подпрыгнул, когда увидел перебегающую через дорогу огромную лохматую дворнягу и быстро полез в сумку, чтобы достать видеокамеру.

Пряхин усмехнулся: «Вот так и рождаются мифы про шатающихся по сибирским улицам медведей».

Водитель сообщил, что губернатор в отъезде, но для них уже составлена программа.

Пряхина и Карла разместили в гостинице «Ангара», они приняли душ, затем быстро перекусили в ресторане, и почти тотчас за ними пришла машина с охотоведом: крепким бурятom невысокого роста.

— Кеша, — коротко представился он. — Мне поручено вас сопровождать, вместе с Гансом.

— С Карлом, — поправил Пряхин.

— Нам, бурятам, один хрен, — засмеялся Кеша. — Что Карл, что Ганс. Помню одно — Гитлер капут!

— Вот что, Кеша, Иннокентий... — поправился Пряхин.

— Намоконов, — подсказал Кеша.

— Так вот, товарищ Намоконов, немец жил у нас в России и хорошо знает русский.

— Я, хоть и бурят, но тоже хорошо знаю русский! — прикрыв рот ладонью, прыснул Кеша. — И, как мой дед, с трёхсот метров с первого раза попадаю в консервную банку.

— Выходит, ты родственник того самого Семёна Намоконова? — удивлённо протянул Пряхин.

— Однаха, так.

— Вопросов больше нет! Я сопровождаю Карла, — пояснил Григорий. — Чтоб всё было тип-топ.

— Не беспокойся, командир! — заулыбался Кеша. — Нам, бурятам, не впервой. Здесь мы таёжный спецназ губернатора. Всё моём. Медведя из берлоги поднять, коз загнать, разговором занять и бухлёр на стол подать.

Через пару часов, миновав пригородные русские сёла, затем серые, сливающиеся с травой осенние бурятские улусы, они приехали на охотничью «Заимку». Там их уже ждали. За металлическим крепким забором на крыльце особняка выстроилась почти вся обслуга. Намоконов сообщил Пряхину, что это ближняя заимка, а есть ещё дальняя. Всё это Королёв приобрёл после назначения на высокий пост, поскольку любил тайгу и охоту. Оказалось, что всё хозяйство — это огромный кусок тайги, обнесённый металлической сеткой. Внутри него жили и паслись олени, маралы, изюбри. Место для маленькой гостиницы было выбрано со вкусом, на зелёной поляне выстроен кирпичный особняк, чуть поодаль топилась деревянная, собранная из кругляка баня. Дальше, за баней, виднелись стеклянные теплицы. Всё хозяйство было обставлено с размахом. В так называемой заимке в прихожей на полу лежала шкура бурого медведя, в зале, где охотники отдыхали после дальних разездов по тайге, на стенах располагались чучела голов снежных баранов, козлов, сохатого. В углу, готовая к прыжку, напружинилась огромная пятнистая рысь. А прямо ей в глаза скалила зубы серая волчица.

Пока гости обедали, охотоведы загружали машину снаряжением, ружьями и продуктами. Пряхину раньше не приходилось видеть привычную «Ниву» на таких несуразно огромных колёсах. Кабина напомнила ему божью коровку, которая, непонятно почему, присела на огромные колёса и оттого стала непропорционально уродливой, с виду неповоротливой, скорее похожей на фантастический луноход машиной. Карл внимательно осмотрел «Ниву», поцокал языком, достал свою камеру и с немецкой педантичностью начал снимать всё, что видел его глаз. Должно быть, его сознание не могло сразу же смириться с необыкновенной выдумкой русского гения, который собрал такую фантастическую машину. Теперь он пытался понять, сможет ли вообще тронуться с места это чудище, а ещё, чего доброго, полететь над тайгой. Немецкая логика подсказывала, что именно на ней ему предстоит дальняя и непростая дорога.

Кеша переодел гостей в военную, приспособлённую для поездок по тайге противоклещевую одежду, предложил выбрать ружьё. Карл взял привычный и знакомый ему «Маузер», Пряхин предпочёл отечественную двустволку. Едва они отъехали пару сотен метров, как машина медленно вползла в огромную лужу, потом спустилась в низину и оказалась

посреди огромного, заросшего кустарником болота. Затем, поднатужившись, «Нива» переползла через упавшую на дорогу сосну, подняла и погнала перед собой заросшую ряской волну, опять перескочила очередное препятствие и потащилась дальше через тайгу.

— Чего только русские не придумают, чтобы не строить хорошие дороги! — похлопав по сидению, пошутил Карл.

— А ещё, однаха, придумали «Катюшу», — прищутив и без того узкие глаза и улыбаясь каким-то своим мыслям, заметил Кеша. — Была такая песня: «Разлетались головы и туши, когда пела русская Катюша».

— Мой отец работал на Красную армию, здесь, в Сибири, — буркнул Карл.

— В трудовом лагере? — поинтересовался Пряхин.

— Я, я! — быстро подтвердил Карл и, помолчав немного, начал расспрашивать, какие деревья и кустарники растут в этих местах.

И тут Иннокентий проявил удивительную осведомлённость, должно быть, на лекциях в институте он мух не ловил, а учился прилежно, всё честь по чести.

— Вот это лиственница, чуть дальше сосны, берёзы, а под ними растут сарана, щавель конский, заячья капуста, пырей, — начал рассказывать и показывать он. — Ещё дальше кусты осины, можжевельника, кусточки белоголовки, пастушьей сумки, болотной хлебницы, иван-чай.

— О, знаю, иван-чай! Его заваривают вместо чая, — закивал головой Карл.

— Олени, маралы, изюбры и лоси очень любят это разнотравье, — продолжил Кеша. — Для них это и корм, и лесная аптека. Медведь очень любит малину и бруснику.

— Мёд, он любит мед, — заметил Карл.

— Ну, мёда здесь нет, — улыбнулся Пряхин. — А всё лесное зверьё — козы, олени, лоси — любят ходить на солонцы, им не хватает минеральных солей, вот там их и прикармливают.

Через час они остановились около высокой лиственницы, на которой были прибиты огромные олени рога, а чуть ниже на ветках и на стволе повязаны разноцветные тряпочки.

— Зелёный цвет защищает от болезней, — начал рассказывать Иннокентий, — синий — от невезения и гнева, красный — дарует долголетие, жёлтый — мудрость и возможность постигать знания. — Он попросил своего напарника достать бутылки с водкой и провизией. — Будем бурханить, — сказал Кеша.

— Что, что делать? — начал переспрашивать Карл.

— Отдавать дань богу Бурхану — хозяину этих мест, — пояснил Кеша.

Карл сбегал в машину, достал камеру и начал снимать рога, стол и весь этот первобытный обычай сибиряков. Когда ему поднесли кружку водки, у Карла глаза полезли на лоб.

— У нас есть правило, — начал отказываться от выпивки Румпель. — На охоте — ни грамма. Шнапс запрещён. Обязательная инструкция, что можно и что нельзя.

— Но мы ещё не на охоте, — сказал Пряхин. — Мы в дороге. У нас даже в самый строгий пост тем, кто в дороге, можно употребить скромное. И пропустить стопочку.

— Да, да, знаю! — заулыбался Карл. — Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.

И всё же немец не смог оказать должного сопротивления Намоконову, сказал «капут» и принёс себя в жертву Бурхану. Его хлопали по спине, говорили, что если гость не примет на грудь, то хозяин тайги будет на него очень сердит и с ним может случиться всякое. Карл вздыхал, он был законопослушным немцем и не мог отказать хозяину тайги. Когда Кеша начал подвизывать к дереву цветные ленточки или, как их называют буряты, ходаки, Карл сбегал в машину, принёс свой красный, с коричневыми полосами галстук, в котором при желании можно было угадать цвета национального флага, и, как только его ни пытались отговорить, повязал на рога изюбры, так, чтобы это видела вся тайга: Карл Румпель здесь был!

— В Потсдаме, где стояла наша часть, я был единственным бурятом на всю группу войск, — обнимая Карла, начал рассказывать Кеша. — Чтобы не пугать немцев моим, — Кеша обвел лицо рукой, — ликом Чингисхана, меня даже в увольнение не пускали. А тут Ельцин приехал к нам в часть. Я прорвался к нему: товарищ президент — не пускают! Где

же демократия, однаха? Он тут же дал команду — пустить, понимаешь! И меня пустили. Я начистил сапоги, пришел свежий воротничок — и в город. Походил по улицам, зашёл в гаштет. Гляжу, все немцы на меня уставились. Я попросил принести мне чаю по-бурятски, с молоком. И тут один из фрицев идёт ко мне и подносит стопку шнапса. Я ему пальцами: чего мелочишься, уж если пить, то стакан. Приносит мне стакан и булочку белого хлеба. Я выпил и показываю, что закусывать не буду. Немцы все разом притихли. Смотрю, несут ещё. Я же кино «Судьба человека», про Соколова, ещё пацаном смотрел. Хлопнул стакан и показываю, что закусывать не буду. Они загалдели как по команде. Смотрю, несут третий. Я залпом его махнул, закусил и говорю: «Где тут ваш оркестр, дирижировать буду! И петь: «Кочевник, степь и небо». Это песня моего дальнего брата, шамана». Немцы ещё пуще загалдели: «О,о,о! Капельмейстер! Прима!» Спел я им, вышел на улицу и первому же нашему патрулю говорю: «А теперь несите меня в часть». И отрубился!

Карл долго смеялся, затем, когда машина тронулась, он тут же, сидя, заснул сном младенца.

Проснулся Карл, когда Иннокентий остановил «Ниву» возле огромной кучи. Казалось, кто-то специально собрал её из кустов, обломков деревьев и опавших жёлтых листьев в одно место. Иннокентий достал ружьё, зарядил его патронами.

— Однаха, мишка завалил здесь сокжоя, — пояснил Кеша, — съел сколько мог, остальное прикрыл. Мишка любит тухлятину. Может подойти, ё кала мэнь!

Карл вначале не понял, о чём идёт речь, но когда понял, достал свой «Маузер» и, поглядев по сторонам, опасливо спрыгнул в булькающую болотину.

— Немцы говорят: «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно прыгнет в лужу», — пошутил он, поглядывая на ближайшие кусты.

— А ещё у вас есть хорошая пословица: «Косолапый останется косолапым, даже если его за море отвезти», — глядя куда-то в таёжное пространство, простодушно сообщил Иннокентий. Пряхин засмеялся и, подлаживаясь под тон Иннокентия, добавил:

— Карл, мишка, как только узнает, что к нему за тысячу вёрст в гости приехал немец, обязательно придёт поздороваться. У нас в тайге все медведи говорят по-немецки.

— Я воль! — пристукнув резиновыми каблуками и встав наизготовку, выпалил Карл. — Придёт, тогда мишке — капут!

Посмеявшись над воинственной позой Румпеля, Кеша начал рассказывать очередную байку, как однажды он шёл с рыбалки и вдруг увидел, что за ним топает косолапый.

— Его, должно быть, привлёк запах рыбы, — поглядывая на Карла, Кеша сделал страшные глаза. — Что делать, от мишки не убежишь, однаха, бесполезно! Он лошадь, да что там лошадь, лося может догнать. Я соображаю: побегу, догонит и сомнёт. А потом, как осенило, значит, надо делиться. Остановился, кричу мишке: «Хальт!» Он замер.

Вытянувшись в струнку, замер и Карл. Он не ожидал, что здесь в тайге прозвучит знакомая команда.

— Я по-бурятски ему: «Сайн байна! Батюшка. Я садаа!», по-нашему это: «Здравствуй, мишенька, я уже наелся!» Достал из рюкзака хариуса и бросил ему. Тот поднял рыбку, опустил к себе в пасть, хрумкнул — и снова за мной. Я опять бросил. Он опять проглотил. Так я откупался от него, пока не дошёл до зимовья. Заскочил, прикрыл за собой дверь, глянул в рюкзак, а там пусто, а мишка стоит, ждёт. Потом ушёл, а на другой день появился вновь. Прихожу, а он, ё кар гэнэ, уже избушку разграбил. Рыбы не нашёл, но отыскал сгущёнку и пепси колу, вскрывал банки когтями и где-то зубами. Могу подтвердить, вскрыл не хуже ножа, и всё высосал, — Кеша беззвучно рассмеялся, ему понравилось детское выражение на лице Румпеля. — Вот так, Ганс, у нас бывает. — Кеша почесал себе ухо, вновь хитровато улыбнулся: — Добрый мишка попался. А однажды злой застукал меня в том же зимовье. Проснулся я от шума, кто-то ломится в дверь, потом начал трясти избушку за угол. Силища у него немереная, ну, думаю, конец, «аллес», по-вашему! Ходит вокруг, орёт, злится. А после и вовсе выломал оконце и злобно на меня уставился. Тут я его снова ошелолил, крикнул по-немецки: «Хенде хох!» Пока он переводил, что бы это значило, я подбежал к печи, схватил чайник и плеснул ему в харю кипятком.

— О, о, о! Майн Гот! — застонал Румпель.

Кеша, как опытный рассказчик, тут же подбросил в печь уголька.

— Мишка взревел так, что подо мною потекло, должно быть, из чайника. А может, и нет! Кто проверял? Да никто! — Кеша засмеялся самому себе: — И такое бывает у нас в тайге, ё кала мэнэ!

— Скажите, а здесь водятся гималайские медведи? — неожиданно спросил Карл.

— Старые охотники говорят, что раньше попадались, — ответил Кеша. — Вот в уссурийской тайге есть, а здесь, кто их знает? Тайга большая. Я, например, не встречал. Наш сибирский будет побольше и посильнее. Мой старший брат Бато Торонов, который добыл уже не один десяток мишек, говорит, что самые крупные обитают на острове Кадьяк. Это уже в Америке.

— Я про вас сделаю фильм! — воскликнул Карл, обнимая Кешу. — Это будет сенсация!

— Да чего здесь особенного, — вздохнул Кеша. — Приехали, подняли из берлоги мишку, стрельнули. Гостям забава, а нам сплошные хлопоты. Что поделаешь — работа... — Иннокентий не стал договаривать. — Давайте я вам лучше свои стихи прочту:

*Закон тайги суров, но у людей намного жёстче,
Реву, сокжой, ведь здесь такая тишь,
Кричать в тайге намного проще,
Вот у людей попробуй докричись.*

*Кричи, сокжой, соперник отзовется,
Придёт на крик, возьмёт тебя живьём,
И пуля для тебя всегда найдётся,
А после скажет сыто, снова живём.*

— А кто такой сокжой? — поинтересовался Карл.

— Дикий северный олень, — ответил Кеша. — Я говорил, возможно, он в той куче, что видели, лежит. Мишка если и убивает, то по надобности, а человек по прихоти.

— После меня хоть потоп, — заметил Румпель.

— Вот что, Людовик, извиняюсь, Карл, — похлопав Румпеля по плечу, сказал Кеша. — Возьму-ка я тебя в лабаз с собой. Однаха, я ещё стишки почитаю. Может, заодно вспомним Гегеля, Канта. Гегель, кажется, говорил, что особь имеет родовое вне себя и помнит его как потомство.

— О, о, о! Зер гут! — воскликнул Румпель. — Это его философия природы.

— Их либэ дир. Гее цу мир, — глядя на Карла, старательно выговорил Кеша. И, рассмеявшись, добавил: — А то я, понимаешь, по-немецки не калякал аж с Потсдамской конференции.

Вскоре они приехали на место. Машина остановилась посреди широкой, заросшей невысоким чапыжником и можжевельником лощины. Осенняя тайга, что невеста на выданье, горела гроздьями созревшей рябины на солнечных складках, сразу же беря на себя взгляд; цветом губной помады полыхала ольха, чуть ниже к земле густо пламенела калина. Пряхин вспомнил, что в эти сентябрьские дни сверху, с высоты птичьего полёта, тайга напоминала ему неизвестно кем раскинутый и оставленный, точно для просушки, персидский ковёр, который радовал и притягивал глаз. Это всегда наводило его на мысль, что время быстро течёт, пройдёт день, другой, и перед близкими холодами всё начнет осыпаться и увядать.

Взяв ружья, охотники, путаясь и цепляясь сапогами за густую траву и кусты, дальше пошли пешком. К самому солонцу подходить не стали, чтобы не оставить след. Как объяснил Кеша, звери чутки на посторонние запахи и, учитывая это обстоятельство, скрадок они разместили ниже солонца.

— Ночью воздух движется вниз с хребта, туда, где теплее, — сказал он. — Здесь зверь не учует охотника. — Возле скрадка Кеша потрогал землю, покачал головой. — Не придёт, — сказал он. — Вот если бы прошёл дождь, тогда наверняка.

Охотники разделились на две группы. Пряхин с шофёром пошли к ближней срубленной из брёвен избушке, а немца взял с собой Кеша. Ему понравился зарубежный гость, который, к тому же, оказался добросовестным слушателем. Уж что-что, а для охотника свободные уши на всю ночь в тайге редкость.

Пряхин с шофёром зашли в ближний скрадок, прикрыли дверку, поставили ружья в угол и расположились на лавках. Сруб был собран недавно и сделан крепко, бревно к брёвнышку. Пряхин похлопал по стенкам, словно проверяя на прочность. «Поставить здесь печь и можно зимовать», — подумал он. В скрадке прело пахло нагретой за день свежей корой и смольём. У избушки были прорезаны небольшие бойницы в сторону ближайшего солонца.

Наступил тихий солнечный осенний вечер. Тайга жила своей жизнью, но то, что в ней присутствуют посторонние, она уже знала. Точно обследуя местность над тем местом, где укрылись охотники, стал нарезать круги копчик, а вскоре на далёкие чёрные сухостоины уселись косачи. Лесной народ, как это бывает и у людей, стал собираться, чтобы обсудить между собой последнюю новость — появление на подконтрольной им территории вооружённых людей. Но и у птиц не хватило терпению, немного погодя они засвистели, защёлкали свои привычные таёжные песни.

Солнце быстро закатилось за далёкую гриву, щебет птиц начал потихоньку умолкать. Где-то далеко ухнул филин, и тут же, заставив учащённо биться сердце, послышался далёкий лай козла. Затем вновь всё стихло. Сизые сумерки начали заполнять низины, медленно и как бы нехотя подступали к одиноко стоящей избушке. Они были невесомые, без хребта и плоти, подползали неслышно, как сон. Пряхин почувствовал, что на него, на голову, начал давить невидимый столб, и, закрыв глаза, стал засыпать. Он даже не сопротивлялся, нагрузка за день получилась изрядная, как в старые времена, когда ему приходилось делать с десятков взлётов и посадок, а потом, вечером, притрагиваясь головой к подушке, он засыпал мгновенно, без всяких сновидений. Из Москвы они вылетели вечером, в самолёте поспать не удалось, а по прилёту их под белы ручки взяли хозяева и привезли вот сюда, где на десятки километров не было живой души. Впрочем, было... Вот ещё раз залаял марал, ему тотчас отозвался другой. Но на солонец, как и предполагал Кеша, никто не выходил.

Приладившись к узкой лавке, Пряхин всё же среагировал на звериный лай, но только на какой-то миг. Сквозь реденький сон ему вспомнился первый полёт на вертолёте. Было это в училище. Перед тем как поднять его в воздух, инструктор сказал, что пилотировать вертолёт легко и просто, но нужно знать и помнить одну особенность.

— Ты точно держишь в руках живую птичку, — сказал он, — передавил, придушил — она отбросила лапки; отпустил — она выпорхнула, только её и видел.

«И в жизни так же, — отрывисто думал Григорий. — Передавил — всё порушил, отпустил — всё разлетелось, вылетело из рук, только и видел».

Очнулся Григорий от холода. Сквозь бойницу на него глянули близкие звёзды, небо всей чернотой лежало на деревьях, и, казалось, можно было руками потрогать ковш Большой Медведицы. Пряхин отыскал главную в навигации, да и во всей человеческой жизни, Полярную звезду и начал размышлять, кто и когда придумал этому созвездию название. Со школы он помнил греческую легенду про охотника, который хотел убить превращённую в медведицу красавицу Каллисто. Зевс унёс её на небо, что с нею произошло дальше, Григорий так и не вспомнил.

Вскоре начало светать, но зверь так и не пришёл на подконтрольный солонец. Пряхин даже порадовался: одной живой душой в тайге будет больше. Вскоре лес стал наливаясь светом, ожил, заполнился звуками, но не теми, что были в ночи, а более смелыми и радостными. А когда проглянуло солнце, так вообще всё вокруг зашевелилось, защебетало, защелкало уже где-то под ухом, и Пряхин понял, что охоте конец.

«Слава Богу, никого не убили!» — вновь подумал он, и тут неожиданно вдали грохнул выстрел. Вся тайга, всё окружающее пространство замерло, переваривая эту новость. Но длилось это недолго, через минуту, вновь радуясь, что далёкий выстрел миновал их, защебетали невидимые птички.

Через полчаса к ним подъехала «Нива». Пряхин увидел довольное лицо Карла. Он показывал пальцем на приваренный бампер, где болтались рога убитого изюбря.

Ночью они вернулись в город, а утром охотоведы и приставленные для таких поездок работники администрации повезли Румпеля на Байкал. Пряхин остался в городе, он решил съездить к своему бортмеханику Цырену Цыреновичу Торонову, с которым проработал несколько лет. Цырен Торонов был бурятом, Пряхина связывала с ним давняя дружба. Они вместе налетали не одну тысячу часов. Теперь Торонов работал сторожем в гаражах на окраине города, и Пряхин долго плутал, чтобы разыскать его. Сторожка запряталась за бетонным забором и напоминала одиночную камеру с единственным, засиженным мухами окном, которое снаружи было заварено железными арматурными прутьями. Возле стены, рядом с пластинчатой батареей, стоял прикрытый покрывалом топчан, а прямо напротив окна Торонов соорудил какое-то подобие стола. Он добросовестно подготовился к встрече с командиром, выставил на стол бутылку водки, подогрел на сковородке захваченные из дома пирожки, мясо, сварил картошку и нарезал солёные огурцы.

— Вот так и живу, — окинув глазом комнату, сказал он. — Для меня ничего не поменялось. Как говорят, «не жили богато, и не хрен начинать». Всё под рукой, всё по-походному.

— Совсем неплохо, — окинув взглядом столик, заметил Пряхин. — Даже мясо нашлось.

— Это я специально для тебя. Мне Кеша Намоконов медвежатину принёс. Не побрежгуешь?

— Сойдёт, — ответил Пряхин. — Давеча твой Кеша возил меня на охоту. Рассказчик — поискать надо!

— За ним не станет, — согласился Торонов. — У них, охотников, есть обычай — делиться. Вот он и притортал кусок. Я его вымочил в холодной воде, потушил в латке. Почти без запаха. Да ты, командир, не стесняйся, проходи, садись. Официанток здесь нет. Или привык к московским разносолам?

Пряхин достал из портфеля бутылку армянского коньяка, поставил рядом с «белоголовкой».

— У блондинки должен быть кавалер, — пошутил он.

— Не возражаю, — коротко улыбнулся Торонов. Он взял бутылку, начал внимательно изучать наклейки, затем даже поглядел на свет. — Где брал?

— Да здесь, в супермаркете.

— Боюсь, что поддельный. Сейчас залететь — пару пустяков. Люди и те поддельные.

— С чего начнём? — спросил Пряхин.

— Всё равно. Давай с водочки.

Бортмеханик разлил водку в эмалированные кружки.

— Что я тебе, командир, скажу. Aviации — кирдык. Так получилось, не мы с тобой в этом виноваты. Наши, те, кто ещё летают, иногда получают заказы от новых русских. Крохи с барского стола. Раньше за полмесяца налётывали санитарную норму, её, бывало, даже продляли. Как у нас говорили: «Большой винт рубли считает, маленький — копейки»! Теперь, рассказывают, на полёты военных привозят журналистов, чтобы показать, что авиация ещё существует. А результат? Те, кто сегодня сумел взлететь, не факт, что сумеют нормально сесть. И бьются! А с другой стороны. Вот ты бы сейчас спросил: «Пойдёшь летать? Ведь там всё плохо». Я бы не только пошёл, пополз бы.

— Я пробовал, — усмехнулся Пряхин. — Вот, дополз пока что до тебя.

— И на этом спасибо. Должно быть, трудно было от Москвы оторваться?

— Эх, Цырен Цыренович! Как говорится, кому-то ветчина, а кому-то хрен с горчицей. Вот и ты не уехал в свой родовой улус.

— Утешил. Это чтоб я здесь не переживал. Я и не переживаю! Вот за тебя обидно. А насчёт улуса, так нет его. Разъехались. Даже мой сын в Москву подался.

— Ничего, соберёмся. Я ведь не просто так к тебе приехал. Есть предложение.

— Нет возражения, — как бывало раньше подхватил Торонов. — У нас, у бурят, как тебе известно, нет иммунитета, — Торонов выразительно щёлкнул себя по горлу, — к спиртному.

— Так за что будем пить? — спросил Пряхин.

— А знаешь, давай помянем твою Женьку, извиняюсь, Евгению Ивановну. Помнишь тот полёт в Старую Юхту?

— Как же не помнить, конечно, помню, — ответил Пряхин. — Но давай сначала по махонькой.

— От винта!

— Чокаться не будем, — предупредил Пряхин.

— Куда уж дальше. Давно чокнулись, — махнул рукой Торонов. — Но, однаха, ещё держимся.

— Когда поминают, то у нас это не принято.

Вмиг лицо у Цырена Цыреновича сделалось каменным, веки прикрыли глаза, и Пряхин, подивившись произошедшей в нём перемене, вдруг подумал, что в Торонове, при желании, можно было разглядеть многовековую задумчивость и спокойствие Будды.

Женя работала врачом санитарной авиации, и они часто виделись при выполнении срочных заданий. Он удивлялся, как её, вчерашнюю студентку, посылали на такую сложную и ответственную работу. Конечно, она была не одна, с нею вылетала целая медицинская бригада.

Вертолёт забирался в такие места, куда ни одна «скорая помощь» добраться не могла. Но в тот день была какая-то особая погода, как говорили сами вертолётчики, атмосфера словно взбесилась: фронты, снежные заряды, ветер. Позже Пряхин узнал, что тогда за день в стране произошло сразу пять авиакатастроф с вертолётами.

Когда они уже были в воздухе, на связь вышел Казачинск и попросил сесть на площадку, в верховьях Улькана, забрать раненого. Как выяснилось, охотники подняли из берлоги медведя, но что-то пошло не так, косолапый подмял одного из них и снял скальп. Пряхин прикинул по карте: выходил крюк почти в двести километров. Но деваться некуда — просьба была подкреплена указанием командира лётного отряда. И они полетели. Забрав раненого, Пряхин повёл вертолёт в Старую Юхту, там он рассчитывал дозаправиться, забрать роженицу и вылететь на базу. К Старой Юхте они пришли под заход солнца. Уже перед самым снижением загорелась лампочка критического остатка топлива. Произошло то, что обычно бывает, когда вместо одного дела пытаешься сделать сразу несколько. Всё тут обернулось против: и ветер был в нюх, и погода окончательно испортилась, и времени было в обрез. А тут ещё перед глазами вспыхнул красный семафор. Он-то и обещал экипажу главную неприятность, не оставляя выбора. Надо идти только в Старую Юхту. Нет, Пряхин не сгущал ситуацию, выбор был всегда, но в данном случае выбирать предстояло между плохим и очень плохим; падать без топлива в тайгу или всё же сесть туда, где можно было заправиться и, забрав больную, отвезти её на базу, где их ждала неотложка. Казалось, он должен был давно освоить лётную математику, просчитать все возможные варианты заранее, а не лихорадочно, в последний момент, выбрать безопасный эшелон, где заправиться, сколько людей и груза взять на борт. А ещё — как взлететь и как сесть, с ветром или без, какова высота снега на площадке и будет ли он свежим или лежалым. Вспомнить размер площадки: если она с пятак, тогда при посадке придется втискиваться в неё, как в колодец. Вот именно такая и поджидала его в Старой Юхте — без вычищенных подходов и боковых полос безопасности: на такую не сядешь и не взлетишь с неё «по-самолётному».

Когда они зависли над площадкой, Пряхин понял, что площадка покрыта свежее выпавшим снегом. Его опасения подтвердились буквально через несколько секунд. От вращающегося винта поднялся снежный вихрь, воткнутые в снег ёлки разлетелись в стороны, и он мгновенно потерял пространственное положение и визуальную связь с землёй: глазу было не за что зацепиться. Уйти и сделать следующий заход не было никакой возможности, топлива не осталось и на круг. Весь окружающий мир сузился для него до размеров кабины, оставив для глаз две точки — красную лампочку остатка топлива и авиагоризонт. Радиовысотомер потерял свою надобность, при снежном покрове он начинал врать.

И тут Пряхин внизу неожиданно увидел зелёную с набалдашником травинку. Засохший стебелёк кровохлёбки не раскачивался, а трепетал под снежным вихрем, но держался

за землю из последних сил. Пряхин вцепился в него глазами, эта травинка стала их спасением.

По ней Пряхин определял расстояние до земли. Бортмеханик по авиагоризонту подсказывал крен. Медленно, очень медленно Григорий начал опускать машину. Сначала он почувствовал, что в невидимую пока ещё землю коснулось правое колесо, затем левое, и дальше машина твёрдо встала на передние. Не успел он вытереть пот со лба и посадить медицинскую бригаду, как буквально через пару минут медики сообщили, что у больной упало давление. Она держалась до конца, а когда ей сказали, что всё же прилетел вертолёт, потеряла сознание. Евгения Ивановна решила сделать венесекцию, чтобы ввести иглу шприца, и тут неожиданно в посёлке погас свет.

Пряхин попросил Торонова снять аккумулятор и принести его в дом. Второй пилот нашёл провода, лампочку, и они дали врачам свет. Пока медики делали своё дело, экипаж заправил вертолёт, и уже ночью они с больными вернулись на базу. Прощаясь с медицинской бригадой, Пряхин вручил Евгении тот самый сухой стебелёк кровохлёбки:

— Она спасла нам всем жизнь, — сказал он. — Так бывает.

Мог ли тогда Григорий знать, что вскоре Евгения Ивановна станет его женой, а тот стебелёк будет талисманом до самого конца их совместной жизни.

— Ну а сейчас как? — спросил Торонов.

— Живу один, — помолчав, ответил Пряхин.

— Это не дело. Тебе надо иметь рядом женщину, — сочувственно сказал Торонов. — Придёшь домой, не с телевизором же разговаривать. Может, помочь? Есть тут одна.

— Как-нибудь обойдусь.

— Я тебе уже сказал, мой сын Веллингтон тоже в столицу подался, — вздохнув, сказал Торонов. — Летаёт на парапланах. Недавно звонил мне. Ездил в Австралию и стал там чемпионом мира.

Пряхин слушал Торонова рассеянно, чемпионаты, полёты на планерах, вертолётах... ему казалось, что всё это осталось в прошлом. Неожиданно для себя Григорий подумал, что должен позвонить в Москву Наталье Владимировне. Ему захотелось послушать её голос, узнать, чем она занимается и какая сегодня погода в столице. А может, привезти ей отсюда цветы? Например, ветку багульника. Он вспомнил, как перед отлётом в Сибирь зашёл к ней. Она поднялась навстречу, едва он вошёл, светлая, нарядная, с его голубым шарфиком на плечах, улыбнулась, мол, заметит или нет. Заметил, похвалил, сказал, что к её глазам идёт этот цвет. Умолчал только, что короткая стрижка делает её похожей на подростка, и хорошо, что на ней нет той форменной с погонами рубашки. Она была рада именно ему, его появлению в офисе. Лишь только сейчас, отсюда, Григорий понял: она ждала его. Устало и запоздало улыбнувшись своим неожиданным мыслям, он начал рассказывать Торонову о предложении Королёвой наладить полёты на Шумак.

— Так это надо к Серёге Елисееву обратиться, — заметил Торонов. — Они туда летают. Ты же его хорошо знаешь. Он, как и ты, работал за бугром, где-то в Африке.

— В Найроби, — уточнил Пряхин.

— Съезди к нему в Оёк. У него в ДОСААФе есть вертолёты. Если будет финансирование, мы можем ещё пару машин на крыло поставить.

— Хорошо, — согласился Пряхин. — Съезжу.

Разговор с Елисеевым получился недолгим, но, как посчитал Пряхин, хорошим. Елисеев пообещал подготовить всю документацию, переговорить с вертолётчиками и другими специалистами, которые могли бы пригодиться для этой работы.

— Мы на Шумак летаем редко, — сказал Елисеев. — Все полёты держатся на одном — авось, пронесёт! Там сейчас турбаза. Несколько вполне приличных комфортабельных домиков, столовая. В основном туда прут по горным тропам «дикари», в прямом и переносном смысле! Они живут в зимовьях, палатках, шалашах и, естественно, после себя оставляют горы мусора. Мы договорились с директором, оттуда в мешках забираем отходы: консервные банки, пакеты, плёнку, стеклотару и прочий мусор. Вывезли уже больше пятидесяти тонн.

— На Байкале уже завалили Ольхон, — заметил Пряхин.

— А раньше какая там была чистота! Какой Господь сотворил землю, такой она там и оставалась. А что думает по этому поводу губернатор, власть?

— Им, Гриша, до этого нет дела, — усмехнулся Елисеев. — Кто и когда с нами советовался! Тот же Ольхон! Раньше туда за день выполнялось несколько рейсов. Сегодня аэродром есть, его в чистоте и опрятности содержит Прокопьев. Ты его помнишь! Но туда уже лет пятнадцать никто не летает, все туристы едут через Малое море. Часами стоят в ожидании переправы. Так вот, каждый день Прокопьев включает радиостанцию и сообщает погоду на аэродроме, кому и зачем — неизвестно. Он там как последний самурай. Денег ему не платят, живёт подсобным хозяйством. А вот на Шумаке нет своего Прокопьева.

— Но зато там есть целебные источники, — вспомнив слова Королёвой, сказал Пряхин.

— Поздно пить боржоми, — усмехнувшись, сказал Елисеев. — Здесь нужна не прихоть отдельного человека, а государственная программа.

Пряхин был согласен с Елисеевым. Но он догадывался, Жанна Андреевна ждала от него иного. Для неё было важно понять, как быстро и наименее затратно наладить полёты на Шумак.

Вечером Пряхин позвонил Наталье Владимировне в Москву. Она обрадовалась звонку, сообщила, что Королёва сейчас с сыном отдыхает в Испании, но сразу же после отпуска собирается поехать к мужу на Байкал. Затем сказала, что Арсений Петрович интересовался, когда Пряхин прилетит в Москву.

— Дудко привык, что все у него должны быть под рукой, — сказала она. — А то нас здесь бумагами завалили, сплошная переписка.

Пряхин догадался, что его опять хотят использовать как сочинителя приветственных и прочих адресов.

— Наталья Владимировна, может быть, вы в курсе, Арсений Петрович прочёл мой, вернее не мой, а правленный сценарий?

— Григорий Ильич, он прочитал, — уже другим и, как показалось Пряхину, поскучневшим голосом ответила Наталья Владимировна и, кашлянув, замолчала.

— И что? — поинтересовался Пряхин, уже поняв, каким будет ответ.

— Сказал, что вы не Бергман.

— Это высокая оценка! — засмеялся Пряхин. — Называется, осудил овин баню. К тому же Арсений Петрович должен помнить, что в «резему» у меня фамилия не Бергман.

— Да вы не обращайтесь внимания, — начала успокаивать Наталья Владимировна. — Все знают — Дудко не Пряхин. А я без вас скучаю. Жду, когда вы прилетите и расскажете, как провели время на Байкале.

На другой день Пряхин с Карлом полетел на Шумак. Григорий знал, что туда с инспекционной поездкой собрался и Королёв. К присевшему за городом на поляну вертолёту, сигнала во все дудки, прибыл губернаторский эскорт — вереница черных никелированных джипов. Эрик Петрович вышел из машины, пожал руки гостям. Командир вертолёта доложил о готовности к полёту. Королёв был одет по-походному: в пятнистые десантные брюки и кожаную лётную куртку. Затем подъехала другая придворная челядь — операторы, журналисты из пресс-службы губернатора, группа актёров Театра народной драмы, которые должны были показать немецкому гостю сибирских казаков-землепроходцев. Все, подлаживаясь под вкусы руководителя края, натянули на свои животы и плечи военную униформу, ни дать ни взять на Шумак отправлялась группа захвата.

Пряхин заметил рыжеволосую, крашеную блондинку — руководительницу пресс-службы губернатора, рядом с ней ещё одну молодую особу. Стройная, высокая, в сером костюме, серой джинсовой куртке, с короткой спортивной стрижкой. Поверх куртки длинный чёрный повязанный вокруг шеи шарф, концы которого свободно спадали на грудь. Она с любопытством поглядывала на попутчиков, держалась независимо, стараясь не выделяться и не привлекать к себе повышенного внимания. Но мужской губернаторский спецназ начал расшаркиваться перед ней: о, да, надо было одеться потеплее, на горах, говорят, уже лежит снег, а вдруг придётся заночевать. Тут же нашлись те, кто был готов поделиться своей одеждой.

— А вы раньше летали? — начали интересоваться другие.

— Нет, вы посмотрите, закукарекали! — засмеялся губернатор. — Сообщаю для глухих, Вера Романовна первый раз летит на вертолёт. И прошу не приставать. Пожалуетса — будете иметь дело со мной.

— Вера Романовна Сугатова, — оказавшись рядом, представилась она Пряхину. — Вы из Москвы?

— Не совсем так, но из Москвы, — подтвердил Пряхин. — Судя по всему, здесь, в основном, летят москвичи.

— Я из Нукутска, — сказала Сугатова

— Уже теплее, — улыбнулся Пряхин. — Губернатор делает правильные шаги.

— На то он и губернатор, — засмеялась Сугатова. — Мне сказали, что вы раньше летали.

— Было дело, — улыбнулся Пряхин. — И даже пытался полетать здесь.

— Можно, я сяду рядом? — неожиданно попросила Сугатова. — С вами мне будет спокойнее.

— Не возражаю.

Пряхин начал размышлять, кто успел сообщить Сугатовой о его прошлой работе. И пришёл к выводу: когда подавали губернатору список пассажиров, то те, кому это положено, позаботились, чтобы в нём не было случайных людей. Поглядывая на Сугатову, Григорий решил, что руководителя пресс-службы губернатор взял для освещения предстоящего мероприятия, а вот Веру Романовну, скорее всего, чтобы порадовать глаз. Но в своих предположениях ошибся, уже во время полёта он выяснил, что Сугатова, оказывается, работает в протокольной службе губернатора. Все честь по чести — не придерёшься.

Поднатужившись, вертолёт оторвался от земли и взял курс в горы. Под застеклённую пилотскую кабину напозла тайга, все прильнули к иллюминаторам. У Пряхина сжалось, заныло сердце. Он мог бы сейчас сидеть в пилотском кресле и вести вертолёт, но не судьба! Сиди и смотри, как твою работу исполняют другие.

Через несколько минут винтокрылая машина втиснулась в узкое ущелье, острозубые гольцы поползли вверх и упёрлись в облачность. Немного погода полёт уже напоминал езду в тоннеле. Под ними петляла река, на откосах были видны озёра, а сверху, обрезав острые вершины, лежала плотная облачность. Но вертолёт, снизившись, упорно шёл вперёд, уже над самой водой. Губернатор встал в проход и наблюдал за работой пилотов, своё дело они знали. Сюда, в Тункинские Альпы, они летали не раз и трассу изучили досконально. Когда облака прижали вертолёт к самой воде, Пряхин заволновался, он поднялся с пассажирского кресла, чтобы глянуть в лобовое стекло. Но вертолёт уже замедлил ход и начал целиться на каменистую отмель, там, где из речных окатышей был выложен огромный круг. Их уже ждали.

К открывшейся двери вертолёта надвигалась многоликая орда. Впереди шёл прибывший на Шумак на лошадях и одетый по случаю в национальный праздничный синий бархатный халат крупный, с большим животом, бурят — местный дарга. Он церемонно поприветствовал гостей традиционными для бурят словами:

— Сайн байна!

Губернатора и Румпеля угостили молоком из пиалы, надели на них атласные халаты и повязали на шею белые шёлковые шарфы-хадаки. Обменявшись подарками, хозяева повели гостей по урочищу.

Из деревянного дацана к ним вышел огромного роста бурят и простодушно начал объяснять, что здесь обитает главный бог района. Пряхин улыбнулся наивности бурята, поскольку «Главный владыка» не только этого урочища, но и всего Прибайкалья стоял, теребя висевший у него на шее белый шёлковый платок, поглядывая глубоко спрятанными медвежьими глазками, видимо, не зная, как ему поступить: передать хадак шефу протокола или оставить на месте.

Тут же, перед дацаном, была сложена побелённая известкой кирпичная печь. Из трубы вился слабый дымок. Вокруг печи в фиолетовом халате ходил лама и, не обращая внимания на прилетевших, напевал одну и ту же фразу:

— Ом, мани, падмэ хум! Ом, мани падмэ хум!

— Огонь очищает душу человека, — начал объяснять гостям огромный бурят, — а лама вызывает к Будде. Он поёт, что Вселенная дарует процветание и изобилие тем, кто принимает их с открытым сердцем.

На дереве, рядом с дацаном был прикреплён деревянный щит, на котором кириллицей нанесены правила и поучения Будды для тех, кто решил выйти на путь просветления:

— Трудно бедному быть щедрым, — прочёл Пряхин. — Трудно власть имущему не употребить свою власть для достижения своих целей. Трудно не рассердиться, когда тебя оскорбляют. Трудно спорить о правильном и неправильном.

Дарга рассказал губернатору о всех достоинствах Шумака, не забывая пожаловаться на недостаток средств для развития урочища. Тот с любопытством посматривал по сторонам, он был приятно удивлён встречей и бурятским гостеприимством. Когда лама закончил свою службу, гости, ведомые всё тем же даргой, перебрались через висячий мостик. На другом берегу, среди сосен, на поляне их уже ждал шаман с бубном. На груди у него висели круглые железные и медные амулеты, чёрные когти медведя, старинные монеты. На голову была надета отороченная лисьим мехом островерхая шапка. Завидев гостей, шаман начал прыгать вокруг разведённого костра и бить в бубен, призывая почтить души ушедших предков.

Потом у часовенки для гостей уже пели песню про Ермака казаки. Пели хорошо, с чувством.

*Шумит тайга, седая вековая,
Течёт Иртыш. Могучая река!
И не померкла слава боевая,
И не забыто имя Ермака.
Иван Четвёртый — государь Московский,
Возликовал от радости душой,
И Ермака за тот поход геройский
Он наградил кольчугой золотой.
За то, что он Кучума пересилил
И государю послужил, как мог,
И приросла Россияшка Сибирью,
И раздалась Россия на Восток.*

Припев песни уже подтягивали хором все, кто прилетел и кто оказался на этом импровизированном концерте:

*И пусть проходят годы и века,
Мы не забудем подвиг Ермака!*

После концерта губернатора повели вдоль реки, мимо сотен маленьких, сложенных из плоских камней-окатышей тонких пирамид. В грязевых ваннах, не обращая внимания на высокие, упавших буквально с неба гостей, лежали отдыхающие. На берегу, обмазав себя жирной лечебной грязью, толпились «папуасы», а рядом, помахивая хвостами, бродили лошади.

Тут же стояли раскрашенные в синие и красные тона деревянные идолы.

Прямо от горной речки отдыхающими был сооружён водоотвод. Бегущий поток крутил деревянные мельницы, крылатых лебедей, поднимал и опускал игрушечные перегородки, переворачивал лопатки всевозможных гидросооружений. Вдоль тропы на крупных булыжниках виднелись надписи, утверждающие, что «Коля и Оля были здесь». Горячие источники обозначались каменными и деревянными знаками. На некоторых раскрашенных камнях были нанесены китайские иероглифы. Карл Румпель трудился не покладая рук и не жалея ног. С немецкой дотошностью он расспрашивал Пряхина, теребил бурята, губернатора, Сугатову, чтобы они на камеру сказали, «что это за камень и о чём говорят

иероглифы». Надолго задержался около кладбища костылей. Пряхин объяснил, что сюда, на Шумак, многие прилетают на костылях, а обратно уезжают на своих двоих.

Вскоре утомлённые гости собрались в столовой, где им был приготовлен обед. Губернатору, как самому почётному гостю, предложили варёную баранью голову, Карлу — убууун, баранью грудинку. Пряхин отметил, что и здесь на столе было выставлено немецкое пиво. Он посоветовал Румпелю отведать приготовленные бурятские молочные пенки — урмэ.

— Зер гут! — подняв большой палец и отведав пенки, говорил Румпель.

На десерт подали сваренные в котле лапы медведя, с острой приправой. Видимо, варили их долго, мясо успело остыть, и превратилось в холодец. Но под водку пошла и медвежатина.

За столом Эрик Петрович произнёс речь в честь немецкого гостя и сообщил, что достигнута договоренность о прямом рейсе из Мюнхена в этот край вечно синего неба.

— Что, будут летать прямо сюда? — вытаращив глаза, спросил глава района.

— Сюда будет прямой рейс на вертолётах, — ответил губернатор. — Скоро вы не узнаете Шумак. Здесь будет курорт европейского уровня. Заведём охотничье хозяйство, огородим источники металлической сеткой, чтоб лошади не бродили. Зарубежные гости смогут здесь не только полечиться, но и поохотиться, порыбачить и подышать нашим саянским воздухом. И как это в песне: «И приросла Россиюшка Сибирью, и раздалась Россия на Восток...» Будем укореняться и здесь, в этих диких местах.

Было видно, он доволен оказанным гостеприимством, и ему захотелось ответно порадовать приятной вестью хозяев.

На обеде шаман исполнил для присутствующих песню: «Кочевник, степь и небо».

— *Природа, Бог — одно и то же, — помогая себе руками пел шаман. — Кругом орлы, пасущие отары. И стрекот дикой саранчи. И посвист суслика степного впитал в себя сей горизонт. И склоны снежных гор...*

Уже в конце долгого, как бурятская степь, напевного монолога он с какой-то обречённостью в голосе выдохнул: «И где теперь аймак районом стал, и Ельцин этот путь нам указал».

Пряхин не стал уточнять у шамана, про какой путь вспомнил он вдруг, должно быть, песня была написана давно, и ничего нового в ней не появилось. Вожди указывают, отары бредут, куда им укажет пастух. Пряхин вспомнил Кешу, его рассказ про оркестр в Потсдаме и пожалел, что его нет здесь, на Шумаке.

Вспоминая о своей поездке на охоту, Румпель сказал Пряхину, что обязательно сделает о Намоконове фильм.

— Думаю, Кеша не будет возражать, — улыбнулся Пряхин.

Румпель молча и недоверчиво посмотрел на Пряхина. И та лёгкость, с которой Григорий решил за Кешу, улетучилась. О таких вещах говорить за другого было легковесно и несерьёзно. С присущей немецкой педантичностью и дотошностью Карл, должно быть, привык больше доверять подписанному договору, а не брошенным походя словам. Всё-таки Румпель имел не только немецкие корни, но и большой отрезок жизни, который он провел в России, где от сказанного обещания до конечного результата — дистанция огромного размера.

— Майн фройнд, должно быть, вы знаете, что в природе не существует частицы *не*, — неожиданно сказал Румпель. — И многие не понимают её значения. Говорят: я желаю тебе не болеть! Уберите частицу, что получится?

— А как, по-вашему, надо?

— Желаю быть здоровым. Ещё вы любите огораживать свою территорию, — продолжил Карл. — Даже после смерти. Я понимаю, заборы и оградки, кирпичные стены достались от прошлого. Но они в обычной жизни мало полезны. Например, Берлинская стена. У немца ограда или черта в голове. Он не пересечёт её и не поедет на красный свет. У вас же это сплошь и рядом.

— И что из того? Что, после падения Берлинской стены вы стали жить лучше?

— Мы вновь стали единым народом.

— Поделённым на три сорта, — сказал Пряхин. — Первый — западные немцы. Второй — восточные. И третий — приехавшие из России.
— Но это быстро рассасывается, сглаживается.
— И мы меняемся, — подытожил Пряхин.
— Я, я! Всё течёт, всё меняется, — согласился Румпель.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, гости начали собираться в обратный путь. Пока гуляли и обедали, облачность приподнялась и показала зубатые каменистые, кое-где уже прикрытые снегом, высокие клыки Тункинских Альп. Вдоль ущелья потянул холодный, порывистый ветер. Пряхин знал, при таком ветре в этой узкой трубе взлетать будет непросто. Он вспомнил Гэсэра — мифического героя бурятского народа, который, как и Христос, спустился на землю. Ему так полюбилась земная жизнь, что он не вернулся обратно на небеса.

«Он-то не вернулся, а нам лететь. И хорошо, что погода не заперла нас в этом урочище», — подумал Григорий, поглядывая на заснеженные гольцы. Прав был Елисей, летать на Шумак было сложно и, скорее всего, регулярные рейсы сюда будут ещё не скоро.

По пути к вертолёту губернатор напевал полубившуюся ему казачью песню:

*И пусть проходят годы и века,
Мы не забудем подвиг Ермака!..*

— Как говорил Кант, «две вещи поражают моё воображение, — сказал Румпель, обращаясь к губернатору, когда они садились в вертолёт, — звёздное небо над головой и нравственный закон во мне». Я бы добавил ещё — русское гостеприимство.

— Дорогой Карл, хочешь, я возьму тебя с собой в тайгу на берлогу, — расплылся в улыбке губернатор. — Пощекочешь нервы.

— О, нет, нет! — воскликнул Карл. — Я — пацифист.

— Хорошо, тогда я тебе подарю шкуру медведя.

— Гималайского?

— Будет тебе и гималайского, — покровительственно похлопал по плечу Румпеля губернатор.

— Эрик Петрович, я бы хотела поехать с вами на охоту, — попросилась стоявшая рядом с губернатором Сугатова. — Я сегодня пролетела на вертолёте, получила огромное удовольствие. Мне захотелось посмотреть медвежью охоту. Особенно, когда слушаю рассказы охотника Иннокентия Намоконова.

— Не женское это дело, — ответил Королёв. — Тайга требует к себе особого внимания.

— Эрик Петрович, французы говорят: чего хочет женщина, того хочет Бог, — сказал кто-то из сопровождающих. — Женщины тоже требуют к себе особого внимания.

— А кто против? — засмеялся губернатор. — Бог хочет одного, женщина другого.

— Мы будем делать фильм о губернаторе и его таёжном спецназе, — сказал Румпель. — И, конечно же, о Шумаке. Европа уже забыла, что здесь ещё остались дух и потомки Чингисхана.

— Те, кто сидят в юрте, уподобляются камню, упавшему в глубокую воду, либо стреле, выпущенной в заросли тростника, — говорил Чингисхан. Тот и другая бесследно исчезают. Мы себе этого не позволим. Можешь считать, что договорились, — сказал Королёв Румпелю. — Деньги на фильм найдём.

«Осталась ещё в нас лёгкость, с которой мы даём обещания. И себе, и за других», — вспомнив разговор с Карлом, хотел сказать Пряхин, но вовремя прикусил язык. Сейчас его откровенность ни немцу, цитирующего Канта, ни тем более губернатору была не нужна. Румпелю хорошо, а это именно то, о чём его просила Жанна Андреевна, когда посылала сопровождать Карла. Конечно же, Эрик Петрович вспомнил Пряхина, но делал вид, что того неприятного разговора у них не было. И, скорее всего, причиной тому была охранная грамота, которую выдала ему Королёва.

К Новому году Елисеев переслал Пряхину документацию, списки необходимого летного и технического состава. К ним он передал все финансовые расчёты. Каким-то образом о создании авиакомпании узнал Дудко и пригласил к себе Пряхина.

— Вот что, уважаемый, Григорий Ильич, — поглядывая на Пряхина ничего не выражающими водянистыми глазами, непривычным для него вкрадчивым голосом начал Арсений Петрович. — Я вдруг совершенно случайно узнаю, что вы, являясь сотрудником киностудии, на казённые деньги путешествуете по Саянам.

— Арсений Петрович, я летал туда по вашему распоряжению и, кажется, устава студии не нарушал, — стараясь держать ровный тон, ответил Пряхин. — И, честно говоря, даже рассчитывал, что вы отправите на Шумак приветственный адрес. Там было всё начальство, был губернатор.

— Да, я знаю, — помолчав немного, сказал Дудко. — Но не надо прикрываться губернатором. В таких делах нужно иметь трезвую голову.

— Лётчиков всегда перед вылетом проверяли доктора, в том числе и на трезвость.

— Хорошо, хорошо. Что тут скажешь. Но почему не написали отчёт о поездке? Есть порядок, его нельзя нарушать.

— Если надо, я напишу, — пожал плечами Пряхин.

— Сделайте, пожалуйста, и передайте его Наталье Владимировне.

— Хорошо, будет сделано, — пообещал Пряхин.

— Ну, а кратенько, как там себя чувствует Эрик Петрович? Румпель в восторге от поездки. Губернатор его очаровал. И кто такой Намоконов? Только о нём и слышно.

— Герой войны. Снайпер. На его личном счету около четырёхсот фрицев.

— Что, до сих пор живой?

— Да что вы! Умер. Давно. Если вы имеете в виду Иннокентия, то это его дальний родственник.

— Надо бы с ним разобраться, — ответил Дудко. — Не дай бог, немец узнает, кого он собрался снимать.

— Внука героя войны.

— Это для вас он герой. А для немцев? Ничего, как-нибудь разберёмся! Жду ваш отчёт и конкретные предложения по фильму.

— Сделаем, — ответил Пряхин. — Был бы толк.

— Будет, — уверенно заявил Дудко. — Нам надо привлечь серьёзных инвесторов, составить бизнес-план. Я здесь кое-что набросал и даже уже кое с кем переговорил.

— Можно ознакомиться? — попросил Пряхин.

— Зачем? Скажу одно, там, — Дудко показал на потолок, — серьёзно заинтересовались люди, у которых есть деньги.

— Ясно, — протянул Пряхин. — Моё дело писать адреса.

— Не совсем. Я прочёл ваш сценарий. Пришлось кое-что поправить. Дадут деньги — будем снимать.

— Разрешите идти! — пристукнув каблуками, сказал Пряхин.

— Пожалуйста, — каким-то вялым, ватным голосом ответил Дудко. — Но учтите, — Арсений Петрович поднял вверх палец, — в бизнесе друзей и покровителей нет. Есть партнёры, с ними надо советоваться.

— Я могу быть свободен?

— Пока что, да!

Наталья Владимировна быстрым взглядом посмотрела на вышедшего от Дудко Пряхина, попыталась одобряюще улыбнуться, но мгновенно поняла, что разговора не получилось, и тогда она, кивнув глазами на закрывшуюся дверь, сморщила нос и по-детски махнула перед собой ладошками, мол, не надо огорчаться, всё обойдётся.

Григорий улыбнулся, показывая, что понимает и разделяет её чувства. Надевая куртку, он посмотрел на мишкину мордашу, ему почудилось, что косолапый прощается с ним.

Через некоторое время Королёва пригласила Пряхина к себе. Она протянула ему папку, сказав, что ознакомилась с расчётами, и попросила, чтобы Григорий сделал свои предложения по бизнес-плану.

— Жанна Андреевна, я постараюсь сделать это как можно быстрее, — Пряхин сделал паузу, ему не хотелось рассказывать о том неприятном для него разговоре с Дудко. Королёва всё поняла.

— Договорились, — сказала она. — Я не люблю, когда кто-то вмешивается в мои дела. Не пойму, чего ему не хватает? Боится не успеть или прозевать, — поморщившись, добавила она. И, вздохнув, улыбнулась: — Григорий Ильич, да вы не расстраивайтесь. Сейчас всё равно зима, туристы, что медведи в берлогах, — спят. К весне должно многое проясниться и сложиться. Губернатор двумя руками за этот проект, но просил подождать.

В начале мая Наталья Владимировна спустилась в монтажную и сказала Пряхину, что Арсений Петрович поручил передать, чтобы Григорий на выходные съездил на аэродром в Тушино. Она сообщила, что там при поддержке и покровительстве Королёва депутатское объединение «Авиация и космонавтика» к дню Победы будет проводить фестиваль «Крылья России».

— Надо написать о празднике и переслать материал в Нукутск, — добавила она.

— Хорошо, я съезжу, — сказал Пряхин.

— Говорят, будут известные исполнители, прыжки с парашютом, полёты на каких-то планерах, — сказала она. И тут же совсем по-детски попросила: — А можно мне поехать с вами?

— Я даже не мечтал побывать на этом аэродроме, — засмеялся Пряхин. — Рассказывают, что там принимал парады Сталин. Давайте примем парад и мы.

— А ещё там располагался лагерь Тушинский Вор, так прозвали Лжедмитрия современники, — добавила Наталья Владимировна.

— Вот так-то! — удивился Пряхин. — Историческое место.

— Так я же заканчивала исторический факультет. И одно время преподавала историю, — засмеялась Наталья Владимировна.

— Тем приятнее сходить туда вместе с вами. Значит, завтра в десять, метро «Тушинская».

— Я живу недалеко, в пяти минутах, — торопливо ответила Наталья Владимировна. — И, если можно, называйте меня Натальей, Наташей, как вам будет удобно. Мне кажется, до Владимировны я ещё не доросла.

— Договорились, — быстро согласился Пряхин. — Если позволите, то буду вас называть Натальей Любимовной. — И тут же сам покраснел от сказанного. «Уж лучше бы промолчал!» — выругал он себя. Но по Натальиному лицу он понял, что она услышала и по-своему оценила его шутку.

— Хорошо, пусть будет так, — просто и весело согласилась она.

Утром он не сразу узнал её среди вывалившейся из вагонов толпы. Светлая, весенняя, во всём белом, в обтяжку брюки, лёгкая шёлковая кофточка, которая не прятала, а наоборот, подчёркивала её фигурку, через плечо коричневая кожаная сумка, в руках летний от солнца зонтик. Пряхин даже застыл — она ли это? Да, это была она, подошла и сама, не спрашивая на то разрешения, поцеловала его в щёку. Здесь, среди множества совсем незнакомых людей, они почувствовали себя близкими людьми, как бы выброшенными на необитаемый остров. Так же, не спрашивая, она по-хозяйски, точно делала это уже не в первый раз, взяла его под руку, и он, повинувшись неожиданному и приятному чувству, пошёл за ней туда, куда шли все, — к выходу.

— Королёва вместе с Румпелем улетела в Нукутск, — сообщила Наталья. — А то она бы обязательно была здесь. Эрик Петрович является спонсором этого мероприятия.

День выдался на загляденье тёплый, тихий, солнечный. Они прошли через установленные на входе металлоискатели и очутились на лётном поле. Перед самым входом Пряхин увидел бьющих в барабаны, одетых в оранжево-жёлтые с бордовыми складками одежды тибетских монахов. Головы у них были выбриты, рубашки — без рукавов.

— Мне в Непале рассказывали, что монахи обладают удивительными способностями, — сказал Пряхин. — Например, они могут при помощи своего тела высушивать холодные

мокрые простыни и одежду, без всяких видимых усилий подниматься в воздух и многое другое. Всё, что мы считаем существующим в реальности, они объясняют сознанием. Ещё они утверждают, что Вселенная имеет не только материальную, но и духовную природу.

— Ну и что! Вот Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, — сказала Наталья. — А после ходил по водам.

— Так это же Иисус Христос! Но, как сказано в Евангелие, «бесполезно быть с Христом тому, кто не принял к нему верой».

Наталья Владимировна удивлённо глянула на Григория.

— Был у меня случай. Садилась мы в Старой Юхте, — начал рассказывать Пряхин. — На посадке вертолёт поднял снег, и я потерял пространственное положение. Могло всё закончиться плохо, но тут Господь оставил на земле для меня травинку. И она спасла нас. Потом мы всем экипажем сходили в церковь и поставили свечи. Даже Цырен Цыренович, мой бортмеханик. А он из этих, — Пряхин кивнул на сидящих музыкантов, — кажется, даже не крещёный.

— Посмотри, посмотри на их руки! — неожиданно сказала она. — Мне они напоминают движения многорукого Шивы.

— Это у них отработано. Машут, как лопастями, — засмеялся Пряхин.

Миновав монахов, они прошли мимо ряженого медведя, который раздавал прохожим рекламные буклеты. Из автобуса вышли и направились строем курсанты авиационного училища. По всей вероятности, они должны были участвовать в праздничной программе. Пряхин пожалел, что его родное Кременчугское училище находилось теперь в другой стране. На лётном поле одиноко, с ободранным хвостом стоял Ил-14, рядом с ним в высокой траве притулился вертолёт, чуть поодаль Ан-26 — всё, что осталось от некогда знаменитого аэродрома Тушино, ставшего не менее знаменитой концертной площадкой Первопрестольной. Вокруг сцены уже сидели на траве многочисленные зрители. Играла музыка, тут же готовились к выступлениям артисты, дымили шашлычные, разворачивали свои торговые палатки продавцы.

Пряхин с Натальей походили по полю, затем взяли кофе и присели под огромный красный зонтик. Пахло весной, свежей травой и пьянящим запахом распутившейся черёмухи. Григорий вспомнил, как Наталья сказала, что здесь, в Тушино, на этом поле несколько веков назад табором стоял Самозванец. Сюда к нему стекались недовольные Шуйским казаки, подходили отряды поляков. Сигизмунд мечтал надеть на голову своего сына Владислава корону русских царей. А незадолго до этого казачья ватага под командой Ермака уже пересекла Каменный пояс и, преодолевая сопротивление хана Кучума, под парусами и вёслами, без мобильных телефонов и компасов, по сибирским рекам пошла навстречу солнцу, отстраивая по пути остроги и зимовья. И, как в казачьей песне, начала прирастать Россиюшка Сибирью, а не бежать обратно за столичными калачами и огнями в Первопрестольную. В жизни ничего не бывает лишнего и случайного. Здесь, посреди каменных улиц и домов, как сотню лет назад, оставался заросший травой кусок нетронутого поля. Здесь, как тысячу лет назад, цвели одуванчики, каждую весну пробивались на свет чертополох, подорожник, клевер и татарник. Григорий уже знал, что очень скоро на этой низине построят каменные дома и тушинский аймак будет очередным районом, и станут здесь табором не вольные, свободные казаки, а такие же, как и он, понаехавшие в Москву люди, которые с удовольствием загонят себя в бетонные клетки, сядут к телевизорам, компьютерам и будут требовать от властей хлеба и зрелищ. Закон спроса и предложения никто не отменял и не отменит. Зрелище должно быть наполнено, его будут откусывать, как пирожное, и потягивать, как пиво. И какое дело всем до величайшей Смуты, поразившей в самое сердце русскую государственность. И уже новая поросль будет ходить по магазинам, больницам, ругаться в очередях, хаять существующие порядки и хранить в своих карманах связки ключей от всех замков и дверей, от самих себя. Что изменилось за эти столетия? Вместо живых коней стоят на привязи у подъездов лакированные, воняющие бензином железные «кони». И попробуй притронься к ним, хозяева будут биться за них, не жалея своих сил. Пряхин улыбнулся. Слава Богу, что рядом с ним сидит не Марина

Мнишек, а Наталья Владимировна. И пришли они сюда, на это поле на своих двоих. Глядя на неё, Григорий размышлял, для чего и зачем они здесь? Если в этом мире нет ничего случайного, значит, надо принять то, что происходит или произойдёт, с той неизбежностью и повторяемостью, которая происходит в нашей жизни. Что придаёт смысл всему, что происходило и происходит вокруг него, да и в нём самом. Он смотрел на её лицо, на полураскрытые подвижные губы. Говорят, что женщину выдают губы, глаза можно закрыть очками, губы не закроешь. У Натальи они жили своей жизнью, расплывались в улыбке, когда она ловила взгляд Пряхина, вытягивались вперёд, как у ребёнка, когда мимо них строем проходили курсанты, и раскрывались лепестком, обнажая белые зубы, когда она, задрав голову, смотрела вверх, наблюдая, как над полем, высматривая добычу, делаая плавные круги, парил копчик. Он знал, что там, где собирается много людей, будет чем поживиться.

— Скоро это поле обнесут забором, — сказала Наталья. — Говорят, здесь построят стадион и новый микрорайон.

— Уже и тайгу обносят изгородью, — ответил Пряхин. — Будут сдавать в аренду немцам и китайцам. Или просто отдадут не за понюх.

— И ничего не останется тем, кто будет после нас, — вздохнула Наталья.

Пряхин вспомнил свою прежнюю лётную жизнь. Она пронеслась в один миг, без светофоров, толчеи в метро, автомобильных пробок, бетона, асфальта, указателей на перекрёстках, без аптек и афиш, лопасти над головой, отсчитывая секунды, складывали их в часы и недели, и тогда казалось, нет им износа. Но всё закончилось быстро и неожиданно. И в той жизни не было ряженных, всё было настоящим — и медведи, и люди. И был в ней ещё особый смысл, без которого он не находил себе места и применения в Белокаменной, куда стремятся тысячи и тысячи людей со всей России.

Вскоре над аэродромом загремел металлический командный голос ведущего, и праздник начался.

Откуда-то сбоку донёсся звук приближающегося самолёта. Пряхин отыскал тёмно-зелёный крестообразный профиль Ан-2, от которого вскоре начали отделяться крохотные точки.

— Смотри, смотри! — громко крикнул он. — Парашютисты!

Стремительно падающие тёмные точки выкинули разноцветные купола и начали свой неторопливый кругообразный ход по синему небу.

А через полчаса, уже со взлётно поля, в небо поднялся парашютист.

Быстро допив кофе, они пошли к тому месту, откуда взлетело это чудное, летающее на капроновом парашютном крыле приспособление. Сделав круг над Тушино, парашютист приземлился неподалеку от них. Григорий с Натальей подошли к планеристу, и тут Пряхина ждала приятная неожиданность: пилотом на парашюте оказался сын Цырена Цыреновича Торонова — Веллингтон. И он узнал Пряхина, протянул руку.

— Григорий Ильич, вот так встреча! Не ожидал!

— И я не ожидал, — удивлённо подал руку Пряхин. — Но мне твой батя Цырен Цыренович про тебя рассказывал. Говорил, что ты чемпион и летаешь по всему миру.

— Какой там... — махнул рукой Торонов. — Но несколько раз довелось. Вот что, пока не слетаете со мной, я вас не отпущу, — сказал Веллингтон поглядывая почему-то на Наталью.

— Я согласна, — тут же ответила она.

— Ну, ты поперёд батьки в небо не лезь, — наставительно сказал Пряхин. — Сколько стоит такая прогулка?

— Я вас, командир, подниму бесплатно, — ответил Веллингтон.

И вот, после короткого разбега, Пряхин уже сверху смотрел на крошечные дома Москвы, на запруженные автомобилями дороги, на ровную зелень парков, на стальной блеск реки Сходни. Под ногами качалась бездна, Веллингтон кренил парашютист, делал крутые развороты, ветер рвал волосы, тугий воздух бил в лицо, норовил залезть под куртку, лизнуть грудь, всё было, как и при полёте на вертолёте, но не было защитной оболочки. При-

землились они по-самолётному, пробежали немного по траве и остановились. Купол погас и обессиленно свалился на землю.

— С крещением! — сказал Веллингтон.

— А теперь моя очередь! — сказала подбежавшая к ним Наталья. — Я хочу понять, как поднимаются над землёй тибетские монахи.

Григорий не ожидал от неё такой смелости и настойчивости. Уже вдвоём с Тороновым они привязали её к креслу, Наталья молча смотрела на Григория, бледная и сосредоточенная, видимо, читала про себя молитву. Веллингтон уселся на своё пилотское кресло, которое располагалось прямо за спиной Натальи, но чуть выше.

Вновь за спиной у Веллингтона загудел вентилятор, пробежав по полю, парашютист поднял на стропах парашют и, оторвавшись от земли, понёс Наталью от Пряхина куда-то в небеса. И только тут Пряхин разглядел, что на аэродром надвигается гроза. Чернея своим вислым брюхом, она, увеличиваясь на глазах, быстро ползла в сторону Тушино. Пряхин с тревогой начал следить за куполом парашюта, углядывая под ним висевшую белую фигуру, она, как живая капля, по огромной дуге отклонялась то в одну, то в другую сторону. Сделав пологий пролёт, прямо перед чёрной пастью грозы, Торонов со снижением начал заходить на посадку. Приземлилась Наталья всё такая же бледная, но счастливая. Григорий помог ей отстегнуть ремни, она, неожиданно для него, бросилась к Веллингтону, расцеловала его, затем обернулась к Пряхину.

— Я слетала! — только и смогла вымолвить она. — Я смогла!

— Всё, сегодня шабаш, — сказал Торонов, складывая своё нехитрое хозяйство. — А вам посоветую бежать в укрытие. Сейчас ударит такой дождь, Боже упаси!

— Кажется, действительно, на сегодня всё, праздник заканчивается, — согласился Пряхин.

Он увидел, что продавцы быстро сворачивают палатки, а все зрители толпой побежали к выходу с аэродрома, стараясь до дождя успеть спрятаться в метро. Пряхин схватил Наталью за руку, и они бросились за бегущими с аэродрома людьми. Бежали быстро, но не успели. Внезапно сверху, без всякой подготовки, на них будто вылили из ведра. Хорошо, что Наталья взяла с собой зонтик. Но и он не помог, укрыться или даже спрятаться под ним двоим на бегу было невозможно. Попасть в метро тоже оказалось непросто, толпа лезла к дверям буквально через головы.

— Вот что, Григорий Ильич, прошу за мной! — неожиданно скомандовала Наталья. — В метро не обсохнешь. А воспаление схватить можно.

— А может, куда-нибудь в кафе? — закрутил головой Пряхин.

— Там не сушат, — засмеялась Наталья. — Там людей шелушат.

Она не договорила и, схватив за руку, потянула его прочь от входа в метро. И они побежали через мутные потоки по весенним лужам, уже не выбирая дороги; тому, кто промок до нитки, вода уже не помеха. Пряхин чувствовал, как к коленям липнут промокшие брюки и бухает прямо у горла сердце. Давненько он так не бегал. Давненько!

Жила она действительно недалеко. Они забежали в подъезд, поднялись на третий этаж. Наталья достала из сумочки связку ключей, открыла дверь.

— Вот здесь я живу. Вернее, снимаю комнату, — сказала Наталья, сбрасывая мокрые туфли.

— Сколько берут? — поинтересовался Пряхин, оглядывая комнату.

— Ой, не спрашивайте! Но по московским меркам недорого. Жанна Андреевна мне приплачивает. Так что жить можно. Быстро раздевайтесь. А я поставлю чай, — и, улыбнувшись, добавила: — Ну, чего раздумываете? Это тибетские монахи могут сушить одежду своим телом. А мы ещё не научились.

Пряхин зашёл в ванную, присел на краешек стиральной машины. Ещё полчаса назад он не мог себе представить, что окажется здесь, в этой крохотной ванне и будет смотреть на себя в чужое зеркало и чувствовать за спиной свисающие с вешалки махровые полотенца. Даже по этим вещам можно было составить представление о привычках человека, обладающего ими. Наталья была аккуратна, на полочке под зеркалом стояли флаконы с

дезодорантами, зубными щётками, духами, одеколонами, массажными щётками и другими дамскими принадлежностями. Здесь витал особый запах, присущий только женщинам, — мир, который приоткрывают самым близким людям.

За дверью раздался голос Натальи:

— Григорий Ильич, возьмите полотенце. И халат. Извините, но у меня нет мужского.

Пряхин открыл защёлку, в образовавшуюся щель влезло белое полотенце и зелёный махровый халат.

Пряхин взял полотенце, разделся и, включив кран, стал принимать душ.

— Григорий Ильич, выходите, — вновь напомнила о себе Наталья. — Теперь моя очередь.

— Лечу, лечу! — откашлялся Пряхин.

— Я включила чайник.

Выходя из ванной, Григорий в узком коридорчике натолкнулся на ожидавшую Наталью и ненароком, как медведь, коснулся её груди. Она испуганно снизу вверх глянула на него, он извиняюще улыбнулся, показывая, мол, не виноват, скорее всего, виноваты проектировщики, которые слепили такие узкие коридоры, в них не разойтись, не разъехаться. Она, вздохнув, моргнула глазами, поправила мокрые от дождя волосы и сделала движение в полуоткрытую дверь. И вновь натолкнулась на Пряхина, он, неожиданно для самого себя, преградил ей дорогу, ему уже не хотелось всё сваливать на строителей, полёт в кабине вертолёт под оболочкой обеспечивает определённую защищённость, на парашуте же всё было напрямую с природой, и от неё как известно, не уйдёшь. Он, запустив пальцы в мокрые волосы, положил руку ей на плечо и потянул к себе. Она закрыла глаза и, выгнувшись всем телом, мягкими податливыми губами ответно потянулась к Григорию. На кухне, пытаясь остановить их, засвистел чайник. Но им было не до него, вновь, как и на лёгком поле, над головой щёлкнул, но уже не раскрывшийся парашют, а обыкновенный коридорный выключатель...

На другой день по дороге на работу Пряхин купил букет подснежников. Прежде чем спуститься в монтажку, он зашёл в приёмную к Наталье и протянул ей цветы. Она как-то странно посмотрела на него, на цветы, и вдруг по её щекам побежали слёзы.

— Что? Что произошло? — быстро спросил Григорий.

— Только что по телевизору сообщили, что под Нукутском на вертолёте разбился Королёв, — прикрыв лицо рукой, ответила Наталья.

— Не может быть! — выдохнул Пряхин. — Возможно, ошибка!

— Нет, — сквозь слёзы тихо ответила Наталья. — Жанна Андреевна позвонила рано утром. Она там, уехала на праздники.

Пряхин тут же из приёмной позвонил Цырену Торонову. Тот уже знал о катастрофе, сказал, что вертолёт разбился ночью, пытаясь взлететь с подобранной площадки.

— Они охотились на медведя, — сообщил Торонов. — Мишка лапой провёл по брюху вертолёт.

— Какой лапой, по какому брюху! — не понял Пряхин.

— Медведь оказался сороковым.

— Каким, каким?

— Роковым. Так говорят.

— Ты перестань нести ахинею! — крикнул Пряхин. — Говори дело!

— А дело всё в том, командир, что наши власти наложили в штаны. Выворачиваются и врут. На всех каналах утверждают — был плановый облёт территории. Сначала завалили мишку, а потом решили оттаргать на базу. Но на лебедке, ты помнишь, можно поднять не больше двух человек. Это сто шестьдесят кило. Туша могла потянуть на все четыреста.

«Если бы её потащили на подвеске и, допустим, она зацепилась за сухостой, то её можно было сбросить, — начал лихорадочно соображать Пряхин. — С лебедки не сбросишь...»

— Летящий с губернатором шеф-пилот раньше вообще не летал на этом типе, — добавил Торонов. — Насколько мне известно, до этого он служил у вояк. Потом его, как и многих, отправили в отстой.

Пряхин мысленно начал перебирать, кто ещё мог быть в вертолёте с губернатором. Кеша? Сугатова? Румпель? Может, кто-то ещё из знакомых? Для кого медведь оказался сороковым? Уж точно не для губернатора. Скорее всего, для такого дела наняли или уговорили опытного охотника. Возможно, что им оказался родственник Цырена — Бато Торонов.

И неожиданно Григорий встретился с глазами Натальи. Она смотрела на него теми же глазами, как и та больная, к которой они прилетали по санитарному заданию на вертолёте. Смотрела с той надеждой и верой в чудо, с какой вглядываются в лица взрослых дети; а вдруг то, о чём говорили по телевизору, — неправда, просто какое-то недоразумение, и он, Пряхин, скажет об этом, поскольку только что говорил с верным человеком и узнал от него те подробности, которые могут дать хоть какую-то надежду.

— Какая-то мистика, — откашлявшись и отводя глаза, сказал Григорий. — Сороковой — роковой!

Из кабинета вышел растерянный Дудко.

— Слышали, какая беда! Вот это кино! Как же они так неосторожно...

Пряхин молчал.

— Машиной управлял первоклассный лётчик. Я вас спрашиваю, вы же профессионал, как такое могло случиться?

— Лучший врач — практикующий врач, — хмуро ответил Пряхин. Его покорило тон, с каким пытался заговорить с ним Арсений Петрович. — Лучший лётчик тот, который каждый день поднимается в воздух. Всё будет хорошо, если у него над душой не стоит командующий, шеф протокола или другой чиновник.

— Вы имеете в виду смоленскую трагедию?

— Не только! Лебеда, сахалинского губернатора, охотников на снежных баранов на Алтае. Бараны были не только в горах, но и в кабинах вертолётных.

— Вы здесь не занимайтесь демагогией, — фальцетом выкрикнул Дудко. — Здесь нужны факты!

— Факты, вон они! — Пряхин ткнул пальцем в телевизор.

— Чего вы мне тычете! — перебил его Дудко. — Я вас спрашиваю прежде всего как специалиста!

— В таких делах я не специалист. Я не был в кабине. Для вертолётчика работа с губернатором была не повседневной, а разовой. Слетал туда-сюда, и жди следующего раза. Я слышал, недавно в Нукутск привезли канадскую машину. Компактная, удобная игрушка. Это не привычная «восьмёрка», на которой летал шеф-пилот губернатора. Он попробовал машину и ничего необычного в ней не нашёл. И, взяв на борт губернатора, полетел в тайгу. Охотоведы выследили медведя и ждали главного охотника. Остальных деталей я не знаю. Сейчас, как это бывает, сами погибшие не могут ни опровергнуть, ни подтвердить, что на самом деле произошло.

— Там произошёл теракт!

— Как только что вы сказали, нужны факты, — заметил Пряхин. — Они у вас есть?

— Всё, можете быть свободны, — махнул рукой Дудко. — Теперь мы все будем свободны.

Через некоторое время после похорон Королёва попросила Пряхина о встрече. Григорий поразился переменой, произошедшей с Жанной Андреевной: опухшее лицо, под глазами тёмные круги. Пряхин понял, она была потрясена, и любое неосторожное слово, догадка могли больно ранить её.

— Все мне врут! — плача начала она. — Все, абсолютно все! Кого ни спрошу, что же там произошло, прячут глаза. Бормочут: «Не повезло, ошибка пилота, человеческий фактор». А ещё день назад многие мечтали прилипнуть, поехать с ним на охоту, сесть в один вертолёт, а потом, по всем коридорам: «Губернатор — мой кореш!» Скажите, а может, всё-таки был теракт? — неожиданно спросила Королёва.

— Кому он мешал?

— Он мешал многим. Своим положением, характером, он стал закручивать гайки.

— Это ещё не повод.

— Сейчас убивают за бутылку водки, — махнула рукой Королёва.

Пряхин решил не говорить то, что думает на самом деле. Он понимал, что в таком состоянии она не способна воспринимать сказанное.

— Вы знаете, полёт с VIP-персоной — особый случай, — мягко сказал он. — Бывало, мы меж собой говорили: полёт с начальством на борту — это всё равно, что полёт под наркозом. Бывало, сидишь, смотришь на приборы, а в них вместо стрелок видишь важное и часто насупленное, строгое лицо. Попробуй тут, собери стрелки в кучу.

— Какую кучу? — переспросила Королёва.

— Да это я не для вас. Для себя, — вздохнув, ответил Пряхин. — Куча мала, спать не дала. Да!

— Понятно. В переводе на русский, смотришь в книгу, видишь фигу, — Королёва вытерла платком слёзы и спокойным, отстранённым голосом сказала: — Ребята-охотоведы, которые остались на земле, сказали, что перед тем как сесть в вертолёт, он нарвал букет подснежников. Хотел меня порадовать. Вот, порадовал.

Пряхин вспомнил, Кеша Намоконов говорил, что в приёмной Королёва, где всегда толпился народ, губернатор без очереди принимал его — Намоконова.

— Я приносил и показывал ему новые патроны, рассказывал, где обнаружил берлоги и лёжки изюбрей, — хвастал Кеша.

«Вот уж действительно: охота пуше неволи», — думал Пряхин, пытаясь понять и решить для себя, что бы сделал он, очутившись в кабине того вертолёта. А ведь такое могло произойти! Но в дело вмешался случай, и фамилия у того случая была вполне определённой — Дудко.

— Что он сделал плохого? — спросила Королёва.

«Ничего плохого он не сделал. Но и хорошего не успел, — подумал Пряхин. — Он прибыл в Нукутск как на сафари». Конечно, губернатор пытался вникнуть в дела и заботы края, много ездил, встречался с людьми, но, чтобы адаптироваться, вжиться, нужно было время. К сожалению, судьба ему такой возможности не дала. Ушёл сам и вместе с собой забрал ещё троих, хотя первоначально сообщалось о пяти погибших. За пятого пассажира, скорее всего, приняли обгоревшую тушу медведя, которую приехавшие спасатели пытались оттащить в сторону.

Пряхин хотел было повторить Королёвой то, что когда-то говорил на телевидении Анне Шнайдер. Но зачем? Жанна Андреевна слышала это, но ничего не запомнила. К чему помнить то, что произошло с другими? Зачем ей знать и напоминать о том, что говорил и делал генерал Лебедь? Григорий мог бы вспомнить, как на охоте за горными архарами на Алтае погиб ещё один «краснокнижный» охотник из Москвы. Желая угодить VIP-персоне, командир вертолёта посадил на место второго пилота женщину. Следствием было установлено, что во время стрельбы по баранам вертолёт лопастью зацепил склон. У тех, кто по долгу службы расследовал это происшествие, не нашлось слов в оправдание — экипажем было нарушено всё, что только можно было нарушить.

Но вряд ли Королёва сейчас могла это услышать. Любую боль лечит время. Слова, даже самые правдивые, — слабое лекарство. Что толку вызывать к глядящим с необъяснимой высоты звёздам, напоминать о нравственном законе, который, по словам Канта и Румпеля, есть и должен быть в каждом из нас. Большая и Малая Медведицы ничего подсказать не могли, но они видели и знают, что было и что будет дальше.



ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА



Свет и печаль на твоей остановке...

Давнишнее

Как утомительны дожди!
Они посеяли привычку
к плащам и отсыревшим спичкам,
к тому, что лето позади.
К катарам, астме и хандре,
к тому, что пол заслужен вечно...
Как всё же лето быстротечно на Ангаре!
Традиционное кино —
да нынче скучно на экранах,
и снова тупо, беспрестанно
бормочет дождь...
Ах, всё равно:
пора домой и свет зажечь,
и собеседника придумать,

с каким легко молчать и думать,
и что-то давнее беречь.
И в ожидание перемен
читать да у камина греться.
Но, боже мой, куда мне деться
от неуютя этих стен?
Мой собеседник, странный друг!
Ты даже не предполагаешь,
что здесь со мною разделяешь
мой быт, мой хлеб и мой досуг.
И, пересиливая жуть,
я выхожу в сырую полночь,
не то чтоб о себе напомнить —
на свет в окне твоём взглянуть.

СУРОВЦЕВА Татьяна Николаевна, поэт. Родилась в 1946 г. на руднике Хапчеранга Читинской области. Окончила библиотечное отделение Иркутского культпросветучилища, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Изданные книги: «Остров веры» (Иркутск, 1982), «Северная песня» (М., 1985), «Крыло судьбы» (Иркутск, 1988), «Снежные птицы» (издательство «Письмена», 1999), «Стихи» (Иркутск, 2007), Мари-Луиза Вэр «Чудесные сказки» / перев. с фр. Т. Суровцевой (2010). За книгу стихов и переводов «Снежные птицы» в 2000 г. награждена Губернаторской премией. Член Союза писателей России.

* * *

Под ветром сохнувшие травы,	Что синева неугасима
Леса, грозящие сгореть...	И притягательна как встарь,
Весенней сухости отравы	Что слово мягкое <i>Россия</i>
Уравновесит жизнь и смерть.	Как неотрывный календарь,
В такие ночи солнце снится.	В котором даты и знаменья
А дни проходят как во сне.	Издrevле пахарю ясны,
Лишь беспокойная синица	Земля черна, полна терпенья,
Всё ищет песню о весне.	И реки полны глубины.
Потом, потом, в конце сезона	Земля как мать — обид не вспомнит,
С души спадает пелена	И снова серпень золотой
И замечаешь удивлённо,	Дом человечества наполнит
Что жизнь по-прежнему красна,	Давно желанной суеюй.

Облепиха

Тучи блуждают по синему пастбищу неба.
Воздух впоен тишиною на всю высоту...
В листьях гнездится предчувствие ветра и снега,
И поглупевшие бабочки, кажется, спят на лету.
Ветки тугие склонили к земле облепиха —
Рыжая дева в объятьях сибирских садов.
Каждую веточку плотным венцом облепила
Дерзкая ягода — поздняя наша любовь.
Льётся и льётся прощальная музыка лета...
Плавится ягода, солнцем пробита насквозь.
Выйди, любимый! Нас ждёт золотая карета.
В каменном городе сердце своё не морозь.
Нет, не заменят нам вздорные телевиденья
Животворящего духа земли и травы:
Вытравят память, лишат изумрудного зренья,
Дайте им волю — оставят и без головы!
Выйди, замри и прислушайся так, на пороге:
Чайки, причудливо рея, летят на Байкал.
Стебли травы оплетут нам усталые ноги...
В землю вращём мы, как эти берёзы у скал.

Лето господне (2001–е)

Не кончается позднее лето:	И, наверное, чуточку пьян
День теплом незаконным дарит...	Добрый житель страны незаконной,
Пробираясь сквозь морок рассвета,	Где пора бы нам сгинуть давно,
Солнце дикой гвоздикой горит.	Но для нас этот кубок бездонный,
Пьют туман огнелистые клёны,	Это позднего лета вино.
Искры сыплются с тонких берёз,	Воздух тёпл, как творения глина —
И плывут по реке изумлённой	Так и хочется мир воссоздать
Купола, золотые насквозь!	Совершенным!..
В друзах инея вспыхнула зелень,	Вот чудо — рябина,
И разнежился грубый бурьян...	И поёт упоительно Нина —
Ах, какое в природе везенье!	Каждый звук — благодать, благодать!

Журавли

Над горькою окалиной земли
На благовест летели журавли.
Над мокрыми развалинами снега,
Над кладбищем истерзанной тайги —
Им дал Господь шестое чувство неба
На долгий путь средь ночи и пурги.
Летели длиннокрылые, летели,
В фарфоровые дудочки дудели,
Прозрачно, переливчато звеня,
И на балкон вдруг вызвали меня!
Их вёл вожак, родному небу рад,
Стремительно снижаясь на закат:
В Сибири нам не до весенних нег,
Но на болотах стаю ждал ночлег.
И рассиялось солнце на закате,
И на сугробах вербы расцвели —
Как будто мир преодолел заклятье,

Когда в Сибирь вернулись журавли.
Вам встретить грудью холода и вьюги,
Но вы забыли о беспечном юге,
Родные птицы, вы примчались к нам,
К растерянным в ненастье городам.
И к деревням, заброшенным и жалким —
Обитатели калек и стариков,
Вернувшихся опять к сохе и прялке...
Не греет нищих обветшалый кров,
Но слышались вдали колокола,
Пока шумели сильные крыла!
Я нежной песни слушала мотив —
Как все, как все, кто в этом мире жив.
Кто молится на ясный образ неба,
Взгляд отрывая от земли и хлеба...
Мне слышался России чудный зов
Под благовест живых колоколов.

Светлый воздух родины моей

Над родной состарившейся крышею...
Ближе к солнцу горная возвышенность,
Ближе к сердцу — сущее на ней:
Синий день над чернью зимних гор,
Стать сосны и скал архитектура.
Древний мох — обветренная шкура...
Веком неизранный простор!
Ветер сух, и в лёгких от него —
Мириады ледяных иголок,
И не больно мне от их уколов,
И не страшно в ночь под Рождество,
В час луны, и звонкий, и немой,

На тропе, где сходятся туманы
К водопою, к речке Безымянной,
Безымянной сделаться самой...
Но — уносит поезд и меня
В даль судьбы, уже определённой...
Будь же счастлив, мир ты мой зелёный!
Дай мне гроздь закатного огня,
Горькой смолки светлую слезу,
Горстку игл да камушек замшелый
С той тропы, где я однажды пела
Душной ночью,
в августе, в грозу!

Мне славно жилось той зимою

Два светло-холодных окна,
Метель голосит за стеною,
Колышется снега стена,
Прносятся снежные птицы
И снежную песню поют,
Летят ледяные зарницы,
И дымные тени снуют.
И в этом метельном мельканье
С любимой книгой в руке
Я, как в штормовом океане,
Жила на своем островке.
И в этом мельканье метельном
Под мягко светящийся снег
Душою моей безраздельно

Владел девятнадцатый век.
И, словно педаль клавикордов,
Скрипела замёрзшая дверь...
Я воду носила, и в ведрах
Плескалась живая форель!
При солнце, что ярче малины,
При ветре, студёном как лёд,
Мне снилось:
Княгиня Мария
Навстречу метели идёт.
Идёт, предвещая денницу,
Навстречу судьбе и молве,
И пушкинский стих, словно птицу,
Под шубкой несёт, в рукаве!

Прощаю всех, кто был со мною груб!

Обида в сердце — не рубец на коже.
Вот день прошёл.
Он выстрадан и прожит,
А новый день, как будто новый друг.
Прощу того, кто мне солгал не раз.
Желанье лгать — особый род болезни.
Здесь недостойна месть. Куда полезней
Лжеца дарить насмешливостью глаз.
Прощаю тех, кто около меня
Весь век живёт, меня не замечая.
Я тоже, право, в них души не чаю,
За семь печатей душу хороня.
Прощаю всех — затем, что старый друг
Ко мне придет с первой электричкой,
С весенним ливнем,
С птичьей перекличкой —
Нетерпелив его знакомый стук!
Каков ни есть: весёлый он с утра
Или угрюм — пусть встанет на пороге.
Спасибо, рельсы, улицы, дороги, —
Его душа всегда была добра!

6 июня

Томителен июнь, и сердце так болит:
Найдутся ли слова оплакивать потерю?
Сухой и жаркий ток
Прогретых солнцем плит.
Есть в этом мире смерть,
Но я в неё не верю.
Сегодня? Нет и нет.
Сегодня день звенит
И катится к ручью малиновым колечком,
И жаворонок вьёт
Серебряную нить,
И к нам благоволит
Недремлющая вечность...
Но столько лет прошло, а он не приходил,
И узкою рукой, и смуглыми перстами
Свечи не зажигал, страниц не ворошил,
В ночной певучий сад не растворял он ставень.
А десять или сто — не всё ль теперь равно?
Приравнено к нулю — горячее, живое.
Как будто бы реки вдруг обнажилось дно,
Но вертится земля
В снегах своих и в зное!
И снова занесёт её на те круги,
Где станет больше звёзд, чем солнечного света,
А в рощах полетят — пленительно легки —
Бесценные стихи лицейского Поэта.

Памяти Александра Вампилова

Свет и печаль — на твоей остановке.
Лёгкие кроны летят в вышине.
Чуждая странница —
Божья коровка —
Капелькой крови упала ко мне
На руку... Друг! Сумасшедшее время
Здесь позабыло, откуда пришло...
Друг мой таинственный!
Память — не бремя,

А обронённое в воду весло
Кружит, несётся в прозрачном теченье
Незамутнённой Реки бытия.
Мелкое всё потеряло значенье.
Суть прояснилась. Ей нет забытья.
Лесом покрыты холмистые дали,
Скошены травы, и август примят.
Вольно дышать на последнем причале!..
Веток пихтовых сух аромат.

Стихи в сентябре

Какое утро! Лёд в стакане...
Река дымит без огня.
Сегодня ль, завтра —
время ранит,
нерасторопную, меня?
И далеко ль теперь до снега?..
Но я сегодня о другом:
о том, как щедро льётся небо
на всё, текущее кругом,
на всё изменчиво-земное
живой и вечный льётся свет.

А листья цвета зла и зноя
ложатся в мой недавний след.
От повседневности украдкой
я остаюсь наедине
с осенним лёгким беспорядком,
с хрустящим полуднем;
и мне
легко — не видеть и не слышать
глухого грохота колёс
за робким шелестом над крышей —
тишайшей жалобой берёз.

* * *

Золотое сечение года —
ты, сентябрь.
И в черте городской
бродит ветер, пирует природа,
ярко блещет ночей гороскоп.
Если там, где Пространство и Время
не имеют привычных границ,
отыщу я уздечку и стремя
да пучок быстролётных зарниц,
то и мне не проблема домчаться
до моих светозарных Весов,
на которых до смерти качаться
(после смерти — в созвездии Псов).
Но не в этом для сердца отрада
в золотые, залётные дни.
Я сгорю на костре листопада —

добрым словом меня помяни
в дивном храме, где Спас синеокий
с перламутровой ясностью лба
был единственным, близким, далёким
светом детства.
И знает судьба,
сколько яда плескала мне в душу,
как, унизив, покорства ждала.
Даже в самую лютую стужу
вера тайная в сердце жила.
Так — доверчиво и удивлённо —
слушай, сердце,
мгновенья лови:
где в закате купаются клёны —
воспевают сентябрьские звоны
праздник Веры, Надежды, Любви.

* * *

Как эта улица вдруг посветлела
после недужной, недружной весны!
Выплыла яблоня облаком белым
из городской глубины.
Выросла улица, стройно-поката,
с чёрно-блестящим пробормом шоссе,
и за пятнадцать минут до заката
солнце блистает в холодной росе.
Пряная капля лиственного клея
с тоненькой ветки стекает, дрожа.
Вот я живу, ни о чём не жалея,
лишь оболщений боится душа.
Но, отрезвлённая веком безбожным,
ясно провидит всю грозную суть

жизни, летящей своим бездорожьём,
резким пунктиром отмеченный путь.
Вот я шагаю асфальтовой твердью —
Чёрною Речкой, бегущей в закат,
не помышляя о славе иль смерти,
тем лишь богата, чем каждый богат.
Вот я познала — к добру или к худу —
дружбу врагов и враждебность друзей...
Но и теперь ещё верю, как в чудо,
в необходимость высоких страстей!
Вижу, как, пламенем ясным объята,
небо в надземной горит полосе,
и за пятнадцать минут до заката
солнце блистает в холодной росе.

Остров веры

1

Этот остров лежит посредине,
Посредине небес и воды.
Балансирует солнце на льдине,
Голубые щебечут сады,
Табунятся чернильные тучи
С обжигающей зренье каймой.
Хлынет ливень стеклянный — и тут же
В небе радугой встанет двойной!
Перепутала тучу с волною
Чайка — плачет, хохочет, кружа.
Это мечет круги надо мною

Уязвлённая жизнью душа.
Друг! В печали своей утешенье —
Я не ангел — не жди от меня.
И в глазах моих отраженье
Не блаженства, но самосожженья
Беспокойно летящего дня.
Этот остров мне брошен судьбою,
Словно в море спасательный круг.
Дай мне руку, и станем с тобою
Парой чаек, холодным прибором,
Тучей, сыплющей льдинки на луг!

2

День сгорает кудрявой берестой,
Зажигая степные цветы.
До свиданья, неназванный остров
С острой зеленью возле воды!
Ни друзьям, ни врагу не открою
Чудный берег непуганых птиц:
Чётки чибисов чистой зарею,
Гнёзда, полные пёстрых яиц.
Пепел сумерек ветер рассеет
Над крутящей воронки водой.

Засыпая, безмолвствует Север,
Ни волной не всплеснёт, ни звездой.
От забот, без отрады влекомых,
От вражды, что не ставлю ни в грош,
От предательства милых знакомых,
Остров веры, меня ты спасёшь.
Ты от чёрного выстрела злобы
Моё сердце прикроешь крылом,
Дашь мне силы и радости, чтобы
Жить, не помня о горе былом.

Зелёное пламя земли!

День ливня, озона и света —	И всей-то душой трепетать,
Мне дарит короткое лето	В дворцовые вникнув интриги.
Секунды в волшебной пыли.	...Там ливни такие же шли,
Светла молодая полынь,	И травки промокшие никли,
Крапива, как злая принцесса...	И дней золоченые нити
Меня подхвати —	Сквозь сердце прозрачно текли!
И отхлынь,	Они всё текут и теперь,
Волна, уходящая в детство.	Да золота в них не осталось.
Я вынырну там — и опять	По капле скопилась усталость,
Мне явится дом у дороги,	Как яд, от незримых потерь.
Где весело с братом играть	Ах, взрослую книгу прочтя,
В индейцев, свободных, как боги.	Я тоже бы сникла, наверно,
Где за полночь можно читать	Когда б не наивная вера
Запретные «взрослые» книги	В целебную силу дождя!

Осенние полотна

Рисую осень.
Жёлтый карандаш
очиниваю тоненько и длинно.
Вот жёлтый лист.
Вот жёлтая долина,
вот жёлтый день — осенний ералаш.
Вот человек. Его не знала я,
не берегла, не называла милым.
Не задержу — пускай проходит мимо,
в осенний парк, где смех и толчея.
Уходит пусть. Ему я не судья.
Его лица затем лишь я коснулась,
чтоб жажда жить в груди его проснулась,
преодолев инертность бытия.
Пускай он входит в полутёмный зал.
Он спит душой. Глаза его спокойны.
Но — музыкой я слух его наполню!..
Он встрепенулся! Он себя узнал.
Я окроплю неприхотливый лоб
священной влагой Мысли и Страдания.
Скажу: смотри! И над громадой зданий
зажгу заката алое крыло.
Лишь прикоснись — и пальцы обожжёшь.
Не бойся же! Ожог не так опасен.
Быть может, мир ожогами прекрасен!
Где нет ожога — там предвижу ложь
да вечный страх за собственную кожу...
— Бойтесь? О, тогда не потревожу.
Мне Вас не жаль, ушедшего во тьму.
Из Ваших рук я хлеба не приму.
Ну, вот и всё. Сточился карандаш.
Не мне судить, удачна ли картина.
Теперь возьму и клином журавлиным
перечеркну осенний ералаш.

* * *

Замедленная ночь...	Как пена лунных волн.
Луна...	Всё затаило дух...
И невозможно	Без звука, без движенья
Ни бодрствовать, ни спать!	Весь мир чего-то ждёт...
Так что же делать нам?	И бледен небосклон.
Давайте будем петь,	Давайте будем петь.
Ступая осторожно,	Восславим Ожиданье,
Как в озеро Теплынь,	Терпенье и Любовь,
Как в древнерусский храм.	Печаль и Красоту.
Затоплены луной проулки	Я днём не поручусь
И проспекты,	За их существованье,
Так вольно пролегли,	Что гаснут на свету —
Так плавно расплелись...	Не терпят суеты.
А песня, что до нас	Но вот, нарушив вето,
Никем ещё не спета,	Они витают вновь
Рождает на земле	Меж сонных этажей,
Особенную жизнь,	Чтоб не забыли мы
Где нет ни горьких слёз,	О падчерице века —
Ни злого напряжения —	О собственной душе.
Есть белая сирень,	О собственной душе...

Из выступлений Татьяны Суровцевой:

Муза поэзии явилась ко мне в сиянии степного забайкальского солнца — лик ее был печален...

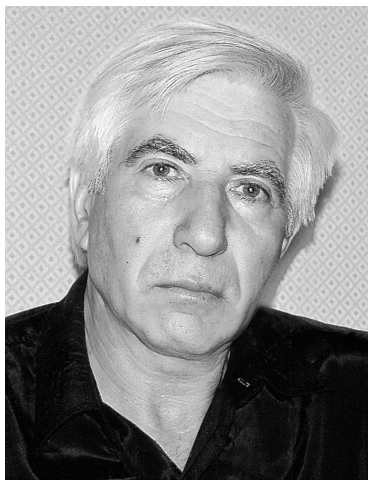
Я люблю все свои стихи, потому что ни одно не написано просто так из-за какой-то строчки...

Я знаю, что женщины пишут с любовью, трепетно. Я почти не пишу женских стихов, а вот люблю, когда женщины пишут...

Вам всем любви — поздней или какой угодно! Пожалуйста, любите всех и всё, что заслуживает нашей любви. Всё нуждается в этом, и собака, и кошка, и дети, и мужья, и дедушки, и бабушки...



ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО



Рассказы последних лет

Ваня Кругликов

Носить и ставить геодезическую четырёхметровую рейку по указке геодезиста — дело не хитрое, особых навыков не требует. Главное, устанавливай рейку строго вертикально в нужную точку и стой по стойке «смирно», пока геодезист не даст отмашку. Поэтому Ваня Кругликов, когда ему предложили эту работу, с радостью согласился. До призыва в армию оставалось полгода, всё не болтаться без дела, да и вспоможение матери будет. Некоторая настороженность возникла при оформлении пропуска в рабочую зону строгого режима. В те годы военно-врачебная комиссия требовала, чтобы вся допризывная молодёжь была острижена наголо или, сказать по-простому, на лыску, дабы видеть все шрамы на голове призывника, если таковые имелись. Начальник отдела пропусков, когда перед ним возник коренастый, наголо остриженный парень, по-детски с затаённым любопытством разглядывающий его и окружающие предметы, про себя отметил: наивен и доверчив, покрутил пропуск, посмотрел на фотографию, на Ваню, опять на фотографию, что-то под нос хмыкнул и отправил парня на инструктаж, который, по сути, сводился к одному: ни в какие контакты с заключёнными не вступать. Так Ваня Кругликов был допущен к работе в режимной зоне в должности «рабочий геодезиста». Но, как говорится, инструкция —

ЗАБЕЛЛО Василий Константинович, поэт, прозаик (род. в 1947 г. в пос. Утулик Иркутской обл.). Автор книг: *Ледостав*: стихи (Иркутск, 1984); *Семь Грехи*: стихи (М., 1988: Приложение к журналу «Молодая гвардия»); *Возвращение*: стихи (Иркутск, 1990: Стихи по кругу. Вып. 1); *И пройдут высоким строем птички стаи надо мной*: стихи (Иркутск, 1993); *Осенний пал*: стихи, рассказы (Иркутск, 2001); *Избранное*: стихи, рассказы (Иркутск, 2007); *Где родился — там сгодился*: стихи, рассказы (Иркутск, 2011) и др. Член Союза писателей России. Лауреат премии Свяителя Иннокентия Иркутского (2005), премии Губернатора Иркутской области (2007, 2013).

одно, а жизнь и работа — другое. Надо было отбить горизонты будущих зданий, котлованов, цеховых корпусов, разметить подъездные пути и множество других сооружений. На каждый день работы доставало с лихвой. Вольнонаёмных не хватало, приходилось подражать осуждённых. Для разметки к ним прикрепили двух эзков. В их задачу входило измерять рулеткой расстояния между отметками, вбивать колья, натягивать шнуры, обозначать отстрелянные теодолитом периметры строительных площадок. Эзков в рабочую зону завозили под решёткой на специально оборудованных бортовых машинах — эковозках. По окончании рабочей смены увозили обратно в жилую зону. Перед тем как загнать в эковозку, каждого тщательно обыскивали, дабы не мог пронести в жилую зону всякого рода заточки, иглы, ножи, другие запрещённые предметы, бывало, при обыске раздевали догола. Поначалу такое откровенно грубое унижение людей на Ваню производило пугающе неприятное впечатление и, как ни странно, порождало сочувственную жалость к заключённым, которые сидели на корточках и со стороны напоминали жалких затравленных кроликов с втянутыми в крыльца головами. Конвоиры краснопогонники, напротив, вызывали чувство неприязни. В четырёх метрах от заключённых стоит солдат с автоматом, у левой ноги застыла утробно порывающаяся овчарка. Ээк, что с краю, поднимается и подходит для обыска к другому солдату, после обыска — пулей в эковозку, замешкаешься — получишь по хребту дубиной от третьего конвоира — и так далее, пока всех не обыщут и не загрузят. Со временем для Вани всё стало обыденным и особого любопытства не вызывало, тем более что с помощниками-эзками приходилось бок о бок трудиться. Такие же люди, только потерянные и несчастные, с худыми землистыми лицами, переодетые в чёрно-серую казённую форму примитивного пошива. Одного звали Фёдор, другого — дядя Саша. Фёдор был на четыре года старше Вани, на вопрос: «За что посадили?» ответил: «Ни за что». «Как это? Не может быть!» — удивился Ваня. «Ещё как может, — Фёдор честно и невозмутимо посмотрел на собеседника. — Ну посуди сам. С ребятами на даче хорошо поддали, я уснул, был в отрубе, просыпаюсь — никого, лежит на полу какой-то незнакомый парень с ножом в сердце. Я к нему и подойти не успел, как менты нагрянули и повязали. И доказать ничего не смог. Так-то, Ваня, будь осторожен. Где попало и с кем попало не пей, влетишь, как я. Уже три года на этом курорте баланду хлебаю, ещё пять».

У дяди Саши срок был поменьше, рассказал, что попал за семечки. У одного казаха по дешёвке купил мешок семечек и вдвое дороже продал. За нетрудовой доход посадили. Ваня слушал, всё принимал за чистую монету, сочувствовал и возмущался, готов был для облегчения участи сотоварищам оказать любую посильную услугу. Друзья мигом раскусили, что перед ними не обкатанный деревенский «фофан», и тут же заказали плитку чая и по пачке сигарет. Вскоре завязались приятельские отношения. Федя со своей руки подарил Ване перстень с черепом, а дядя Саша — нож с наборной ручкой. Мать, увидев эковские поделки, испугалась и слёзно наказала сыну впредь никаких подарков не принимать: дескать, через это легко можно попасть в зависимость. Работа была не пыльной, по лагерным меркам блатная и кайфовая. Федя и дядя Саша упростили геодезиста сугубо запросить их до конца геодезических работ. Теперь они виделись каждый день, кроме воскресенья. Ваня по-прежнему выполнял заказы, проносил в рабочую зону чай, сигареты, съестное. Пару раз пробовал чифирнуть по-эковски, когда кружка с горячей заваркой, похожей на дёготь, передаётся по кругу: один, два раза швыркнешь, передай другому, — не понравилось, с детства, как все байкальские чалдоны, привык пить чай с молоком и постряпушками. Однажды Федя нарисовался с печальной безысходностью в глазах, отрешённо пребывая неведомо где. Ваня, глядя на него, сочувственно спросил: «Что случилось, Федя?» и дружески положил на плечо руку.

— Да вот, передали письмо. Мать пишет, тяжело заболела, навряд ли дождётся. Такие, брат, дела, — вынул из кармана вчетверо сложенный лист, протянул Ване.

На излёте был сентябрь. С Байкала напористо дул северо-западный ветер, сорванные и подхваченные им весело отшумевшие листья роились по окрайкам лесных дорог и пашен. Воробьи, сбившись в неугомонные табунки, жались ближе к жилью и сараям, по ночам, гонимые снегом, не умолкая, кричали пролётные гуси, казалось, вот-вот — и твоя

душа вырвется, закружит и полетит вслед за ними в поисках вечного пристанища. Движение — пора необъяснимой душещемительной грусти, название таит в себе глубокую древнюю тайну великого сдвига, движения. Вся перелётная птица с рыданием и плачем покидает родину, летит на зимовку в чужие края и страны. На конец сентября выпадает и церковный православный праздник: Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня. Оба названия порождены великим действием и одним корнем.

Мать Ивана, кроткая, боговерующая женщина, по церковным праздникам выезжала в город на праздничную литургию. Божественная служба проходила в единственной уцелевшей церкви, освящённой в честь Николая Угодника. Возвращалась всегда лучезарно улыбчивой, с грудой гостинцев. Ваня бежал навстречу к федеральной трассе, брал из рук мамы гостинцы, и они вместе, игриво попирая опавшую листву, шли просёлком до дома...

Почему сейчас, когда Феде зэк протянул письмо, промелькнула в сознании именно эта картина? А задумывался ли он о своих отношениях с матерью? Ваня отстранил руку и твёрдо произнёс:

— Убери, писем чужих не читаю, лучше напиши ответ, а я уж доставлю.

— Письмо-то письмом, но если б ты знал, Ванятка, жутко хочется обнять старушку, возможно, в последний раз поцеловать и прощение попросить. Сколько горя я ей принёс, если б ты знал...

— А начальника попросить, покажи письмо, сжалится, конвоиров даст. Ехать-то всего четыре часа на поезде.

— Наивный ты человек, Ванятка! Где это видано, чтоб на свиданку домой сопровождали да ещё по строгому режиму! В изолятор запихать, это у них не заржавеет. У меня к тебе другое предложение имеется.

— Погоди, вам же дают свидания.

— Да, раз в год могут и предоставить, если нет замечаний. Только где ей больной, ни сёдни-завтра помрёт. А у меня кроме неё нет никого, как и у неё — кроме меня. Но есть другой беспроектный вариант, если, конечно, ты выручишь, — и он в упор всадил взгляд в светло-синие глаза Ивана.

— Говори, — насторожился Ваня.

— Мы с тобой, Ваньша, внешне схожи достаточно. Вот я и подумал, что тебя сам Бог послал на выручку. Дело-то надёжное: я переодеваюсь в твою одежду, ты — в мою. Вместе с вольными я прохожу через проходную под твоей фамилией, получаю пропуск, бегу на вокзал и — здравствуй, мама! Ты, в свою очередь, загружаешься в эковозку, заходишь в жилую зону, на проверке отвечаешь по формуляру: называешь мою фамилию, статью, срок, и так пять дней. Главное, ни во что не вмешивайся и ничему не удивляйся. На шестой день встречаемся в рабочей зоне, и всё встаёт на свои места. Или мы не русские люди?

— А если распознают? Как-то боязно.

— Не бойсь, до субботы ещё пара дней, отрепетируем, тем более что кровать моя рядом с дяди Сашиной, чуть чего, он тебе подскажет. Да я вижу, ты и сам не из робких, да и дело святое — мать.

Иван Кругликов согласился, более того, утвердился в своём решении настолько, что был совершенно спокоен. Произошло всё так, как и предполагал Фёдор. По формуляру ответил чётко, без запинки. Едва скинул верхнюю рабочую робу, позвали на ужин. Два кусочка хлеба, миска пшённой каши без масла и мерка чая были съедены и выпиты с трудом, без ощущения какого-либо вкуса, хотя окружающие эски ели быстро, под чистую, до крошки. В бараке жили своей условной семьёй — четыре человека. Спали на кроватях в два яруса, кровать Фёдора была внизу. После ужина, шатаясь и держась за стенки, пришёл четвёртый. Десять суток изолятора сделали его похожим на швабру. Несмотря на измождённость, хриплым бесцветным голосом угрюмо иронизировал: «Вот, суки, на завтрак у них капуста с водой, на обед — капуста без воды, на ужин вода без капусты». Ваня хотел было уступить ему кровать Фёдора, но дядя Саша жестом показал не делать этого. Бедняге пришлось взбираться на второй ярус, конечно, не без помощи товарищей. Бессонницей мужики не страдали, после ужина валились на шконки замертво и спали,

как честные люди, глубоко и безмятежно. Иван же первую ночь долго не мог заснуть: непривычная обстановка, внутреннее волнение, хаотичные тревожные мысли — всё это не давало по-настоящему забыться. Последующие двое суток прошли более-менее гладко, и всё бы ничего, да на четвёртый день пребывания Вани Кругликова в колонии из рабочей зоны бежал заключённый. Стали всех тщательно перетрясать и обыскивать. Тут-то и обнаружилась подстава. Ваню повязали и привели к начальнику колонии. Полковник долго пристально разглядывал стоявшего с виновато опущенной головой новоявленного преступника и всё не мог взять в толк, что за корысть заставила простого деревенского парня решиться на такое. Наконец спросил:

— Он, что тебе — брат?

— Нет.

— Где познакомились?

— Здесь, в рабочей зоне.

— Зачем ты это сделал?

— Хотел помочь. У него мать тяжело заболела.

— Дурак! Нет у него ни отца, ни матери, он детдомовский.

— Как нет? Он письмо показывал.

— А чёрта лысого он тебе не показывал?

— Нет, не показывал, обещал через пять дней вернуться.

— А если не вернётся, пять лет за него досиживать будешь? Ты хоть понимаешь, что являешься соучастником побега?

— Так я ж за него находился, значит, никто не убежал, и потом, он всё равно вернётся.

— Что за идиотизм?! Он тебе чего-нибудь обещал?

— Нет. А мне зачем? Просто выручить просил. А вернуться обещал твёрдо.

— Вот, придурок, заладил, ладно, с тобой всё ясно. Душеполезную беседу продолжим после, а пока посиди в изоляторе. Конвойный, увести до особого.

Фёдор оказался человеком слова. Его арестовали в вагоне на подъезде к станции.

Полковнику за службу приходилось сталкиваться с происшествиями разного рода: были и воровские разборки на ножах, и вспыхнувший, как по команде, ангарский бунт 1953 года, когда обида русских заключённых вылилась в беспощадную кровопролитную ненависть к кавказцам, и побег из могилы, когда вместо мёртвого зэка присыпали живого, и многое другое. Из истории юриспруденции ещё с царских времён известны случаи, когда вместо старшего брата на каторгу шёл бездетный младший. Но там были безысходность, отчаянье, другие веские причины, а здесь совершенно непонятно: сочувствие, жалость, простое человеческое желание помочь — и статьи-то не подберёшь. На организатора побега никак не тянет, на соучастника косвенно — за сочувствие и жалость не судят. Да и сейчас он находится в изоляторе незаконно, поскольку без суда и следствия. Что это? Полковник задавал себе вопрос: подсознательная жертвенная любовь по Христу? Выходит так. Нет, на подобную выручку из чувства способен только русский человек. Ведь есть же молитва за пленённых, заблудших, заточённых в темницах и тюрьмах, ведь молятся же на богослужениях за них. В конце концов полковник распорядился привести задержанного Кругликова Ивана.

— Ну как, узнал на воде и хлебе почём фунт лиха?

— Узнал, — невнятно под ноги проговорил Иван.

— То-то же. Значит так, дело твоё остаётся открытым, передаю в следственные органы, а пока пропуск изымаем, начальник твой подписал приказ об увольнении по 47-й статье. Понятно?

— Точно так, понятно, товарищ начальник.

— Судя по ответу, изолятор пошёл на пользу. Пойдём, я тебе сейчас что-то покажу.

Вышли с тыльной стороны на крыльцо без перил. Яркое солнце слепяще ударило по глазам, Ваня зажмурился и на полные лёгкие втянул раз-другой сладковатый, насыщенный осенним Байкалом воздух, который сколько ни вдыхай, всё будет мало.

— Смотри туда, — полковник указал рукой в сторону автобусной остановки. Ваня

повернул голову и от чугунного удара под зад начищенным до блеска яловым сапогом кубарем полетел с казённого крыльца...

А между тем время неудержимо отсчитывало дни, месяцы и годы земного срока. Ваня Кругликов благополучно отслужил четыре года на эсминце «Влиятельном», домой вернулся статным и возмужавшим в чине первостатейного старшины. Обливаясь слезами радости, поседевшая мать, прижавшись к сыну, только и сказала: «Ванечка, я за тебя так молилась, так молилась, всё боялась, как бы куда ни впутался». Уже в степенном возрасте, прокручивая в памяти нечаянное знакомство с зоной, Иван рассуждал, что всё сделал правильно, и, возможно, этот поступок оказался одним из более значительных в его жизни.

Дядя Кеша

Весёлым человеком был дядя Кеша. Худошав, высок, кепка блинчиком на правую бровь свисала, воротник пальто ухарски приподнят, сапоги джимми гармошкой, верхняя губа с намёком на заячью при улыбке открывала крепкие кривые резцы, при встрече неизменно поднимал правую руку горстью и с расстояния мягким, торжественно внушительным голосом приветствовал:

— Василий! О чём задумался?

— Да думаю, дядя Кеша, как дальше жить.

— Нашёл о чём печалиться, колея покажет. Главное, не сворачивай, иди прямо и только прямо, как бычья морковка.

Любил дядя Кеша выражаться афористично. Однажды при встрече в сельпо, где зачастую и происходили нечаянные свидания селян, я спросил его обыденно и банально, как спрашивает большинство русских людей: «Как жизнь?»

— Года идут, а счастье не приходит, — был ответ, и рука артистически взлетела горстью вверх.

В другой раз, там же у сельмага, когда дядя Кеша вышел с чекушкой в кармане, его ответ был более многозначительным:

— А кто нам запретит роскошно жить? — и улыбка обнажила кривые резцы. Казалось, будь они у него прямыми, он был бы менее красив и притягателен.

Каждое поколение несёт в себе отличительные черты, свойственные только ему. Рождённые в 27–30 годах прошлого столетия, прошедшие через трудное детство, полуголодную юность, через суровые надрывные годы войны, в большинстве познавшие безотцовщину, нездоровую романтику лагерей, эти люди были удивительно жизнеспособны, добры и приветливы. В них жило неистребимое стремление к созидательной жизни, напроочь отсутствовало чувство затаённой корысти, зависти и долговременного зла. Дядя Кеша был одним из таких людей, с ним было легко и просто общаться.

Как-то сентябрьским вечером в дождевике с поднятым воротом он издали окликнул меня: «Василий, я сонет сочинил!» К тому времени я уже печатал свои стихи в местной газетёнке и был на виду у селян. Поздоровавшись, попросил его прочесть. Дядя Кеша, как обычно, воздел перед собой руку и начал декламировать: «О дью, о море!..» Я прервал его и спросил, что означает «о дью»?

— Ну, это обращение такое, не перебивай!

И начал заново:

*О дью, о море! Ты снимаешь
С побережья синие штаны
И с шумом гальку оголяешь
На пузе бешеной волны!*

— Ну как? — и победно сверху вперила глаза.

— Что-то я не особо вник, прочти-ка ещё, — и чтоб не казалось обидным, добавил: — Пожалуйста!

Дядя Кеша не без удовольствия повторил. Внимательно прослушав, я спросил:

— А почему сонет?

— Да ты что? К морю надо обращаться только высоким штилем!

— А вообще, знаешь, здорово! И всё видится и шумит, и живёт, и представляется, а главное, вся твоя мальчишеская тоска по морю вот в этом «о дью!» выражена. Как ты подойдёшь и наконец-то скажешь: «О дью!.. О море!..» Здорово! Вот только на «пузе волны» не совсем ясно...

— Да ты что?! Волна встаёт на дыбы, заворачивает гребень, а под гребнем пузо, при откате этим пузом гальку перекатывает и оголяет. Чего тут непонятного?

— Теперь чётко вижу. Знаешь, дядя Кеша, это настоящая поэзия. Я бы так не смог. Поздравляю! Помнишь, ты мне как-то ответил: «Года идут, а счастье не приходит»? Так вот, я тогда подумал и тоже сочинил, послушаешь?

— Давай!

*Года идут и незаметно вроде,
И так же незаметно дам я течь.
Года идут, а счастье не приходит,
А вдруг придёт?.. Сумею ли сберечь?*

— Ишь как вывернул, однако прав, ничего мы беречь не умеем, ни природу, ни добрых отношений, а уж про счастье и говорить нечего, его и в руки-то не возьмёшь.

Любил дядя Кеша и розыгрыш устроить. Однажды супруга меня обыскала (тогда сотовой связи не было). Зная мои приятельские отношения с дядей Кешей, пришла спросить, не знает ли, где нахожусь. Дядя Кеша, ничуть не колеблясь, убедительно ответил: «Минут двадцать как прошёл с какой-то дамой к реке. В руке нёс полную сетку с вином и закуской». Супруга моя опрометью в розыск, добежала до плёса, где я рыбачил, и с кулаками к лицу. Еле успокоил. А когда разобрались, нахохотались вдоволь. После я спросил дядю Кешу, зачем так сделал. «А чтоб разным сплетням впредь не верила».

Был у дяди Кеши друг Леонид, по прозвищу Закваска. Редкий день обходился у него без выпивки. Но сварщик был отменный, за что его и ценили, и глаза закрывали на его постоянную нетрезвость. В брезентовой непрожигаемой робе, в защитных очках с выпуклыми цилиндрами стёкол, которые, словно пеньки от срезанных пантов, постоянно торчали над бровями, он походил на жука, вечно копошащегося среди обрезков железа. Дядя Кеша его называл «артист Шмага», и Леонид Закваска на друга не обижался, а задавал оборотный вопрос: «А ты кто тогда будешь?» «Я-то? Тиль Уленшпигель-шпагоглотатель, комик в жизни, злодей на сцене!» — заученно проговаривал дядя Кеша и обнажал резцы. Однажды во время обеденного перерыва, когда все поели и выжидали время, зашёл разговор о службе в армии. Многие знали, что дядю Кешу сия повинность каким-то образом обошла, тем не менее ради хохмы спросили: «А вы где служили?» Дядя Кеша, ничуть не колеблясь, ответил: «В лёгкой кавалерии генерала Доватора на кобыле Белогривка».

— Да ты же уздечку задом наперёд одеваешь. Тебя ж списали, — подкусил Закваска.

— Списали, но не за это.

— А за что?

— Позволил вопреки начальству жеребцу Девальварсу из соседнего эскадрона жениться на Белогривке.

— И что дальше?

— Генерал Доватор за самовольную селекцию приказал пересадить на мерина с последующим переводом в пехоту, но не успел, война закончилась.

Что и говорить, весёлые были у нас обеды, когда за столом правил дядя Кеша. Вскоре я перешёл работать в другой цех, и мы стали видеться реже. Как-то под осень встретились в автобусе. Дядя Кеша полуоборотом сидел у окна, весело разговаривал с Леонидом Закваской, ненароком привлекая внимание ехавших селян. Увидев меня, вошедшего на про-

межуточной остановке, с каким-то особым восхищением громко на весь салон обратился: «Василий, привет! Чего в гости не заходишь?»

— Не по пути живёшь, дядя Кеша. Я — на восточной стороне, ты — на западной, — так же громко ответил я.

— А ты зайдя, я тебе расскажу, как жил с цыганами и как ушёл от них и почему, — обнажил он крепкие свои резцы.

— Про цыган, должно быть, интересно.

— Ещё бы, народ своеобразный, живёт без прививок от оспы в подлунном мире, весело и шумно.

— Хорошо, завтра обязательно зайду.

— Только не забудь напиток прихватить, знаешь, такой — на этикетке нарисован бык с рогами, а то разговор на сухую в связках застрянет.

— Дядя Кеша, похоже, вы и сегодня в ударе нежных чувств.

— А как же! Бог весёлых любит! — и, подняв голову, метнул какой-то странный, непривычно светящийся взгляд, переполненный зажигательного озорства.

Назавтра встретиться не пришлось. С работы автобусом приехал только Шмага. Был на удивление трезв. Я спросил, куда подевал Шпагоглотателя. Вместо ответа Леонид Заваска попросил займы денег на выпивку. Я поинтересовался, к чему такая спешка, наверняка дома ждёт ужин и сто грамм. Леонид посмотрел на меня помутневшим взглядом и спокойно, обыденно проговорил: «Кеша умер. Сердце. Никогда не жаловался».

С того дня много времени источилось, но когда случается проходить мимо дома, где жил дядя Кеша, невольно с привычной грустью подумаешь: вот жил человек, каким-то образом влиял на тебя, на твою жизнь, разыгрывал, как всякий житель деревни, театр одного актёра и в этом образе был ярост, интересен и необходим. И вдруг его не стало, прошёл, приветливо махнув рукою, оставив нам, временно живущим после него, торжественный и печальный миг вечного прощанья. Чтобы помнили друг о друге.

На Воздвижение

Под конец сентября с Байкала потянул стылый ветер с переходом на шквалистый, к вечеру хлётко загвоздил дождь, перейдя в мокрый снег, выбелил окоёмы прибрежных лесных озёр. Стаи перелётных северных гусей, прижатые непогодой, надрывным немолчным гоготаньем оглашали болото и, словно живые тени, падали на воду, сбивались к заветренной стороне.

Анатолий любил эту пору, как опытный страстный охотник, заранее сооружал скрадок на своём фамильном озерке, поджидал перелётную дичь. В послевоенные пятидесятые–шестидесятые годы на охотничьи ружья в органах МВД регистрация не велась и сейфов для их хранения не требовалось. Обычно в горницах они украшали настенные ковры, трофейные рога изюбра или сохатого, воронёным блеском стволов напоминали о значимости их владельца, порождали неудержимое любопытство у подростков. С четырнадцати лет по рекомендации старших выдавался охотничий билет. Первый памятный выстрел из дробового ружья Анатолий испытал в семь лет. Заряд был намного сильнее обычного, сосед подсунил, и Толя от выстрела под хохот старших ребят полетел в одну сторону, ружьё — в другую. Однако страх он переборол и уже к десяти годам имел личное ружьё — подарок отца. Патронов из чужих рук не брал, заряжал всегда сам. К семнадцати он расстрелял полпуда пороха и на десять выстрелов девять уток брал с лёту. Так что утиной солонины семье хватало до весны. Последнее ружьё, на котором остановился охотник, было тульского производства с инжекторами. После выстрела при переломе ружья автоматически выбрасывались гильзы, и Анатолий принаоровился в верхний ствол ещё загонять патрон и отправлять заряд вдогон улетающей дичи. И всё-таки по его сноровке и азарту трёх вы-

стрелов бывало недостаточно, особенно на гусиной охоте, и Анатолий решил приобрести пятизарядный автомат. Но автомат стоил дорого — два месяца работать, и он упросил продавца до завтра попридержать ружьё, пока соберёт нужную сумму. Но к вечеру этого дня задурила непогода, и, гонимые ветром, заскрипели в небесах свою вечную тоску по родине первые вереницы гусей. Анатолий не стал дожидаться предрассветного часа, застегнул на поясе патронташ на двадцать четыре заряда, закинул на плечо испытанную «переломку» и, набросив на голову плащ-накидку, торопко зашагал из города в сторону родной деревни. К полуночи он свернул с тракта, пошёл лесом, осторожно прощупывая поступью тропинку, которая змеилась к болоту. Сквозь стенания непогоды то и дело доносились гусиные окрики. При тупой видимости в бурю, чтобы не потерять друг друга, гуси непрерывно ведут переключку, невольно выдавая себя затаившемуся охотнику. Наконец, лес расступился, и Анатолий вышел на озерко к своему скрадку. Снежный окоём воды и лунный отсвет, сочившийся сквозь рваные тучи, на фоне мглистого неба едва очерчивали безлистые гривы перелесков. Издали донеслись обрывки гусиного гогота. Охотник, затаив дыхание, напрягся и до боли в глазах стал вглядываться в омут неба. Гогот то приближался, то отдалялся, стало понятно: табун закружил. Анатолий, когда гоготанье приблизилось, втягивая в гортань воздух, призывно закричал по-гусиному. Переключка табуна стала усиливаться и приближаться. Охотник перевёл ружьё в исходное положение. С правой стороны озера, откуда доносился нарастающий гогот, над чертой перелеска тёмным пятном высмотрелся силуэт первой птицы — вожака, за ним второй, третий... Шестой замыкал вереницу.

Как только гуси оказались напротив, Анатолий вскинул ружьё и ударил по вожаку. Вожак оборвался камнем, остальные судорожно замахав крыльями, зависли и плотно сгруппировались. Второй заряд выбил двух гусей, Анатолий молниеносно переломил ружьё, в верхний ствол загнал патрон, выстрелил вдогон. Четвёртый гусь завалился на бок, послышался шлепок о болотную кочку. Звено из оставшихся двух живых, скорбно зарывав, как показалось Анатолию, повернуло в сторону Байкала и, уносимое ветром, навеки исчезло в кромешной темноте ночи. Сердце неужёмко билось, охотник резко с выдохом присел на корточки, сгасил волнение, немного успокоившись, поднялся, пошёл за добычей. «А была бы у меня пятизарядка, — вдруг подумалось ему, — всех бы шестерых оставил». При этой мысли чувство азартной радости внезапно сменилось ощущением подавленности. «Да что я с голоду подыхаю?» — спрашивал себя Анатолий. В ушах продолжало пронзительно звенеть скорбящее прощание, уносимое ветром, пары. Если бы тогда он знал, что оно ещё долгие годы будет временами накатывать и преследовать его, вызывая неотвратимую грусть и раскаяние, — хоть лбом бейся об стену, а ничего уже не изменишь, если бы знал... Но теперь Анатолий при свете фонарика подобрал краснолапых гуменников, рядом разложил на скамье и стал поджидать следующих. Следующим налетел табун казарок, охотник автоматически вскинул ружьё, но палец на спусковой крючок не нажал, что-то сломалось в сознании Анатолия, и впервые, провожая долгим взглядом кричащих гусей, он сказал про себя: «Летите, милые, летите!»

Утром в родительской избе мать, которая всю жизнь, сколько помнил Анатолий, молилась по ночам, прося Господа о милости, серьёзно и жалеючи глядя на сына, тихо сказала: «Толя, а ведь это грех. Сегодня большой праздник: день Воздвижения Честного Креста Господня».

Пятизарядный автомат Анатолий так и не купил.

Оправдание

Город, где проживал Василий, находился в восьми километрах от родной деревни. Город он не любил, называл выкидышем советской индустрии. Исторической необходимости в его появлении на берегу священного моря — Байкала не видел и не понимал. Зато вреда от него было, куда с добром, и Байкалу, и людям. Половина его сотоварищей-рабо-

тяг, не дожив и до пятидесяти, отправились вперёд ногами в лоно вечного покоя. С появлением завода и города пострадал и уклад коренных поселений. От многих изначальных фамилий родной деревни остались только воспоминания, зато пришлого народа, которому и чёрт не брат, появилось с лихвой, ни замки, ни запоры не помогали. Как выразился поэт:

*...Народицу одичалого взялось,
Уклад села поехал вкривь и вкось...*

Старожилы же, по поводу заводских загрязнений, рассуждали просто, говорили, что на дне Байкала должны быть только песок, камни и рачки — бормаш. И никаких отходов от химического производства.

Василий себя клял за то, что невольно участвует в пагубе некогда щедрого кормильца Байкала, а изменить ничего не мог. Дважды увольнялся и дважды устраивался снова. Жить вне родины не получалось — тоска изъедала душу. Наконец, решил, отстраняться не будет, а будет работать хорошо, с предельным вниманием, чтобы по вине его службы, когда он на смене, аварий не случалось. Этим и облегчил совесть. Да и мать постоянно назидала, дескать, нечего бегать, трудись, где трудишься, всё какая никакая копейка заведётся, всё равно не будет того, что раньше было. Василий родителей любил, слушал, соглашался, помогал по дому, где дров привезти, где поляну выкосить, где картошку выкопать. Только потом, когда их не стало, понял, что мало помогал, мало жалел и мало любил. Из шестерых детей рядом с ними жил только он, остальные разлетелись кто куда. Правда, ещё какое-то время собирались всем семейством с жёнами и детьми праздновать Новый год. Отец воскрылял, руководил застольем, мать с невестками хлопотали на кухне, накрывали стол. Угощение в основном состояло из даров тайги и моря. Рыба, грибы, холодец, пельмени, мясные и морковные котлеты, посреди стола блюдо с дымящимся картофелем, в руках главы семейства традиционное «Советское шампанское». Также к чаю разрезали ягодные пироги и детям давали лакомство в виде замороженных на спичках кубиков творожной смеси. Словом, заявка на следующий удачливый и сытный год была достойной. Что удивительно, из всех закусок только грибы съедались подчистую, особенно грузди и рыжики. Радужное было время. Но прошло и оно. Только Василий взял себе за правило каждый год тридцать первого декабря навещать родителей. Убедившись, что всё у них ладно, возвращался в свою городскую квартиру. На прощание, обнимая мать и отца, улыбнувшись, говорил: «Не скучайте, встретимся в новом году». В этот же раз, как только Василий открыл калитку родового гнезда, глаза резанула неприбранная ограда. Прошлой ночью шёл снег, и до сих пор не убран, возле поленицы валялись упавшие поленья, на крышке колодца ведро на боку. Вкралась тревога: неужели что-то случилось со стариками? Василий обмёл голиком валенки, вошёл в избу. Морозный воздух молочным клубком вкатился в прихожую вместе с ним. Из кухни показалась мать, взглянула опечаленно и устало.

— Мама, на носу Новый год, а ты чем-то расстроена, пошто не весёлая? — как можно бодрее спросил Василий.

— Да ну, — только и успела проговорить в ответ. В это время из комнаты неожиданно вышла тётка Зинаида, сестра отца. Она с мужем, как позже узнал Василий от матери, в столичном городе навещала дочь и внуков, когда истощились подарки и сбережения, доченька с ними расскандалилась, и им ничего не оставалось, как исполнить промежуточный вариант: отгоститься в Новый год у брата. В буквальном смысле свалились как снег на голову, что, между прочим, практиковалось ими не единожды. Тётя Зина, как всегда, выглядела шикарно: природная красота и дорогие наряды заметно выделяли её в любой компании, порождая убийственную ревность безумно любящего супруга. Дядя Ваня — машинист паровоза, завсегда был при ней. Недостаток в воспитании приличествующих манер, излишнее самолюбование, что подрывало красоту внешнего вида дорогой супруги, напоминая о том, что обложка не всегда соответствует содержанию, дядя Ваня не замечал. Тётю Зину он просто безоглядно любил всю жизнь. Василий, в отличие от матери, которая явно недолюбливала золовку, и было за что, искренне обрадовался появлению неожиданных

гостей, стало быть, Бог послал. Тепло поздоровался с ними, обнял отца, и тут его взгляд упал на немытые полы, на подмятую на столе скатерть. Во время службы во флоте ему приходилось делать приборку по расписанию на дню четыре раза: трижды сухую и один раз мокрую, заведение содержать в сияющей чистоте — и вдруг увидеть неприбранной родительскую избу, да ещё в канун праздника, было недопустимо. Невольно спросил:

— Мам, а чевой-то изба неприбранная? — и, не дожидаясь ответа, пошёл на кухню, достал за умывальником палубное ведро, принёс колодезной воды, принялся за приборку. Как обычно, начал с углов, начал споро с радостью, с превеликим удовольствием, да так, что все повеселели, поскольку то и дело им приходилось перемещаться по горнице. Закончив с полами, принялся за ограду. Морозный воздух разогревал кровь и прибавлял силы; вскоре была прибрана и ограда. Василий вошёл в избу:

— Ну, всё, дорогие мои, пора ехать. Бог даст, встретимся в новом году.

Отрадно было видеть повеселевшую, хлопочущую мать в непринуждённой обстановке. Позже при разговоре с сыном она проговорила, что, когда он прибирался в ограде, тётя Зина, обращаясь к ней, с восхищением выразилась: «Лена, какие у тебя дети, какие дети!..»

С того момента прошло много лет. Давно не стало на свете родителей, завод приказал долго жить, город не по возрасту обрёл старческое лицо, хирел и умирал. Как его реанимировать? — не ведал никто. Василий размышлял: не было в заводе правды, оттого и случилось так с ним. А вот самому-то как и чем оправдать свою поступь по родной многогрешной земле? Получалось, что и он пришёл только взять и ничего не оставить взамен. Может, одно оправдание и есть: счастливая мать в тот памятный предновогодний вечер глухозимья.

Промысл

Позднее время, ближе к полуночи. В окне электрички проблёскивают огни разъездов, полустанков, непогашенных окон. Перед каждой остановкой при торможении железный раздрающий душу визг тормозов. Вагоны старые, грязные, полупустые. Последняя электричка подбирает отставших, опоздавших, прозевавших, отчаянно убегающих от семейного скандала, задержавшихся... Олег Изгоев подсел на разъезде с минутной остановкой, оглянулся на проём смыкающихся дверей. Далеко в поле за перелеском знакомо блеснул свет отражателя, освещавшего крыльцо сельского магазина, некогда построенного у почтового тракта. В отдалении за трактом в глуби векового леса, на взгорке, отражая закатный луч, как бы прощаясь, сверкнул золотой маковкой монастырский скит. Впервые Олег вышел на него полгода назад, вышел голодным, грязным, изнурённым бродяжничеством. После разговора с экономом монастыря подвизался трудничать за еду и небольшую плату, но через два месяца его переманила пожилая вдова-прихожанка, живущая на разъезде близ областного центра. Мантийный монах-эконом, видя, что новоявленный трудник мечется между миром и послушанием, благословил Олега на это поприще, сказав: «Что ж, иди, узнай, какая в миру правда для тебя уготована».

С того момента чем бы ни занимался, как бы ни куролесил, проживая у вдовы, дорога неизменно приводила к храму. Только в нём Олег всегда чувствовал себя хорошо. Вот и сегодня задержался на богослужении, не хотелось обрубить великий чин миропомазания. Отстоял легко, увлечённо, без томления, без каких бы то ни было раздражений. Ни мельтешение ребятни, ни назидание вездесущих бабусь, ни хлопанье дверей притвора, ничто другое его не отвлекало, весь растворялся в молитве и в богослужебном действе.

«Теперь же душой потрудились, не грех и отдохнуть», — подумалось ему. Электричка, пронзительно свистнув, торопливо набрала скорость и, просекая огнём прожектора свалившуюся темноту ночи, покатила к большому городу с вокзалами неприкаянных судеб. Вагон покачивало, Олег прошёл ближе к выходу, привычно расположился на пустой скамье, прильнув головой к запотевшему окну.

Прошло без малого два года, как начал скитаться по свету, по необъятной России, где кроме Бога никому оказался не нужным. Государство в лице ельциных, горбачёвых, чубайсов таких, как он, в счёт не брало... Олег достал из внутреннего кармана ветровки Евангелие, открыл наугад страницу, но читать не стал, отвёл глаза, задумался. Как-то странно получалось: стремился к одному, а выходило совсем другое, и всё дальше и дальше уносили его пути-дороги от родного крыльца. В окне над полем залучились проклянувшиеся звёзды и звёздочки, и где-то среди них, мерцая, наверняка поблёскивает и его блуждающая звезда скитальца; только когда и где остановится, узнать не дано. Говорят, у каждого есть своя путеводная звезда, под которой родился... Снова и снова уносили воспоминания Олега возвратным путём к началу, где была армия, был долгожданный дембель, были радужные планы на учёбу, на дальнейшую жизнь, которые враз обрушились, как подмытый водоворотом берег, и пристать, оказалось, некуда и не к чему...

— Говоришь, на работу взять? — бритоголовый господин в кожаной куртке метнул на просителя колкий оценивающий взгляд. — Ну, ну, а почему в солдатской форме?

— Ещё не приобрёл, демобилизовался недавно.

— Ну и кем бы хотел?..

— Желательно водителем. Две категории допуска имею, — подал удостоверение.

Повертев водительскими правами перед глазами, бритоголовый удовлетворительно хмыкнул и возвратил документ.

— Добро, завтра к восьми подходи, посмотрим, на что годишься.

Олег Изгоев шёл по городу к дому, в котором на время приютил его друг-сослуживец. На душе было грустно и скверно. Со службы домой возвратился, а идти некуда. Родитель жил с другой женщиной, и она встретила Олега холодным презрительным взглядом, да так, что дальше прихожей идти расхотелось. Отец, конечно, обрадовался, крепко порывисто обнял, долго не мог унять слезу, но напряжения с души так и не снял. Чувствовалось, что и сам находится в тенётах непонятных, запутанных отношений. Олег вышел на свежий воздух и с грустью подумал о том, что русская сказка «Морозко» правдиво рассказывает, касаясь таких, как он. Эх, мама, мама, и ты умыкнула за три девять земель, комфортная жизнь поманила! Но ничего, свою судьбу как-нибудь с Божьей помощью разрешит сам, тем более что после долгих блужданий в поиске работы, наконец-то, засветила удача. Спасибо другу, надоумил, куда и к кому обратиться.

Назавтра, как и было велено, к восьми часам прибыл для испытания. Но первый рабочий день под крышей приютившей конторы, оказалось, стал и последним. Едва эскорт с охраной отъехал от офиса, как попал под прицельный перекрёстный огонь автоматов. Тело бритоголового конвульсивно дёрнулось и, обмякнув, завалилось на плечо Олега, застопорило руль «крузака». Машина ткнулась в бетонный бруствер тротуара и заглохла. Очнулся Олег уже в больнице. Пуля, пробив лобовое стекло, чиркнула по голове выше виска, контузила и выбила из памяти. Весть о жестокой кровавой бойне молниеносно разлетелась по городу. Город помрачнел и притих. Повсюду полушёпотом с оглядкой говорили о сферах влияния, о разделе между криминальными группировками госимущества, о проклятом окаянном времени.

К вечеру Олега разыскал друг-сослуживец. В белом халате, поминутно оглядываясь, он вошёл в палату и срочно, «пока не чухнули братки», велел собираться. Вскоре Олега покачивало на боковой полке плацкартного вагона. В голове трещало, гудело, ныло, что вызывало горечь и тошноту. Каждое содрогание экспресса отзывалось стонущей болью, нестерпимо хотелось пить. То и дело возникал перед глазами Байкал, казалось, припадёшь к нему и половину, не отрываясь, выпьешь. Почудилось, кто-то тронул за рукав.

— На, солдатик, попей, — женщина, ехавшая в соседнем купе, приподняла голову Олега и прислонила к пересохшим губам стакан с водой. — Пей! Водичка хорошая, лечебная, «Кука родниковая».

Олег, поддерживая ладонью, в три глотка жадно осушил стакан, попросил ещё. Женщина намочила холодной водой платок, свернув вдвое, положила на лоб Олега, промокнула сочившуюся из-под бинта сукровицу, спросила:

- Домой едешь?
- Не-е, из дому, — хрипло, с трудом выдавил Олег.
- Где ж твой дом?
- Теперь не знаю. А где мы едем?
- Иркутск-Пассажирский проехали. Поди, далеко собрался?
- Я не собирался, так получилось. Билет вроде бы до Москвы брали.
- Там тебя ждут?
- Кому я нужен, никто нигде меня не ждёт, — скорее сам себе ответил Олег и от-

вернулся.

От горьких давящих мыслей, от захватившей безысходности жить не хотелось. Всё ложь и прах, думалось ему. Даже флага, которому отдавал честь, уже не существует. Олег закрыл глаза. Жизнь представилась ему такой далёкой, ненужной, противной до рвоты, что решил свести с ней счёты немедленно. Да, именно сейчас он выйдет в тамбур и на полном ходу шагнёт в чёрный провал ночи.

Шатаясь и держась за спальные полки вагона, Олег прошёл в тамбур, но открыть наружные двери не получилось — они были заперты проводником на ключ. Мелькнула мысль: проём между вагонами...

После он вспоминал об этом как о гнетущем бредовом сне. Ступил было на площадку между вагонами, как с силой кто-то схватил за куртку и дёрнул назад в тамбур.

- Ишь чего надумал, Бога не боишься! А ну пойдём со мной.

Хотел Олег вырваться, да голос показался знакомым, потянул к себе, как магнитом. Обернулся солдат и покорно пошёл, ведомый за руку.

- Как звать-то, защитник?

- Олегом. А вам зачем?

- Как зачем, помолюсь.

- А какой смысл?

— Чтобы бесу зацепиться возможности не было, а то чуть в преисподнюю не закрутил. А на тебе крест.

- Батяня окрестил ещё до армии, с тех пор и не снимаю.

В полумраке на фоне окна Олег видел, как женщина перекрестила его, проговорив «Спаси и сохрани», приблизилась, положила ладонь на лоб, добавила: «А теперь спи!» Прикосновение прохладной ладони как-то сразу притушило боль, и под скрипучую зыбку вагона Олег вскоре забылся и заснул. Проснулся, солнечный свет заливал купе, за окном проплывали дымящиеся терриконы, заколосившиеся росяные поля, сырые сибирские деревушки да кудрявые островки донельзя родных березняков. Внезапно подумалось: ликует природа, только не радостно Олегу: в душу закралось отчаяние и неодолимое чувство грусти, будто всё это видит в последний раз.

— Ну, как спалось? — Полина Мелентьевна (так звали нечаянную попутчицу) приблизилась к Олегу и предложила осмотреть рану. Олег доверился без колебаний, тотчас.

— Я тоже еду до Москвы, точнее, в Загорск, — как бы между делом, размачивая и снимая присохший бинт, поведала она. — Ну, что, швы чистенькие, рана не сукровит, до свадьбы заживёт. Небось, подруга сердечная имеется? — тепло, по-родному, с любовью взглянула на Олега.

- До службы была, теперь нет.

- Что так?

- Не дождалась.

— Бывает. Стало быть, не та подруга, не тебе предназначена. Та, что тебе, мимо не пройдёт.

- Я понимаю, только в груди саднит, не отпускает.

— Забудется, Господь всё правильно устроит, ещё спасибо скажешь. А пока принесу чайку, у меня и пирожки домашние имеются с морковью.

За чаем Олег рассказал, что с ним нечаянно-негаданно приключилось.

- Да-а-а, времечко, — Полина Мелентьевна тяжело вздохнула, перекрестилась. —

Ну, ничего, перебудем. Коль жив остался, то и Господь не оставит, да и мир не без добрых людей.

В свою очередь, она поведала про себя. Оказалось, она — паломница, уже не в первый раз едет к Сергию Радонежскому поклониться святым его мощам. Только сейчас при полном свете Олег разглядел Полину Мелентьевну. Большие карие глаза смотрят умно, тепло и отзывчиво, от них к вискам лучиками разбегаются едва уловимые морщинки — первые вестники увядания. Однако лицо просветлённое, будто сама душа, чистая, милосердная, без корысти и суда проявилась в ожидании встречи с потерянным и заблудшим, чтобы объять тихой ненавязчивой жертвенной любовью... Спустя годы, подвязавшись в монастыре, он встречал такие лица и понимал, какого молитвенного великопостного послушания и труда стоит подобное очищение. Каждодневно обращаясь к Богу, они уже в жизни своей не делали ничего такого, что не пригодилось бы им при последнем часе.

— А ни поехать ли тебе со мной к Сергию. Будет где остановиться, помолиться, справить трапезу, а главное, приобщиться к божественной красоте русских православных храмов? — при этом Полина Мелентьевна вынула из пакета карманного формата книгу в кожаном переплёте и подала Олегу. — Возьми святое Евангелие, читай, постигай суть, только в вере человек чувствует себя всегда хорошо и уверенно.

В девяностые смутные и кровавые годы от западных границ Украины, Белоруссии до восточных берегов Тихого океана из обомшелых руин Божьим промыслом стала заново подниматься Русь монастырская православная. Сколько заблудших лихих голов в поисках смысла жизни, спасаясь, порой за кусок хлеба подвязывались трудиться, примыкали к реставрации, к строительству новых храмов, с удивлением и радостью открывая для себя полузабытую святую Русь. Впоследствии многие трудники становились братьями при монастырях, навсегда связывали свою жизнь с молитвой о Господе, в послушании и монашестве, полностью подчиняли себя воле Всевышнего, обретая в труде крепость духа и немеркнущий свет православия.

...Столица встретила грубой матерной суетой грязных вокзалов, забытыми выходцами из Средней Азии, электричками метро, зазывно светящимися рекламами на латинской прописи, петушиной раскраской фирменных одежд и на каждом углу затравленно зыркающими по сторонам, курящими, на три ряда размалёванными, прело пахнущими девицами. Во всём виделись подлог, обезьянство и поношение всего исконного. В душе Олега — негодование и протест, желание поскорее избавиться от захватившего чувства обиды за себя и за поруганную державу, чьи границы ещё совсем недавно ему приходилось зорко охранять.

— Да что ж такое творится, Господи! Будьте вы прокляты, ироды! — вдруг из подземного перехода донёсся женский вопль. Олег сбежал по трапу и увидел поднимающуюся с колен пожилую женщину и двух убегающих парней. Кинулся за ними. В конце перехода они бросили раскрытую сумочку и растворились в толпе. Желавших задержать не нашлось. Олег поднял сумочку и вернулся к женщине.

— Простите, не догнал, — женщина растерянно посмотрела на Олега, на подошедшую Полину Мелентьевну, порылась в сумочке.

— Слава Богу, ключи на месте, — облегчённо выдохнула она. — Наркоманов развелось, так нагло себя ведут. Ведь попадала уже, а, гляди, расслабилась, задумалась. Вы уж извините, пойду я.

— Как, а заявлять не будете? Мы же свидетели! — Олег удивлённо взглянул на женщину.

— Не буду. Проку нет, да и кому жаловаться? — женщина повернулась и тут же, подхваченная внезапно нахлынувшим людским потоком, потерялась из виду.

Олег и Полина Мелентьевна вышли на привокзальную площадь, купили ветровку. При покупке Олег долго сопротивлялся, отказывался примерять, но Полина Мелентьевна, улыбаясь, сказала:

— Примерь, и не лишай меня радости сделать тебе подарок!

И снова в окне электрички замелькали шлагбаумы, трубы, перелески, кривые тёмные избы, пустые коровники с провалившимися крышами, взявшиеся дёрном и дурнотравьем,

никому не нужные, заброшенные поля. Не стало хозяина, и в полые ворота заветрилась безнадёга, неся с собой разор и запустение. Грустно.

От станции Сергиев Посад до Троице-Сергиевой лавры шли торной тропой, пробитой и утрамбованной за шесть с лишним веков бесчисленными стопами страждущих и обременённых паломников. Вначале дорожка, извиваясь, увела в распадок, затем тянигусом подняла на холм, обрамлённый крепостной монастырской стеной, за которой схоронилась древнерусская православная обитель, жарко и ослепительно отливавшая золотом куполов. Гулко, тяжело вздрогнул, словно проснувшись, колокол Ивана Великого, раскалывая воздух и набирая силу, полилась его благая весть далеко за пределы святой лавры, возвещая о начале воскресной службы. Полина Мелентьевна преобразилась в лице, стала сосредоточенней, строже, троекратно с поклоном в сторону звона перекрестилась, промолвила:

— Слава Богу! — попросила Олега сделать то же самое, добавила: — В святую обитель входим, духовное сердце России.

Олег поставил сумку к ноге и неумело, как бы стесняясь, торопливо перекрестился.

— Что же ты, миленький, беса радуешь.

— Как это?

— Крест перевернул, основание получилось короче верхней заглавной части, — и показала, как правильно накладывается крестное знамение.

К Сергию Радонежскому выстроилась длинная очередь паломников. К раке с мощами Преподобного подвигались более двух часов. В притворе Троице-Сергиева храма на столах горками лежали восковые свечи. Прихожане вписывали в требы имена родных и близких, чтобы священники в алтаре о них помолились, брали свечи; жертву в виде денег опускали тут же в урну, сколько не жалко, а если пожертвовать было нечем, то подавали записки и брали свечи просто так.

— А мне кого вписывать? — вполголоса спросил Олег.

Полина Мелентьевна оторвала взгляд от своей записки и удивлённо взглянула на спутника:

— В первую очередь отца и мать. Надеюсь, они крещены?

— Да, но мама оставила нас.

— Это её ответ перед Господом, а твоё дело молиться за родителей.

— А друга вписать можно?

— Нужно и друга, и недруга, как сказано в Евангелии: «Любите врагов своих». На кого держишь злобу и ненавидишь, за тех и помолись с усердием.

Подойдя к Преподобному, Олег ощутил душевный трепет и немощь, упал на колени, упёрся лбом в борт раки и шёпотом, как учила Полина Мелентьевна, слёзно попросил святого о верном и праведном пути. Не помня себя, поднялся с колен, прильнул губами к стеклу, за которым покоились мощи, поцеловав, освободил проход следующему. Стоящий у раки монах после каждого паломника салфеткой вытирал стекло. Напротив поодаль иеромонах с двумя послушниками в чёрном облачении непрерывно читали акафист, прославляли игумена всея Руси — святого отца Сергия. Со стен кротко и смиренно взирали на прихожан Христовы мученики. К иконному образу великого печальника Полина Мелентьевна и Олег подошли с поклоном, поставили зажжённые свечи. Помолвились.

Перед трапезой, куда стекались паломники на бескорыстное угощение, испили натошак святой воды из Сергиева родника. Полина Мелентьевна рассказала Олегу, что родник освящён самим Преподобным, в нём великая очистительная сила. Также поведала, что перед Первой мировой он внезапно иссяк — и померк свет православия. Россия погрузилась во мрак безбожия, по ней прокатилась череда кровопролитных разрушительных войн, повлекших за собой голод и мор. Но перед празднованием тысячелетия принятия Русью христианства Сергиев родник заговорил вновь. Свет православия вырвался из бесовских теней и заиграл перламутром в чистой родниковой струе, а вместе с ним стала подниматься с колен и святая Русь.

— Не на ветер сказано, что покров Богородицы не оставит земли нашей Русской, а уж Сергия Пречистая навещала не единожды, — немного помолчав, Полина Мелентьевна добавила: — А теперь и мы с тобой Божьим Промыслом очутились здесь...

Да-а, кого бы сейчас он желал увидеть, так это Полину Мелентьевну. Сколько раз во сне представлялась она ему, пристально и нежно глядя в лицо, как бы вопрошала: «Ну как?...» И, не дождавшись ответа, исчезала. А он оставался стоять на столбовой дороге, полной невзгод и препятствий. Много позже Олег понял, что такие люди даются для спасения свыше. Они являются в нужном месте и в нужный час, а когда их спасительная миссия исполнена, исчезают, растворяясь в крошечной людской сутолоке, оставляя по себе лишь светлую молитвенную память. «Храни её Господи!..»

На стрелке перед разъездом вагон бросило из стороны в сторону, и в очередной раз, проскрежетавав тормозными колодками, электричка остановилась. Железный скрежет и толчки вывели Олега из полузабытья воспоминаний к действительности. Он перевёл глаза на открытую страницу и начал читать. На этот раз оказалось Евангелие от Луки. Прочитал: «Отнимающему у тебя верхнюю одежду...»; на этом месте чтение прервалось, в вагон шумно ввалилась группа изрядно подвыпивших молодых парней. Олег непроизвольно оглянулся и с раздражением подумал: «Этих только и не хватало». Парни сразу же с лёту грубо и пошло стали приставать к трём девицам, сидящим у входа. Олег отвернулся, положил в карман святое Евангелие, закрыл глаза и стал читать про себя молитвы. История знакомая, добром не закончится, рано или поздно ему придётся вмешаться, поскольку отстраниться совесть не позволит. В это время над ухом клацнул сталью откидной жиганский нож.

— Лепешок чудный, распрягайся! — перед Олегом стоял парень с ножом в руке, он зло зыркал бесцветными глазами.

— Не понял, что? — Олег почувствовал, как по всему телу покатилась дрожь.

— Ветровку скидывай, хозяин пришёл, чего непонятного! — густо обдавая прокуренным тошнотворным перегаром, спокойно прохрипел отморозок-гопстопник, покручивая ножом словно пёрышком.

Олег, еле сдерживая волнение, произнёс:

— Ну не здесь же, люди смотрят, — поднялся, и они вышли в глухой тёмный тамбур.

Гопстопник на вид был мощнее и выше Олега. Одной рукой схватился за край ветровки, другой при этом поигрывал ножичком. Скрипуче добавил:

— Поторопись, дяденька ждать не любит!

Олег потянул молнию книзу, и как только рука коснулась волосатого запястья, молниеносно зажал его и резко, как учили в погранцах, крутанулся в поворот и локтём вынес челюсть. К этому времени электричка остановилась, и несостоявшийся хозяин ветровки с ножом в руке вылетел в дверной проём и шмякнулся о перрон полустанка. Олег быстро перешёл в следующий вагон, потом ещё и ещё, не доехав до места, сошёл. Направился пешком, надеясь унять нервный озноб, который лихорадил и сотрясал всё нутро и тело.

Спустя недели три на полустанке к нему под села четвёрка парней. Олег каким-то особым чутьём узнал в них тех самых... Заканчивался Успенский пост. Лицо Олега обросло русской укладистой бородкой, глаза небесной сини смотрели тепло и спокойно. Во всём облике проглядывалась невозмутимая сила добра и духа — результат ревностного поста.

— Никак в храм едешь? — спросил один из парней, сидевший напротив.

— Как догадался?

— По виду, на монастырского смахиваешь, — и вдруг тяжело, сурово взглянул на Олега: — Слушай, помолись там за упокой раба Божьего Ивана. Он хоть и негодяй был по жизни, как и все мы, но всё же человек верный.

— Что ж, если крещёный, помолюсь.

— Да мы здесь все сызмальства крещёные.

— А что с ним случилось? Наверное, не старше вас?

— С электрички выпал, поддатый был, вышел покурить, облокотился на дверь, а та возьми и раскройся. Вот сегодня схоронили, умер, не приходя в сознание.

Олега точно прошило, дёрнуло, будто в самое сердце иглу вонзили. Однако, совладав с собою, спросил:

— А самим что ж, свечку поставить да помолиться не можно?

— Да как-то непривычно, да и не знаем, как надо. Что-нибудь не так сделаем, тебе сподручнее будет.

— Хорошо, я от вашего имени. Только всё же не забудьте заказать молебен и панихиду по новопреставленному Ивану.

На следующий день Олег вышел на полустанке, где подсели парни. Среди свежих могил по фотографии отыскал вечное пристанище Ивана, зажёл поминальную свечу, сокрушённо всем сердцем помолился. Вечером того же дня по монастырскому уставу, перекрестившись, подошёл к порогу кельи отца-эконома, громко произнёс:

— Молитвами Господи Иисусе Христе помилуй нас!

— Аминь! — послышалось в ответ за дверью. Переступив порог, Олег подломил колени перед монахом, опустил голову.

— Что привело? Говори! — отец-эконом поднял за плечи Олега и пристально посмотрел в глаза.

— Благослови, отче, на жизнь в монастыре, возьми к себе в экономию.

— Чего это вдруг?

— Не хочу покидать стены монастыря. В миру увидишь не то, что надо, услышишь не то, что надо, сделаешь не так, как надо.

— Однако ты главного не сказал.

— Я, защищаясь, человека убил. Правда, он умер не сразу, но я узнал его по фотографии.

— О! — протянул отец-эконом, покачал головой. — А Господа не мог о защите попросить? Ведь против Его имени бесовская нечисть бессильна. Молчишь, ладно, иди к отцу Петру, исповедуйся. Добро даст, возьму.

...Эту историю поведал мне рясофорный монах Авксентий, случайно оказавшийся земляком. В нашем селе он многих знал поимённо, живо интересовался их жизнью, на вопрос: «Хотел бы побывать на родине?» ответил: «Я поговорил с вами и уже побывал, помолюсь за всех, — немного помолчав, добавил: — Я монах, а монах должен жить в монастыре, исполнять послушание».

Лицо Авксентия было просветлённым, взгляд чистым, голос мягким и приветливым, на прощание сказал:

— Поклонись от меня родным берегам. Ангела в дорогу.

Прощение

После школы в субботу интернатские дети разъезжались по домам. К родным разъездам, станциям, полустанкам, блокпостам школьников развозила мотаня — паровоз с тремя прицепными вагонами. В пятидесятые годы прошлого столетия школы, даже начальные, были не везде, и районный железнодорожный интернат собирал учащихся со всего протяжения. А это более сотни километров. Вагоны были деревянные, скрипучие, последние оставшиеся свидетели царской государственной дороги, доживающие свой век на второстепенных направлениях. Каждое купе разделяли распашные деревянные дверцы. Чтобы пройти через вагон, приходилось распахнуть их не менее десятка. Ребятяня, толкая друг друга, с визгом и шумом заскакивала в вагоны. Каждый торопился быстрее занять верхнюю третью полку, помягче расстелить ветхое своё пальтишко, бросить под голову сумку или холщовый мешок с тетрадями да учебниками и под перестук чугунных колёс, блаженно развалившись, покачиваясь, ехать до дома в ожидании горячих пирожков и ша-нежек, которых к твоему приезду напекла мама.

Шестиклассница Женя Якушева, резвая, долгоногая девочка с круглым веснушчатым личиком и русой косой, в которую неохотно вплетались кудряшки волос, шустро забежала в вагон, забралась на верхнюю полку и, вполне счастливая, стала заботливо и аккуратно готовить лежанку. Вот она, стоя на коленях под потолком, ещё раз поправила подушку

из учебников, довольно улыбаясь, подняла голову оглядеться, как в этот момент больно и жгуче ударила по щеке железная пулька, загнутая под скобу. Женя инстинктивно прижала ладонь к щеке и с запечатлённой на какое-то время улыбкой повернулась в сторону выстрела. Но вскоре её губы скривились, и она, уткнувшись в подголовник, часто вздрагивая, беззвучно заплакала...

Был тёплый солнечный день. Евгения Петровна (уже не Якушева) стояла с мужем на торговой площади энского городка, поджидала маршрутное такси. Внезапно к ней подошёл пожилой седовласый человек в форме войскового подполковника. «Простите, вы, случаем, не Женя Якушева? — тут его внимание привлёк обернувшийся муж, и он добавил: — В девичестве, разумеется». Евгения Петровна пристально взглянула на военного, в котором с трудом угадывался одноклассник Лёнька Зубков. Те же прямые, как у коровы, ресницы слегка прикрывают некогда блестящую смородину глаз, да и в фигуре, несмотря на военную статью, просматривается знакомая долговязость. «А вы, должно быть, Леонид Зубков?»

И вдруг подполковник Леонид Зубков снял перед Женей Якушевой фуражку и принародно подломил колени: «Женя, прости меня великодушно!» Евгения Петровна от неожиданности отступила назад и удивлённо вскинула брови: «Бог с вами, за что?!» Не менее удивлённый муж взял жену под локоть. «А помнишь, мы в шестом классе на мотане ехали домой, и я с резинки стрельнул в тебя железной пулечкой, попал в щёку. Ты тогда всю дорогу проплакала. Помнишь?»

Евгения Петровна несколько стушеввалась, однако вполне спокойно и убедительно ответила: «Лёня, честное слово, не помню!» Подполковник Леонид Сергеевич поднялся с колен, взял свободную руку Евгении Петровны и, поцеловав, сказал: «Зато я не забыл!..»



ГАЛИНА РОГАЛЁВА

Трудный путь Геннадия Головатого

Широкая известность пришла к Геннадию Головатому в 1963 году. На Всесоюзном поэтическом конкурсе «Комсомольской правды» он получил первую премию за стихотворение «Сила» (другое название «Могут!»). На конкурс тогда поступило несколько десятков тысяч конвертов со стихами. И среди них жюри не прозевало одно, самое главное, состоящее всего из восьми строк, но по ним потом жило целое поколение.

Жюри и не подозревало, что лауреат премии вследствие перенесённой в детстве болезни лишен возможности самостоятельно передвигаться, а строка «но — безногие могут держать оружие» имеет к нему непосредственное отношение.

Геннадий Алексеевич Головатый родился и четверть века прожил в посёлке Аксёново-Зиловское (ст. Зилово) Чернышевского района Читинской области, ныне — Забайкальский край. Это километров пятьсот северо-восточнее Читы. В семье было десять детей, но четверо умерли ещё до рождения Гены. Он был четвёртым ребёнком, единственным сыном и единственным братом пяти сестёр. Болезнь застала мальчика, когда ему не было и пяти лет. Уже взрослым Геннадий вычитывает в одном медицинском справочнике, что его случай — один на миллион. Прогрессивная спинальная амиотрофия Вердниг-Гоффмана. С такой болезнью долго не живут. Врачи предсказывали ему не более 25 лет. Но умер он, успев отметить 30 января 2001 года свой 61-й день рождения.

Несмотря на свою тяжёлую инвалидность, стал писателем и прожил интересную, полную риска и духовных исканий жизнь.

В 1965 году он перебрался в Читу, работал литконсультантом в газетах «Забайкальский рабочий» и «Комсомолец Забайкалья», много писал, публиковался в различных российских и региональных журналах: «Нева», «Пионер», «Смена», «Сибирские огни», «Дальний Восток», в альманахе «Ангара». В этом же году в Иркутске вышел первый поэтический сборник в серии «Бригада» — «Когда солнце стораёт». Зарабатывал немного, в основном жил гонорарами. Тогда ему, как инвалиду детства, даже пенсия не полагалась. А когда позже её установили — 16 рублей — он отказался получать этот мизер. Заработал себе трудовую пенсию.

В 1968 году Геннадий женился. Люба Буракова была освобождённым секретарём комитета комсомола в стройуправлении, где работала младшая сестра поэта Валентина. В конце того же года у них родилась дочь — Ивушка, Иоанна. Судьба девочки сложилась трагически. В девять лет она тяжело заболела. Неизлечимая болезнь протекала стремительно, и хотя Геннадий Алексеевич сделал всё возможное, чтобы спасти дочь, — возил в самые известные клиники Москвы, Симферополя, Тбилиси, привлёк на помощь друзей... — исход был предreshён. Ива умерла в августе 1979 года — в Крыму, куда семья Головатых наметила перебраться ещё до болезни дочери.

С этого времени начался новый период в жизни поэта — за пределами Забайкалья. Станица Медведевская в Крыму, Орёл, Москва — менялись места жительства, появлялись новые друзья, создавалась новая семья. В 80–90-е годы Геннадий Головатый активно участвовал в борьбе за права инвалидов в нашей стране.

С юности, несмотря на свой тяжёлый недуг, он много путешествовал. Объехал почти весь Советский Союз. Это увлечение возникло ещё в Зилово, откуда Геннадий совершил первую поездку к старшей сестре в Алма-Ату. А в 1964 году на премию от «Комсомолки»

рискнул самостоятельно отправиться в столицу, включив в маршрут Иркутск, Новосибирск, Томск, Свердловск, Харьков, Симферополь, Керчь... Из-за своего физического состояния ему приходилось делать остановки в каждом крупном городе, где он знакомился с достопримечательностями, общался с молодёжью. Большую помощь оказывали в этой поездке комитеты комсомола — обеспечивали жильём, устраивали встречи в студенческих аудиториях и трудовых коллективах. Местные газеты и журналы рассказывали о Геннадии как о необыкновенном, мужественном человеке, печатали его стихи.

Позже, набравшись опыта, он совершит ещё не одно такое путешествие — в Хабаровск, Магадан, на Камчатку, на Кавказ...

С ним всегда было очень интересно общаться. Головатый не только мог поддержать разговор на любую тему, но и сам затевал беседу, нередко провоцируя споры, вызывая в собеседниках желание знать не меньше, чем знал он сам. А знал он много, несмотря на то, что образования практически не имел никакого — в школе проучился менее года. Но он рано научился читать, и книга стала его главным университетом. Геннадий вырос среди книг — в маленькой комнатухе в Зилово и после в Чите все стены были уставлены стеллажами. Интересы его были обширные — от истории и медицины до научных изданий. Обожал справочную литературу, ну и само собой — художественную. Рано начал писать сам.

Ещё он прекрасно рисовал. Как вспоминает его младшая сестра Валентина, в юности, когда был покрепче, Гена писал картины маслом на холсте: «Отец делал подрамники, сёстры натягивали ткань, грунтовали её, и брат создавал свои картины. Держать кисть было трудно, он поддерживал правую руку левой...» Но скоро и это стало не по силам — рисовал в альбомах — акварелью, тушью, карандашом, позже шариковой ручкой.

Летом 1999 года после двадцатилетней разлуки с Забайкальем Геннадий Головатый вернулся на родину и поселился с сыновьями Романом и Силой неподалёку от Читы на станции Яблоновая, которая своим местоположением на склонах сопот напоминала ему родное Аксёново-Зиловское.

С возвращением было связано много надежд и планов, и со свойственным ему упорством Геннадий Алексеевич взялся за их реализацию. По мере сил обустроивал быт. Подготовил и сдал в печать сборник стихов со своими иллюстрациями — книга под названием «Испытание» вышла в свет в издательстве «Поиск» уже после его кончины. Тихо и скромно, в узком кругу друзей и близких отметил 30 января 2000 года своё 60-летие.

Было нелегко. Но он, привыкший радоваться каждому новому дню, не сдавался. И всё-таки оставаться в Яблоновой становилось нелегко. Уж больно холодной оказалась его последняя зима. Домик Головатых по улице Лесной требовал немалых трудов. Не хватало топлива, денег, нужны были особые, поддерживающие поэта довольно дорогие лекарства. Сыновьям надо было учиться. Видя всё это, друзья выхлопотали для поэта квартиру в Чите. Только перебраться туда он не успел. 22 февраля 2001 года Геннадий Алексеевич умер от сердечной недостаточности.

Похороны состоялись на центральном кладбище в Чите 25 февраля — в Прощёное воскресенье. Так уж совпало. Но все, кто был на отпевании в ритуальном зале областной клинической больницы, сочли это совпадение не случайным. Думаю, Геннадий Алексеевич простил собравшихся за всё, что не успели для него сделать.

Да он и не требовал ничего. Склонный к комфорту и уюту, умел, тем не менее, довольствоваться малым и всегда не только старался не обременять собой друзей и близких, но и имел привычку всеми возможными средствами помогать другим.

«Милая Галя, видимо, да чего там «видимо» — точно! — я недостаточно внимателен к своим товарищам в будничной ситуации. Но не потому что я равнодушен к ним, а лишь потому, что меня на всё не хватает. Когда же ситуация становится чрезвычайной, когда нужны конкретные действия, для меня унижительно быть в стороне. И если меня не призывают — это недоверие позорней пощёчины. Помните об этом». Так писал он мне из Крыма в октябре 1978 года. И тогда, и после, он не раз подтверждал эту свою готовность делом.

В другом письме он так объяснял смысл своего предназначения:

«Когда я еду в поезде (один) и вынужден просить чужого человека уложить меня спать или того больше — сносить меня (извините) в туалет, я не чувствую в этом для себя унижения. Напротив! В этом-то и есть реализация специфики той борьбы за человечность, которую волей судьбы, в силу данного мне физического состояния, я и должен осуществлять в первую голову. Ведь, совершая какое-то действие для меня, сосед по полке проявляет человечность, то есть приобщается к Духу Человека и утверждает его в бытии. Я своей беспомощностью предоставляю ему эту возможность. Положим, мне трудно. Положим, я не понимаю общественной значимости своей инвалидности. Положим, я испытываю унижение, обращаясь за помощью (как, впрочем, и было со мной и есть с другими). Что с того! Объективно само явление сочувствия и помощи более сильного, облагораживая последнего, облагораживает Дух Человека. С другой стороны, предположим, я мог быть здоровым и всю жизнь прожить без нужды, ни в ком не вызывая участия, не пробудив сочувствия, не побудив к Сотворению Добра. Мне было бы легче. Но общественная значимость моей жизни, ее вклад в рост и совершенствование Духа Человека, были бы меньше, даже при прочих равных данных. Так, если бы Николай Островский написал такую же книгу, будучи здоровым, кпд ее общественной значимости был бы гораздо ниже. Незаурядность явления повышает его значение для Человека».

Эта непростая жизнь требует, конечно, отдельного рассказа, особых исследований. Чем дальше во времени уходит траурная дата, тем больше людей понимают, какой мощный человек жил рядом. Геннадий Головатый обладал особым видением, умел в обыденном и мимолётном рассмотреть высокий философский смысл и щедро делился своим пониманием мира с другими. Он рисовал, писал стихи и прозу, оставил после себя семь книг и великое множество ждущих своего часа рукописей. Нам ещё предстоит оценить его творчество. Заново перелистать, вчитаться, всмотреться, вдуматься. Издать!

Безусловно, он был из породы писателей-мыслителей, которых Гегель причислял к «доверенным лицам мирового духа», а В.Г. Белинский назвал «явлениями, не останавливающимися на той точке, на которой застала их смерть». Шаблонная фраза журналистов «прикованный к постели» — не о нём. Я не знала более мобильного, живого, в самом лучшем смысле, берущего от жизни всё человека.



ГЕННАДИЙ ГОЛОВАТЫЙ



Мне кажется, я был уже когда-то...

Могут!

Слепые не могут смотреть гневно,
Немые не могут кричать яростно,
Безрукие не могут держать оружие,
Безногие не могут шагать вперёд.

Но — немые могут смотреть гневно,
Но — слепые могут кричать яростно,
Но — безногие могут держать оружие,
Но — безрукие могут шагать вперёд.

* * *

Мне кажется, я был уже когда-то.
Но и тогда мне так же не везло.
И я оставил тёплый дым над хатой,
Ушёл во тьму, где спят добро и зло...
Менялись боги, рушились гробницы,
Стирало время царства без следа...
Но как-то удалось мне возродиться
И вновь услышать, как журчит вода,
Как бродит ветер, нервный и суровый,
Как петухи кричат, что рассвело,

Как за стеною кашляет корова
И мухи утром быются о стекло.
Увидеть вновь, как улетают стаи,
Отец седеет — в день по волоску,
Увидеть мать — морщинистой, усталой,
И ощутить забытую тоску.
И захотеть опять уйти куда-то,
И — не ходить, в душе зарыв тепло,
И вспомнить, что я был уже когда-то
И что тогда мне так же не везло.

ГОЛОВАТЫЙ Геннадий Алексеевич (1940–2001) родился в пос. Аксёново-Зиловское Чернышевского района Читинской области. Первые стихи опубликованы по итогам Читинского семинара в коллективном сборнике «Зёрна» в 1966 г. Автор книг: *«Когда солнце сгорает»* (Иркутск, 1965), *«Не забыть и не вспомнить»* (Иркутск, 1968), *«Я открыл»* (Иркутск, 1977), *«Запретный плод»* (М., 1979), *«Времена жизни»* (Симферополь, 1982), *«Два мира — в мире»* (М., 1987), *«Испытание»* (Чита, 2003), *«Я открыл радость мир открывать»*: Избранное в 2 т. (Чита, 2010). Член Союза писателей СССР, России.

* * *

С кем я побеседую, кто меня поймёт?.. — Стол, вы не обедали? Угощайтесь вот.. Стол, вы не устали ли? Вы бы прилегли.. Вас давно поставили? Я вас завалил книгами, бумагами.. Извините, Стол. Что же делать: надо ведь! Я и сам устал. Стол! Вы были деревом в дебрях где-нибудь!..	Трудно было в бурю вам Спину не согнуть? Стол, вы замечаете, как замызган Пол? За себя — ручаетесь? Не ручайтесь, Стол. Что? Грустите? Верю вам. Лучше ведь — в глуши — раззелёным деревом слушать камыши. Сам мечтаю издавна: ногу бы! — в пурге — убежал бы из дому на одной ноге!
---	---

* * *

Полон счастья, был голос твой звонок. Летним утром в речушке лесной ты плескалась, как малый ребёнок, наготы не стыдясь предо мной.	Словно замерли птицы! И небо — самолёт обвело стороной, чтобы голос прозрачный твой не был замутнён посторонней струной.
Зелень густо склонялась над блеском голубой и янтарной волны. Никогда, как в то утро над лесом, не слышал я такой тишины.	Только эхо одно не стерпело и украдкою, прячась за лес, еле слышно (для памяти!) пело, повторяя твой голос и плеск.

* * *

Чтобы испытать прикосновенья рук твоих, струистых, как вода, я бросал минуты вдохновенья — им не повториться никогда.	Но в часы тишайшие отливов — только море, небо да заря — столько слов, заветных и счастливых, я открыл, тебя боготворя!
--	--

За святое

Как хочется
Умереть
Не просто так,
А — во имя!
В бою,
На костре ль сгореть..
О, всеми костями своими
За что-то святое лечь —
Возвышенной счастья нету!
Как страшно —
Не уберечь
В себе
Целомудренность эту.

* * *

Все кричало во мне: пожалей!
как жалеют детей или милых...
Но — ты старше была и сильнее,
и кого-то другого любила.

Слышал я, да понять не посмел,
зов из недр твоих самых глубинных:
хоть бы я бы тебя пожалел,
как жалеют детей и любимых!

Чтобы выстоять

Что судьба ни сулила бы мне,
я готовлю себя — к неудачам,
как готовят солдата к войне,
чтобы не был врасплох он захвачен.

А когда неожиданно встречу
вместо пропасти — поле в цвету,
лишь острее пойму красоту
и восторженной счастью отвечу.

* * *

С детства я стыдился проявлять
чувства боли, слабости, обиды,
видом всем стараясь показать:
мы не те ещё видали виды!

Улицей воспитанный, считал,
не к лицу мне «нежности телячьи».
И когда мой срок любви настал,
я... грубил любимой, чувства пряча.

Грядущий мир

Отец мой жизнь прожил не даром:
он шестерых нас вывел в свет.
А я-то мнил его бездарным
(ещё бы, плотник — не поэт!).

Я жизнь его считал несложной
и не писал о ней в стихах...
И вот — я сам отец. И что же?
Грядущий мир — в моих руках!

* * *

В душе, как в океане, скрыто
живу, невидимым извне.
Там пращур мой, в бою убитый,
в песке покоится на дне.

И если шторм взволнует воды
до той придонной глубины,
песок в движение приводит —
и латы пращура видны.

* * *

Смотрю на тело — как на инструмент,
а инструмент достался никудышный:
то сердце метит сдать в любой момент,
то чуть нагрузка — сразу и одышка.

Но этот инструмент не заменить,
не починить, чтоб снова — как со склада.
Да всякий мастер тем и знаменит,
что и плохим сработает — как надо!

* * *

Поэтов любят, но — не жены.
И не ближайшая родня.
Пусть дальним он и светоч дня,
для ближних — словно прокажённый.

Вблизи и Солнце в тёмных пятнах,
и очень серая Луна...
Нет, не сержусь я, мне понятно,
как тяжело со мной, жена!

* * *

И женщиной, которую я любил,
и женщиной, которую я люблю,
и предан я был, и обманут я был,
но снова надеюсь — и снова терплю...

А сам я — ужель никому не солгал?
Ни другу, ни милой — ни в чём, никогда?!
И чувствую: уши горят от стыда...
Лишь песни — доподлинно честно слагал!

* * *

«Дела нельзя закончить,
но можно отложить —
и жить, как сердце хочет,
как надо сердцу жить!»

Решил. Дела забросил.
Была, мол, не была!..
Вдруг слышу — сердце просит:
«Возьмёмся за дела?»

* * *

Мне не дойти к моей вершине!
Тут диалектика проста:
чем идеальней высота,
тем глубже и непостижимей.

И только чую: выше нет —
в эпоху бомб, ракет, коммерции —
той точки, что на самом дне
больного состраданьем сердца!

Памяти дочери

Отражены мы в зеркале, воде,
в глазах людей, в блестящих безделушках...
Но гаснет свет — и нет уж нас нигде,
пока в живых не отразимся душах.

Как ты в душе моей отражена,
моя неутоляемая жалость!
И отраженьем в мир обращена,
когда душою в нём я отражаюсь.

Исповедь

В угоду похоти своей,
под гнётом страхов и томлений,
из чувства мести — хоть убей! —
не совершал я преступлений.

Но ради творчества, любви
и ради вещего познания —
все преступления мои!
И все — с жестоким наказаньем.

* * *

Я ничему не научился!
Уж роботы — открыли дверь
в наш мир,
разложенный на числа,
а я — не знаю и теперь,
как совместить
мораль — с любовью,
свободу — с долгом,
с песней — быт,
друзей — с семьёю,
счастье — с болью...
Я болен неумением быть!

* * *

Ты спел — и уехал.
Но песня твоя и твой голос
остались на плёнке — её, как завет, берегу.
Душа моя — степь.
И когда в ней — распятой и голой —
твой яростный голос летит, я такое могу!..

А ты в это время, быть может, хрипишь...
А быть может — хрипишь,
захлебнувшись густеющей кровью своей.
И слышишь, бессильный: о свитер твой
вытерли ножик... И стихли шаги...
И ползёт по лицу муравей.

Слово совершенное

Мне без этого слова на свете —
как без памяти и без любви.
Слово — слепок с былинки и с века.
И попробуй его назови!

Сколько времени нужно и силы?
Сколько лет я ищу, сколько лет!
С риском, где-то у самой могилы,
вдруг постичь: слова этого — нет!

* * *

А в сердце обида и горечь:
обманут, оплётан, побит...
Я сердце потугами корчу —
разглядить рубцы тех обид.

И вот он находится, ключик
(выл волком, запой соловьем!):
«Ты — был бы на месте их лучше?
И лучше ль себя — на своём?»

* * *

В жаркий день и под луной,
и когда дожди по лужам,
ты — себя любила мной,
тем и был тебе я нужен.

Но без жертвы — пламя гаснет.
Пуст алтарь. Труби отбой.
Я — ушёл... И стало ясно:
я — себя любил тобой!

На круче

Этих локонов блёсткий шёлк,
пышнопенный, как водопад!
Кто однажды в него вошёл,
тот уже не придёт назад.

Я бы бросился — молодым,
но, дожив до седых волос,
я спокойно стою над ним
и смотрю на далекий плёс.

* * *

Я беден, как птица в осеннем полёте.
Тоску свою криком ли вылью?
Одни только крылья — и те не из плоти:
духовные крылья!

Но есть высота у меня, и движение,
и воля, где хочешь спуститься;
кручина разлуки, восторг возвращения...
Богат я, как птица!

* * *

Ты склонишься лицом своим ко мне
и распахнёшь, как две вселенных, очи.
И вечность мне покажется короче
мгновения с Тобой наедине...
Так жду Тебя!
Но Ты — не приходи.

Как только Ты придёшь,
Тебя — не будет.
Твой зримый образ
чувственность разбудит
и уничтожит
тайну впереди.

* * *

Мне надо было в двадцать лет
всего лишь десять лет,
чтоб Жизни выведать секрет
и дать на всё ответ.

Но то же было в тридцать лет,
и то же — в сорок лет..
А жизнь по-прежнему — секрет!
Не в том ли и ответ?

* * *

Я всё хочу подбить итоги,
весь опыт в узелок стянуть
и наконец-то с плеч стряхнуть
долги, раскаянья, тревоги...

Венец делаю! Чтоб от венца,
как от последнего причала,
я мог бы — снова и сначала.
Да начатому нет конца...

* * *

Я не знаю, что во мне созрело,
но стихи теперь затем пишу,
чтобы хоть немного посветлел он —
тот, кому их завтра покажу.

Правда, это редко удаётся.
Чтоб водою чистой напоить,
мало и глубокого колодца:
он — незамутнённым должен быть.

* * *

Страданье, как и удивленье,
в нас оттого лишь происходит,
что в рамки наших представлений
происходящее не входит.

И я не верю в совершенство.
Возможно только восхождение.
Стремясь к познанию — не блаженству! —
познал блаженство постиженья!

* * *

И вот передо мной — живое море!
Таким ли я его воображал?
Как некий дух, с самим собою споря,
швыряет на песок за валом вал.

Они — как мысли гнева и смятенья —
из сердца моря бьются о края.
И нет исхода им: «О Тяготенья! —
кричит Вода. — Ты жизнь и боль моя!»

* * *

Не женой моей, не любовницей —
будь мне матерью и сестрой.
Вместо дочери моей, покойницы,
как умру, мне веки закрой.

Не зазорно — пасть; стыдно — спрятаться.
И в сплошной земной борьбе,
не подруга мне будь — соратница!
И — соратник стану тебе.

* * *

Намёком листок пожелтелый
слетел на балконный порог.
Ах, осень, как мало успел я!
(Как много я всё-таки смог!)

Устал... Или сил больше нету?
Но даже не жаль мне, кажись,
и это пропавшее лето,
и эту пропашую жизнь...

* * *

Долгие, долгие дни ожидания,
ночи возвышеннейших откровений!..
Свеи песчаные — воспоминания —
в неумолимых барханах забвений.

Сердце ли думало, дума ли билась:
«Морюшку — морево, небушку — небово»...
То ли приснилось, то ли забылось...
Было ли, не было?.. Было ли... Не было...

* * *

А я не хочу узнавать,
куда журавли улетают.
Не нужно тот край называть,
пускай он останется тайной.

Пускай... Ведь узор на стекле
от прикосновения тает!
Хочу тосковать по земле,
куда журавли улетают.

* * *

«Не учи меня жить!» —
говорил я, когда был зелёным,
и казалось ещё,
что до неба — я сам дорасту.
В этой самонадеянности
сколько раз я бывал посрамлённым,
сколько раз я губил
мне дарованную красоту!

И теперь, когда опыт мой стал
несравненно богаче,
а до неба — всё так же
ещё далеко, хоть кричи,
с каждым встречным
уже говорю и молчу я иначе:
— Научи меня жить!
Научи меня! Жить — научи...

* * *

Ещё твержу я по привычке,
что жить хочу и познавать...
А жизнь — горит последней спичкой.
И всё трудней, трудней вставать.

И в сердце — стыло и безлюдно.
Где бушевали травы — снег.
Ужель и то, чем жил подспудно,
со мной заканчивает век?

* * *

Когда и сам не понимаю,
о чём пишу, зачем пишу,
и целину вдруг поднимаю,
и глубоко притом пашу...

Люди, я хочу, чтоб вам открылся
ключ заветный к молодости вечной!
Чтобы вы боролись без убийства,
чтобы вы любили бесконечно.

Когда ж — размеру всё и взвешу,
вдруг вижу, сделав борозду:
и по своим как будто вешкам
ан пахотой чужой иду!

Для себя же я б хотел немного:
чтоб стихи мои похожи были
на лицо моё и на дорогу,
по которой прежде не ходили.

* * *

Я пришёл в этот мир не здоровье беречь,
не деньгу сколотить и не толпы увлечь.
Я родился на свет, чтоб добрее он стал.
Я родился, чтоб камню отверзнуть уста.

А навстречу (как Суд и Прощенье) —
шаг потомков (Спасенье и Взлёт!):
их немислимое возвращенье
в мою душу — с грядущих высот!

Я родился открыть и постичь, и сказать.
Я родился грядущее с прошлым связать.
И таинственный дар, что природой мне дан,
погрузить в бесконечный людской океан.

Вот и дожил: и вправду —
не надо стало мне ни дворов, ни даров.
Только — меньше бы ставилось надолб
меж людьми на скрещеньях дорог!

Я живу — как в пустыне кочую:
за глухой для других тишиной,
не ушами — всей сущностью! — чую
ропот предков, идущих за мной.

Ни награды, ни честь — уж не лестны:
просто так бы сгореть за людей...
Может быть, лебединая песня
подступает к аорте моей?

* * *

Нет, я себя не воспевал,
хоть обо мне мой каждый стих.
Я изучал и раскрывал
себя другим, в себе других.

А люди? Я не знаю их —
отдельных друг от друга.
И лишь насколько себя постиг —
постиг врага и друга.

* * *

Всего вам доброго, друзья,
всего вам доброго!
Здоровья, славы, тишины
и счастья долгого.

Но помните, как помню я,
в часы страдания:
мы не для счастья рождены —
для испытания!

* * *

О тебе всё думаю,
сумрачен и тих...
Потемнело, дунуло,
заметался вихрь.

Что ж ты не поверила,
не пришла ко мне?
Иль тебе, как дереву,
не порвать корней?

Во лугу некошеном
сникла лебеда.
Закружилась коршуном
над тобой беда.

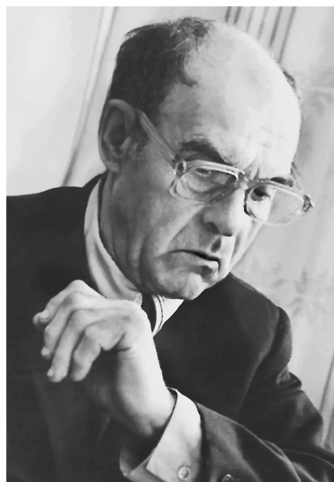
В огороде брошенном
ржавая вода.
Опустилась коршуном
на тебя беда.

Нет тебе спасения
на самом юру,
Как ветла осенняя
на сыром ветру.

Потемнело, дунуло —
устоять невмочь!..
Над моими думами
заметалась ночь.



ВАСИЛИЙ ШЕЛЕХОВ



Мама умерла...

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ

*...Вотще тогда Надежда слезы льет,
как знамя черное свое Тоска-царица
над никнувшим челом победно разовьет.*

Шарль Бодлер

Прочитав в телеграмме «мама умерла», Виктор машинально расписался, машинально закрыл за почтальоншей дверь. «Как умерла?.. Разве это возможно?.. Ложный вызов?.. Да нет, это исключено. Значит, в самом деле умерла мама?! Значит, страшная весть приходит вот так буднично-просто: «Распишитесь в получении»? Такое бывает раз в жизни с каждым, и вот ныне Оно, Немыслимое, Непонятное, Непредставимое, ступило на порог его дома. У-мер-ла!!!»

Виктор прошёл в комнату, сел за письменный стол, вновь прочёл несколько раз подряд телеграмму. «Мама умерла 15-го Антонина». Нет, но как же всё-таки так вдруг? Так неожиданно?! Впрочем, почему неожиданно? В последние два года она что-то расхворалась.

Когда Виктор видел мать в последний раз, ему бросилось в глаза, что худое загорелое лицо её в частой сетке мелких морщин, с тонким острым носом и тонкими строгими губами, не менявшееся десятилетиями, выглядит как-то расплывчато из-за нездоровой одутловатости подскульев и водянисто набрякших подглазьев. И тревожило что-то ещё явно

ШЕЛЕХОВ Василий Владимирович (наст. имя В.В. Гинкулов), прозаик, публицист (род. в 1929 г. в с. Тунка, Бурятия). Автор книг: *Глухаринные хитрости*: Таёжные очерки и рассказы (Иркутск, 1974); *Ленские плёсы* (Иркутск, 1977); *Утрата невосполнимая* (Иркутск, 1999); *Живи, тайга!* (Иркутск, 2006); *Даль сибирская* (Иркутск, 2010; М., 2015). Член Союза писателей России.

чужеродное на её лице... Что?... Обычную розовость кожи перебивал тусклый, землистый цвет... Да нет, главное, что вызывало неясные опасения, заключалось, видимо, в ином. Жесты и походка матери стали менее быстрыми и не столь резкими, порывистыми, как прежде. Но и это не всё. Её пугали, угнетали видения наяву, не галлюцинации, а что-то непонятное, чему трудно придумать название: прямо средь бела дня Евгению Родионовну обволакивало незримым зыбким облаком, заставляло быть участницей встреч и разговоров в иной, фантастической жизни. Виктор догадывался, что это сдвиги в психике, возможно, естественные в старости, и старался не заострять внимание на удручающих переменах, полагая, что разумнее надеяться на лучшее, чем ахать и паниковать.

А недавно отец написал, что мама плоха, сердце у неё, мол, отказывает, аритмия, низкое давление (у него-то, у отца, наоборот, высокое давление), и хочется, мол, ей с ним, Виктором, повидаться, мало ли что может случиться, лета, дескать, у нас преклонные. Хотел на Октябрьскую годовщину вырваться — не получилось. Отложил до Нового года... Всё времени не хватает... И вот на тебе! Умерла! Такая энергичная, жизнелюбивая, работающая, минутки, бывало, без дела не посидит... Нет, невозможно представить маму мёртвой!.. Хотя... Ведь 76 лет ей весной исполнилось. М-да, дай Бог каждому дожить до таких лет!

Виктор походил по комнате взад-вперёд, взглянул на часы, довольно спокойно соображая, что надо непременно попасть на электричку, что идёт в Чердынь в полдень. Удивляло, что трагичность случившегося до сердца так и не дошла. А если б с сыном или женой такое? Подумать страшно! Волком взвыл бы! А ведь мать считается самым близким, самым родным человеком... М-да, да мало ли условностей в жизни! Принято говорить, что мать всего дороже, но в действительности она где-то там, за горами, за долами, дети её годами не проводят, хорошо ещё, если с праздником поздравляют иногда. Они-то, Колесниковы, намного совестливей других, заботливей по отношению к родителям. Но всё же... мать и жена... Жена — это как бы часть тебя самого, не зря же сказано: «дражайшая половина». Да, половина всего дорогого в жизни, а может, даже больше, если живёшь с ней душа в душу. Так что нечего ему стыдиться. Смерть родителей — железная закономерность, жестокая неизбежность. «Все люди смертны, Сократ — человек, следовательно, Сократ смертен». Классический силлогизм. Так что надо принять случившееся как само собою разумеющееся, естественное. Закон природы.

И всё же Виктору было стыдно за то, что не горюет, не чувствует сердечной боли, а просто недоумевает: мать была всегда, и вдруг её нет! Не стало её среди думающих, говорящих, смеющихся, не стало её среди живых. Как-то странно. Зябко. Непривычно. Тревожно.

Позвонил жене в поликлинику, что немедленно выезжает на похороны матери. Приятно было слышать её взволнованный голос, слова участия. По дороге на вокзал заскочил на минуту в университет — предупредить, что вернётся через два дня. В деканате женщины заохали, заохали («Бедный!», «Подумать только!», «Какое несчастье»), и опять стало стыдно за своё жестокосердное равнодушие. Как искренне жалеют его, чудачки! Слава Богу, что не догадываются, какой он, Виктор Артемьевич Колесников, кандидат исторических наук, чёрствый и, в сущности, мелкий человечиска! Обмануть их нетрудно. Надо только напустить на лицо тоскливую озабоченность — и это вполне сойдёт за признак глубокого душевного страдания. Можно не сомневаться, что милые женщины, лишь закроется за ним дверь, станут говорить о нём сочувственно — «переживает!». Всё-таки хорошо, что в этом мире рационализма ещё остались люди, способные переживать, страдать... А ведь покойница любила его, Виктора, пожалуй, сильнее, чем кого-либо из всех своих детей, хотя считала священным долгом любить их одинаково. Не случайно именно его заказывала мать незадолго перед смертью, чувствовала, должно быть, что дни её сочтены, а он, свинтус, не удосужился навеститься в Даранчет!..

Вокзальная суета, сквозняки перронные, гудочки маневровых электропоездов, голос диспетчера по селектору над станционными путями всегда вызывали в душе Виктора радостную надежду встретить в пути что-то необычайное, всякая дорога, дальняя или ближняя, была для него праздником. Сегодня же ему стало как-то не по себе на вокзале.

«Так, значит, и в самом деле я еду мать хоронить? Значит, она действительно лежит там, дома, в гробу бездыханная?» — запоздало ужаснулся он.

Вдруг вспомнилось, что в последнее время странные, нехорошие сны ему снились, вроде бы под родительским домом мутные ручьи вырыли глубооченные траншеи, даже заглянуть туда страшно, а в доме печь развалилась, и стены покрыты толстым слоем льдистой изморози, двор же и огород заросли полынью, бурьяном, чертополохом — немыслимой сорной дурниной выше человеческого роста. Жуткие сны, что и говорить, предсказывали великую беду семейству Колесниковых, великое запустение в родительском доме.

Зимой в пригородных поездах немногочисленно. Виктор без труда нашёл покойное местечко и с чувством некоторого облегчения, что, наконец-то, посадочная тягомотина окончилась, сел и погрузился в свои думы.

И окружающее, и преподавательские заботы, и семейные дела — всё отступило, отодвинулось в сторону, как нечто мелкомасштабное, незначительное перед случившимся в родительском доме. Опять, зайдя по новому кругу безостановочно бегущих мыслей и воспоминаний, он попытался вдуматься, вчувствоваться в то, что свалилось на него сегодняшним утром.

Нет, как же всё-таки это неожиданно: трах-бах, умерла! Почему бы этому не произойти позже, через пяток-десяток лет? Не такой уж одряхлевшей была ещё мать! Хотя... Хотя... Да-да, напротив, следовало бы опасаться и ожидать трагического исхода после разрыва дипломатических отношений матери с семьёй Заплатиных, но они с Константином, старшим братом Виктора, во время последней побывки у родителей не придали такого уж большого значения сварливой материнной воркотне, что она, видите ли, зажила слишком долго на этом свете, устарела, ничего не понимает в нынешней жизни, не нужна никому, и потому осталось только помереть, чтобы не мешать добрым людям сходить с ума и творить чёрт те что.

Скандал разразился где-то года три тому назад. Пятнадцатилетняя Ирина, младшая из двоих Клавдиных дочерей, оскорбила и выгнала бабу, то есть Евгению Родионовну, когда та по обыкновению зашла к Заплатиным, чтобы навести там должный порядок, вправить кой-кому мозги, а конкретно — напомнить своей внучке о девичьей чести. Да не то что ненароком, нечаянно обидела, а намеренно грубо обложила старуху площадной бранью, более того, кричала вдогонку, выскочив на крыльцо, что если та попытается впредь переступить порог заплатинского дома, то повыдергает ей ноги.

Легко ли было перенести такое Евгении Родионовне с её-то гордостью и чувством собственного достоинства, с её кремнёвым характером! Стариков Колесниковых уязвляло и то, что муж старшей дочери, сам Заплатин Степан, после того скандала к ним ни ногой. И не потому, что устыдился бесцеремонности дочери, напротив, можно было догадаться, обрадовался и перестал считаться с тестем и тётцей, вычеркнул их из своей жизни, заживо похоронил.

Клавдия — та заходила, как и прежде, была так же вежливо-предупредительна, даже, пожалуй, с большей угодливостью предлагала свою помощь, но о ссоре — ни звука. И если Евгения Родионовна пыталась заговорить об этом — упорно молчала. Всегда покорная воле матери, теперь она твёрдо встала на сторону строптивой дочери. «И чего мама взъелась на моих девок?! — жаловалась она братьям. — Что, мои девки хуже других, что ли?! Нисколько не хуже! Нисколько!» — И по обыкновению заливалась слезами в три ручья. Слезы у неё всегда были близко.

Они попытались тогда не то что приструнить, а хотя бы усовестить, услышать запоздалое покаяние дерзкой Ирины, но та, вращая огромными оленьими глазами, так артистично изобразила сцену до глубины души оскорблённой девственницы, в припадке гнева наговорившей бабке грубости (а что конкретно говорила, не помнит, якобы, потому что была в состоянии невменяемости), что дядя смутились, растерялись, даже чуть было не поверили этой басне. После же, когда не осталось сомнений в беспардонной лжи племянницы, не хватило духу возобновлять разбирательство. Вернее, ими со всей очевидностью выявилась абсолютная бесполезность взывать к совести этой негодяйки.

Да и что хорошего можно было ожидать от заплатинских отпрысков? Клавдия-то — само безволие. Жалели Клавдию в семье Колесниковых за то, что она по всем статьям уступала своим младшим сёстрам и братьям. Да хоть бы красотой, что ли, компенсировала капризная мать-природа недостаток иных-прочих талантов, для женщин красота ведь немаловажна, так нет же, ничем, кроме румянца на щеках, в глаза она не бросалась; этот румянец, впрочем, остался при ней на всю жизнь, правда, теперь он уж и совсем ни к чему.

Проворной Клавдия никогда не была, а с годами, пополнив, и вовсе стала медлительной, нерасторопной, с виноватой улыбкой недоумения, недопонимания на круглом бесхитростном лице. В разговоре она никогда никому не возразит, будет охотно поддакивать, кивать головою, умильно улыбаться: «Ага-ага, ну да, ну, конечно, ну ясное дело, так оно и есть, правильно вы говорите, я всегда то же самое думала».

Школьное ученье давалось Клавдии трудно. Беспамятная, тугодумка, она и старалась, зубрила, бедняжка, а никакого толку, на троечках тянулась, кой-как окончила семилетку — и всё. Не приобрела никакой мало-мальской специальности, хотя замуж вышла поздно, в двадцать пять лет. Временами она, правда, работала то почтальоном, то сторожем, то уборщицей, на более и не замахивалась. Родила трёх сыновей, двух дочерей.

Старшая сестра страшно рассеянная. Сколько она посуды, как первая материна помощница, перекрошила в детстве — кошмар! А бранить пахорукую бесполезно: «Я не виновата, чашка сама улетела!» Клавдия всегда, похоже, о чём-то постороннем думает. Не может надолго сосредоточить внимание на чём-либо одном, слушает-слушает собеседника — и вот уж глаза её поплыли вкруговую, это верный признак, что отключилась и витает в иных сферах. Мать о ней говорила обычно с сердцем, негодуя: «На ходу спит, холера!»

Рассеянность сестры отчасти можно было оправдать хроническим переутомлением: всю домашнюю работу она проворачивала сама, до двенадцати ночи ходит-бродит, как маятник, моет, подправляет, подтирает, чистоту наводит, обихаживает своих лентяев и лентяек, не желающих даже постели за собою прибрать. Да что постели! Сидят, например, они все за обеденным столом, всё семейство, сидят и ждут, да ещё покрикивают, как в ресторане, чтоб поскорее преподнесли им на блюдецке с голубой каёмочкой жареного-пареного, а Клава мечется от печки к столу.

Евгения Родионовна всю жизнь боролась против такого возмутительного порядка. Да мало ли нелепостей бытовало в семье Заплатиных, против которых она воевала! Да, воспитать, а тем более перевоспитать человека — многотрудное дело, за успех ручаться нельзя даже с таким, выходит, характером, как у матери-покойницы.

Попробуй перевоспитать Степана Заплатина! О, это феномен! Колесниковы всегда добродушно посмеивались над ним, нестандартный, мол, экземпляр, чёрный ящик, мол, а не человек. Крупный, плечистый, по-воловы медлительный, Степан умеет плотничать, слесарничать, столярничать, класть печи, скорняжить, одним словом, любой инструмент не окажется чужим в его богатырских руках, но вместе с тем он страшно ленив, по-младенчески беззаботен и непредприимчив до смешного. Прибыв на новое место жительства, он готов был взяться за любую первую попавшуюся работу. В дело подключались родственники, конечно же, тёща, подыскивали подходящую вакантную должность, договаривались с начальством и нахально-насильно запикивали туда «непутящего» зятя. «Руки у тебя, Степан, золотые, а голова дерьмовая», — говаривала по обыкновению Евгения Родионовна.

Взяться за какое-либо дело Степану неимоверно трудно. Сила инерции (а говоря проще, лень) в нём преогромна. То была не заурядная лень-ленца, нет, то была лень с большой буквы, какая-то особая, родовая, пронизывающая все чувства и разум, всё до мозга костей, непреодолимая, сродни медвежьей спячке, проглядывавшая у всех Заплатиных с некоторыми вариациями.

Но уж если возьмётся Заплатин за работу — гору своротит! Раскорчевать и вскопать участок-целик под огород, нарубить строевого лесу и сделать прируб к дому (надо! семья-то растёт!), заготовить на зиму сена для коровы — всё это будет сработано хозяином отлично и в срок, если тёща и жена сумеют пронять, допечь его, заставят сделать первый

шаг. «Лиха беда — начало» — эта пословица будто специально для Степана Заплатина придумана.

Знаменательному первому шагу порою предшествовали многие дни, недели и месяцы увещаний, просьб, требований и скандалов. Евгения Родионовна с Клавдией самоотверженно штурмовали заплатинскую твердыню лени, изощряясь в красноречии. Степан стойко держал оборону, защищаясь невозмутимым молчанием: свернёт сигарку из махорки величиной с добрую сигару, закурит, утонет в табачном дыму, словно утёс в облаке, и, похоже, задремлет даже.

Героические усилия женщин, как правило, увенчивались успехом; слабый пол, на поверку, сильнее сильного. После этого оставалось только хихикать и потирать руки от удовольствия, ну и, конечно, придерживать разгорячившегося трудягу, подводить черту, когда дело будет сделано, так как сам Степан этого не понимал, работа его захватывала, опьяняла, завораживала, ему жалко было прекращать её. Способный в периоде безделья спать сутками, теперь он ломил остервенело, как зверь, днём и ночью без сна, без отдыха, без передышки, не страшась надорваться и замотать, угробить своих помощников. Не останови его, он врубался бы в тайгу топором до тех пор, пока не вылез бы на другом конце её, в тундре, не урезонь вовремя, махал бы косой до самого Тихого океана!

Дважды (да слава Богу — ненадолго!) капризная житейская судьба разлучала стариков Колесниковых с семьёй старшей дочери, и каждый раз полнокровное житьё в доме Заплатиных сменялось тусклым и жалким прозябанием. Приехав к ним в гости, Евгения Родионовна неизменно обнаруживала неприбранную избу, замусоренный двор, больных, заморённых, разутых-раздетых внучат, измученную, опустившуюся, поглупевшую дочь и краснорожего невозмутимо спокойного зятя, который, оказывается, пользуясь доверчивостью супруги, утаивает часть зарплаты для своих сугубо мужских нужд: вино-табак, охотничьи и рыболовные припасы и снаряжение. Наплакавшись, мать с дочерью приводили дом и двор в божеский вид, а потом строили планы, как поскорее съехаться, чтобы жить обязательно в одном посёлке, на одной улице, а ещё лучше двор о двор, чтобы хозяйство вести сообща, детей поднимать, со Степаном, неисправимым дуботолом, объединёнными силами бороться, и клялись друг другу, что, соединившись, никогда впредь не будут разлучаться. Самостоятельно, без верховного руководства эта семейка не могла, оказывается, безбедно существовать.

Заплатин разгадывал, конечно, женский заговор, нацеленный против него, и не раз пытался избавиться от докучливого неусыпного ига тёщи, сманивал жену то на Байкал, то на Дальний Восток, но слабовольная Клава в этом вопросе железно стояла на своём: «Не люблю здесь, уматывай хоть на Камчатку один и плати алименты! А я от матери никуда!»

К своим детям Степан Заплатин относился всегда в высшей степени безразлично, в упор, как говорится, их не видел, словно сосуществовал с ними в одном замкнутом пространстве, но в разных измерениях. С малышнёй, правда, общался, маленькие — они же забавные, как игрушки. Но чем взрослее становилось его потомство, тем менее оно интересовало Степана. Ни ласки, ни брани, ни угрозы, ни внушения — никогда ничего дети от отца не слышали. Пили, ели, спали, росли, шагали в школу, устраивались на работу — всё это без контроля, без напутствия, без какого-либо участия со стороны породившего их. Правда, изредка, когда на его глазах творилось что-нибудь слишком уж безобразное, возмутительное, Заплатин облегчал душу всегда одной и той же стереотипной фразой, сказанной как бы между прочим, брошенной куда-то в пустоту: «Скотина, туды-т-твою мать!» И совсем редко, где-то раз в полгода, добирался до Кольки, старшего в семье, норовил избить его палкой или поленом (оглобли в хозяйстве не водилось), к счастью для злополучного неслуха, мать с бабушкой выручали его. Заплатин же, припугнутый судом и тюрьмой за возможное увечье сына, вновь бесстрастно созерцал, как старшенький бьёт сестрёнок, материт мать, отказывается помогать по хозяйству, остаётся на второй год в том же классе, шляется с мальчишками до часу ночи и в глаза грозит ему, Степану, оторвать голову, когда вырастет. Не удивительно, что заплатята не общались с отцом и тоже совсем как будто не замечали его присутствия, не

боялись при нём озорничать: приступ родительской воспитующей ярости был такой же исключительной, маловероятной опасностью, как извержение вулкана для живущих у его подножья.

А ведь любил иногда поговорить Степан Заплатин, как правило, когда выпьет. И внимали ему с удовольствием, даже с наслаждением. Охотничьи байки, военные эпизоды (он участвовал в войне против Японии в 1945 году), житейские истории — заслушаешься! Неторопливо, уверенно развёртывал Степан картины давно минувших дней с яркими, запоминающимися подробностями, обнаруживая при этом отличную память, тонкий юмор и прямо-таки художественный дар к месту, вовремя вернуть звонкое присловье, остроумную шутку-прибаутку, так что слушатели никак не могли удержаться от восторженного поощрительного смеха. Драматические сцены Заплатин воспроизводил с воодушевлением, в лицах, и вообще в его повествованиях соблюдалась плавность, законченность; он старался преподнести всё так зримо и выпукло, не допуская ссылок на третьи лица, чтобы ни у кого не возникло подозрения, досконально ли ему известно то, о чём идёт речь. Порою пытались подловить Степана на неточностях, но он никогда не признавался, что приврал. Талантливый рассказчик, видимо, многое домысливал и, благодаря богатому воображению, выступал всегда в своих рассказах непосредственным участником или свидетелем давних событий.

Умён Степан, умён, в этом не приходится сомневаться. Однако же, говоря об его умственных способностях, Евгения Родионовна непременно добавляла, что умная голова дураку досталась.

С людьми Степан Заплатин обходителен, умеет ладить; где бы ни работал, у начальства всегда был в чести за трудолюбие и добросовестность; с тестем и тёщей вежлив, только на «вы» обращался, слова бранного никогда в их присутствии не позволял себе. Дома же Степан не стеснялся в выражениях, щедро оснащал свою речь сочным русским матом, матюки загибал многоэтажные да все в Бога, в Христа, в Богородицу. Не говоря уж о том, что отец семейства подавал плохой пример своим детям, он оскорблял верующую жену, а также косвенно и тещу.

— Не тронь Бога, дремучий ты человек! — неистовствовала, бывало, Евгения Родионовна после очередной дочериной жалобы. — Не веришь в Бога? Ну что ж. Мы к тебе не пристаём, не заставляем верить. Но — не тронь!

Степан в пререкания с тёщей благоразумно не вступал, первое и последнее слово всегда оставалось за нею, но его молчание отнюдь не означало согласия, придя домой, безбожник вновь крыл с верхней полки всех богов и святых угодников.

— Ну, погоди, Фома Неверующий, оборвёт тебе Бог твои поганые губы! — зловеще сулила Евгения Родионовна. — Сказано же: «Веруй не веруй, а Бога не гневи!»

И как будто намолила; после гриппа опрыщевели губы у Степана, посидели да сошли прыщи, все, кроме одного, загноился, разбух прыщ, и привязался, как вскоре выяснилось, рак. После операции Фома Неверующий вернулся на себя непохожий: рот скособочен и завязан в узел, такой малюсенький, что у ельца. Усадили за стол Степана, стали потчевать, а столовая ложка ему в рот не лезет, кой-как с помощью чайной ложечки утолил он голод через оставшуюся крохотную щёлочку. Позже, правда, постепенно рот у него довольно-таки сильно растянулся, но всё равно так и остался навсегда несоразмерно малым и скособоченным.

Прекратил богохульствовать Степан, однако ж к религии не потянулся, и все поняли: несгибаемый он атеист, до гроба не поверит ни в Бога, ни в черта. И ошиблись. Через двадцать пять лет после женитьбы, уже пенсионер, он ещё раз ошарашил всех. Собрались как-то у Заплатиных бабы, в том числе Евгения Родионовна, и предались рассказам о нечистой силе. Степан вдруг тоже вспомнил нечто подобное из своего детства. Старшая сестра крещенской ночью в бане вывораживала женишка и увидела под банным полком чёрта, точно такого, каким его рисуют карикатуристы: морда козлиная, хвост коровий, а руки человечесь. Едва зайкой девка не стала со страху. Убегая, опрокинула табуретку с зеркалом и стаканом с золотым кольцом. Зеркало разбилось, а кольцо так и не нашли, сколько ни колупали проволокой в щелях пола.

— Так ты что, веришь в чертей, что ли?! — изумилась Евгения Родионовна. — Но ты не можешь, ты же никогда ни во что не верил!

— Есть черти, есть! — яростно возопил Степан, удостоверения, что действительно верит в потусторонний мир. — Зачем ей было врать, сеструхе?!

Вернувшись домой от Заплатиных, Евгения Родионовна долго не могла успокоиться:

— Ну, Степан, ну, уродина! Вот когда раскрылось его нутро! Мы с Клавой тогда его увещевали: «Степан, ты в Бога не веришь, ну и ладно, не верь, мы не заставляем, только не ругайся, не гневи Его». А ему, оказывается, ещё в детстве дано было знать, что есть тот свет, где и Бог с ангелами и раем, и сатана с демонами и адом. Слушал он нас, ирод, и, наверное, про себя ухмылялся: и чего, мол, вы, дуры, кипятитесь, испокон веков так мужики бранились, стерпит, небось, ваш Бог и мои матюки, и ничего мне за них не будет!.. Это же не просто хулиганство, он фактически богоборцем был, пока не получил по мордасам!

Виктор как раз гостил у родителей и возразил:

— А может, у него с детства и до тридцати пяти, когда он женился на Клаве, в мозгу зарубцевалось, что в мире духов одни черти обитают?

— Это если бы он был олигофрен, идиотик, — уточнил отец.

— Да он и есть идиотик! — возопила мать, и все рассмеялись. — Нет, мы никогда не расшифруем этот «чёрный ящик»!..

А за окном вагона летели навстречу, мелькали деревья лесопосадок, ограждающих железную дорогу от снежных заносов. Рядами стояли довольно высокие тополя, светлые, сквозные, во втором ряду — мохнатые ёлки и сосенки, эти наполовину ниже, а спереди ещё один ряд плотного кустарника красновато-коричневого раскраса. Виктор вдруг с пронзительной отчётливостью осознал, что мать эту лесополосу уж не увидит никогда, потому что не поедет в гости к нему или Константину, ибо нет её среди живых. Так что снегозащитные лесопосадки, все эти тополя, сосенки и ёлки, хотя мать их не растила, не сажала и едва ли замечала, когда проезжала тут, лишились её и потому вроде бы поскучнели. Какая, оказывается, незаметная для поверхностного взгляда глубинная связь между всем и всеми на земле! Далеко-далеко, в таёжном рудодобывающем посёлке угасла жизнь 76-летней старухи, и всё-всё вокруг, весь мир неуловимо, но определенно изменился в худшую сторону, пошатнулся, накренился, потускнел.

Острая боль запоздало кольнула сердце. И вдруг вспомнилось давнее — как накануне Нового года едва не умерла от пустяковой болезни Тоня. Это было на Севере, на золотом прииске Омолой. Главврач больницы поставила заведовать аптекой санитарку, и та вместо лекарства подсудобила яду. Вернувшись с работы и найдя свою младшенькую (Анастасия родилась значительно позже) без сознания, Евгения Родионовна, после безуспешных попыток привести больную в чувство, перепугалась, вообразив, что всё кончено, потеряла контроль над собой и отдалась приступу безысходного отчаяния.

Раннее детство запоминается не протяжёнными драматическими пьесами, а отдельными, как бы выхваченными из мрака прошлого, ярко освещёнными картинками, на которых «действующие лица» застыли в наиболее характерных позах, будто на фотоснимке. Незгладимо, на всю жизнь зарубцовывается в мозгу то, что некогда было прочувствовано остро, сильно, и более всего мы обязаны за эти сохранившиеся в нас картины чувству страха.

Виктору тогда лет шесть, по-видимому, исполнилось, в школу он ещё не ходил, а Тоне, следовательно, было четыре года. Отец с работы ещё не вернулся, а он, Виктор, был, видимо, в детской комнате, расположенной вправо от входной двери, довольно узкой, с одним окном.

Услышав истошный нечеловеческий вопль, Виктор через кухню вбежал в зал, посредине которого стоял стол с несколькими стульями, а в дальнем углу за занавеской большая высокая родительская кровать. Сам по себе этот душераздирающий крик, вернее, не крик, а слитный, непрекращающийся рёв смертельно раненой тигрицы способен был привести любого человека, не только детей, в неописуемый ужас, но то, что увидел тогда Виктор, было не менее ужасно. Мать бегала вкруговую по просторному залу, как по арене цирка, в левой руке её — Тоня с тряпично болтающимися руками и ногами, чёрные, как смоль,

материны волосы развевались, будто лошадиная грива, и Евгения Родионовна безостановочно пугами выдирала их правой рукой и отшвыривала в сторону.

— Мама, да делай же что-нибудь! Ты всегда нас спасала от смерти! Мама! — сумела как-то преодолеть парализующее оцепенение ужаса и завопить во весь голос Клава. Тугодумка и растяпа, в тот раз она оказалась молодчиной. Её звонкий отчаянный призыв помог матери выйти из состояния шока и спасти Тоню.

Мать словно проснулась и тотчас с лихорадочной поспешностью принялась приводить в чувство Тоню.

— Молока, давайте сюда молока! — потребовала она.

Кипячёное молоко всегда стояло в миске на плите.

Запомнилась и вторая картина того страшного зимнего вечера: дело происходило на кухне, мать положила Тоню на обеденный стол и попыталась открыть рот, но зубы были судорожно, намертво сжаты. Раздвинув их ножом, мать сунула туда палец, но конвульсивно сомкнувшиеся челюсти вонзились в него с такой силой, что она взвыла от боли и едва его выручила. Пришлось вторично заламывать и разжимать челюсти и по ложке вливать в глотку несчастной спасительное молоко. Последовавшая обильная рвота и спасла, должно быть, сестру от гибели.

Вызванные на дом врачи сделали промывание желудка, но ещё двое суток жизнь Тони висела на волоске, по-прежнему держалась высокая температура, в сознание она приходила ненадолго и вновь впадала в беспамятство. А между тем в том же длинном, барачного типа здании, где квартировали Колесниковы, в помещении рудничной конторы вся интеллигенция посёлка по установившейся традиции собиралась отмечать Новый год. Страхась ответственности в случае трагического исхода, главврач в угоду матери выразила готовность провести новогоднюю ночь у постели больной, но Евгения Родионовна, пронзив её ненавидящим взором, отвергла такую жертву:

— Идите и гуляйте от всей души. Но если что случится с моей девочкой, можете не сомневаться, живыми вы отсюда не уйдёте.

— Она почти невменяема. Видимо, врожденная глубокая истерия, — вполголоса бормотали стоявшие у порога врачи, пытаясь показать друг другу, что не трусят перед остервеневшей от переживаний матерью.

Вспоминая ту угрозу в новогоднюю ночь, Евгения Родионовна, смущённо посмеиваясь, уверяла, что это была отнюдь не пустая угроза, у неё, уже полусумасшедшей в тот момент, и в самом деле вызревало, якобы, мстительное намерение учинить расправу, а если б Тоня умерла, то она свихнулась бы окончательно и взялась бы за топор. В доказательство того, что не остановилась бы ни перед чем в стремлении совершить возмездие, Евгения Родионовна рассказывала про свою мать, бабушку Евфросинью, едва не порешившую казака, царского слугу да к тому же двоюродного брата Еремея.

Предки по материной линии, Шебетовы, жили не так уж далеко от китайской границы, и Родион, её отец, промышлял контрабандой, причём был хитёр и удачлив необыкновенно, никак не могли поймать его с поличным. Однажды к ним с обыском явились два казака из таможи, в том числе Еремей. Один стал шастать по хлевам, амбарам, сараям, а второй — Еремей, в подполье спустился. Пошарил, ничего не обнаружил, хотел было вылезть, голову поднял и обомлел: Евфросинья, жилистая, высокая, что твой гренадер, стоит над ним с топором в руках:

— Ну, Еремеюшка, молись, хриstopродавец, настал твой смертный час!

И не насмелился боевой казак (с собой-то никакого оружия, винтовку у порога оставил!) вылезти из подпола, пока не отобрали у Евфросиньи топор. Ничего ей, разумеется, не было: не должен был Еремей, как родственник, производить обыск в её доме — так Евфросинья объяснила свой дерзкий, бунтарский поступок.

Да вся родова матери, по её словам, шумный, драчливый, неистовый народец.

Слабая зыбкая ниточка, уводившая в несусветную даль семейных преданий, внезапно оборвалась, и Виктор вновь вернулся к недавним временам, предшествовавшим материнской смерти, к обстоятельствам, так или иначе ускорившим её кончину.

«Без хозяина дом сирота» — частенько говаривала про семейство Заплатиных Евгения Родионовна, горестно покачивая головой. Несмотря на мастеровитость Степана и неусыпные старания самой Клавдии, без досадных несуразностей, прорех, потерь и убытков у них не обходилось. Воротца ихней усадьбы, да и калитка, ведущая со двора в огород, зачастую были распахнуты настежь, и случалось, что какая-нибудь вредная коровёнка или свинья проникала туда и опустошала грядки с овощами. Виновных никогда не удавалось найти: дети не приучены к аккуратности, сама же Клава не могла за себя поручиться по причине рассеянности.

Независимо от сезона, погоды и времени года, у Заплатиных всегда наблюдался завал всяких недоделок: двор не подметён, в стайке не убрано, печка не подбелена, время обещенное, а хлеб ещё не куплен, дети без разрешения матери бегают неведомо где. Хватись топора дров расколоть — нет топора на месте, хватись иголки с ниткой или ножниц — тоже не вдруг-то сыщешь. И так чего ни коснись. Всю жизнь во всём, большом и малом, неискоренимая бестолковщина, анархия, разброд. Почти все заплатята росли «бездомовниками», то есть норовили удрать из дому и слоняться по своим делам всё свободное время. «Умру я — летом вас бурьян задавит, а зимой снегом с головой занесёт!» — кричала порою в негодовании Евгения Родионовна. Ничто, даже пустяковое, не решалось в семье Заплатиных без ведома бабки Колесниковой. Она порою и суд-расправу чинила над внуками своими, не скупясь на пощёчины. Но как ни грозен был взгляд, как ни властен был голос Евгении Родионовны, сорванцы в конечном счёте методом сравнения и догадок устанавливали очень выгодную для себя и неоспоримую истину: бабка, строго говоря, в их доме не хозяйка, не она их кормит-поит, а родители, просто она по собственному почину, в порядке, так сказать, самостоятельности распоряжается и командует, а потому можно ей не подчиняться.

Несмотря на все эти непреодолимые, казалось бы, трудности, Евгении Родионовне долгое время удавалось держать в узде, объединять и скреплять в нечто единое цельное непутёвое заплатинское семейство, действуя более всего, разумеется, не наказаниями, а поощрениями, подарками, обновками. Контроль за успеваемостью Клавдиных ребятишек, натаскивание их по русскому языку и математике она возложила на Артемия Николаевича, а сама и лечила, и обшивала внучат.

Вот так и складывался быт Заплатиных; не очень здорово, но и не хуже, чем у окружающих их простых людей. Держались они на плаву благодаря неусыпным трудам и заботам энергичной бабки Колесниковой. «В семье не без урода, а за урода сердце сильнее болит», — говаривала Евгения Родионовна и почитала своим священным долгом расшевеливать и взбадривать, воспитывать и облагораживать, приобщать и наполнять высшим смыслом повседневную жизнь Клавдиной семьи.

Грандиозный скандал, разрушивший до основания устоявшееся сообщество, разразился тогда, когда главные трудности остались позади, и уже можно было, казалось бы, почить на лаврах: Колька, старший, отслужил в армии, женился и уехал, Вера, старшая из дочерей, поступила в культпросветучилище, Ирина восьмилетку заканчивала, а самые младшие, Федька с Митькой, росли тихими, незаметными и (благодарение Богу!) не досаждали вымогательствами.

Взрыв однако ж был отнюдь не случаен. Бунт против бабкиного деспотизма назревал давным-давно, злоба против неё копилась годами, главным образом за то, что та клеймила их «тряпичницами». Рано, очень рано зарождается у девочек вкус к нарядам. Как бы не отстать от подруг, как бы не оказаться одетой беднее всех, как бы не ударить лицом в грязь! Бабкино шитьё Веру с Ириной уже не удовлетворяло: старомодно, упрощенно, убого! Подавай фабричное, модное, современное, с иголочки! Сестры не ожидали уже покорно, как в детстве, когда им что-либо купят или сошьют, а сами наведывались в промтоварный магазин, следили за дефицитом, примеривали на себя всё, что поступало самого лучшего, и брали родителей за горло: «Вы что нас водите, как нищенок?! Другие-то как одеваются! Давайте раскошеляйтесь, раз наплодили! Не предки, а чурки с глазами!»

Слабовольная Клава, не в силах противостоять оголтелому натиску дочерей, убаюкивала их, не оставляя на необходимом. Семейный бюджет Заплатиных затрепал по всем

швам, и они решили все наличные денежки хранить не дома, а у Евгении Родионовны, брать у неё, отправляясь в магазин, ровно столько, сколько было намечено истратить, неизрасходованную валюту тотчас возвращать в её надёжные руки. Этот железный контроль не понравился, разумеется, франтихам, и они пускались на всякие хитрости и подлости ради приобретения обнов, например, стремясь заполучить новые туфли, на старых отдирали подмётки, порою даже не вручную, а топором. Но Степан в мгновение ока вытаскивал из-под лавки сапожную лапу и принимался ремонтировать разодранную обувь под истошный плач и вой «обездоленной» модницы.

Однако же не Вера, громогласная, грубая и напористая, как бульдозер, а именно Ирина, младшая, по всем статьям более мягкая и приятная, отважилась одним беспощадным ударом ниспровергнуть непререкаемый авторитет Евгении Родионовны, уничтожить слававшиеся десятилетиями традиции колесниковского клана.

Эта Ирина с младенчества натренировалась обманывать мать и бабушку мнимыми болезнями. Она то и дело симулировала какую-либо заковыристую болезнь, которую в поселковой больнице не могли разгадать, и требовала везти себя в райцентр к большим специалистам — всё это ради того, чтобы устроить себе праздник: прокатиться, посмотреть город, побродить по магазинам, наесться досыта мороженого, сходить в шикарный городской кинотеатр.

Был тут и другой весьма дальновидный прицел: с больного меньше спросу, больному слаще кусок, больному больше внимания и поблажек. Получив затрещину, Ирина непременно негодуя вскрикивала: «Ой, по больной руке и бьют!» За что ни тронь её, всё у неё на проверку больное! Но если копнуть поглубже, то с несомненной достоверностью обнаруживалось, что главным побудительным стимулом Иринино изобретательного притворства была её артистичная натура, она органически не могла обойтись без игры, без выдумки, без обмана, без импровизированного спектакля. Чрезмерно бойкая, с вертучими глазами, резкими размашистыми жестами и внезапным раскатистым смехом, Ирина производила впечатление человека, переполненного безумной животной радостью жизни. Плещущая через край энергия не давала Ирине посидеть спокойно за уроками или шитьём, рукоделём, едва ли не ежеминутно она вскакивала, крутилась волчком, пела, приплясывала, визжала, хохотала. Её огромные оленьи глаза не просто смотрели, а словно бы пожирали жадно и сладострастно всё окружающее. Импульсивная по природе, Ирина, по-видимому, умышленно преувеличивала взрывную силу своих эмоциональных вспышек, чем порою пугала подруг и кавалеров, никогда нельзя было предугадать заранее, чего от неё следует ожидать через секунду: то ли кинется на шею и расцелует, задушит в дружеских объятьях, то ли пощёчин и пинков надаёт.

Гетеры Греции, гейши Японии обучались своей редкостной профессии годами, десятилетиями, прилагая исключительное усердие, не щадя сил, Ирина же Заплатина постигала премудрости обольщения представителей сильного пола без наставников, без инструкций и руководств, постигала интуитивно, легко, стремительно быстро и, следует признать, с колоссальным для таёжного захолустья успехом. Глаза, губы, брови, плечи — всё у неё пело, завлекало, завораживало. Она научилась так пленительно играть своим голосом, так обворожительно грассировать, так бархатно щебетать, так упоительно-сладко постанывать в окончаниях слов и фраз, что где же там было устоять против её чар простым смертным, не избалованным подобными прелестями, обыкновенным-то даранчетским парнишкам?! Как с ума все походили, когда настал Иринин звёздный час.

«Ох, плутовка-мутовка растёт! Ох, и бедовая девчонка будет! Бесёнок, чисто бесёнок! Ох, и намается тот, кому такая в жены достанется!» — говаривала Евгения Родионовна полушутя-полусерьёзно, и в этой старушечьей воркотне слышалось значительно меньше укоризны, чем любования. Но по мере приближения рокового скандала, по мере того как у игруньи-непоседы всё явственнее стали распирать одежду и спереди, и сзади соблазнительные мякоти, а парни завели моду ежевечерне собираться толпой у заплатинской усадьбы, чтобы понаслаждаться общением с новоявленной искусительницей, по мере того как самостоятельный прирождённый талант местной гетеры распускался на глазах изум-

лённых даранчетцев пышным ярким цветом, хранительница нравственных устоев колесниковского клана всё серьезней и зловещей твердила о бесовской нечисти, вселившейся во внуку Ирину.

С матерью всегда можно было поговорить на полном серьёзе, без всяких скидок о чём угодно. Старики Колесниковы были самыми заядлыми книгочеями в Даранчете, даже Диккенса, все тридцать томов полного собрания сочинений из местной библиотеки, не поленились прочитать; да и на периодику денег не жалели, выписывали и насыщались информацией весьма старательно. И всё же, несмотря на богатейшую житейскую мудрость и начитанность, мать, выходит, отстала от жизни, не сориентировалась, не заметила, что мораль существенно изменилась, и то, что прежде потрясало, ужасало, ныне стало нормой. Вернее, умом-то Евгения Родионовна знала, понимала, что нравы переменялись, что свобод и прав у людей стало чересчур много, а сдерживающих тормозов и обязанностей слишком мало, но сердцем не смогла смириться.

Ехидной судьбе было угодно именно в колесниковской родове явить миру, а точнее захолустному рабочему посёлку Даранчету, такую яркую «звезду», как Ирина Заплатина, может быть, для свершения сексуальной революции. Девушки лёгкого поведения, собственно говоря, всегда обитали на нашей грешной земле, но в прежние и даже совсем недавние времена они стыдились своей распущенности. «Пошла по рукам» — презрительно говорилось о таких, печать отверженности несли они на себе, женихов им не подыскивалось, и сами «грешницы», какими отчаянными ни были по характеру, не могли не считать себя ущербными, второсортными.

Теперь же оказалось, что современная девушка имеет полное, непререкаемое право таскать тёмной ночью парней, как львица щенят, на вышку родительского дома или в летнюю кухню, «пробовать» их, точно гурман блюда, одного за другим, и ходить с гордо поднятой головой, нимало не заботясь о том, что о ней говорят и думают, будучи уверена, что в старых девах не засидится. Людям ничего не оставалось, как изумленно ахать да качать головами, да передавать друг другу свеженькие пикантные новости о Ирининых любовных похождениях, ибо никто не сомневался, что законодательница новой морали космического века наплюет в глаза, а то и вышибет таковые всякому, кто осмелится вякнуть, что её поведение недостойное.

Но всё это произошло после, а вначале, прежде чем вправить мозги сиволапым даранчетцам, Ирине предстояло сломить сопротивление неистой бабки, «старозаветной карги», как она за глаза называла её. И с этим препятствием к своей свободе Ирина превосходно справилась. Жестокое столкновение, собственно говоря, было неизбежно: усадьба родителей рядом с заплатинской, так могла ли потерпеть Евгения Родионовна ежевечерний «шалман» под окнами своего дома, могла ли потерпеть, что до полуночи на всю улицу раздается жеманный Иринин визг и похотливый хохот? «Завела, сучка, собачью свадьбу, — бранилась Евгения Родионовна, — ох, позорище, ох, безобразие, ни стыда ни совести! Ну, погоди, аманатка, доберусь я до тебя!» И добралась на свою голову...

Теперь-то ясно, что мать ещё долго жила бы и здравствовала, если б не тот скандал. Удар, нанесённый Ириной, оказался смертельным. Не перенесла его Евгения Родионовна. Не смогла перенести. Оскорблённое самолюбие, отчуждение заплатинского семейства, болезни, обиды — всё это сфокусировалось и преждевременно свело её в могилу. Обиды... Да-да, обиды на Заплатиных, на Клавдию, на... на них с Константином за то, что реже стали навещаться в Даранчет. Именно тогда, когда мать остро нуждалась в поддержке, они покинули её!..

Так это что же получается? Выходит, все его долгие со всевозможными необязательными подробностями размышления о неблагодарных Заплатиных — лишь хитрая попытка разума свалить вину на других, выгородить свою персону, чтобы не потревожить уснувшую совесть? Ничего не скажешь, изворотлив человеческий ум в неистребимой жажде комфорта для тела и души! Не было ж непреодолимых препятствий для поездки к родителям на Октябрьскую годовщину. Ведь заказывала, просила приехать, а он, под-

лец, поздравительную телеграмму послал и успокоился! Мог же, мог приехать и сесть на край её кровати и погладить загорелые худые с выпуклыми венами руки её!.. Вдруг да это оказалось бы поддержкой лучше всяких лекарств? И не ехал бы сейчас он на похороны, потому что... потому что... мать была бы жива!

И вспомнилась история самоубийства старика Кузина, жившего на одной улице с родителями в Даранчете. Как ни редко бывал Виктор в гостях у своей родни, а этого седого маленького старичка запомнил: однажды с матерью и ещё с кем-то шли они по ягоды, и тот повстречался им с полной корзиной грибов, сверху лежали одни красношляпые сыроежки. Старичок приветливо поздоровался, постоял с минуту, поговорил и вперевалочку пошёл своей дорогой, весь какой-то мягкий, благостный, безобидный, как ягнёнок.

Старуха у Кузина померла, дети жили кто где и не баловали отца вниманием, младшего, последнюю надежду и опору, взяли в армию. Старик не чаял дожидаться сына. Материально он не бедствовал, одиночеством тяготился. Его нетерпение по мере приближения заветного срока всё возрастало. И вот прошла демобилизация, каждый вечер старикан бегал к автобусу встречать сына, а тот всё не ехал, где-то задерживался, видимо, в пути. Наконец, кто-то из местных сообщил Кузину, что младшенький уже в Чердыни, у старшего брата на радостях забутыливает, отмечает своё прибытие в родные края. Кузин заказал с уезжавшими в город по своим делам зайти на квартиру к старшему сыну и передать младшему, чтоб ехал скорей, не вмоготу, мол, больше ждать. «Надежда и опора», как сообщили вернувшиеся из города знакомые, подыскивает в Чердыни денежную работу. Нечего психовать, незачем спешить, передал он отцу, днём раньше или днём позже встретятся, какая, мол, разница. И бедняга Кузин решил, что ждать от жизни больше нечего, и — удавился.

Удавился он почему-то не в доме, не в бане, не под сараем, а прямо у калитки. Обнаружили его утром шедшие на работу. Удивляясь, почему это Кузин с утра на скамейке сидит, здороваются, а тот не отвечает. Присмотрелись, а старик-то, оказывается, не сидит на скамейке, а висит над нею, едва не касаясь, и ноги в коленях подогнуты, нарочно, значит, сгибал, чтоб не опираться о землю и чтоб петля получше затянулась. Верёвка была закреплена с другой стороны забора, во дворе, за скобу, а петля переброшена на улицу. Не случайно, толковали люди, Кузин повесился именно так, дал, выходит, знать неблагодарному сыну, ждал, дескать, я тебя высматривал, глядя на дорогу, да не дождался, не хватило терпенья. Самоубийцу обнаружили утром, а вечером приехал сын.

Проходя мимо кузинского дома, Виктор тогда (это было лет пять назад) обратил внимание на ту скамейку (она была совсем маленькая, не больше метра длиной, и низенькая), на забор, воображение не замедлило нарисовать фигурку старичка, и ему стало жутко.

Ничего похожего не было, если разобраться, между кончиной всеми забытого одинокого Кузина и кончиной Евгении Родионовны, и ничьей вины тут не было, однако же Виктору Колесникову, вполне созревшему для приступа самобичевания, всё представлялось совершенно иначе, в глазах у него потемнело, почернело, словно оглоушили дубинкой по голове, пассажиры, бледными тенями маячившие где-то на краю зрения, совсем потерялись из виду, исчезли, собственная вина в якобы преждевременной смерти матери казалась несомненной, и он уже не мог остановиться, раскручивал эту тему всё дальше, сгущая краски, нагнетая трагизма, до мыслимого и немислимого предела, до очистительного душевного взрыва. И благодатной пищей для этого послужила припомнившаяся из газетной статьи история о самоубийстве.

Детей у старухи было много, но все смотрели на мать-долгожительницу как на досадную помеху, обузу; одна из дочерей, живя в том же городе, десять лет не видела родительницу в глаза и даже не узнала её при встрече, а та дочь, у которой восьмидесятилетняя старуха приютилась, ежедневно, уходя на работу, выгоняла мать на мороз, квартиру замыкала, и бедняжка была вынуждена до конца рабочего дня бродить по улицам города и отогреваться в магазинах. Не выдержав издевательств, несчастная старуха выбросилась с балкона седьмого этажа.

«Дети убивают родителей! Дети убивают родителей!..» — колюче билось в больном, воспалённом мозгу Виктора.

Внешне добропорядочные, уважающие себя и уважаемые окружающими, мы закоснели, развращённые комфортом благоустроенных квартир, и забываем о родителях своих, и это считается в порядке вещей, потому что все мы, дескать, страшно занятые, незаменимые специалисты, движем, изволите ли знать, его величество прогресс! Но зачем все эти грандиозные успехи науки и техники, блестящее развитие искусств, достижения средств массовой информации и всякого развлекательства, и вообще так называемый бурный расцвет культуры, если при этом нищает душа человека, то есть самое главное?! Ведь культура — это прежде всего отношение человека к человеку, то есть гуманизм. А если мы жестокосердием своим вынуждаем близкого человека (не просто ближнего, то есть любого человека, с кем имеем дело или случайно сталкиваемся, как это понимается христианством), а самого близкого, родного, подарившего нам жизнь, в петлю лезть или кидаться с седьмого этажа и расшибаться вдребезги о мостовую, то о нашей культуре и заикаться нечего. Древнекаменная, пещерная дикость налицо, людоедство, а не культура!..

Виктор склонился, оперевшись локтями в колени, закрыл лицо руками и почувствовал влагу на своих ладонях. Слезы... И тотчас второй Виктор Колесников, стоявший рядом, взглянул на первого, сидевшего, судейским оком и изрёк: «Всё ж таки заплакал, наконец, учёный муж? Ну что ж, значит, ты ещё не окончательно зачерствел, приятель!» А из непонимаемых глубин души шли позывы плакать долго-долго, с обещанием потом, после изъяснений скорби, ниспослать сладостное облегчение.

Однако слёзы прекратились, и облегчения не наступило.

На въезде в город поезд замедлил ход, потом совсем остановился. Виктор, как бы проснувшись, уставился пристально на закоптелые крыши индивидуальных домов и сараюшек, на полусгнившие, похилившиеся дощатые заборы. На краю любого города, а особенно Чердыни, полным-полно таких неприглядных пейзажей. Глаза бы не смотрели! Почему он прежде не замечал, какая паршивенькая, насквозь пропылённая, гнилью источенная, сажей изъеденная эта разнесчастная Чердынь! Впрочем, если по-честному, замечал, да отворачивался, не брал в голову, искал взглядом крупнопанельные представительные здания, каких немало в центре города, в предвкушении встречи с родными хотелось видеть радостное, ласкающее глаз — и он без труда находил то, что искал. А ныне, когда розовых очков нет на глазах, всё здесь выглядит иначе, отчаянно-буднично, во всей своей оголтелой серости.

Наконец, поезд тронулся, всё быстрее, увереннее понёсся вперёд, скрежеща под полом соединениями, чётко постукивая на стыках рельс, и это могучее целеустремленное движение, сопровождаемое разнообразными шумами, звучало бодрой, мажорной музыкой, сулило лучше, чем то, что осталось позади. Виктор, опять провалившийся в сумеречное состояние неспособности воспринимать, думать и чувствовать, встрепенулся, инстинктивно потянулся было навстречу зовущим звукам внешней жизни, даже грудь расправил, приготовился вдохнуть в себя воздух глубоко и свободно, но вместо того обречённо поник, сжался, съёжился под гнётом необратимости, непоправимости случившегося.

Вокзал и знакомые четырёхэтажные дома за ним, в одном из которых гостиница, а в соседнем промтоварный магазин и столовая, показались Виктору постаревшими и при-
скорбно низкими, словно бы вросшими в землю под действием непомерной тяжести, а суэта на перроне, толпа встречающих и отъезжающих вызвала раздражение и тоскливые мысли о тщете человеческих порывов и дерзаний, о неустранимости печального конца для всех и каждого в отдельности. Взгляд Виктора не задержался ни на одном лице, все были одинаково безглазыми, неинтересными. На всём и на всех стояла трагическая печать материнной смерти.

ПОЭЗИЯ



ЛЮДМИЛА СОБОЛЕВСКАЯ



Ты пел сегодня о любви

* * *

Лампада надежды
зажглась неслучайно.
Спасительный свет,
как полночный сигнал.
И я тороплюсь
начать всё сначала —
успеть самый сложный
пройти перевал...

Просто так

Как много нам даётся просто так...
На все четыре стороны дорога
и даль зовущая — ни мало и ни много, —
пьянящий воздух, пахнущий дождём,
да мало ли чего совсем не ждём!

СОБОЛЕВСКАЯ Людмила Васильевна родилась в 1946 г. в Бресте. Работала лаборанткой, медсестрой, педагогом, социологом, корреспондентом в газете, редактором радио. Автор книг: *«Запах клевера»* (1994), *«У света на краю»* (1996), *«Возвращение к себе»* (1998), *«Предчувствие на кончике пера»* (2009), *«У времени на распутье»* (2014). Член союза писателей России. Живёт в Ангарске.

Счастливый смех здорового ребёнка
и снятая тобой цветная плёнка,
где ты запечатлел меня —
беспечную, живую, молодую,
любившую тебя, и лишь такую!
Нам в жизни выпадает просто так...

А всё несовершенство дней коротких
и до минут рассчитанных, как чётки,
на «да» и «нет», на день и ночь глухую,
на чью-то блажь и дурь не пробивную
лишь для того, чтоб понял — не напрасно
даётся жизнь, мгновенна и прекрасна!

И пусть душе неведом будет мрак!
Но это не даётся просто так...

* * *

Отпустил нам Боже
каждому по мере,
а потом в дорогу
достигать вершин.
Примеряем ношу —
каждому по вере,
меру отмеряет
всяк на свой аршин.

Но аршин у каждого,
как позволит совесть.
А вот если совесть
не досталась всем?

...Вижу, бьются братья,
подменяя доблесть
бесовской потехой
из кровавых тем...

Есть же кто-то сильный?
Михаил Архангел!
Выйди к нам на помощь
горе отвести.

...Дикий ветер носит
павших сизый пепел...
Буря во Вселенной —
Господи, прости!

Параллель

Заполню едва ли собой
твой мир, накативший волною,
внезапно нарушив покой,
моей управляя судьбою

Едва ли? Но тень мотылька,
но шорох листвы, облетевшей
весь свет, не оставит пока
свой след в подсознании вещей.

Ты этому сумраку рад.
Свою первозданность нарушив,
могучему эху в стократ
вдруг стал и роднее, и лучше.

Но лучше кого? А судьба
однажды нас всех озадачит,
«шлепок» отправляя любя
бегущему мимо, — «Пусть плачет...»

Но полночь, как шок болевой.
Там души растерзаны в клочья,
мotaются над головой,
искрят и чего-то пророчат...

Пора бы свечу погасить,
прощаясь, мигает огарок
свечи. Мне тебя не забыть.
Спасибо за полночь в подарок.

Но вот уже брезжит рассвет,
и он возвращает сознание,
и мрачных прогнозов букет
плывёт, растворяясь в тумане.

И некому здесь горевать.
Гордыню пора усмирить.
Пора мотыльку улетать,
листве — листопадом сорить.

Зов сердечный

Давно скворцы покинули скворечни,
уже слезам берёзовым не течь.
Нас лето песней поманило грешной,
заманчивой я слышу твою речь.

С тобой приму любые испытанья,
не страшен путь с таким поводырём.
Мне шелест крон — душе исповедальня,
поляна с земляникой — стол и дом.

Ещё не знаю, ждать ли мне веселья:
бегу на зов сердечный за тобой.
Испив до дна дурманящего зелья,
в любовь твою, как в омут с головой.

И преклонясь в молитвенном смиренье
перед берёзой: научи, прости,
останови счастливое мгновенье
и в терем свой прощёною впусти.

Стихии повелитель

Ты пел сегодня о любви
на скрипочке,
а я стояла пред тобой
на цыпочках,
чтоб дотянуться до тебя
в одном дыханье,
сомкнуться с нежностью твоей
в признание.
А струны скрипочки твоей
болтливы,
ликуют и грустят о том,
что было.

А был ты молнией в грозу,
безумства росчерк,
ронял счастливую слезу,
а впрочем...
Скрипач, стихии повелитель,
я рядом!
И льётся музыка души
каскадом.
Мы в этом дивном мираже
плывём по небу.
Нам наша жизнь — лишь миг один,
как была и небыла.

Позови

Я проснулась чуть свет
от капли звеняще восторженной.
То ли птичий раздрай,
то ли чей-то щенячий испуг.
И сердечко забилося
отчаянно и растревоженно.
Отозвался давнишний
нашей встречи апрельский недуг...
Я себе показалась
пичугой, весною воскресшею.
После зимних тревог
от себя далеко улечу.
Это будет порой
не осенней, а слякотно-вешнею.

Но твой взгляд мне вослед
непрерывно с собой прихвачу...
Невозможное станет
милей и стократ притягательней.
Облачу я любовь
с поднебесья в шальные слова,
чтобы ты уловил их,
случится — в ответ обязательно
мне присвистнул романс,
пусть шифровка совсем не нова...
И неважно какое
с капелью впорхнуло столетие.
Уже поздно считать,
хороводить бесплодно мечту.

Пусть завидуют нам —
были счастливы в то лихолетье.
Как жилось тогда всем —
я случайно в газете прочту.
И пока мой полёт
не обуздан, не выверен с планами,

покружусь над землёй
и на грешную вновь опущусь.
И на жизнь не ропща,
разрисуем судьбу свою сами.
Только ты позови,
я в апреле к тебе возвращусь.

Сумятица чувств

Вчера мимоходом,
случайно как будто,
в мой город под шорох
опавшей листвы,
недолгою гостьей,
немного абсурдной,
вошла моя осень,
шепнула: «Прости».
Укрылась за окнами
громкая песня.
Сентябрь отменил
музыкантов в саду.
Сумятица чувств
переполнила сердце.
И я к этой тайне
навстречу бреду.
К тебе, моя осень, —
восторгов вершина!
Твоё увяданье —
прощёных мольба.
Грехи отпусти мне —
печаль беспричинна,
ко мне благосклонна
сегодня судьба.

Нежна и правдива
твоя первозданность.
Сегодня твой праздник,
что хочешь твори!
И в тысячный раз
эта милая странность
читать заставляет
твои буквари...
Задела плечом
мимолётная шалость,
душа благодарно
открылась на зов.
А что, если это —
последняя радость —
пора пробужденья
от розовых снов?
...Осенняя ветреность
чьих-то посланий
счастливой монетой
небрежно сорит.
Кленовый листок
соткан весь из признаний,
он мне мою странность
сегодня простит.

Август

Тугие капельки дождя
с утра играют в кастаньеты,
а значит, мне тебя не ждать —
на «скорый» проданы билеты.
Но вслед за горечью — покой.
Душа в объятьях откровенья.
Поникли лютики, левкой,
своё амбрэ отдав мгновенью.
И кто дождю теперь судья?
Святое таинство природы.

Тугие капельки дождя
смешные водят хороводы.
А он плетёт свою кудель,
оберегая день от скуки.
Печали хрупкая свирель
пронзительные шлёт мне звуки.
Ты ожиданием томим.
Твой день уже не так серьёзен.
Сибирь моя, увы, не Крым,
и август чуточку, но осень...

В час рябины

Я откровенна «в час рябины».	И в благодарность
И тихий вечер смог увлечь.	высшим силам
Осознаю, что есть	я за любовь, за детский
в предзимье	смех всем сердцем выдохну:
особый вкус	«Спасибо!»
от поздних встреч.	И от души: «Прости за всех!»

Полнолуние

На стыках — гулкий отзвук лет по барабанным перепонкам! Тревожный звук, сомнений нет, то чей-то крик в проём вагона...	Надменно-царственным движеньем небрежно сбросит тьмы покров. Я в звёздном головокруженье лечу, не ведая оков...
Луна к стене и к косяку — дорожкой до тебя, до ложе. Поклон отвесив закутку, продвинуться за дверь не может...	Не в сон ли? Сумерек сумятица блеснёт внезапным кадром: «Стоп!» ...Идёт ко мне моя страдалица, тоску-печаль развеять чтоб.
Каков стоглазый надзиратель, как в полночь беспощаден луч! Она, как истинный ваятель, судьбою правит из-за туч.	И вереницею вагонов на стыках — гулкий отзвук лет. По барабанным перепонкам: «Жива, жива! Сомнений нет!»

В плену Морфея

Сна коснулась и Морфею
прошептала, что не смею
я перечить его власти.
Утихают мои страсти
на краю меж тем и этим
на последнем междометье.

Вмиг сознание всколыхнулось
и на выдохе замкнулось,
помутилось и осело
дымкой ли, туманом серым.
И волшебным дуновеньем
растворяются сомненья...

Вспышка! Занавес в театре
приоткрылся. Так в антракте
воцаряется покой.
Яркий свет — и ты в другой
стороне или стране,
где мы счастливы вполне.

Там тепло, душе отратно,
происходит всё так складно:

тот порог бы перейти —
перед взором — «Нет пути!»
«Нет пути» куда? Обратно...
И немного мне досадно.

Пахнет мятой и жасмином
только здесь, в стране былинной.
Снится дом, где я росла,
солнца пригоршни несла,
по лужайке рассыпала,
до небес достать мечтала.

И летела на качели
выше, выше, где свирели
достают до облаков!
Души наши ни оков,
ни цепей пока не знали,
их для нас ещё ковали...
Годы юные летели
в ярких бликах карусели.

...Разом занавес упал —
сладкий сон, как лёд, сковал.

Свой путь

Ах, сколько он ночей не спал,
в тетрадках стареньких копаясь...
Он не устал, он всё искал,
строку звенящую, покаясь,
что гулкий звон в его ушах
от недосыпа, недогляда
за временем. Часы спешат,
а строчки яркие каскадом
всё льются дождиком с небес,
цепляя душу дальним эхом...

А критик, зависти замес,
словцом жонглирует: «Потеха
девицам по уши влюблённым
в поэта». Только всё не то!
Он не таит своих секретов.
Накинет старое пальто
и, тихо двери притворив,
уходит в ночь, а может, в вечность?
Листки меж пальцев раскрошив,
творит дорогой Путь свой Млечный.

Не спугни

А мне Россия-матушка — печаль...
Бог весть, когда её поймут, рассудят,
когда её, дремотную, разбудят.
Ты потерпи чуток, не одичай.
А мне Россия-матушка — печаль.

Россия — Слово! Этак с ним и так.
Ей о любви все голову морочат.
Но ей, бедняжке, также кровоточить.
Стигматы вечные не скроешь за пятак.
Россия — Слово! Этак с ним и так...

Но холодом всё чаще от неё,
как от чужой, забывчивой старухи,
вслепую уходящей от разрухи
с тупой надеждою — исчезнет вороньё,
но холодом всё чаще от неё.

И стоит ли впустую голосить?
Не на краю стоишь, не у могилы.
В руках орудия: лопата, грабли, вилы,
умение не только пить — косить!
Не стоит нам впустую голосить.

Она очнётся, только не спугни
его, меня иль тех, что уж далече.
Но не надейся, нам не станет легче.
...Конец тоннеля — светятся огни.
Она очнётся, только не спугни!

* * *

А мудрость —	И оправдания не было
не итог преклонных лет —	и нет,
пытливого ума	когда вся жизнь
бессрочная работа.	пуста и беззаботна.

Победы счастливая весть

Первостроителям г. Ангарска

— Подруженька! Ты ли? Здорово!
Давно мы с тобой не видались.
— Спасибо за доброе слово.
Уже не живу, только маюсь...
А ты как? Видать, что полегче,
с тех пор ничего не забыла?
А помнишь, дощатый «скворечник»,
«надзорку», что звали «громила»?

— Всё помню, а ну их подальше!
Сложилось, скрестилось, срослось...
Не выжил мальчонка мой старший.
— Без Боженьки жили, небось.
— Петровна, о чём ты? Побойся!
Господь милосердным был к нам.
Не Богу, подружке откройся.
Дожили к таким-то годкам...

«А помнишь?..» Присели старушки
на лавочке в сквере своём.
— Сто лет не встречала бы лучше,
ты память мою, как скребком!

* * *

...Составы, составы, составы...
Войне уже близок конец.
Но всё лагерей для них мало!
Нас гонят в Сибирь, как овец...
Из плена фашистского гонят,
голодной деревни — за хлеб,
за слово крамольное стонет
наивный парнишка — поэт.

Нам милостью были атаки
на мёрзлую мёртвую твердь.
Колоннами, с лаем собаки,
водили на верную смерть.
Нас тысячи, тысячи! Больше...
легли вдоль «железки» костями.
Но в тысячу раз было горше,
что нас не считали людьми.

Скрежешет зубами профессор,
ругается матом напарник.
И кажется дикою пьесой
вся жизнь, уходящей насмарку.

Растёт комбинат нашей кровушкой.
Заводы — как в дождик грибы.
А где-то в страдании — вдовушки,
и где-то шеренгой — гробы.

И вот уже улицы, школы,
фундамент мостим под дворец...
В краю бесконечно-суровом
Его ожидаем конец.
Вздохнём глубоко и — в дорогу!
Но в этом-то скрыт трагизм:
нам ближе сейчас только к Богу,
да свой уничтожить «фашизм».

И дети, рождённые в зоне, —
навек впечатан пейзаж:
«колючка» и пахари-кони
по кругу, по кругу сто раз...
Не знать им ни близких, ни дальних,
ни даже родительских ласк.
И что им до чьих-то медалей?
Судьба, одним словом, Ангарск...

* * *

— Очнись-ка, Петровна, жива ли?
— Жива. Засмотрелась чуток
в ту даль. Ну а нам не пора ли?
Мы дважды отбыли свой срок.
— Пора бы. Как Боженька встретит?
Грехи наши — тягостный груз.
Ох, сколько на душах отметин,
на весь бы хватило Союз.

Да что горевать? Нас не знают,
но город-красавец наш — жив!
Как голуби, души летают,
и в небо растут этажи.
Теперь пусть внучата рассудят,
поймут, не поймут — город есть!
Другого такого не будет —
Победы счастливая весть.

*ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО АНГАРСКОГО ПОЭТА
ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ СОБОЛЕВСКУЮ
С ЕЁ СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ЕЙ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И
НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ!*

Редакция журнала «Сибирь»,
Иркутское региональное отделение Союза писателей России



ЛИДИЯ СЫЧЁВА



Щедрый стол

РАССКАЗ

Тоня удивлялась: мама никогда не пела! Соберутся на гулянку соседи, дядя Женья придет, тётя Даша — та вообще любила праздники! — со своим мужиком (за глаза его звали «Гвоздь» — за худобу), а тут ещё и тётя Зоя с дочерью Ларисой подойдут; выпьют «беленькой», браги или «дымки» (самогона), закусят — картошкой жаренной на сале, соленьями из погреба — и затынут: «Расцвела под окошком белоснежная вишня-я, из-за тучки далёко-ой показалась луна...» А мама молчит, сидит «угнувшись» — наклонив голову. Ладно, отец, выпивши, ему не до песен! А за мамку Тоне обидно: зачем уступает шумным сёстрам и брату?! А уж если Гвоздь приехал с гармошкой — тут гости и в пляс могут пойти. Отец ёрзает на лавке, изображая руками «барыню», а тётя Зоя с Ларисой сильно притопывают, часто перебирая ногами — «выбивают», тоненько кричат «и-их!», машут кружевными хусточками. Разгул!

После гулянки Тоне грустно. Ей нравятся песни «Огней так много золотых», «По тропинке, луной запорошенной», но она их стесняется — стыдные, про любовь. И напевает то, что слышала по радио: «Эх, дороги, пыль да ту-у-ман...» или: «Тореадор, смелее в бой, Тореадор, Тореадор!..» Конечно, в испанской опере тоже про любовь, но про иностранную, поэтому — можно.

Редкий день Тоня не поёт. Бывает, мама ругается: «Да не вой ты, всю голову забила!», и она обижается до слёз. Взрослые сёстры, Маня и Таня, говорят, что у Тони «ни слуха, ни голоса». Как так, если она себя слышит?! Музыки не хватает, оркестра, поэтому получается хуже, чем в радио. Но почему мама не поёт?! Непонятно.

СЫЧЁВА Лидия Андреевна. Родилась 15 мая 1966 г. в с. Скрипниково Воронежской области. Российский прозаик, публицист и журналист, главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко». Рассказы переведены на китайский, немецкий, болгарский и арабский языки. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

* * *

Таисия лепит пирожки с картошкой — тесто осталось с утра, пропадёт. Спешит, пока печка горячая, не прогорела. Тоня завернула котла в кофту, носит его, приговаривает:

— Ах ты маленький, ах ты серенький! У-тю-тю!

...С Петькой Таисия жила неважно, задашний он, дурной, за неё не заступает. Бабка, свекровка, и вовсе ненавистная, ела поедом — из-за стола выгоняла. Двое детей малых, хозяйства — полный двор, стряпня — хлеб пекли через день, работа колхозная, огород — одной картошки десять соток! Петька вечером с работы пришёл, сели за стол, свекровка жалится:

— Тайка грядку с морковкой не продёргала!

Петька стукнул по столу:

— Выйди, гада, чтоб я тебя не видал тут!

А куда деваться?! Стала матери жалиться, а та: «Терпи! Чё ж девчат сиротить?!»

Таисия решила: девок подниму — брошу его! А Петька куролесил — было в кого, в маману сварливую. Свёкор, правда, хорошо относился — спокойный мужчина, богомольный. Первая баба у него померла в родах, остался с четырьмя детьми. Богатство не помогало — никто из знакомых в хомут не лез. Поехал тогда в Горшки, взял там Гашку, бабёнку тёртую, скандальную. С ней-то и прижил Петьку.

Семья у Гашки худая, братья непутёвые. Митька — бесстыдный, любил выпить, у дяди родного на поминках орал: «Наш паровоз, вперед лети...» Часто дрался с Мишкой, младшим братом, знаменитым поездкой к Шолохову — просил деньги после пожара. Хата сгорела по недогляду, хорошо, хоть сами живые остались.

У Митьки — сын шалый, по прозвищу Сталин (здорово похож, с усами). Служил на флоте. Приехал на прошлой неделе брата двоюродного проведать. Выпили с Петькой, заспорили.

— Я — моряк!

— Нет, я моряк!

— А я дюжей моряк!

И — задрались. Еле растянули их — Петьку в хате закрыли, а Сталина в кухенке летней. Мука, а не жизнь! Как людям в глаза глядеть?!

Таисия закаменела: только дети и держат! А родня мужнина заедала, продыху не давала.

Явился ещё один двоюродный, Николай. (Они из гостей и не вылезали, только выпроводишь — уже опять тут!)

Она полы мыла в сенцах.

— Здоров, кудла!

Таисия на коленках, тряпка в тазу. И чё её дернуло?! Она с ходу:

— Здоров, бобик!

А сапог Николая прямо у лица! «Убьёт! Ну и пусть, отмучаюсь».

А Николай от бабей наглости опешил:

— Чё эт ты, Таисия? (Во как! А то всё «Тайка, Тайка!»)

— А ты чё?!

И стала она после этого случая мужнину родню отваживать. Если помочь чего, брата звала, сестёр с зятьями. А тут и бабка-свекровка померла. Осел Петька, потерял гонор.

Таисия жила, береглась. Девчата подрастали, учились хорошо. И тут на тебе — понесла!

Не хотела Таисия дитё оставлять, но всё откладывала — то овца окатилась, то корова заболела, то дорогу в район развезло. Пропустила за работами срок!

Беда, никуда ей от Петьки не деться.

* * *

Куда Таисия с Тоней ни пойдёт — в магазин или в контору — все её дитё хвалят:

— Ой, лапочка! Глазки умные-умные! А щёчки тугие! Куколка!

Мать наказывала Таисии:

— Сглазят девчонку! Люди завистливые есть. Наряжай её похуже, что ли.

Да уж куда хуже! Денег нету, а тут хату надо перекладывать — фундамент осел, стены перекосило. Каменюки-то только под углами лежали, а сруб на глине стоял.

Перешли в коровий сарай, Петька сложил русскую печь. Тут же и люльку подвесили. Дым глаза ест, дитё плачет, овцы блеют, страсть Божья!.. А ночами ходили кирпич вороовать с колхозного телятника — купить негде. Мешками натаскали двести штук — хватило печь переделать, старая выгорела вся.

К зиме управились, въехали в новую хату. Если б не Таисина родня — брат-шофёр, дядя-плотник, хоть в сарае зимуй. Здорово помогли, чё там!..

Петьке она теперь в глаза ширяла:

— Твои-то двоюродные где? Пить, куролесить, законы толковать: «А вот так теперь будет!.. А было — так!..» А работать — жидки... Моряки...

Старшим дочерям внушала:

— Учитесь да уезжайте в город! Хоть нарядитесь, а то будете как я: работой забитые, в калошах да в кухайке всю жизнь. Ды ещё какой мужик попадётся!.. Есть такие дурные! А в городе люди по театрам ходят, на всё готовом пристроились.

* * *

Тоня родительскую ругню не переносила: начинала рыдать так, что от всхлипов сотрясилось маленькое тельце. Таисия перепугалась: «Ещё умом тронется!» Стала при ней придерживаться и Петьку приучила. Помаленьку забирала власть в семье: муж теперь с ней во всех хозяйственных делах советовался, даже в мелочах. Ругались, конечно, но — на огороде или в сарае, чтобы чуткое дитё не слышало.

Работали в колхозе на «разных» — нынче в поле, завтра на ферме, послезавтра на свинарне. Девчат отправили учиться в техникум мукомольный в райцентр, а Тоню одну оставляли, запирали в хате — детского сада не было. Летом-то ничего, а зимой? А ну как из печки уголёк вывалится?!

А Тоня играла с котом, слушала радио, пела. Ей не до родительских споров и разладов:

— Папка пришёл! Покатай на спине!

— Да я уморился!

— Ну два кружка только!

Таисия удивляется: как такая козявка из задашного мужика верёвки вьёт? Посадил на шею, катает, и два кружка, и три — по всей хате, — откуда и силы берутся!

А Тоня кричит:

— Но-о! Поехали! — и рукой размахивает, вроде как у неё там кнут или сабля. — Лощадка, скачи в тридевятое царство!

После ужина отец читает вслух книжку — подготовка к школе. На лежанке разомлел, глаза слипаются.

— Не так! — толкает его Тоня в бок.

— Откуда ты знаешь? Так!

— Вчера читал по-другому, я помню!

— Таисия, да заberi ты её, засыпаю.

— Скотине ещё не подавала...

А как хозяйство не держать?! Девчат на что учить? Маня просилась в институт — не пустили, не по деньгам. Хотя бы техникум закончить! Продукты все из дома, живут на съёмной квартире, хозяйке надо платить. Опять же, нарядить дочек хочется — невесты! А заработок какой в колхозе?! Слёзы.

* * *

Таисия с Тоней поехали на рынок в райцентр. Петька сдал поросёнка, деньги отдал — мол, купи чё хочешь. Народу-то, народу — страсть сколько люда! А надо на 11 часов на автобус успеть — не уедешь потом, хоть пешком иди тридцать шесть километров!

Тоня просила платье и джинсы. («Петь, а чё эт такое — джинсы?» — «Да штаны брезентовые, мода». — «А-а-а...».) Обошли весь рынок, в одном месте люди душились за сапогами зимними, в другом — бельё постельное давали. Таисия в очереди не полезла, а так, купила кое-что по мелочи: Петьке брюки рабочие, себе тапки новые, лампочек электрических в запас. А Тоню нарядить не вышло — ничё ей не нравится.

Деваться некуда: взяли отрез на платье шёлковый, пуговиц перламутровых, кружева на отделку. Таисия сошьёт по выкройке, выйдет лучше магазинного, ни у кого такого не будет! У Ларисы машинка налажена, выпросит.

А Тоня расстроилась, прям лица на ней нет. Мать утешала:

— Пиши Мане письмо, какие тебе тут джинсы! Чё она за мода пошла мужичья? Пропал мир!

Маня вышла замуж за хохла, уехала в Донецк, у неё двое деток-близняшек.

«Больше не роди, — наказывала ей Таисия, — ещё неизвестно, как мужик к тебе относиться будет...» Как в воду глядела Зашкылевал её: и то не так, и сё, и хозяйка не такая, и чистоты нету. А какая чистота? Приберёшь, а дети опять раскидали. Нравится чистота — бери и наводи.

Таня — тут же, в области, в Хлевном на элеваторе работает, замужем за экскаваторщиком. И у ней — мальчик большенький. А мужик попался негожий — выпивши дурак дураком делается! Уже и дралась Таня с ним, и Петька разговаривал с зятем — бесполезно! Ну, если порода порченная, тут ничего не сделаешь.

— Брось ты его, — внушала Таисия. — Вырастим твоего Виталика.

— Ага! — рыдала Таня. — У всех мужья, а я — не пойми кто. Любой чё хочет скажет.

— Чёрти как оно у людей! — негодовала Таисия. — Глядишь: уже развелись! Нашим — никак нельзя. Как заговорённые!

Да... А время как пролетело! Давно ли Тоню в люльке качала! Теперь и она — невеста. Дитём была, артисткой хотела стать, «репетировала» перед зеркалом. Копилку разбила с мелочью, купила игрушку в сельпо — гусли. Думала, что сами будут играть... Таисии эти гусли в погребице попались под руку, надо бы Виталику отдать на забаву.

Возле хозяйственного магазина — ведра, тазы оцинкованные, черенки для лопат, тут же мыло сложено, порошок стиральный, одеколон. И стул с гнутой спинкой — Таисия прям как вкопанная стала, так он ей глянулся!

Подошла к продавцу:

— Стулья есть?

— Шесть штук осталось, откладывал бабе на два часа. Но чё-то не пришла.

— Беру!

— Мам, как мы их потянем? — стала дергать её за рукав Тоня.

— Ничего, они лёгкие, я вам веревочкой свяжу по три штуки, донесёте.

Поволокли покупку на автостанцию! Тоня в страшном смятении: вдруг кто из знакомых встретится! Особенно — из ребят. Ей кажется, что это страшный позор — тащить с базара стулья. Ещё подумают, что у них стульев нет. (А и правда, у них только скамейки самодельные и табуретки.) Тоня прямо испереживалась вся, пока до дома добралась.

* * *

Из-за стульев началась генеральная уборка в хате. Даже из сундуков все тряпки вынули на дворе проветривать. Чего тут только не было! И платья крепдешиновые в оборках, и форма флотская с синим воротником-матроской, и набожники с райскими цветами («это тётя Даша подарила, она ещё в девках вышивала, а я их жалею вывешивать, пусть лежат пока»), и отрезы тюлевые, и холстина отбеленная, и даже плюшка без рукавов. А на самом дне сундука — плоский пакет, обёрнутый пожелтевшей газетой.

— Мам, что это? Можно гляну?

Не дожидаясь разрешения, Тоня стала разворачивать свёрток. Ух ты, альбом с фотокарточками! Листы плотные, картонные, с двойными отверстиями-уголками. Вот бабушка

Прасковья и дедушка Иван; а вот дядя Женя с кудрявым чубом — какой смешной! А тётя Зоя и тётя Даша, модницы, «нафранчёные», в сарафанах. А это кто, с высокой причёской, застенчиво глядит в сторону? Девушка в сильно приталенном платье с белым воротничком. Стоит, опершись на высокую подставку-конторку. Неужели это... мама?!

Фотографий — немного. Парни в гимнастёрках — грудь колесом, мужики — в картузах и папахах, их жёны — в платках. А дальше на листах — Тоня не верит своим глазам! — записаны песни! Чётким, каллиграфическим почерком, буква к буквке. Мама на «пятёрки» в школе училась.

Тоня напевает песню из альбома: «Каким ты был, таким ты и остался, орёл степной, казак лихой... Зачем, зачем ты снова повстречался, зачем нарушил мой покой...»

Тоня повторяет припев. А мама бросила тряпку, которой мыла стекло, села на новый стул — «венский» — и заплакала.

— Мам, не надо! — перепугалась Тоня. — Я не ленивая! Я уберу всё сейчас! Правда!

Таисия только рукой махнула, и, «угнувшись», спрятала слёзы.

Тоня поняла: что-то она сделала не так. Она боится спросить, чтобы ещё больше не расстраивать мать.

Уборку заканчивали молча, на скорую руку. А стулья, да, красивые. И отцу понравились. В зале возле стен поставили.

* * *

Таисия никому на улице не рассказывает, где дочь работает: в городе и в городе, а чё, как — не знаю. Не поедут же проверять! А то расскажешь, что устроенная, так начнут завидовать и сглазят — люди нынче какие!

Башковитая оказалась Тоня, не сгинула в городе, не пропала при новой власти. Пошла не в торгаши, как сёстры советовали, а по инженерной линии, в строители. А что начальник посылает в командировки — плохо. Замужем, дитё есть, ды сиди ты на месте! Всех денег не заработаешь, пусть мужик обеспечивает. Нет, едет.

Недружно с мужиком живёт, мать не слепая, видит. Но Тоня не жалуется — с детства такая, таится. Мол, всё хорошо. Не то, что Маня с Таней — те по телефону наплачутся, а приедут — добавят.

Тоня в свои тридцать поехала по миру, повидала города чужие и даже страны. А сердцу лишь дома тепло и свободно. Почему так?

Заметила она чудо: самая простая еда за маминым столом преображается. Тоня гречку со студенческих лет невзлюбила, а дома на неё — аппетит. И борщ простой, на скорую руку состряпанный, до чего ж вкусный! А картошка горячая с постным маслом и лучком! А пирожки, а каша из гарбуза! А мёд? Щедрый стол. И непонятно, откуда «вкусность» берётся, вроде как сама собой получается, из «воздуха». И чай на зверобое, отцом в лесополосе собранный, и варенье к нему из вишни, что под окном растёт.

— А помнишь, мать, на трудодни давали бутылку масла? — любит вспоминать отец. — На всю зиму. Перьями гусиными блин помажешь — и то прибыток.

— Да бедные бабы, как они изошрялись, лишь бы мужиков накормить! Семьи большие, одной картошки чугунок на раз надо. Керогаз этот тухнет, мучение. А мама моя, Царство Небесное, любила готовить. Борщ варила хороший. Помнишь, Петь, как к Дусе-цыганке приезжал Николай Ткачёв покупать козла на мотоцикле? В люльку вы его потом посадили.

— Мороз стоял страшный!

— Ага. Я как раз в больнице с Тоней лежала, вы пошли к матери. Николай потом говорит: «От у твоей матери вкусный борщ мы ели! Як она могла так сварить? Никогда такой не ел!»

Отец говорит:

— Николая дразнили Будулаем, кудри у него страсть какие чёрные. А помнишь, Митя-цыганёнок прибежал домой: «Бать, из сельсовета пришли, перепись. Мы как пишемся, русские или цыгане?» «Да туды т-твою мать, мы ж с 26-го года русские!»

Хорошо Тоне за домашней трапезой! А мама продолжает:

— Я тут ходила в магазин, встретила Саньку Лабушкину. Жалится, что не может накормить Парфёна. Я, говорит, и борща варю, и суп, уж не знаю, чё ему давать. Вечером перемыла кастрюли, сковородку — картохи жарила, слила всё в чашку, на окно поставила. Думаю, поросёнку отдам. Маленького взяли, ему ж варить надо. Утром кинулась, а в чашке ничего нету. Искала, думаю, куда ж я дела? Пора спрашивать: «Парфён, ты не видал у меня тут стояло крышкой накрытое?» «Сань, да я ночью встал и съел». А я уж не стала казать, чё это было, и говорю ему: «Ну, ничего ж?» «Добре, — говорит, — хорошее».

— Хи-хи, — отец смеётся, щурит глаза.

* * *

После обеда отец по хозяйству справляется, потом дверь в сарайчике надо поправить — курам холодно. Тоня лежит на диванчике в зале, гладит сыто мурчащего кота.

Мама сидит у окна — свет пробивается сквозь морозное кружево — подшивает байковый халат. (Тоня привезла на подарок, и не угадала — длинный.)

Таисия умело стёжки кладёт, рассказывает:

— В 48-м году училась я на ветеринара, жила на квартире у женщины одной, учительницы, Полина Сергеевна её звали. На 7-е ноября пошли мы с девками домой — тридцать шесть километров мне идти. Подруги, кто ближе, по дороге отпали. Предлагали заночевать, а я думаю: не, пойду, хоть отдохну завтра.

Пришла домой в восемь вечера. Уже тёмно. Поели там чё. У Марфутки — улица, младших девок не брали. У нас своя компания — я, Маня Хромая, Вера (она задышалась, «храпела», как быстро шла).

Побегли мы к Марфутке в окна подглядывать. Балалайка да мандолина режут — пляска, песни. Девки как увидели нас, затопотали, заухали. Мы — убегать. Вера впереди, я отстала, не хочу Машу Хромую бросать. А темнотень — ни зги. И утыкаюсь в шинель. Высокий военный нас схватил.

— Вы чего бежите?

— Да за нами гонятся.

— Кто?

— А мы сами знаем!

— Идёмте со мной на гульбище!

— Нас не пускают...

А был это Володя Гусь. Жила их семья на самом краю, у леса. Он служил в Германии, в отпуск пришёл.

И видно, разузнал Володя, кто я, чья, и стал писать мне письма. Две карточки прислал. Высокий, крепкий, голова кудрявая, с рыжиной. Куда там жених! Писал мне два года. А до войны дружил с Устюшкой, они одногодки, на пять лет меня старше.

Помню, батя говорит, ты уже здоровая, нечего бегать, пошли на жниву, будешь воду носить, хоть трудовень какой запишут. А мне — 8 лет. Я эти полведра и не донесу, пока дойду, расплескаю. Устюшка на жниве снопы скидывала, Володя лошадей гонял.

Пишет он из Германии, я отвечаю, и так прошло два года. На 1-е Мая заняла я у Петра Тихоновича денег, купила юбку синюю. А кофта белая у меня была. Приехала домой, кудри заплоила, нарядилась. Юбка — ни у кого такой не было. Первый наряд!

Пошли мы с девками по селу. Шли мимо Устюшкиного дома, и стала она нас зазывать:

— Девки, зайдите ко мне!

Я так не хотела! А она дюже просила. Заманила в хату. Стала пытаться:

— Правда, что тебе Володя пишет?

— Правда.

Она плакать:

— У тебя ещё будут женихи, ты замуж выйдешь! А я за кого пойду?

И как ни нравился мне Володя, не захотела я скандал в одном селе наводить. Перестала ему отвечать. А он всё писал, спрашивал, что случилось.

Родители его переехали в район. Пришёл Володя из армии. Мы с девками стояли уже на другой квартире, но он нас нашёл. Постучался: «Можно?» Разговор был общий, ничего он мне не говорил. Потом собрался, сказал: «Выйдем».

Мы стали на улице, у калитки. И он поглядел так на меня внимательно. И сказал только одно: «До свидания».

И женился Володя на Устюшке. Всю жизнь они в районе прожили, детей не было. Володя работал шофёром в автоколонне. А я его видала один раз. Помнишь, мы с тобой стулья на базаре купили, несли на автостанцию? Шли по улице, а там мужчина ямку копал под столбик, ворота менял.

А потом он умер через полгода. Недолго пожил.

* * *

Позвонила Таня:

— Мам, Виталик женится, вы на свадьбу приедете?

— Чё там старью сидеть! Прошли года. Мы уже негожие. Деньги передадим через Тоню, объяви, когда дары будут, мол, так и так, от бабушки и дедушки! А чё ж, играть в хате будете? У вас или у сватов?

— Не, в кафе. В хате тесно. Одним днём — дешевле выйдет.

— Правильно, ты родню сколько ни пои, скажет «мало». Чё его там выражать. Деньжонки, какие есть, лучше молодым отдайте, гулянка — один день, а жизнь впереди. Всё из магазина, где его набраться. А харчи, какие в кафе останутся, заберите домой, не бросайте!

«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбы вдаль несли...» — гремело застолье. Виталик — парень видный, не хлюпик какой. Задашный, в деда Петра пошёл, ишь, как подаёт себя осанисто! А невеста — мелковатая, тихая. Ну, ничего, при хорошем муже раздобрееет.

— Тонь, ты чего не поёшь? — крикнула сестра. — Думали, артисткой станешь, а ты на свадьбе у племянника молчишь!

Тоня и ответить не успела — крёстная мать невесты, цветастым платком перевязанная, в пляс пошла. Бойкая бабёнка, черноглазая. Припевает звонко, подмигивает:

— Гармониста полюбила, гармониста тешила. И сама через плечо ему гармошку вешала!

— Гармониста полюбила, милые девчоночки, за горячий поцелуй, за карие глазёночки!

— Мне не надо пуд муки, мне не надо сита — меня милый поцелует, я неделю сыта! И-их!..

...Когда Тоня замуж выходила, ей подруга сказала: «Ну всё, вырулила твоя жизнь на финишную прямую!..» Посмеялись. А что вышло? Рядом — и сейчас даже — Гена-муж, а она про него не думает. Неужели так навсегда, до конца жизни?

Отгулы на три дня взяла, Гену домой отправила после свадьбы, а сама — к родителям. Матери лекарство передать.

Таисия рассказывала по телефону:

— Меня как шатануло, я думала, может, внутри чё оторвалось. Петь, кажу, я помираю. А он — ну вот тебе!.. И не пожил путём...

— Так, может, и правда там что оторвалось, надо к врачу идти!

— Да, а что они, пришьют, что ли! Привези витаминов каких, вот, я слыхала, есть такое лекарство «Исцеление».

Тоня в подробностях рассказала про свадьбу: сколько людей и сколько надарили деньгами и вещами, кто сваты, где жить будут, как невеста одета, кто напился, какие продукты, посуда, кто дружок с дружкой, какие песни, кто плясал здорово.

Новости обсудили, перешли на воспоминания:

— Машка рассказывала, как к ней Гаврила Сергеевич сватался. Всё выпили, обгуляли, она и говорит: «А я его не хочу! Он дурной!» Батя: «А че ж ты молчала?» — «А вы меня

спросили? Вы меня и не пытали. Я думала, вы так гуляете...» На другой день страсть как ругались! Ну, так она за него и не пошла.

Тоня спрашивает:

— А вы как поженились?

— А мы записались в сельсовете — и всё, никакой свадьбы не было.

— А Рыжовы обвенчались, — сообщает отец.

— А чё, они живут своим трудом — у них пчёлы. Божьи люди. А Нюра, — Тонь, ты её должна помнить, Вали Шевыревой мать, — приходила меня проводить. Рассказала: говорю своему Алёше, Рыжовы нам двоюродные, давай и мы обвенчаемся. А он меня как погнал матом! Вот тебе и родичи!

Отец ухмыляется, качает головой.

Тоня на всякий случай спрашивает:

— А вы не будете венчаться?

— Да куда нам венчаться! Мы сорок пять лет прожили, и не было дня, чтоб не поругались.

* * *

На похоронах распорядителем был дядя Женя. И с копальщиками договаривался, и с шофёром, когда гроб на кладбище везти. Маню он назначил отвечать за попа, читавку и певчих, Таню — за людей и венки, а Тоню — за поминки.

Отец съёжился от горя, стал маленький-маленький.

— Зато никому не надоела, не лежала, сразу померла, дай Бог так каждому! — утешала племянниц тётя Даша. — Вон, мой два месяца мучился.

— Не убивайтесь, все там будем, — вздыхала тётя Зоя. (Она уже носила в себе смертельную болезнь.)

Тоня от горя и переживаний мгновенно похудела. Чувствовала себя невесомой, беззащитной. Убегала в сарай, плакала в голос: «Мама, зачем ты нас оставила?» — а потом уж выходила к людям, работала.

Двоюродные помогали готовить, накрывать столы. Тоня переживала, что борщ будет слишком жирный, что котлеты не прожарятся, что пюре потемнеет — на такую «армию» никогда не готовила, боялась ошибиться. В суете забывалась, один раз в затруднительном случае, когда надо было солить мясо, чуть не сказала вслух: «Сейчас у мамы спрошу», но вовремя прикусила язык. «Ещё скажут, чокнулась от горя».

Но всё прошло хорошо (если, конечно, так можно говорить про похороны). День выдался завидный, солнышко, но не жаркое, и мух нету, могилу выкопали сухую и аккуратную, гроб — по размеру, покойница лежала нарядно убранная, не жёлтая, а «как живая», поп служил строго, долго и разборчиво, певчие так затянули «Вечную память», что «и в Кремле позавидуют» (сказал потом дядя Женя), народу было много и весь чинный, родня приехала вся, даже внуки с Донецка, ну и поминки — слава Богу — вышли неспешными, стол — щедрый, а главное, вкусный.

Молодые ребята — Тоня давно из села уехала, не знала, чьи — один раз помянули, потолклись во дворе, пропустили «партию» народа, сели опять.

Старухи на завалинке — они ж все обычаи знают! — стали Тоню хватать за фартук, и шипеть, мол, чё ж это такое! Прогоняй их, «два раза не поминают». Но Тоня успокоила общественность: пусть едят, парни молодые, здоровые, будут бабушку Таисию вспоминать добром.

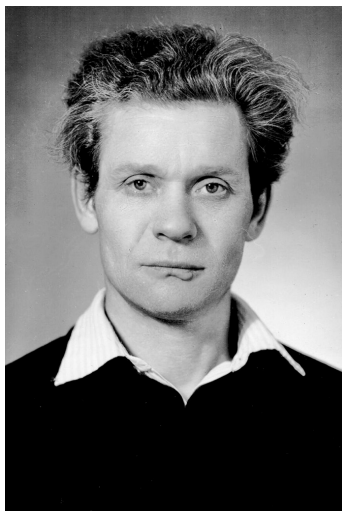
И девять дней, и сорок справляли, и год — помогала Тоне мать — незримо. Словно сама на стол подавала — всё вкусное. Бабы говорили: «Вишь, Тонь, какая ты хозяйка завидная! Живёшь далеко, а то мы б тебя по поминкам и свадьбам нанимали готовить».

Да, сладость жизнь, вкус её — всё от мамы! А сама жизнь — от отца. А горе и радость для того нам и даны, чтобы не отворачиваться от них. Так-то.

2016 г.



АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ



Вслед за красным диском солнца

Полярной звезде

Верша житейские труды,
Не замечал я свет звезды.

Как льдинки, таяли года.
Шёл наобум я как всегда.

В тяжёлый час, в какой-то миг
Я понял, что зашёл в тупик.

Глаза я вскинул к небесам
И ничего не встретил там.

Упал я навзничь, и тогда
Меня насквозь прожгла звезда.

НИКИФОРОВ Александр Георгиевич род. в 1944 г. в г. Черногорске Красноярского края. Работал автомехаником, шофёром, дизелистом, водителем вездехода. Публиковался в журналах «Полярная звезда», «Сибирь», «Сельская новь», «Служу Отечеству», «Новая юность». Автор книг: «Подснежные ягоды» (1982), «Узник любви» (1990), «Крылатый пахарь» (2002), «Малая Родина» (2012), «Таёжный хлеб» (2014). Член Союза писателей России. Живёт в с. Верхоленске Качугского района.

Рудовозы

На площадке машины в ряд.
Завершён пересмены обряд.
В путевом пестрота от виз,
И уходят БелАЗы вниз.
Отдохнувшие шофера
Крутят в глубь карьера спираль.
Нескончаемый поворот.
Оборот, оборот, оборот.

Лобовое стекло — экран.
На экране сизый туман.
Слева — пропасть,
Справа — стена.
Еле-еле дорога видна.
Глянешь вверх — только дым и газ.
Под машиной дороги дуга
Ускользает в слепой поворот.
Оборот, оборот, оборот.

У дороги характер крут.
Не для каждого этот труд.
Сам пошёл за такой судьбой.
Честный труд — это тоже бой.

Смерть заглядывает в глаза.
Есть лишь нервы и тормоза.
Дно карьера. Холодный пот.
На сто восемьдесят разворот.

Крупным планом — щербатый забой.
Рядом, словно дом голубой,
Экскаватор огнями горит,
Загребая ковшем кимберлит.
Лязг затвора, каменный гром,
Вырос в кузове грунт бугром.
«Груз насыпан!» — хрипит сигнал.
Покачнувшись, пошёл самосвал.

Приоткроет водитель дверь,
Рявкнет дизель, как дикий зверь.
Под протектором — всё в порошок.
И БелАЗ, словно мамонт, вошёл
В нескончаемый поворот.
Оборот, оборот, оборот.
Вверх раскручивается спираль,
Выдавая руду «на гора».

Свидание

По чёрным зеркалам уснувших плёсов,
Скользят, не отражаясь, облака.
Река полощет каменные косы,
Застыла чаек белая строка.

Хребет в восточном небе проступает.
Боясь спугнуть движеньем тишину,
Мы сушим вёсла, в лодке затихая.
И вдруг, порвав молчания струну,

Спросонок беспокойная пичужка
Трель выдала в прибрежном сосняке.
— Ку-ку! — в ответ ей бросила кукушка.
И тишина исчезла вдалеке.

Вставал, весь в ослепительном сиянье,
Лик солнышка над утренней тайгой.
О молодость! О первое свиданье
С великою сибирскою рекой!

Соль согласия

Соль для вкуса, не спорю, конечно, важна.
И в былые года, и теперь.
А в пути до сих пор мера дружбы она.
(Коль не веришь, приятель, проверь.)

Есть сухарь, горсть крупы. На две пули — свинец.
А дорога домой — где она?
Там, где несколько суток лишь соль на спине.
Снег вокруг и тайги тишина.

За столом, где тепло и питьё, и еда,
Так легко нам дружить от вина.
Ну а там, где в глазах замерзает звезда,
Соль согласия нам больше нужна.

Нашу сущность пытается судьба на разрыв,
На излом и на деньги сполна.
Меру дружбы в житейском пути не рассыпь —
До сих пор эта мера важна.

После рейса

Замотаны ленты асфальта на обод колёс,
А в кузове снег и бардак, и два ржавых болта.
И рыжими лентами пачки железных полос
Свисают с остатков разбитого в рейсе борта.

На клапанах сердца остыла горячая кровь,
Свой взвинченный бег прекратила.
Молчат клапана.
На дверцу плечом навалился Серёжка Панов
И стонет во сне оттого, что не гнётся спина.

Подорожное

Ларисе Мельниковой

Не тревожся, мой друг,	Для ослепших от счастья людей.
Не печалься,	Верх одержит мудрец,
Как бы доля была ни горька,	Не воитель,
В миг, когда от родного причала	В разногласиях между людьми.
Понесёт в неизвестность река.	Береги тебя Ангел-хранитель
Перекаты рябят перламутром,	И в пути,
Таёт тьма, и господствует день.	И в трудах,
Даже беды случаются мудро	И в любви!

Влюблённый апрель

Апрель закатывал истерику,	В объятья нежности закулившись,
Волнуя Лену, лёд ломал	Над ним смеялись я и ты.
И глыбы холода вдоль берега,	Звездой любви на синем куполе
Как дурачок, штабелевал.	Сияло солнце с высоты.

Лиственничные голицы*

Кто в наше время может сделать лыжи?	Из многих сотен лиственниц могучих
Не в мастерской, а где-нибудь поближе,	Нашли одну, но — лучшую из лучших:
Допустим — в зимовье... Как быть?	До середины без сучков — свеча!
И я не знал, да научил друг Миша.	Бросает куртку Миша мне: «Лови на!»
Чуть рассвело, на поиски мы вышли,	И, чтобы враз осыпалась лавина,
Чтобы для лыж материал добыть.	Топор заносит со всего плеча.
Чем больше выбор, тем оно сложнее —	Бум — обухом. А гул — на весь распадок.
Одно другого дерева прямее,	Снег зашуршал с вершины — ш-ш-шип...
А приглядишься... Нет, увы, не то.	Порядок! А Миша слушает: хорош ли звук?
Вокруг стволов подолгу Миша ходит.	Раз не звенит — так значит, не гнилушка.
Приметы, еле видные, находит:	Чу! Вновь легонько вздрогнула опушка:
Винтом кора — и волокно винтом.	Приплыло эхо тихое — у-ух!

*Голицы — охотничьи лыжи, не покрытые мехом.

Свободный труд душе — одна награда.
Течёт в нём наша сила так, как надо.
И Михаил рубил, как будто пел.
Вонзалась лихо молния стальная,
Фонтаном жёлтым щепки рассыпая.
Ствол вздрагивал и тяжело гудел. Затем, упал...

Мы накололи плахи.
Коржом взялись, заиндевав, рубахи.
Пока тащили — навалилась ночь.
Удельный вес у лиственниц — ноль девять.
Не раз в пути вспотели... Что поделать.
Отрезал Миша: «Лучше здесь поплачь».

Согласен. Ель легка, да ненадёжна.
В горельниках, хоть как ты осторожно
Ходи, не поломаешь — обдерёшь.

А нам в снегах, зачем такая «песня»?
Мы к зимовью пришли, а сердцу тесно.
В тепло втащили плахи — и хорош.

Отдыхимся, подвесим заготовки.
Пусть сохнут, а потом топор наш ловкий
Их в тоненькие доски превратит.
Загнём в воде, обрежем вровень с ростом,
На две ладони в ширину,
И острым ножом четыре дырки просверлим.

Из прочной кожи сделаем крепление
И испытаем, чтоб без опасенья
Пуховый путь за горизонт топтать.
Не скучно жить, умея всё, что нужно.
У нас тепло. За стенкой стонет стужа.
В сугробе лыжи новые! Торчат!

Песнь не о Гайавате

1

Вслед за красным диском солнца
Куцый день исчез на запад.
На таёжные просторы
Опустилась темнота.

Из низин, полян, распадков
На гривастые вершины
Ледящей пеленою
Плыл декабрьский туман.

Тишину вокруг пугая
Воем, скрежетом и скрипом,
В белом северном просторе
По сугробам трактор плыл.

Инструмент звенел в кабине.
Тракторист, рычаг сжимая,
Восседал на жёстком троне,
Словно черноликий царь.

На плечах дырявый ватник,
Прокопчённый до подкладки,
Чёрным лаковым мазутом,
Стёртым с дизеля, блистал.

На железной черепахе,
Сутки отдыха не зная,
Хлеб и трубы для бригады
Тракторист доставил в срок.

2

Посреди тайги суровой
На походных нарах жёстких
Беспокойным сном в палатке
Позабылся человек.

По рукам его, белея,
По лицу его, синяя,
Разбежались щедро шрамы —
Отголоски разных лет.

К рюкзаку припав щекою,
Полудобней примостившись,
Он стонал и улыбался
Под напев печной трубы.

Проплывал во сне тяжёлом
Бранденбург под свист осколков,
И кружился белый аист
С колыбелью первенца.

Паровозы голосили,
Унося на фронт составы.
Водосбросы пенно пели
Песни вздыбленных плотин.

Но не долго сон касался
Ясных глаз первопроходца —
Полыхал восток восходом,
Распечатав новый день.

Цех

Он зовётся цехом тарным —	Словно сливочное масло,
Брёвна, россыпь горбыля.	Плахи режет на бруски.
Запах солнца, блеск янтарный	
На смолистых штабелях.	С перезвоном блещут пилы,
	И струится день-деньской
У станка, в защитной маске	Ароматный дождь опилок
Парень — действием руки,	В оживлённой мастерской.

Вездеходчик

Отзвенел стальными башмаками —
На пригорке вездеход застыл.
Грязными усталыми руками
С буфера смахнул болотный ил.

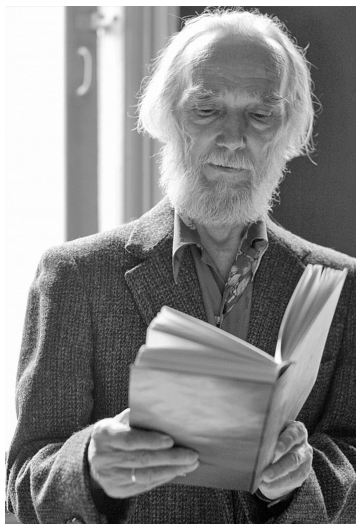
Кинул его в сторону водитель.
Закурил, уселся на пенёк.
Дембельский на сук повесил китель.
— Ох, и жёсткий выдался денёк! —

Вымолвил.
Втоптал окурок «Примы»,
Бухнулся на хвойную постель.
Тенью от жары его прикрыла
Старая изогнутая ель.

Он лежал, небритый и чумазый.
— Доберёмся, — сонно бормотал.
Над землёй, скрывающей алмазы,
Ветер странствий чуб его трепал.



ВЛАДИМИР ЖЕМЧУЖНИКОВ



Рыбацкие хитрости

ЗАРИСОВКИ

Дядя Ваня

Ангарским истоком лучше всего любоваться с того прибрежного кряжа, где высится видный издалека старинный французский маяк. Уникален и неповторим, подобно одному из чудес света, этот ошеломляющий шедевр сибирской природы. Могуча неохватная для глаза панорама многомильных синих далей в обрамлении горной гряды Хамар-Дабана с его осеребрёнными снегом вершинами гольцов. Завораживает и зрелище зарождения великой реки Ангары, сразу появляющейся на свет и широкой, и глубокой, и полноводной, будто из переполненной бездонной каменной чаши Байкала переливается через край несравненная родниковая вода. Вырывающуюся из озера-моря медлительную лавину свежести и чистоты не остановил когда-то в древности даже гранитный хребет, о коем напоминает ныне лишь ставший легендой Шаманский камень — навершие подводной коренной скалы...

ЖЕМЧУЖНИКОВ Владимир Борисович, прозаик, публицист, сценарист и драматург (род. в 1937 г. на ст. Кузино Свердловской обл.). Автор книг: *«Осень на двоих»*: повесть (Иркутск, 1967); *«Мужчина в доме»*: повесть (Иркутск, 1972); *«Чистые кедрачи»*: очерки (Иркутск, 1973); *«Белая лайка»*: повести (М., 1981); *«Уходящая натура»*: повести (Иркутск, 1984: Современная сибирская повесть); *«На байкальском берегу»*: очерки (М., 1986: Писатель и время); *«Нечаянный интерес»*: повести и очерки (М., 1987); *«Повесть о поселковом мастере»*: повести (Иркутск, 1990); *«Байкальская история»*: Книга эссе (Иркутск, 1995); автор пьес: *«Дорогой Саша...»* (об А. Вампилове): одноакт.; постановки в Иркутском ТЮЗе в 1997; *«Случайные встречи»*: сцены свиданий по брачным объявлениям / сб. двух авторов (Иркутск, 2004) и др. Член Союза писателей России.

На левобережье истока по гористым склонам притулились домишки рабочего посёлка, одни с окнами на море, другие лицом к Ангаре. Там порт Байкал с причалами для грузовых и пассажирских судов, там конечная станция знаменитой Кругобайкальской железной дороги. Впрочем, оживлённый в летнюю пору транспортный и туристский узел отнюдь не мешает тому, чтобы в застроенных там и сям жилых падах держалась тишина покоя, словно в деревне, и слышалось только, как перекликаются по утрам петухи. На околицах, за покосами начинаются берёзовые грибные перелески, а дальше — смешанный лес с ягодными угодьями, а если подняться выше, там и кедры растут, одаряющие умелых таёжников шишками.

Но главное для рыбацкой души — рядом, совсем под рукой большая рыбная река.

Однажды мой сосед по улице Горной, коренной байкалец по фамилии Долгошенко, так отозвался о старом рыбаке дяде Ване:

— Я никогда не слыхивал, чтобы он с кем-нибудь ругался или о ком-то худое слово сказал. И знаешь, отчего такой его характер? От рыбалки. Он же целыми днями на Ангаре, а вода, говорят, успокаивает.

Охотно верю доброму отзыву местного жителя. Сам любитель-рыболов, я уже не один год встречаюсь с дядей Ваней на ангарском берегу, но, к сожалению, мы знакомы только шапочно. Ну, поздороваяешься, ну, угостишь старичка сигаретой да перекинешься десятком слов о погоде, о клёве. Вот и всё общение.

В нашем портовом посёлке нет рыбака старше и заядлей дяди Вани. Перешагнувший на восьмой десяток, сивый, продублённый, он давно стал неизменной и необходимой частью пейзажа. В рыбацкий сезон я без него не представляю реки — терпеливейший и настырнейший дедок точно врос в каменистый откос Ангары. В периоды глухого бесклёвья он, бывает, один-одинёшенек оживляет пустынное левобережье истока. Стоит как памятник мужицкому упорству, в своей несносимой телогрейке, выгоревшей под солнцем и дождями добела, в неизменной шапке-ушанке, тоже бог знает когда утратившей первоначальный цвет, в разношенных всесезонных кирзачах. Стоит с боевито вздёрнутым спиннингом в ожидании поклёвки, готовый в любую секунду сделать хлесткую подсечку. Хотя изысканное нерусское словцо «спиннинг» как-то не к месту, и надо бы сказать проще — удочка с рулеткой, как называют катушку здешние ловцы хариуса. Да, именно так и говорят — рыбалить на рулетку.

В то яркое июльское утро я пришёл на Ангару немного раньше его и видел, как дядя Ваня неторопливо подкатил на велосипеде, собрал своё складное бамбуковое удилище и встал на мысок, чуть пониже моего места. «Привет дачникам!» — крикнул мне.

Что же всё-таки знаю я об этом человеке? Совсем немного: то, что он ветеран войны, долго работал в порту и — не может жить без рыбалки. Всё. Стыдно мало знаю. А уж которое лето рыбачим рядом, на одном берегу. До неприличия похоже на то, как в большом городе люди годами живут в одном подъезде и ни разу по-людски не разговаривают, не зазывают друг дружку в гости.

Мне и хотелось бы потолковать с дядей Ваней пообстоятельней, да всё недосуг, как будто мы здесь, на речном приволье не отдыхаем, а занимаемся какой-то важной и неотложной работой. И, как ни смешно, так оно и есть по сути. Кто испытал, тот согласится: рыбалка — занятие азартное, захватывающее, от коего нельзя оторваться ни на минуту. Почему-то всё мнится: если отложишь удочку, усядешься празднично на бережок — вот тут-то, в этот самый момент и подвалит невидимый в воде харьезовый косяк и разыграется бешеный жор, когда за пятнадцать-двадцать фартовых минут — только успевай закидывать снасть! — можно натаскать рыбы и на жарёху, и на уху. Нет-нет, как же тут отвлекаться, какие могут быть разговоры...

А не удастся ли нам сегодня спокойно потолковать с дядей Ваней? Ситуация вроде благоприятствует: сдаётся, выпал безнадежный для клёва день. С самого утра торчу я на реке, делаю один заброс за другим, уж и руку правую отмахал, да всё без толку, не было ни одной поклёвки. Возможно, оттого, что погодка чересчур ясная и нежелательно тихая, на воде — шёлковая гладь, а надо бы хоть маленькую рябь, волненьице, чтобы среди

бликов глазастым хариусам стал не так виден ловецкий настрой. В этом прозрачном байкальском потоке-выносе, который от чистоты своей кажется бесплотным, безглубинным, осторожную рыбу способен отпугнуть и острый заусенец крючка, сверкнувший на солнце искоркой.

Не клюёт у меня, не клюёт, будто намертво обезрыбела красавица Ангара. Я вздыхаю о былых, омулем и хариусом обильных временах, о которых у многих ныне здравствующих старожилов-байкальцев остались дивные воспоминания, сходствующие с легендами. Да, были, не забылись сезоны большого промысла, достойные долгой памяти! Текущая действительность породила лишь невесёлую рыбацкую шутку: «Неделю назад хорошо, паря, клевало, поймал одного хариуса, а потом стало хуже и хуже...»

А как там у дяди Вани — клюёт или не клюёт? Нет, кажется, и он не выдернул сегодня ни одного харюзка. Не пора ли пойти к нему, покурить да посудачить про жизнь и успокоить нервы от невезухи?

Июльское солнце светит на полную яркость, а совсем не жарко на реке. Тянет холодный, влажный, пустой по вкусу верховик — ветерок с моря. Это, по сути своей, бриз, но, право, язык не поворачивается назвать вовсе не греющий байкальский хиус этак по-субтропически ласково — бри-и-з. Исток Ангара — как продувная труба, где обычно либо сверху, либо снизу потягивает свежак. В этом месте редко-редко увидишь, чтоб какой-нибудь рыбачок из приезжих стоял на берегу, раздевшись по пояс или до плавов, загораючи между делом. Тут всякий раз надо надевать брезентовую куртку с капюшоном, а под неё или меховую поддёвку, или толстый свитер, иначе просвистит. Иногда хочется даже перчатки натянуть — ветерок прямо-таки корябает, дерёт руки, как наждачная бумага. Вон дядя Ваня не зря в любую погоду носит телогрейку, ватные брюки, шапку-ушанку — самая надёжная униформа на студёном Байкале.

В этот будний бесклёвый день и рыбаков-то на берегу раз-два и обчёлся. А бывает, мужики с удилищами наперевес выстраиваются вдоль кромки воды непрерывной длинной цепью. И тогда стоит над Ангарой треск и скрип крутящихся рулеток, свист слетающей с барабанов капроновой лесы, резкие всплески пущенных, как из пращи, свинцовых настрояв. Юркими утятами бегают наперегонки наплавыв с красными, белыми и чёрными головками. То тут, то там раздаются гулкие хлопки, словно редкие аплодисменты в благодарность реке за её дары: положив в левую жменю крашенного родамином червя, правой ладонью, сложенной лодочкой, рыбаки сильно прихлопывают и таким манером оглушают, обездвигивают червя, дабы ловчее насадить на крючок. И как на всяком сугубо мужском сборище не обходится без солёных подначек и вполне безобидных шуточек типа: «Распрекрасный водоём, жалко, рыбы мало в ём!..»

Что же ловится в истоке Ангара? Главная добыча у нас хариус — чёрный речной, марсовик, как величают его за багрово-радужный, воинственный наряд, и белый озёрный, который помясистей и пожирней черноспинного. Хариус, благородный обитатель чистых вод, ничем не уступает повсеместно известной деликатесной форели, они из одного семейства лососёвых. Омули, сиги и хариусы не иначе составляют пищу богов Байкала! Сибирская форель хороша в любом виде — и в ушнице, и в расстеге, и запечённая у костра на рожне, и зажаренная с лучком, и малосольная. А ещё — приготовленная по нехитрому дедовскому способу закуски-расколотки: приносят зимой замороженного хариуса, малость поколотят об порог, разымут на розовые тающие дольки, чуть посолят, поперчат и — скорей, скорей разливают по рюмкам водочки, вот кайф для настоящих сибиряков!

Что и говорить, такой рыбе стоит поаплодировать, особенно когда она хорошо ловится. Да ещё если «зацепится» марсовик килограммчика на полтора. Этакое зверя, упирающегося из всех сил, выкидывающего свои спасительные финты и «свечки», непросто выволочь из воды — руки трясутся от напряжения, во рту пересыхает от радости близкой добычи, и весь ты дрожишь от тихой страсти, весь захвачен, захлестнут древним азартом. Спиннинг держишь двумя руками, сачком невозможно воспользоваться и потому, подведя рыбину к самому урезу воды, вынужден эдак непочтительно выпинывать её на берег сапогом. Иначе она может в последнем рывке оборвать тонкий поводок на конце снасти или сломать крючок и уйти из-под носа.

...Ладно, не обязательно крупная, хотя бы мелкая ловилась. Нет же, никакая не клюёт, не интересуется моими приманками, наживками — пропащий день. Погодка вовсе не рыбацкая, совсем не тот ветерок потягивает — низовка бы нужна, а не верховик. «Не надейся, рыбац, на погоду...» — поётся в старинной песне, а на что же ему ещё надеяться?

Да, нелегко поймать рыбку в наше время. И как только не исхитряются рыбаки, чтобы обмануть её! Технология ужения стала сложной до изощрённости. Начать с того, что у нас на Ангаре придумали особую ангарскую катушку увеличенного диаметра, каких нигде на рыбацких угодьях не встретишь. На большой барабан рулетки быстрее сматывается леска, которую вслед за наплавом уносит далеко по течению, метров на пятьдесят-шестьдесят, а иные мастера лова и дальше отпускают, насколько позволяет зрение.

Главнее главного, нужен специальный донный настрой — полутораметровая цепочка из свинцовых грузил. Внизу у крючка крепится самая мелкая дробинка-бекасинник, потом, с отступами, следуют шарики один другого крупнее и наверху достигают размера ружейной пули. Всего нанизано двадцать одно грузило, не больше и не меньше. Почему именно столько? Наверно, потому, что рыбаки, как и всякие добытчики, народ немножко суеверный и на них действует магия «очка», счастливой в карточной игре цифры. Хитро придуманный настрой, чтобы рыба меньше его видела, движется вниз по течению волгнутой дугой, мелкие дробинки внизу, впереди, а крупные выше и дальше. Казалось бы, тяжёлая пуля-жакан должна тянуть всю цепь ко дну, но и пулю, и всё устройство удерживает крупный самодельный наплав. Такое вот изобретение местных умельцев, достойное инженерной мысли.

Обязательно нужен скользящий наплав, как называют тут поплавок, позволяющий проводить наживку у самого дна, где обычно держится хариус. А ещё — достаточно длинное, но не жидкое удилище, рассчитанное на сложный, свинцовый настрой и далёкий заброс. Короче, прибывшему издалека туристу-спиннингисту с его набором сверкающих хитромудрых блёсен у истока нечего делать, некого ловить. Ему лучше отправляться куда-нибудь на тихое озеро, за окунями, которые страсть любят хватать всё, что в воде блестит.

В нашей рыбалке надо знать и соблюдать много всяческих тонкостей. Так, леску для настроя необходимо красить зелёной, чтоб меньше была заметна. Красить нужно и свинцовые грузила, они на течении быстро шлифуются и начинают отпугивающе отблескивать. Если необходимо, здесь же, на берегу сделать их тусклыми, можно покатаť о какой-нибудь шероховатый камешек. Кстати, при надобности об него же и притупившийся крючок можно заточить. Но опытные рыбаки для этого носят при себе мелкий оселок. Крючки желательны кованые, способные выдержать нагрузку в полтора-два килограмма. Для лучшей подсечки крючок следует выгибать по-особому, горбачом, и следить, всегда следить за жалом — при опробовании на собственной коже оно должно как бы само впи-ваться, прилипать. Кроме всего прочего, местный рыбац всегда держит в запасе две головки для наплава: белую для солнечной погоды, чёрную для пасмурной. В обязательном порядке и запасной свинцовый настрой.

А забота забот, разумеется, наживка. Хариуса ловят в истоке Ангары на червя, на бормаша (рачка-бокоплава), на бычковую икру, на кобылку (в смысле, на кузнечика), на искусственную мушку, на изоляционную резинку, крашенную под червячка, на поролоновую губку «под икру». Есть одна такая приманка, о которой в приличном обществе даже говорить неловко, к ней брезгливый человек, пожалуй, и не притронется. Добро, наш брат не из касты чистоплюев.

Червей наживляем мы, как правило, не простых. Ходим копать их в один укромный распадок на левобережье Ангары — только там водятся ходовые белые, а не обычные черноголовые. Прежде чем пустить в дело, их надобно ещё не один день морить во мху, а перед употреблением подкрашивать родамином для пущей привлекательности.

Не часто, но встречаются у нас рыбаки-асы, которые предпочитают не мараться с червями и прочими опарышами, а ловят принципиально только на «искусство», то бишь на

самодельных, накрученных из шерсти мушек, на резинку, на губку. Разные придумывают обманки, не обманешь — не поймашь. Своим умением дурачить хариуса подделками «искусственники» гордятся, как высшим классом рыбацкого мастерства. Особо торжествуют они в те дни, когда не клюёт ни на какую живую приманку, а на искусственную — берёт. Чем же можно объяснить такую испорченность вкуса холонокровных? Может, избалованной вниманием, закармливаемой рыбе требуется что-нибудь такое, может, подводит её исследовательский инстинкт, или, проще говоря, любопытство?

У завязанных мастеров рукодельных мушек глаз всегда настроен до неприличия настырно, такой рыболов, куда бы ни попал, везде высматривает нужные шерстяные нитки, везделиво приглядывается, во что одеты родственники, друзья и знакомые, проявляя опасный интерес к свитерам, кофтам, шарфам, вязаным шапочкам, варежкам. Местные старожилы рассказывали, что в послереволюционные времена великим спросом пользовалась... любой степени изношенности форма забайкальских казаков, точнее, её жёлтые лампасы, оказавшиеся очень приманчивыми для ангарских хариусов.

Один мой знакомый по рыбалке как-то пооткровенничал, что случайно увидел «клёвую» шерсть, находясь в командировке, — в гостиничном номере на казённом мохеровом одеяле, и, не устояв от искушения, закрылся на ключ, аккуратно поработал расчёской. Лично мне удалось обнаружить отличный материал для мушек на своих старых стоптанных тапочках.

В рыбацком деле, как и в домашнем хозяйстве, уйма маленьких хитростей. По-всякому хитрят, мудрят, приловчаются мужики. Много сложностей, много тонкостей появилось, несомненно, оттого, что мало рыбы стало.

...Время к полудню. Чувствуется усталость — я с утра на ногах.

Устал вышагивать с удилщем туда-сюда по галечному берегу, устал беспрерывно закидывать и выматывать снасть — в сумме, наверное, уже километра три, не меньше, вымотал лески. Устал ежесекундно напрягать внимание, как бы не проморгать поклёвку, не опоздать с подсечкой. Кажется, даже спина начинает неметь и ноги дрожат, гудят.

Краем глаза я нет-нет да поглядывал в сторону дяди Вани, но ни разу не видел, чтобы в его руках сверкнул серебряным брусом пойманный хариус. Знать, и у него совсем не клюёт.

А вот гляжу, отложил он свою рулетку, отцепил от велосипеда хозяйственную сумку, уселся на травку перекусить. Ага, после обеда надо пойти потолковать с ним.

Вскоре я убедился, что он тоже ничего не поймал, такой уж выпал день невезучий. И поскольку обеденные часы, как давно замечено, самые безнадежные для клёва, мы с ним спокойно разговорились.

Выясняется, что родом Иван Фёдорович с Украины, на Байкале живёт давно, без малого полсотни лет. Отсюда уходил на фронт, воевал в танковых частях, а 7 ноября 45-го года вернулся на байкальский берег. Работал на железной дороге, потом вплоть до пенсии — в портовской пожарной охране.

— Скажи, дядя Ваня, а когда ты к рыбалке пристрастился? Или всю жизнь рыбачишь, с самого детства?

— Не-ет, я к этому делу только после войны приунылся. Посмотрел, как другие мужики ловят, и сам решил попробовать. Достал рулетку, выстрогал удочку, изладил настрой. И что ты думаешь? В первый же день пятнадцать штук наловил — меня это заело. И давай я, как на работу, ходить на Ангару. Ночь отдежурил в пожарке, сменился и айда рыбалить. Часа в два обедать домой идёшь, кошёлку с рыбкой несёшь. Или бывало иначе: пойдёшь ловить утром раненько и до работы несколько килограммов наловишь. А после работы снова рулетку в руки и к вечеру обратно хорошо надёргашь. Так я по два раза на дню домой рыбу таскал... Ой, сколько её было! Рыба тогда руном шла. Бывало, на лодке плывёшь по Ангаре и видишь — под тобой косяки ходят, как в садке.

— А что ещё, кроме хариусов, ловилось на Ангаре в те счастливые времена? Были другие породы рыб?

— Ещё какие! Ну, соровые мы в счёт не берём — щука, окунь, плотва. Жалко, ленок теперь почти что вывелся, его тут было — ужас сколько! Да ленок-то весь крупный, силь-

ный, трудно его вытащить, снасть не выдерживала. Зацепится такой амбал да так рванётся, что обломает конец удочки. Во как случилось.

— А любопытно, дядя Ваня, много ты всего наловил за свою жизнь, ну, примерно?

— Врать не буду — много. И поймей в виду, я всегда ловил только на удочку, сетей сроду не держал и не ставил.

— Говорят, раньше здесь, у истока, рыболовецкое хозяйство работало. Значит, и на него рыбки хватало. Было такое?

— Было дело. Я договор заключал с рыбколхозом. Выгребешь на лодке, заякоришься и за день по пятьдесят-шестьдесят килограммов налавливал. Нас тогда рыбка одна и выручала. После войны время трудное было, шибко голодное, а у меня семья — пять человек. Скажи, чем кормить? Нету ничего, кроме картохи. Хлеба можно купить только на поездках, да и то буханка стоит ого сколько. Мы к московским поездкам выносили свою рыбку, по вагонам ходили: кому нужен омуль, меняю омуля на хлеб, денег не надо, только давайте хлеб. Ничего, если которая буханка зачерствела, всё равно давайте, лишь бы хлеб.

— Вы разве омулем торговали? — сыграл я под наивного.

— Ловили-то мы, сам знаешь, хариуса, а пассажирам всё подавай омуля. Наш хариус за милую душу сходил за омуля. Какая разница? Наш хариус, кто понимает, ещё нежней и вкусней, когда свежий, только что изловленный. И хариус-то был жирный, крупный, не то, что нонешний. Короче сказать, рыбка меня сильно выручала. Иначе и не знаю, что бы делал, как бы дожил до своих лет. Да, была когда-то Ангара кормилицей, а потом перегородили реку плотинами и рыбе ходу не стало, негде нереститься. Раньше ловили килограммами, нынче штучками. Не стало, не стало кормилицы, хоть тут плачь, хоть локти кусай.

— Да уж не тебе приbedняться, дядя Ваня. По-моему, ты и сейчас не приходишь домой без рыбы.

— Нет, бывает, что и пустой. Бывает, не дождёшься ни единой поклёвки. Старуха меня всё ругает: зачем без толку ходить, зачем зря мучиться? Я говорю ей: а может, как раз сегодня поймаю. В этом году, хотя и плохо ловится, всё-таки однажды принёс ей шесть килограммчиков свеженькой. Зараза, ох, кака зараза эта рыбалка! Что бы ни делал по дому, а все мысли на Ангаре, скорее бы туда, на реку, с рулеткой постоять. У меня ведь дошло до того, что корову продал свою из-за этой рыбалки. Ты понимаешь, начинается рыбацкий сезон, самое клёвое время, а тут как раз надо сено заготовливать, хлопот с ним чёрт знает сколько. Ну и уговорил я свою старушку, продал коровёнку и купил велосипед, чтоб до рыбалки легче добираться. Считай, сам себя отстоял!

— Продав мужик корову и купив велосипед, — усмехнулся я. — Прямо как анекдот звучит, извини меня.

— Так мне же от дома до рыбалки километра полтора топать, в моём-то возрасте. Ты понимаешь меня?

— Скажи, дядя Ваня, а почему у одних ловится, у других нет. Что для удачи главное — терпение или всякие-разные секреты?

— Главное — терпение большое надо. И не прохладяться на берегу, знай закидывай, лови удачу. У меня так бывает, что и покурить некогда. Или, к примеру, возьмишь с собой хлеба с крутыми яйцами и лучком, хочется поесть, а терпишь до самого вечера, не перекусишь даже. Само собой, надо места знать в реке: где ямки, где бороздки, где заводи. И настрой хороший надо иметь, по уму отлаженный, отмеренный до сантиметров. Из-за мелочей, бывает, всё зависит. Секретов, правду сказать, немало, какой главный — не поймёшь. Я, в основном, на червей ловлю, вымариваю их во мху так, что они у меня аж прозрачные. Если кто попросит, и другим одалживаю.

— А как ты считаешь, дядя Ваня, можно назвать рыбалку развлечением, отдыхом?

— Ну, ежели где-то сидеть на заливе, у спокойной воды на складном стульчике... держать жидкое удилишко и глядеть на пескариный поплавочек — тогда, конечно, это отдых. А наша рыбалка больше напоминает спортивный лов, не правда ли? Именно так! Ежели ты настырный, устаёшь до того, что ноги не держат. Какое тут развлечение, какой отдых! Если хочешь рыбку поймать, надо хорошенько поработать и руками, и ногами. Не пойма-

ешь — голодный будешь. Нет, ангарская рыбалка — трудное дело. Верно говорится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. И на нервах отражается ещё как. Когда не клюёт, ох как на нервы действует. Иногда смотришь на воду — вот она, рыба, играет, плавится, а не берёт приманку, хоть ты ныряй за ней.

— Всё так, дядя Ваня, но один умный человек сказал, что время, проведённое на рыбалке, не засчитывается в срок жизни.

— Дай-то Бог! Мне тогда надо скинуть годков пять, как минимум... А ты заметил: молодые-то пареньки почти не заглядывают нынче на реку, им эта рыбалка без интереса. Ходят с рулеткой одни мужики да старики. Мы помрём — кто будет рыбалить? Эдак, глядишь, и отвыкнут, разучатся байкальцы рыбу ловить.

— Молодые в наше время ловят свой кайф, детективы по телеку смотрят не насмотрятся, — поддакнул я дяде Ване. — Всё дело в том, что поколения растут качественно другие — сытые.

— Вот, вот. Сытые да ленивые, неумелые. Ну как на их долю выпадет такое же лихо, как нам, что тогда? Будут сидеть сложа руки? Нет, ежели ты мужиком родился, должен быть добытчиком. Кто не охотник, не рыбак, дак какой сибиряк, какой мужчина? Нас вот беда и нужда заставляла действовать. Всяко упирались, только чтоб выжить. И войну страшную выиграли, до Берлина, до полной победы...

Сурово рубанул старый фронтовик, не поспоришь. Прав он был в главном — в своей озабоченности судьбой молодых. Пожалуй, порой по привычке нахваливается, выпячивается особый сибирский характер. Если задуматься, многим ли сегодня отличается окончивший школу сибиряк от юноши средней полосы России? По образу жизни, как правило, тот горожанин и этот горожанин, оба с природой общаются мало, от случая к случаю, у обоих увлечения сугубо городские — ну, какие уж из них «добытчики»!..

После обеденного перекуса мы с дядей Ваней ещё пытались рыбачить, но по-прежнему не клевало. И тогда я, попрощавшись со стариком, отправился домой на улицу Горную. Он остался на берегу один. Ну, право, чем не памятник терпению и упорству!

Дядя Ваня — человек конченный, целиком отдавшийся ловецкой страсти, этому древнему, ничем не заменимому занятию жизни. Он таким останется, безо всяких сомнений, до последнего своего шага. Будет рыбачить, пока ноги носят, пока руки держат удилище, пока глаза видят уплывающий наплав. И если наступит новый рыбацкий сезон, придёт благословенная пора клёва, а я не увижу на ангарском берегу знакомой фигуры в телогрейке и шапке-ушанке, то сразу подумаю: либо помер дядя Ваня, либо лежит при смерти — никакая другая сила не способна удержать его дома в эти счастливые дни.

Я шагаю домой через хребтик по берёзовым перелескам и сенокосным полянам. Хорошо на душе — с человеком поговорил.

Озеро Фролиха

Только два раза мне посчастливилось вытащить из воды крупных хариусов величиной с локоть. Измерить вес у меня не было возможности, но когда я нёс их на кукане, они своими рыжими хвостами как бы подметали галечный берег. Помню, одну мою «большую рыбу» поймал на северном Байкале, во время экспедиции с охотоведами к мысу с говорящим названием Покойники, а другую — в истоке Ангары. Но то, что произошло с нами, тремя любителями рыбалки, на озере Фролиха у подножья Баргузинского хребта, нельзя сравнить ни с какой частной удачей.

Ситуация долгих сборов в дальнюю рыбацкую поездку была хорошо знакома в нашем маленьком кругу молодых литераторов, увлечённых рыбалкой. Каждую зиму собирались мы на подлёдный лов омуля к Ольхону, на Малое Море. Но все эти планы заканчивались одними застольными разговорами, потому что личного транспорта тогда никто не имел. Зато летом выбирались на рыбалку не единожды, и случались не только ближние, но и

отдалённые броски — то старым самолётиком, то теплоходом на подводных крыльях, то обыкновенным рейсовым автобусом.

От кого-то мы однажды узнали, что где-то у северной оконечности Байкала затерялось в горах небольшое озерцо Фролиха, где ловится рыба, которую все называют по-эвенкийски *даватчан*. Якобы у неё красное мясо, как у настоящего лосося. Вот тогда-то и возмечтали мы побывать в том горно-таёжном краю и наловить диковинной красной рыбы. Довольно прожигать остатки молодости в городе с его ресторанчиками, забегаловками и сомнительными киосками «Пиво-воды», надо совершить путешествие на загадочную Фролиху, к нетронутой пока что природе. Так решили мы, три товарища по перу. И одним из первых рейсов теплохода «Комсомолец» отправились на северный Байкал к манящей Фролихе. Повторюсь, в рыбацком десанте нас было трое.

Как зачарованные странники, два дня плыли мы по удивительному, ненаглядному озеру-морю и почти что не сходили с палубы, не отрывались от поручней из якорных цепей, всматриваясь в бесконечную панораму береговых утёсов. Потом день шли пешком по глухой, мрачноватой тайге. И добрались-таки до желанного высокогорного озерца.

Фролиха — словно дитя батюшки Байкала, великолепная его копия, уменьшенная примерно в сотню раз, но сохранившая ту же чистоту и красоту. Драгоценный аквамарин в оправе гранитных баргузинских гольцов, да простится мне этакая красавица. Кто сроду не слыхивал о Фролихе, может вызвать в воображении знаменитую кавказскую Рицу. Только надо представить Рицу, не захваченную туристами и курортниками, экскурсионными автобусами и прогулочными катерами. И — без единого питейно-закусочного заведения.

На берегах Фролихи обитали всего-то восемь человек — мы, трое, из рыбацкого табора да учёные-ихтиологи, лагерь которых стоял неподалёку от нашей палатки. Они там занимались несуетными тихими научными делами, почти ничем не напоминая о своём присутствии. Мы тоже старались не бередить ту невероятную тишь, что выстаивалась в озёрной котловине не иначе как с ледникового периода.

Как просветили нас учёные люди, это озерцо по всем признакам ледникового происхождения, и подобно тому, как из Байкала вытекает только Ангара, так и из Фролихи всего одна речка с одноимённым названием.

В нашем распоряжении появился плот, связанный из четырёх сосновых брёвен. На нём-то и пускались мы с рыболовной снастью в ежедневные плавания. Поначалу попадались на крючок только окуни, здоровенные колючие «лапти», но мы такому улову не радовались. Не ради банальных окуней совершили байкальское плавание на север, за шестьсот километров. Как известно, окуни нужны в ушицу, в основном, для навару, для крепости, мы же приехали за красной рыбой даватчаном, который водится в Фролихе, в некоторых других северных озёрах, а в водах славного моря почти не встречается.

Долго стегали мы спиннингами воду в разных местах озера — и всё безуспешно, лосось-даватчан не давался в руки. За сверкающими блёснами эти красивые рыбы вроде бы плыли, тянулись, но не хватало, боялись, осторожность пересиливала любопытство. Не в пример отчаянным, жорким окуням — тем любую блесну закидывай, лишь бы поярче блестела.

Никто нам не подсказал, как можно на удочку ловить в сибирских условиях красную рыбу. Само собой, сетей мы не держали, надо было своим умом доходить, методом проб и ошибок решать неожиданно возникшую проблему. Подобно роденовскому мыслителю, босиком сидели на корточках три любителя-рыболова, стараясь не расшатать плотик из четырёх брёвен. Три озадаченные мужика, люди, что называется, умственного труда не могли придумать, как обхитрить холонокровных даватчанов.

И всё же три «головы» нашли верный способ лова. Не хочешь, пугливый ты наш, хватать блесну — а вот тебе очень искусная мушка под бормаша, а вот кусочек поролона под икру бычка, а вот натуральный червячок. Выбирай на вкус! Ага, кажется, ты, красавец, от разных приманок-заманок растерялся, утратил природную осторожность...

Но — стоп! Больше никаких подробностей, не станем раскрывать до конца наш рыбацкий секрет, чтоб им случайно не воспользовался какой-нибудь читающий браконьер.

Я не зря подчёркивал, нас было трое. Как ни смешно, русская традиция «на троих» пригодилась и здесь, на рыбалке. В одиночку никто бы из нас не сумел наловить даватчанов. Лучше, когда на плоту двое, а троим ещё быстрее сообщается. Потому и придумали мы оптимальную совместную тактику.

За яркий наряд, в котором выделялись красные, как лампы, тона мы прозвали даватчанов генералами. Так вот, жили-были на озере три мужика и кормились «генералами»... Виноват, неправду написал, ради красного словца. Питались-то мы ухой из окуней, а даватчанов берегли для посола, только парочку рыбин распорол, дабы убедиться, в самом ли деле у них красное мясо. К нашей общей радости, всё так и оказалось.

Ещё в начале похода нам верилось в рыбацкую удачу, не с пустыми же руками возвращаться с богатого рыбой северного Байкала. И потому для засолки прихватили с собой эмалированную кастрюлю. Перемешивая солью, мы ежедневно с большим удовольствием укладывали в неё добытую красную рыбу.

...В Иркутск вернулись, чувствуя себя покорителями озера Фролиха. Даватчане за время обратного пути просолились как раз до нужной закусочной кондиции. Не минуя гастронома, мы запаслись водкой, хлебом, овощами и пришли на квартиру нашего товарища. Там был не просто рыбный обед, там был пир победителей! Никогда в жизни нам, аксаковским удильщикам, не случалось закусывать красной рыбой собственного улова.

Жена нашего соратника по рыбной ловле только удивлялась и восторгалась:

— Это, действительно, красная рыба! У неё красное мясо. И вкуснотища какая! Просто во рту тает...

Мы долго сидели за накрытым столом, возбуждённо и весело отмечали наш пик рыбацкой удачи.

А когда расходились по домам, каждый унёс для своих домашних на пробу малосоленных даватчанов: пусть убедятся, что не были зряшными наши долгие разговоры о красной рыбе.

...И вот что ещё вспомнилось. Лесистый островок, у которого мы рыбачили, казался необитаемым, однако вскоре мы обнаружили там крякву и травянистое гнездо с пёстрыми яичками. После первого знакомства больше её не тревожили. А к нашим ядрёным репликам, от которых не было никаких сил удержаться, когда вёрткий даватчан выскальзывал из рук и прыгал в воду, мама-утка быстро привыкла, найдя их вполне безобидными.

Незаметно подошло время расставаться с Фролихой. За последние дни много подвалило туристов. Зазвенели топоры и пилы, послышались выстрелы дробовика, по вечерам от дальних костров разносились над водной гладью дурные подростковые выкрики, истеричные девичьи взвизги и дружный молодецкий гогот. Заповедной благодати как не бывало.

Вряд ли дадут нашей крякве утят высидеть.

И зарождалось в душе опасение за судьбу святого места — уголка первозданной природы. Ведь небольшая местная популяция даватчана слишком уязвима — одна лихая бригада браконьеров с надувной лодкой и сетями способна вычерпать из озера всю красную рыбу, уникальную для Байкала.

Боже праведный, Создатель всей красоты земной, спаси и сохрани священное море, спаси и сохрани Фролиху!

ПОЭЗИЯ



МАРИНА ШАМСУТДИНОВА



У России хребет железный

Разговор с яндексом

У тебя ни угла, ни семьи
И ладони темны от оружия.

Станислав Куняев

Я женщина, я мать, я вырастила сына,
Чьи волосы, как поле спелой ржи.
Судьбу его сломать военная машина
Готовится, взрывая рубежи.
Мой сын бежать от Родины не станет...
В строю от добровольцев не отстанет.
Что делать матери, хоть, yandex, подскажи!

Богатырша Марья Моревна

Голос старцев почти не слышен,
Спят в младенцах богатыри,
Собирают в поход богатыршу,
Дав клубочек в поводыри.

Богатырша Марья Моревна,
Ты воительница Руси,
И добычица, и царевна,
А хазар хоть косой коси...

ШАМСУТДИНОВА Марина Сагитовна. Родилась в 1975 г. в Иркутске. В 2003 г. окончила Литературный институт им. А.М. Горького (мастерскую Станислава Куняева). Автор пяти книг стихов: «Солнце веры» (2003), «Нарисованный голос» (2007), «Дань за 12 лет» (2010), «Стихи» (2011), «Русская сказка» (2015). Печаталась в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Созвездие дружбы», «Первоцвет», «Огни Кузбасса», «Московский вестник», «Викинг», «Литературная Вена» и др. Лауреат поэтической премии им. Юрия Кузнецова за 2010 г. (журнал «Наш современник»). Победитель фестиваля «Славянские традиции», 2011, 2013, 2014 гг. Победитель конкурса СП России им. Н.А. Некрасова. Член Союза писателей России.

Убить памятник

*Роме Таравскому,
ребёнку и памятнику,
убитому и разрушенному*

Памятник — это память,
Память не запятнаешь.
Прочно в мозгу прошито,
Это забыть нельзя.

Ромочку в вышиванке
Резал фашистский киборг,
Киборг и терминатор.
Машина и без души.

Душ полномочный вершитель
Или котов душитель.

Просто детоубийца.
Семьдесят лет назад.

Память, она такая.
Снова убит ребёнок,
Маленький, в вышиванке,
Миной в родном лесу.

Памятник — это память,
Родинка или метка.
Снова его поставят, снова его разрушат,
Снова ребёнка убьют...

* * *

Спасёт нас вечная зима!
Больницы, школы ледяные,
А дураков своих нема,
Все дураки переводные.

Сельскохозяйственной страны,
По брови занесённой снегом,
Проблемы, в общем, решены
Одним навязчивым соседом.

Мороз-подрядчик хоть куда,
Бордюры, домики-яранги.

Всё смоем талая вода,
Дорогу одолеем в танке.

Иван, не помнящий родства,
Очистит поле родовое,
Распашет — раз, засеет — два,
На три оно совсем живое!

Сосед порядочная гнида —
Антанта или Атлантида...
Игрушки смоем ледяные,
Дома отстроим лубяные.

Русская сказка

На каждой опушке ждут нега и ласка —
В лесочке берёзовом русская сказка.
Присел на пенёк пожевать пирожок —
Ежонком у ног проскочил колобок.
Малины у мишки в бору набирай,
В палатке съедай вот такой каравай!
А ночью притопаёт мышка-норушка
И сказку ночную нашепчет на ушко,
И лунную пряжу сквозь щёлку спрядёт,
Навяжет перчаток и прочных колгот,

Чтоб больше в лесу не царапать коленки, —
С полян собирать земляничные пенки.
Проснёшься, а сосны в лесу налитые,
Стволы, как бока у бычка, смоляные.
К любому прилипнешь, застрянешь в лесу,
Но в город пора: есть сыры, колбасу,
Сосиски, паштеты из сала и сои,
А лето в лесу на Руси золотое.
А в городе что? — Беспросветная осень,
Но как колбасу и сосиски нам бросить?

Добро

Всё равно буду делать добро,
Мне не жалко, пусть даже разик...
Зло коварно, жестоко, хитро.
У него золотое нутро,
Сто рецептов для безобразья.

Простодырая? — Может быть.
Слепошарая доверяюха.
Против шторма в скорлупке плыть.
Раскрываться, страдать, любить,
Жить весной, хоть сто лет старуха.

Зло бесплодно, как камень голыш.
В глаз попасть моей синей птице
Ты не сможешь, в пыли сидишь...
Капли-нотки стекают с крыш...
Крылья выращу и мокрице...

* * *

Я звезду не надену, не нужно, Нету красной звезды под рукою. Кто-то скорчится и натужно Пол-Европы запишет в герои.	Убивать её бесполезно, Её душу отмолят старухи. Бессребреницы, бесприданницы, Беззамужницы и молчальницы, Столбовые и верстовые, Стержневые согбенные выи...
У России хребет железный, Костяная нога, руки-крюки,	

* * *

Мы за Господом, вы под госдепом. Украина кровит от маков. Украшает венки чёрным крепом Генерал-косметолог Аваков.	От асфальта немощным, старым Отдирать разорванных нас. Пусть живёт в веках Украина — Мясо, сало, гречиха, кровянка. Человека там нет, только глина Перемолота траками танка.
Можно руки пришить в фотошопе, Город лихо отстроить в программе... Вы до Нюрнберга доживёте — Приговор, перерыв на рекламе.	Славься в песнях, страна согласных, Дезертиров и армий частных, СМС приравнявших к штыку. Прыгай выше. Три раза — КУ.
Вам бы в морг простым санитаром, Вам бессмертье сотни раз,	

Крещатик спит

Крещатик спит. Весёлый содомит Ещё свинью на нём не оскопит, На Днепр из парка очень милый вид.	Спокойно всё, молчание элит. Молчание ягнят, ведь год овцы. На этот случай вспомни Лао Цзы.
---	---

Сиди и жди — покойника несут.	Ты сам горшок и «сам себе с усам».
Он — подсудимый. Это скорый суд.	Терпи, казак, терпи. Я пожалею.
Всё хорошо. Всё очень хорошо...	Потом, если захочешь... бакалею
И кожу из спины — на ремешок.	Диабетично-шоколадный бред,
Все только повторяют как молитву:	Тропилово-взрывной эквивалент —
«Зарезать к празднику одну большую тыкву,	Всё это положил себе под ёлку:
В салатик яблочко, изюм и корешок.	Нас — на гиляку, в стрингах деву-тёлку,
Всё хорошо. Всё очень хорошо».	Брюссельскую капусту, доллар, цент.
Терпи, казак, ты зелья перепил.	Канавы спит, лежит убитый мент.
Ты торты покупал, а не тротил.	Он новомученик, ему должны молиться.
Ты ёлку разобрал на баррикаду,	Он не простит. Он в снах вам всем явится
Или загон... ты сам попал в засаду.	С щитом и в каске безоружный мент,
Терпи, казак, ты это сделал сам.	Защитник мира, сброшенный в кювет.

Офелия-рептилия

Офелия-рептилия —	Мёртвые, сорочки,
Заветный корешок.	Гиблые глаза.
Драконовые крылья,	Добычи твои волчьи,
Французский запашок.	Сгинет мой казак.
Идёт, что мелом пишет.	Без стыда и досыта,
Утопленница-мразь.	Выпьешь его всласть.
Она была в Париже,	Змеиные косы-то,
До Крыма добралась.	Зыбучая грязь.
Русалка, девка, навка.	Как в люльке качнётся
Заманит в омуты.	Над топью казак.
Расшита тиной лавка,	Гнильём захлебнётся.
Под тиной чернота.	Найдём к морозам.

Сибирь

Кровью белых берёз перелески залиты зимою.
 Пар молочный туманом взлетает под самый восход.
 Изваляюсь в снегу, этой липкой измажусь смолою.
 Без добычи вернусь, как домашний зажавшийся кот.

Наше Небо для сильных, для гордых наш Лес, наше Поле,
 Где, кричи не кричи, только леший ответит: «Ау».
 Как цепная собака, Москва замерла на приколе,
 А Сибирь не загонишь в бетонную конуру.

Горы здесь достают до десятой звезды. Небоскрёбам
 До такой высоты не взлететь даже в тяжком прыжке.
 Горловым своим криком, прокуранным, спившимся небом
 Не облаять такую махину, не слямзить в мешке.

Переждём, отстранимся, уйдём от греха и от смрада
 По медвежьим углам да в сибирской дремотной тайге.
 Здесь пройдёт оборона последней страды Сталинграда.
 По сибирской, по русской, как Божия вена, — реке!

Мастерская художественного очерка



ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ



Дорогие мои далёкие

Это не летопись и не беллетристика, а просто воспоминания. Желание записать их возникло не потому, что я считаю свою жизнь образцом, поучением или назиданием потомкам. Наоборот, мне кажется, что именно обыденность событий представляет интерес для рассматривания картины времени, в котором мне выпало жить, и тонкими, но необходимыми штрихами дополняет её, написанную книгами, фотографиями, художественными полотнами, фильмами, документами, газетами, биографиями и мемуарами великих и просто известных людей.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Ещё не зная этих строк Александра Кушнера, в одном из стихотворений я выразился немного по-другому: «Никто из нас не выбирает тот век, в котором жить ему, и жизнь земную проживает по разуменью своему». И мне всегда увлекательно было читать строки воспоминаний людей разных эпох: протопopa Аввакума, княгини Дашковой, Корнея Чуковского, капитана порта Байкал Г.В. Лазо... Может быть, кому-то покажется интересным и то, о чём мне захотелось рассказать.

В детстве время идёт так медленно, что кажется — никогда не станешь большим. И я не мог поверить, что и мне исполнится однажды... ну, скажем, двадцать семь лет. В моём представлении дядька в таких годах был глубоко пожилым человеком. Но с каждым годом время шло всё быстрее, и вот, наконец, пришли и мои двадцать семь. Я вспомнил свои детские представления об этом возрасте и только улыбнулся. А время чем дальше, тем больше ускорялось, и сейчас мне трудно понять, почему десять школьных лет были, в общем-то, эпохой, а десять лет от сорока до пятидесяти пролетели почти незаметно. А для родителей наших это ускорение времени всегда наступало раньше, чем для нас. Может быть, поэтому они теперь очень далеко...

ДМИТРИЕВСКИЙ Валерий Викторович, прозаик, поэт. Родился в 1952 г. в Нижнем Новгороде. Окончил Иркутский политехнический институт. Служил в пограничных войсках командиром взвода. Работает начальником геологического отряда в ОАО «Сосновгео». Автор книг стихотворений: «Вечерний этюд», «Воспоминание о настоящем», «Слепой дождь». Член Союза писателей России. Живёт в Ангарске.

Ангарск

Перед самым Новым годом мы переехали из пригородного района в новую городскую квартиру. Мне было почти пять лет, брату около трёх, и вот вечером тридцать первого декабря сидели мы дома среди узлов и чемоданов и ждали отца. Мама пыталась что-нибудь приготовить к праздничному столу, но это оказалось не так просто: мебель не была расставлена, посуда лежала где-то в коробках, газ тогда ещё не провели, и заниматься кулинарией можно было только на электроплитке. Но нам не так уж и нужно было праздничное угощение. Мы ждали ёлку, ведь какой же Новый год без ёлки! Мама сказала, что папа обещал привезти ёлку вечером, и мы с братом от нетерпения не могли ничем заниматься, слонялись по комнатам или прислушивались к тому, что происходит за дверью квартиры. Кто-то ещё только въезжал, было слышно, как затаскивали громоздкие шкафы, кто-то уже начал встречать праздник и громко пел. На лестничной площадке познакомились между собой новые соседи.

Дом наш был одним из первых в квартале, тайга нехотя пятилась к югу, оставляя в городе то одинокие деревья, то густые сосновые перелески. И когда стемнело, за окнами ничего не было видно: ни освещённых окон, ни фонарей. Устав от ожидания, мы то и дело бегали на кухню и донимали маму вопросом: ну когда же папа приедет?

— Как управится, так и приедет. Наверное, ещё ёлку хорошую не нашёл.

— А он что, за ёлкой сам в лес поехал?

— Ну конечно. Он хочет выбрать самую красивую ёлку.

Но время шло, а отца всё не было. Вот и на лестнице перестали шуметь — наверное, все сели за накрытые столы. Мама заглянула в комнату и сказала:

— Ну вот, у меня всё готово. А папа, конечно, уже срубил ёлочку и едет домой.

— Но мы же не успеем её нарядить!

— Ничего, успеем.

Наконец раздался звонок, и мы наперегонки помчались в прихожую. Мама открыла дверь, и отец стал входить в квартиру спиной, а руки у него были заняты ёлкой. Мы запрыгали от радости, а отец долго протискивался в прихожую, и когда, наконец, втащил ёлку, мы задохнулись от восторга: она была большая, пушистая и пахла морозом и хвоей.

— А правду мама сказала: папа выбрал самую красивую ёлку в лесу!

Отец разделся и сразу принялся устанавливать ёлку. У него всё получалось быстро и хорошо, и скоро мы уже доставали из коробки ёлочные игрушки и наряжали нашу красавицу. Она верхушкой упиралась прямо в потолок. Мама, стоя на табуретке, принимала украшения и развешивала их на верхние ветки. Наверно, она тоже беспокоилась, когда отца долго не было, но теперь весело поглядывала на нас: ну, что я говорила?

За минуту до двенадцати мы усадились за стол. Отец открыл шампанское и сказал:

— Ну, с новосельем и с Новым годом!

— Ура! — закричали мы, чокаясь газировкой, а мама сказала:

— Не забудьте утром заглянуть под ёлочку, ребятёжь. Дед Мороз ночью подарки принесёт.

И с радостным ожиданием завтрашнего утра сидели мы за праздничным столом, пока не уложили нас в постель.

Поездки к бабушкам

Есть на Рязанщине старинный город Касимов. Его предтечей было небольшое поселение Городец-Мещерский, в котором издавна жили вместе славяне-вятичи и мещеряки из древнего финно-угорского племени. Однако годом основания города считается 1152-й, когда Юрий Долгорукий повелел превратить городок, стоящий на высоком берегу Оки, в пограничную крепость Владимиро-Суздальского княжества. Здесь, по преданию, умер, приняв перед смертью схиму, возвращавшийся из Золотой Орды Александр Невский.

В четырнадцатом веке город был полностью разорён войсками Мамая, но вскоре чуть выше по течению реки выстроили Новый Низовой Город, или Низовой Городец. А в пятнадцатом веке, на закате «татаро-монгольского ига», он сменил название на современное. Карамзин в «Истории государства Российского» написал об этом: *«1466–1467 гг. Царевич Касим, быв верным слугою Василия Тёмного, получил от него в удел на берегу Оки мещерский городок, названный с того времени Касимовым...»*

У Брокгауза и Ефрона, впрочем, указана другая дата этого события — 1452 год. Город стал центром Касимовского ханства (царства), являвшегося противовесом Казанскому. В нём имели свои вотчины лояльные московскому царю татары. Один из касимовских царевичей, Симеон Бекбулатович, по капризу Ивана Грозного около года считался «царём и великим князем всея Руси». В Касимове жила и умерла пленённая Иваном Грозным казанская царица Сююмбике, отданная в жёны касимовскому хану Шах-Али. Об этом времени снова читаем у Карамзина: *«Государь несколько раз советовался с боярами: отклонял требования хана, предлагал ему женить сына или внука на дочери царя Шиг-Алея [Шах-Али] и взять за нею в приданое город отца её, Касимов...»*

Город известен также тем, что отсюда родом была невеста царя Алексея Михайловича красавица Евфимия Всеволодская, не ставшая его супругой из-за дворцовых интриг. Об этом рассказал Вс. Соловьёв в романе «Касимовская невеста».

При Петре Первом город окончательно потерял своё значение как центр независимого ханства и вошёл в состав Переяслав-Рязанской провинции. Последним касимовским правителем стал любимый шут Петра Иван Балакирев. Когда Пётр, направляясь по Оке в Персидский поход, вместе со своим шутом несколько дней находился в Касимове, Балакирев, узнав, что титул правителя города не занят, попросил у царя позволения именоваться ханом Касимовским и получил его шутовское согласие. Впоследствии по указу Екатерины I Балакирев, будучи её фаворитом, был наделён вполне официальным титулом «царя Касимовского» и стал владеть бывшими ханскими имениями. Здесь же он и похоронен.

Русские и татары живут в Касимове вместе уже сотни лет. С православными храмами соседствует мечеть с минаретом, есть татарское кладбище и текие (мавзолеи) правивших ханов, а один из районов горожане так и называют — Татарская Гора. В этом городе наши родовые корни, в нём родились и выросли отец и мать. Раз в три-четыре года родители бывали здесь в отпуске. В годы нашего детства, приезжая в древний патриархальный Касимов из юного Ангарска, мы попадали будто в другую страну, хотя уклад жизни тут был таким же советским, и даже существовали свои гиганты индустрии: утюжный завод и сетевязальная фабрика.

В Касимов можно было попасть разными путями... Впрочем, до Москвы мы добирались только на поезде. Про самолёт и речи быть не могло — родители никогда не имели лишних денег. И даже в купе мы не ездили, только в плацкартных вагонах. Не по карману было нам и вагонноресторанное питание, поэтому с собой в дорогу брали целый чемодан еды. Чемодан был очень старый, фанерный, с застиранным матерчатый чехлом, застёгивавшимся на пуговицы. Для удобства переноски на него надевались ремни с деревянной ручкой — обычная тогда вещь в обиходе каждого путешественника. Такие же ремни надевались и на другой большой чемодан, поновее, облицованный коричневым дерматином. Кроме того, были какие-то сумки, корзинки и прочая мелкая тара со всякой всячиной.

Мы с братом, конечно, забирались на верхние полки и подолгу смотрели в окно. Проплывали леса, поля, посёлки и деревни, мелькали телеграфные столбы, и провода на них, если не отрывать взгляд, качались то вверх, то вниз. При подъезде к станциям интересно было также следить за рельсами, которые разветвлялись и снова сходились. Несмотря на скудость наличности, родители иногда покупали на станциях ягоды, пирожки, огурцы и вообще что-нибудь вкусненькое. В больших городах поезд стоял подолгу, и мы иногда выходили на перрон подышать. Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Свердловск, Пермь, Киров, Ярославль... На некоторых перегонах ещё не было электрической тяги, и тогда мимо окон пролетали клочья паровозного дыма, а в вагон проникал слабый запах

сгоревшего угля. На подъезде к столице по поезвному радио крутили разные «московские» песни, за окном без промежутков тянулись пригороды, и вот наконец она — Москва!

*Над гастрономом возле трёх вокзалов,
в вечернем небе радугой резвясь,
неоновые буквы вырезала
рекламная затейливая вязь.*

*Уж сколько лет упрямая башка
хранит тот отпечаток старины:
«Блюда из морского гребешка
калорийны и вкусны»...*

Так вот, из Москвы в Касимов вело много путей. Родители с юности привыкли в столицу и обратно курсировать на пароходе, и мы плыли три дня по Москве-реке и по Оке. Это было уже совсем другое путешествие. Мы почти всё время проводили на палубе — гуляли, сидели на скамейках или подолгу стояли, облокотившись на перила, и разглядывали окрестные пейзажи. Проплывали крутые песчаные берега с чёрными точками гнёзд ласточек-береговушек. Широкие поля на берегах сменялись подхлывшими прямо к воде лиственными лесами. Громадами вырастали и снова исчезали, приветственно гудя и шлёпая лопастями колёс, встречные пароходы, пыхтели буксиры с баржами, сновали катера и лодки. Покачивались на волнах белые и красные бакены. Пахло свежестью и особенным речным запахом. На пристанях пароход стоял по нескольку часов, и мы выходили на берег посидеть на травке, а кое-кто из местных жителей успевал прийти и помыться в пароходном душе.

В этом неспешном плаваньи родители могли, наконец, отдохнуть от всяческих житейских забот. Мы вместе во что-то играли, читали книжки, слушали разные истории из их юности и рассказы о родственниках, которых увидим в Касимове. Как-то раз мама даже сочинила стихи про то, как мы ехали на поезде, а я под её последними строками приписал продолжение: «На пароходе ехать лутше потому что там есть палуба...» Это был первый мой опыт в стихосложении.

Но вот однажды, когда мы снова приехали в Москву, возле Казанского вокзала на столбе я увидел расписание автобусов «Москва — Касимов». И предстоящие несколько дней петляния по извивам рек (да ещё столько же при возвращении!) стали казаться потерей драгоценного летнего времени. Автобусная остановка была совсем рядом. Мы с братом отговорили родителей от поездки на речной вокзал, и в тот же день вечером были в Касимове. Отец и мать всё удивлялись: как быстро, оказывается, можно добираться! Но автобус, видимо, стал ходить совсем недавно, иначе бы они про него знали. Мама, правда, не так уж рада была этой поездке. Она всегда трудно переносила любую качку — что в автобусе, что в самолёте. Но выигрыш во времени был всё-таки дороже.

В следующий приезд, года через три, стало ещё проще и удобнее. К Касимову протянули железнодорожную ветку, и мы так же к вечеру, но без всякой тряски, прибыли туда на поезде. Вокзал, правда, построили далековато от города, к тому же на другом берегу Оки, и в город надо было ехать на автобусе через понтонный мост. Но всё-таки это намного приблизило Касимов к цивилизации, ведь зимой река замерзала, и с большими городами он сообщался в это время только по автодорогам, которые были ничем не лучше прочих российских дорог.

Но был и ещё один путь — по воздуху. Его мы испробовали лишь однажды, и уж не помню почему. Может быть, прикинув расходы на трёхдневное плавание по реке и сравнив их со стоимостью двухчасового перелёта, родители тогда нашли более выгодным второй вариант. И даже мама решилась вытерпеть неизбежную болтанку. И вот мы полетели из Касимова в Москву на самолёте, на старом, как говорится, добром «кукурузнике» Ан-2. Сели, конечно, не во Внукове и не в Шереметьеве, а в каком-то Мячкове. Был, оказывается, и такой московский аэропорт, на нём базировалась арктическая авиация. И долго

оттуда добирались до столицы на автобусе. Стоял август, только что приземлился Герман Титов, и все дороги были забиты едущими в Москву энтузиастами, стремившимися увидеть космонавта, когда он будет проезжать в открытой машине по улице Горького.

Дом на площади

Дом в Касимове, где жила бабушка Александра Михайловна, мамина мама, находился на площади Пионеров. Это был просто широкий пустырь, по краям застроенный в основном бревенчатыми избами. Позже я узнал, что на этом месте некогда располагался Никольский монастырь. Бабушкин дом занимал вершину вдававшегося в середину пустыря угла. По «площади» бегали крашенные разноцветной тушью куры, паслись козы, коровы, тут же играли дети. Проезжая часть была вымощена булыжником, но машины ездили очень редко. Здесь поблизости не было даже водопроводной колонки, и за водой приходилось топать метров за двести от дома в дальний переулок.

Наискосок справа от фасада дома, на другой стороне площади, возвышалась оставшаяся от монастыря Никольская церковь с голубой луковкой купола, всегда чисто побеленная. В ней, единственной из десятка городских православных церквей, проводились службы. В этой церкви меня, по настоянию бабушки, сразу же после рождения окрестили — тайно, ведь мама была комсомолкой, а может, уже и состояла в рядах той самой единственной партии. Однажды возле церкви я встретил настоящего попа. Он был в чёрной рясе и скуфье, с длинной бородой, с крестом на груди, будто вышел из кадра какого-нибудь художественного фильма, потому что у себя в Сибири, в нашем социалистическом Ангарске таких персонажей мы видели только в кино. А в самой церкви горели электрические лампочки, чему я немало удивлялся. Электричество — результат научных открытий, а церковь и наука, как я усвоил из книг, понятия несовместимые, поэтому в церкви, по моему глубокому убеждению, должны были гореть свечи, как и в старину. В небольшом церковном дворике белело несколько замшелых покосившихся надгробных камней, но кто лежал под ними, разобрать по полустёршимся надписям на камнях было невозможно.

Напротив фасада дома, метрах в сорока, был край Никольского оврага. Вообще овраги в Касимове древние, глубокие, но город как-то освоил и эти неудобные для строительства элементы ландшафта. По оврагу пролегали тропы и тропинки, а то и проезжие дороги, потому что на склонах и на самом дне оврага тоже стояли дома, в них жили люди, и огороды держали, и сады яблоневые выращивали. Откосы оврага большей частью были густо покрыты зарослями лопухов, крапивы и каких-то кустарников, в которых шла скрытая от человека жизнь птиц, насекомых и бездомных собак.

Бабушкин дом был большой, двухэтажный, с кирпичным первым и бревенчатым вторым этажами. Ах, каким очарованием был он весь пронизан! Едва мы входили в двери с парадного крыльца и начинали подниматься по широкой лестнице на второй этаж, нас встречал запах, издаваемый двумя керосинками, которые располагались на большой лавке у стены, справа от лестницы. Рядом с ними стоял более прогрессивный примус. Здесь же, на лавке, находились кастрюли и миски, а над лавкой на гвоздиках висели половники, скалки, шумовки, дуршлаг и прочая кухонная утварь. Напротив лестницы был чулан, в котором хранился всякий скарб: старые прохудившиеся самовары, утюги, наполнявшиеся горячими углями, лохани, ушаты и тазики, поношенные тулупы и салоны, которые жаль было выбросить, бочонки для засолки капусты, стеклянные банки для солений и варений... чего в нём только не было!

Чулан был без окон, в его сумрачные недра мы заглядывали робко и боязливо. Иногда бабушка, ворча на наши шалости, начинала пугать: «Вот посажу вас в чулан, будете знать...» Хотя так ни разу и не выполнила свою угрозу.

Направо с площадки перед чуланом был ход на терраску, в тёплые ночи я спал здесь на топчане. С терраски можно было попасть во двор, спустившись по узкой лесенке, скрытой внутри пристроенной сбоку дощатой будочки. Со двора вела тропинка в сад, где росли

яблони, малина, смородина, крыжовник. Здесь же были разбиты грядки под разные овощи, а также под клубнику, или викторию, как называла её бабушка. В глубине сада, у стены соседнего дома, стояла огромная деревянная бочка, в которую стекала дождевая вода с крыши. Вода эта шла летом на мытьё полов, стирку, полив грядок. Всё-таки меньше ведер приходилось с колонки таскать.

Налево с парадной лестницы был вход в жилые комнаты. Небольшой коридорчик вёл в зал, занимавший угловую часть дома, в двух его смежных стенах было прорезано несколько окон, выходивших на площадь. В левом дальнем углу висела икона с лампадкой — Николай Угодник. Но я ни разу не видел, чтобы бабушка молилась или просто крестилась на неё. Да и в церковь, до которой было два шага, на моей памяти она не ходила. Веру свою она хранила где-то очень глубоко... Посреди зала стоял большой обеденный стол, вокруг — старинные гнутые стулья. Летом кроме нас, сибиряков — так уважительно называли нас соседи, — в доме по очереди гостили многочисленные родственники. И стол этот был центром бабушкиной вселенной, где, по крайней мере трижды в день, собирались все обитатели дома.

Из коридорчика налево был вход в небольшую комнатку, обычно бабушка сдавала её какому-нибудь одинокому приличному мужчине, который мог по хозяйству помочь. При нас там жил некто Ося — пожилой человек в очках, может быть, бывший учитель или бухгалтер. Он был тихим, никому не мешал, сидел в комнате и занимался какими-то своими делами. Тем более что вся работа по дому доставалась нам: мы с братишкой таскали воду, выливали в овраг помои, а отец колот дрова на зиму, если не все они ещё были Осей расколоты.

Из зала направо можно было войти в спальню, в которой стояла мебель с чудным названием: не диван, не тахта, а — кушетка. С резной фигурной спинкой, на низких кривых ножках, она была моим лежбищем в прохладные ночи, когда на терраску меня не пускали. Ещё там находился старинный комод, этажерка, стулья — всё «дореволюционное», оставшееся от предков. А под потолком висел диковинный стеклянный китайский абажур с нарисованными красочными птицами. Новой мебели не было никакой во всём доме. И делали в старину прочно, и бабушке привычны и дороги были все эти предметы. Впрочем, и не на что ей было бы обновляться, если бы даже захотела. Пенсия была маленькой, а наши родители были не в больших чинах и могли посылать ей лишь сто рублей в месяц — «старыми», или позже десятку «новыми». Столько же посылали и второй бабушке, папиной маме Софье Николаевне, которая жила здесь же, в Касимове, на Комсомольской улице.

Забавное совпадение: площадь Пионеров — и Комсомольская улица. Впрочем, в последнее время делаются попытки вернуть им исторические названия: до революции площадь была Никольской, а улица — Затинной, потом Наставинской.

Пращурь по маминой линии

Раньше второй этаж в доме Александры Михайловны занимали комнаты «господ», а в полуподвальном кирпичном этаже размещалась прислуга. Хотя какие уж там среди наших предков были господа — просто зажиточные мещане. На рубеже XIX и XX веков здесь жил мой двоюродный прадед Василий Иванович Иванов, который приходился бабушке дядей. Сохранилась фотография тех лет, наклеенная на твёрдый картон, где он запечатлён со своей супругой Авдотьей (Евдокией) Александровной. Когда я стал взрослым и начал носить бороду, оказалось, что я очень похож на прадеда, тоже бородатого.

У Авдотьи Александровны первый муж был «миллионер», за ней было взято большое приданое. Может быть, на приданое Василий Иванович и построил этот большой дом. По рассказам мамы, во дворе была и конюшня, и коровник, и большие «сушила» для сена.

Василий Иванович был капитаном парохода, совершавшего рейсы по Оке до Коломны и Нижнего Новгорода, а может, и дальше, по Волге. Потом на берегу он стал старостой Никольской церкви. Василий Иванович был грамотным, интересующимся человеком, ста-

рался жить в ногу со временем. После него в доме осталось много предметов сравнительно роскошной старины: серебряные ложечки, часы с боем «Павель Буре», барометр, подшивки очень популярного в девятнадцатом веке журнала «Нива» за несколько лет и вся та мебель, о которой я упомянул раньше. В зале, прямо напротив обеденного стола, висело огромное зеркало, в котором отражались наши с братишкой гримасы, когда нас заставляли есть разные супы и каши, а нам хотелось варенья и ягодного желе.

У Василия Ивановича и Авдотьи Александровны жила домработница Домна Борисовна Махова, по мужу — Соловьёва. В начале 1920-х годов её сыну Петру, жившему вместе с ней, сосватали мою бабушку Александру Михайловну Нивину, племянницу Василия Ивановича, которую привезли из старинного городка Меленки соседней Владимирской губернии, за пятьдесят вёрст от Касимова. Пётр с Александрой и рождавшимися детьми (две дочери и сын) со временем стали жить в задней половине дома. А поскольку Ивановы умерли бездетными, Пётр Сергеевич и Александра Михайловна в 1930-х годах унаследовали весь дом.

При Советах для содержания этого терема Василию Ивановичу пришлось платить большие налоги, поэтому полуподвал, где раньше жила прислуга, сдавали квартирантам. Позже и заднюю половину вынужденно уступили (а не продали, конечно) какой-то крестьянской семье. При нас там жили некто Оськины.

У соседей со второго этажа был отдельный вход, между дворами стоял забор, поэтому что там делалось, мы и не интересовались. Только по маминым рассказам знали, что там раньше были спальни, комнаты для гостей, кухня. А у нижних жильцов был общий с бабушкой двор. С их сыном Витькой, моим ровесником, мы играли и ходили купаться на Оку. Квартира в полуподвале летом всегда была прохладной, немного сумеречной, а вровень с нижним обрезом окон росла трава палисадника. А летом Витька спал на тех самых «сушилах», хотя сена там уже не было.

У Александры Михайловны было ещё три сестры, оставшиеся жить в Меленках, но они так и не вышли замуж. Сначала приданого хватило в семействе только на одну сестру, потом старшая сознательно ради бабушки перестала копить себе на приданое и помогала ей, чем было можно. Ну а две младших как-то так и привыкли жить поодиночке. Когда по новому коммунистическому укладу, постепенно входившему в обиход, женихи (а больше их матери) перестали требовать приданое, замуж идти было уже поздно. Кроме сестёр, было ещё четыре брата. Вообще семьи в те времена у всех были большие, детей рождалось много — всё регулировалось только природой.

Когда родилась моя мама, поп хотел наречь её Клеопатрой, это имя — единственное в святцах для первого ноября. Но бабушке оно не понравилось, и она назвала дочь Лидией. Мама, рассказывая об этом, шутила: «Ну и как бы меня звали маленькую? Клёра, что ли?»

Дед Пётр Сергеевич, мамин отец, в двадцатые годы служил в ГПУ. Тогда эта контора не была ещё страшной машиной по истреблению «классовых врагов», хотя репрессиями нетрудового народа, конечно, занималась. Но по причине склонности к выпивке деду пришлось отсюда уйти, и он служил в каких-то советских уч-реж-дениях (надо же было выдумать такое корявое слово!). Жалованье, конечно, было уже не то, и он приспособился ремонтировать самовары, которые тогда были в каждой семье, как у нас нынче чайники. По вечерам он лудил и паял, а мастер был хороший, и заказчики шли постоянно. На этот дополнительный заработок покупались конфеты детям, какие-то подарки жене, а иногда и бутылочка для себя.

За полтора месяца до начала войны Пётр Сергеевич умер, и бабушке в самое тяжёлое время пришлось одной поднимать троих ребятишек. Пока муж был жив, она была домохозяйкой, а теперь пришлось устроиться на работу. Ей повезло, и она попала на пищекомбинат, занималась выпечкой пряников и производством лапши. Это помогло выжить в самое голодное время: с завода иногда удавалось вынести какие-нибудь обрезки, краюхи, пригоревшие кусочки. Про второе замужество она и не думала, да и кто бы взял её в военную пору с тремя детьми? А к концу войны старшая дочь уже вышла в люди, младшая (моя мама) заканчивала учёбу на учительских курсах, и лишь сын ещё в школу ходил.

Бабушка часто говорила непонятные нам слова, хотя почти всегда можно было догадаться, что они означают. «Где это вы два часа шемонялись?», «Опять весь день в речке чухахтались?», «Куда-то веник я запсотила», «Вот вам ёдово с собой на речку»... Мама называла их «бабушкины слова». Звучат они с несомненной русскостью и очень выразительны. Многие из тех слов я нашёл потом в словаре Даля, они были в ходу в провинциальной Европейской России. Может, и сейчас употребляются.

Пращуры со стороны отца

Как всё-таки мало знаем мы про жизнь своих предков! Вот мама любила рассказывать о бабушке, о других родичах, и по ходу её рассказов и я что-то расспрашивал о прежней жизни, узнавал о разных любопытных случаях, из которых и складываются семейные предания, хотя так и не запомнил всех наших многочисленных родственников, и кто кому кем приходится. А отец был скуп на разговоры, и о его матери Софье Николаевне, моей второй бабушке, я не знаю почти ничего. Приезжая на лето в Касимов, мы жили в большом доме на площади Пионеров, а к папиной маме, у которой дом был совсем маленький, навещались только в гости. Лишь отец почти каждый день с раннего утра уходил к ней и что-то там приколачивал, подслушивал, поправлял — работа всегда находилась. Живший с бабушкой брат её, глуховатый с рождения дядя Ваня мало чем мог подсказать ей в хозяйстве. А деды наши померли, не дождавшись внуков.

Софья Николаевна в один из наших приездов пробовала настоять, чтобы мы хотя бы раз остановились у неё. Едва мы сошли с машины, доставившей нас с пристани (отец ловил для этого какой-нибудь грузовичок), она наотрез отказалась заходить в дом Александры Михайловны, взяла один из чемоданов и понесла в сторону своего дома. Дошло чуть не до слёз. Кое-как убедили её, что все мы там не сможем поместиться, а вот приходить будем каждый день. И конечно, не приходили, кроме отца.

В том маленьком домике, где было всего две комнаты и кухня, выросло тоже трое детей, отец был старшим. Виктор Петрович, мой второй дед, рано умер, и я даже не видел его фотографии. Кто он был, откуда, чем занимался — ничего не известно. Да и о других членах нашего рода я знаю очень мало. Надо было много и настойчиво спрашивать, записывать рассказы на магнитофон и потом в тетрадь. Но всё были какие-то другие заботы, всё не было времени подумать об этом.

Родословное древо

Однажды в отпуске я наконец сделал то, что давно хотел: несколько вечеров расспрашивая родителей, нарисовал родословное древо наше, и тут уж они сами увлеклись воспоминаниями, а я слушал и дорисовывал. Обычно мы знаем что-то о своих бабках и дедах, редко — о «пра-», а дальше всё теряется, как говорится, во тьме веков. Вот и я проследил ствол нашего древа лишь до пятого колена от себя, да и то в этом колене известны, кроме фамилий, только имена моих прапрадедов, установленные по отчествам их детей. Оказалось, что, несмотря на многовековое соседство с татарами, в родове у нас одни русские фамилии. Один прапрадед с маминой стороны — Иван Иванов, второй — Василий Нивин, третий — Василий Соловьёв, четвёртый — Борис Махов. С отцовской стороны известны два прапрадеда: один — Курбатов, второй — Илья Дмитриевский. Именно в таком написании эту фамилию носил отец в молодости. Но как-то при смене паспортов ему (а заодно и маме) по ошибке добавили ещё одну букву «и», и все мы, их потомки, теперь Дмитриевские. Впрочем, мама всю жизнь подписывалась «ЛДмитревская», хотя это и не соответствовало паспорту.

Побродив в Интернете, я нашёл, что фамилия «Дмитревский» происходит от города Дмитров под Москвой. А вот «ДмитрИевский» образована от имени «Дмитрий», а окон-

чание *-ский* указывает на принадлежность к дворянскому роду. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что эта фамилия более польская, чем русская. Конечно, можно засесть в архивы, поискать корни свои поглубже. Наверное, что-нибудь отыщется. Но архивы эти остались далеко за Уралом, а связи с родственниками, оставшимися там, практически прервались.

В восьмидесятые годы, приехав в одну из командировок в Москву и гуляя по набережной Москвы-реки недалеко от Кремля, я наткнулся на улицу Дмитриевского. Кто это был, я не знал, но подумал, что он, возможно, мой родственник или предок. Я очень гордился, что в самой Москве есть улица, названная по моей фамилии, и в шутку, бывало, хвастал этим перед друзьями. Недавно, когда снова довелось побывать в Москве, я отправился навестить эту улицу, но не нашёл её, хотя место хорошо запомнил. Приехав домой, из Интернета узнал, что не так давно улице вернули её прежнее название: Первый Зачатьевский переулок. А была она переименована в честь Бориса Дмитриевского — танкиста, Героя Советского Союза, ровесника моего отца, но он нам не родственник. Погиб в марте 1945-го в Германии. Его имя присвоено другой улице, где-то на восточной окраине Москвы.

Касимовское лето

Каждый день в Касимове начинался для нас ожиданием всяких радостных событий. Если с утра было солнечно, значит, наверняка после обеда мы пойдём на Оку, на тот берег, через понтонный мост. И если повезёт, прокатимся на разводной части моста, когда мимо города будет плыть пароход. Там, посередине моста, есть небольшая дощатая будочка, в ней дежурят мотористы. Приближаясь к мосту, пароход ещё издалека громко гудит, тогда мотористы заводят движок, и среднее звено моста, как стрелка на часах, отходит в сторону, открывая чистую воду. Потом «стрелка» возвращается обратно, и снова по мосту идут люди, тащат телеги лошади, едут автомобили, а мост плавно качается то на волнах от парохода, то от тяжести проезжающих машин.

За мостом иди в любую сторону, куда захочешь. Направо, вверх по реке, пройдя с километр, попадаешь на песчаный пляж. У берега там мелко, и мы вволю плескались, ловили ракушек, не спеша бороздивших дно, играли с мячом, учились плавать на спасательном круге или просто лежали на песочке, грелись на солнышке и слушали музыку. Тогда входило в моду носить с собой транзисторные приёмники, и, покрутив настройку, можно было поймать магнитофонные записи, которые местные радиолюбители-самоучки передавали «для любимой девушки» или «для друзей». Конечно, это было рискованно: «компетентные органы» могли засечь передачу и применить свои меры воздействия — наложить штраф или вообще аппаратуру конфисковать. Но тогда, в середине шестидесятых, в Касимове их не очень-то боялись, и в эфире было несколько таких рискованных «операторов».

На пляже однажды случилась у нас беда: ветер, дувший в сторону противоположного берега, угнал большой, только недавно купленный, лёгкий надувной мяч. Отец поплыл за ним вдогонку, но ветер был сильный, и мяч уносило всё дальше. И мама, и мы с братом с тревогой следили за ними обоими, а мяч и темноволосая голова отца постепенно превращались в едва различимые точки, ведь ширина Оки у Касимова несколько сотен метров. Да ещё волнение от ветра поднялось, и точки эти иногда скрывались за пенистыми гребнями. Когда отец преодолел уже середину реки, появился спасательный катер. Отца доставили на тот берег, и встретились мы только дома. Он рассказал, что его хотели оштрафовать за то, что поплыл поперёк фарватера и мог попасть под пароход, а лишних проблем капитану, да и спасателям, вовсе не надо. Но он объяснил им, что это не из хулиганства, а просто нужно было мяч догнать. Тогда они выловили и мяч тоже, а штраф брать не стали. Мы всё спрашивали: «Папа, а ты не устал? А утонуть не боялся?» Он только усмехался: «Я в молодости туда и обратно Оку мог переплыть».

Налево от моста обычно ходили на рыбалку. Для этого приходилось вставать часа в четыре утра, надевать кому старый «кожан» дяди Жени — мамино брата, лётчика, кому телогрейку какую-нибудь и, ёжась на утреннем холодке, идти по сонному безлюдному горо-

ду к мосту, на котором не было ещё никого, кроме мотористов в будочке да редких таких же ранних рыбачков. Ловилось обычно так себе, но штук пять-шесть пескариков и плотвичек всё же попадалось, и такое было удовольствие съесть их, зажаренных, во время завтрака.

Если идти за мостом прямо по дороге, слева скоро открывалась большая дубовая роща. Дубы как на подбор были могучие, высокие, и мы с удивлением (таких деревьев в Сибири не было) смотрели на большие резные листья, на кряжистые стволы, на жёлуди, ими набивали карманы и мастерили при помощи втыкавшихся в них спичек фигурки человечков и зверей. А тропинка направо вела к Троицкому озеру, где иногда мы тоже купались.

Большая река — как много она значит для маленького города! Без неё Касимов, наверное, многое потерял бы в своём очаровании. С пристани или с берега мы наблюдали довольно оживлённую речную жизнь. Постоянно бегали туда-сюда маленькие катера, из которых самыми заметными были «Бурлачок» и «Вихрь». Родители говорили, что «Бурлачок» — старый, заслуженный катер, который ещё до войны тут плавал, когда они были маленькими. По реке шли мимо города буксиры с баржами, а пароходы подолгу стояли у пристани. «Леонид Собинов», «Власть Советов», «Матрос Вакуленчук», «Сакко и Ванцетти», «Максим Горький»... На пристани говорили: «Пароход снизу пришёл», «Мы вверх уезжаем». Я спрашивал маму: «Что это значит?» Оказалось, это — по отношению к течению реки. Город Горький, где я появился на свет, находился внизу по течению от Касимова, и я уточнял: «Значит, я внизу родился?»

В середине шестидесятых по Оке стала ходить «Ракета», и к вечеру, перед её прибытием, возле пристани собирался народ — поглядеть, как быстро и красиво она почти что летит над водой, как разворачивается и причаливает. На пассажиров, сошедших с «Ракеты», мы смотрели как на космонавтов.

Часто с утра бабушка посылала маму на базар. В семье у нас никогда не говорили «на рынок», но всегда — «на базар». Это слово — персидское, от них оно перешло к татарам, а от татар — к русским. Ходить туда нам тоже было интересно. Там покупали помидоры (на бабушкином огороде их не было, ей уже трудно было за ними ухаживать), лесные ягоды: земляника, черника, ежевика, иногда сушёные белые грибы для супчика, ну и, конечно, мясо да рыба. А мы всегда могли рассчитывать на семечки или мороженое.

Иногда, в погожий день, вместе с родителями мы шли в лес за грибами. Касимов — городок небольшой, мы его пересекали минут за пятнадцать — двадцать, уходя в противоположную от реки сторону. Лес был немного не такой, как у нас в Сибири, хотя росли в нём и сосны, и ёлки, и берёзы. А вот кедров не было, зато встречались ясени, клёны, те же дубы, разные лиственные кустарники, а на лещине можно было нарвать орехов. Грибы попадались разные: сыроежки, подосиновики, подберёзовики, грузди, волнушки... Мы с удовольствием аукались, радовались, находя в зарослях под деревьями грибные семейки, а иногда натыкались на небольшие полянки костяники или ежевики. Дома нас встречала бабушка и хвалила за то, что мы такие добычливые.

Переезд в Ангарск

Отец девятнадцати лет ушёл на фронт, в сорок первом году успел повоевать артиллерийским разведчиком под Киевом, пока не попал в плен. На мои вопросы — как да что было? — отвечал неохотно: шли маршем куда-то вдоль полей, вдруг появились немцы и сразу окружили — никто ничего и понять не успел.

*А у отца для доблести —
за Родину, за Сталина! —
винтовочка от Мосина
и девятнадцать лет.
Не застрелиться из неё
(что было бы похвально),
и рота не обучена,
да и патронов нет...*

Попал он не в лагерь, а в работники к какому-то бюргеру в маленьком городке, название которого я не запомнил. Оказывается, и такое бывало, и в этом ему повезло, конечно. Хозяин, по его словам, обращался с ним сносно. Бежать оттуда не было смысла: как в одиночку пробраться через немецкий тыл к фронту, находившемуся за сотни километров? Плен кончился, когда пришли наши. Вопреки сложившимся представлениям о том, что побывавшие в плену непременно отправлялись в лагерь как изменники, контрразведчики не применили к отцу никаких репрессий, и он ещё успел послужить в оккупационных войсках. Позже, к двадцатилетию Победы, он даже получил медаль «За оборону Киева», но никогда не надевал её. А вот орден Отечественной войны, когда к какому-то очередному юбилею Победы им награждали всех воевавших, ему не дали именно из-за плена, и это его очень обидело.

Мама с детства мечтала стать учительницей. После школы, когда уже шла война, она окончила какие-то педагогические курсы и работала в начальных классах, а после войны поступила в пединститут в Горьком. Там во время учёбы она и познакомилась с моим отцом. Причём дружила сначала с его младшим братом Леонидом, которого знала со школьных лет. Тот пришёл с фронта старшим сержантом, с орденом и медалями, и был, конечно, очень привлекателен. Отец в то время ещё служил в Германии. Леонид иногда приезжал к маме, привозил какие-то гостинцы из дому. Но однажды он попросил зайти к ней вернувшегося наконец старшего брата, у которого были какие-то свои дела в Горьком. Вечером в комнату, которую снимала мама, постучали. Открыв дверь, в полутьме она увидела очень похожего на Леонида молодого человека. «Лёля?..» — с сомнением спросила она. «Я Виктор, Лёлин брат». Эта встреча переменяла всю их жизнь.

А Леонид потом женился на другой, но в начале пятидесятых умер от рака совсем молодым.

Возвратившись из Германии, отец поступил в Касимовский индустриальный техникум и окончил его с красным дипломом. На распределении ему предлагали несколько крупных городов, но он выбрал совсем неизвестный тогда Ангарск. Года за полтора до этого они с мамой «расписались» и, конечно, поехали вместе. Среди прочего багажа у них была большая плетёная корзина, в которую положили меня, четырёхмесячного. Спустя много лет мама вспоминала: «Какая же я была дурочка — с тобой, маленьким, помчалась куда-то в Сибирь, в холода, в неизвестность. Где там жить, как тебя нянчить, будет ли работа — ни о чём не думала, лишь бы вместе с Виктором быть». В поезде меня почему-то положили на верхнюю полку к отцу, и однажды ночью я как-то перевалился через него и грохнулся на пол. Но всё, кажется, обошлось, по крайней мере, от меня не отдаёт водкою, как от незабвенного персонажа «Ревизора»...

Из Касимова была привезена перина, на которой в детстве спал я, а потом младший братишка. Также были взяты в Сибирь — наверное, по настоянию бабушек — железная чёрная ванна для купания и стирки и утюг, в который нужно было насыпать жар из печки. Ванна пригодилась, в ней купали меня и братишку, потом замачивали бельё, она и маму пережила, а вот утюг так и пролежал в кладовках. В качестве оберега бабушка Александра Михайловна дала маме небольшую иконку. До сих пор цело у нас старинное настенное зеркало в деревянной оправе, изображающей оплетающую стекло виноградную лозу. Кроме того, сохранились щипчики для сахара (пилёный рафинад был в то время большой редкостью), серебряная чайная ложечка и большая, тоже серебряная, суповая ложка, у которой один край заметно сточен о доньшки тарелок — такая она древняя. Этими ложками я пользуюсь и сейчас. Где-то лежат несколько потрескавшихся фарфоровых тарелок, по дну одной из них идёт большая надпись: «1883 года». Позже двоюродная сестра, унаследовавшая касимовский дом, передала мне и брату две годовых, переплетённых в книги, подшивки журнала «Нива» за 1880-е годы.

Восьмой район

Несколько недель после приезда родители прожили в только что построенном двухэтажном городском доме, в комнате, куда вместе с ними поселили (так же временно) ещё три пары. Отец рассказывал: «В каждом углу стояло по кровати, а мы же все молодые, всем хочется. Как-то ухитрились...» Потом им дали квартиру в барачном посёлке (13-м районе) за городом, возле стройки, где работал отец, — без удобств, но отдельную.

Вскоре мы перебрались на километр ближе к городу: маму назначили завучем школы в другом пригородном посёлке (8-м районе) и предоставили квартиру, которая располагалась прямо в школьном здании. Оно было типовым, но широкое парадное крыльцо школы украшали стоявшие по бокам два больших, по метру с лишним в диаметре, бетонных шара. Поблизости обосновался тогда цыганский табор, и однажды вечером за окном раздался стук копыт, и к нам постучали. Отец открыл дверь и вышел на крыльцо. Цыган, держа коня в поводу, что-то сказал отцу. Мама немного испугалась, но отец вернулся в дом, налил в кружку воды и вынес её на улицу. Оказалось, цыган просто попросил воды напиться.

Про детские сады тогда и речи быть не могло — их просто не было в этих поселениях. Зато «исправительно-трудовые» лагеря окружали весь город, он строился при активном участии их обитателей. Для присмотра за мной наняли недавно освободившуюся женщину лет тридцати, которая осталась дожидаться окончания срока своего дружка. Жила Анна с нами, стирала и готовила, целый день была со мной дома, а гулять мы ходили ближе к вечеру, когда зэки с работы возвращались обратно на зону. Шли они длинной колонной, медленно, по бокам шагали конвоиры, люди говорили между собой: «Заключённые идут». Здесь Анна могла увидеть своего ненаглядного и даже сказать ему пару слов. За что она отсидела, не знаю, но из дома, пока Анна жила у нас, ничего не пропало, а мама оставляла ей деньги на продукты и наказывала, что нужно купить. Когда дружок вышел на свободу, Анна от нас ушла. Теперь я оставался дома один, и когда что-то было нужно, стучал в стенку. За стенкой была учительская, и если мама была там, она прибегала домой, разрешала все мои проблемы и снова уходила на работу.

В школе мама преподавала русский язык и литературу. Чтобы я не докучал ей своими частыми стуками в стенку, она несколько раз брала меня с собой на уроки, сажала куда-то на задние ряды, и я с любопытством наблюдал жизнь класса. Бывая в школе, я стал узнавать буквы. Мама показывала на таблички с надписями «Директор», «Учительская» и говорила: вот это буква «т», она похожа на молоточек, а буква «о» — это кружочек. А если кружочек сломался, это буква «с». А сломанный молоточек — буква «г»... Таким образом я выучил все буквы и ещё в пятилетнем возрасте стал довольно бегло читать, чему немало удивлялись потом воспитательницы в детском саду.

Позже, в первых классах школы, этот факт охотно использовали в своих благих целях учителя: если почему-либо не мог состояться какой-то урок, в библиотеке брали книжку и сажали меня за учительский стол, чтобы я читал всему классу вслух, — всё-таки полезней, чем слоняться вокруг школы или без дела сидеть за партами и ждать следующего урока.

После ухода от нас Анны я гулял самостоятельно — обычно здесь же, возле школы. Из ближних окрестностей сюда приходили играть другие ребята: вокруг школы места много, не то что возле барачных, где они жили, — и я с ними познакомился. Они приводили с собой собаку Жульку, мы вместе играли в какие-то игры, а однажды долго строили «балаган» — хлипкое сооружение из толя, дранки и фанеры. На переменках из школы выходили проветриться ученики. Девчонки обычно прыгали через скакалку или играли в «догоняшки», а пацаны уходили на задний двор школы и там резались в «пристенок», били «зоску», а иногда и покуривали.

Когда мне было почти два года, появился на свет мой младший братишка, но я плохо помню, когда стал замечать его. Осталось только какое-то смутное воспоминание, что он почему-то любил пиво, видно, отец как-то дал ему попробовать. И Юрка, увидев, что папа пьёт пиво, всегда пищал: «Пия! Пия!» Когда он подрост, я принял его существование как данность, тем более что вдвоём играть было веселее.

Большим праздником для нас были редкие поездки в строившийся неподалёку Соцгород. Этим словом, в отличие от располагавшихся вокруг него посёлков и «районов», назывался собственно Ангарск, возводившийся по генеральному плану, со всеми атрибутами настоящего города: проспектами, парками, кинотеатрами, дворцами. Главным событием было посещение «Детского мира» на центральной площади, где можно было приглядеть какую-нибудь хорошую игрушку. Про наш первый заход сюда много позже мама рассказывала нам: «Зашли в магазин, и я не знала, куда деваться от стыда, — вы оба заверещали: ой, мама, а это купи, а вон то купи!» Кроме того, в городе мы могли увидеть много высоких и красивых зданий, грузовых и легковых машин, а ещё колонны марширующих солдат — мы не знали тогда, что это были просто стройбатовцы. Но какой восторг вызывало у нас их умение идти в ногу! Позже, уже живя в городе, мы с пацанами всегда одолевали этих солдатиков просьбами: «Дядя, подари звёздочку».

В нашем восьмом районе, как и в других подобных поселениях вокруг Соцгорода, стояли в основном дома барачного типа и круглые деревянные юрты — очень популярный вид строений в тогдашнем Ангарске. Каменных домов было немного: школа, магазин, дом культуры «Строитель», куда родители брали нас иногда с собой на концерты. С жильём нам, конечно, повезло, потому что мамы подруги-учительницы жили в юртах и бараках. Когда в школу прислали нового директора, жить ему с семьёй было почему-то негде. Может, не нашлось такой же благоустроенной квартиры, а в юрту он заселяться не захотел. И он просто попросился к нам — в квартире у нас было две комнаты, и мама уступила ему одну из них. Без всяких претензий, без затаённой обиды — для людей того поколения это было в порядке вещей. А директор, Михаил Александрович, имел семью немаленькую: он сам с женой и дочкой да его родители. И все они уместились в одной комнате, так что мы ещё шикарно жили. Директор часто по вечерам заходил к маме — обсудить школьные дела, а иногда они с отцом играли в шахматы. Потом мы вместе переехали в город и жили по соседству в одном квартале.

Даже после нашего переезда в город мы с братом не сразу попали в детский сад — не было мест. Кроме эков, на строительстве города трудилась в основном молодёжь, детей рождалось много, но в первую очередь возводились промышленные объекты, а соцкультбыт оставляли на потом. Поэтому нам сначала нашли няньку, какую-то тётю Дусю, но она пробыла у нас недолго. После неё в няньки взяли бабушку-немку — во время войны много этнических немцев было выслано с Поволжья в Сибирь. По-русски она говорила с сильным акцентом. Родни у неё не было, жила она с нами в одной квартире, но так же, как и Анна, ни на что хозяйское ни разу глаз не положила и была, в общем, членом семьи. Правда, как её звали, не помню. Сохранилось в памяти, что, когда у нас появлялись дырки на одежде от возни на полу, она говорила: «Рвано-драно» и садилась штопать и класть заплаты. А ещё она умела готовить упоительно вкусное, по нашим понятиям, немецкое блюдо, которое называла «шнайдерлапа» — насколько помню, это были небольшие лепёшки, сваренные в сладком бульоне.

Уже став взрослым, я временами навещал наш 8-й район, стоял на крыльце нашей квартиры в бывшей школе и вспоминал, как всё было тогда. В последний раз приезжал туда совсем недавно. Школа до сих пор на месте, только превратили её то ли в цех, то ли в мастерские, пристроили сбоку какие-то уродливые сооружения типа складов, а территорию огородили. Поскольку был выходной, начальства не было, и мы с женой никак не смогли уговорить сторожиху пропустить нас к школе хотя бы на пять минут. А вот здание клуба «Строитель» до сих пор сохранилось в первозданном виде, и даже название на фасаде осталось, хотя клуб давно уже закрыт.

Отец

Отец был мастер на все руки, по дому всегда всё делал сам: любой ремонт водопровода и электроприборов, побелку и покраску, подшивал валенки, для чего сам сплетал из

ниток дратву, прибавал на «лапе» подмётки, шил на машинке, варил холодец... Во дворе школы, рядом с нашим крыльцом, он вскопал землю, и мы сажали там картошку. Из фанеры и досок он сделал для меня две машины — грузовую и легковую, в которые я мог садиться и воображать себя шофёром. Для дома он сам изготовил разную мебель: табуретки, столы, стулья. Не знаю, где и когда он успел всему научиться, но за что бы он ни брался, всё у него получалось.

Сначала отец занимался монтажом разного оборудования на строящемся нефтехимическом комбинате. Потом, когда мы уже перебрались в город, несколько лет был прорабом на строительстве военного аэродрома в Тайтурске. В среду и в субботу по вечерам он приезжал из Усолья, а воскресенье целиком проводил дома. Всю неделю мы с братом скучали без него, и в выходной день постоянно крутились рядом с ним. Отец успевал много чего сделать по дому, а после всех дел шёл с нами гулять. Любимым нашим занятием было катание на трамвае, хотя до ближайшей остановки надо было идти через полгорода, к кино-театру «Победа». В то время было всего два маршрута: ФЗО — Майск и ФЗО — ТЭЦ. Мы садились в первый подошедший трамвай и ехали до конечной и обратно, не отрываясь от окон. Отец называл всё, что встречалось на пути: автобусный гараж, водонапорная башня, Московский тракт. А когда проезжали по виадуксу через железную дорогу, показывал вниз на рельсы и говорил: «Вот по этой дороге мы ездили к бабушке».

В молодости отец нарисовал простым карандашом мамин портрет на листе размером примерно в осьмушку ватмана. Она изображена вполоборота со спины, повернув лицо в профиль и смотрит куда-то немного вверх. Длинные, чуть вьющиеся волосы рассыпаны по спине и плечам, взгляд весёлый, на губах лёгкая улыбка. Отец не был художником, но постарался сделать и тени, и разные штриховки-растущёвки. Конечно, заметны некоторое несоответствие пропорций, неправильность линий лица, но мама получилась очень похожей. Рисунок этот я нашёл после смерти отца, в его большом чёрном дерматиновом портфеле среди бумаг. Мама про него почти забыла, и когда увидела, очень обрадовалась. И я повесил портрет в её комнате... Конечно, он мог попросить у мамы её фотографию. Но отцу хотелось самому отобразить на бумаге каждую мамину ресничку, уловить и передать её настроение в повороте головы, в улыбке, во взгляде. И это ему удалось, несмотря на недостатки рисунка.

В портфеле был и диплом с отличием, и ведомость экзаменов по всем предметам. Как-то в детстве мы все вместе рассматривали и мамин, и папин дипломы, и отец в шутку прихвастывал: «Вот у мамы, смотрите: «четыре», «четыре», «три», «три», «четыре», ну, «пять» тоже попадается. А у меня: «пять»-«пять»-«пять»-«пять»-«пять»-«пять»...» Было, правда, между этими дипломами и другое отличие: у отца — техникум в заштатном Касимове, у мамы — институт в одном из крупнейших советских городов — Горьком. Но отец со временем стал знать и уметь намного больше, чем дал ему техникум, и работал на инженерских должностях. А мама, несмотря на свои «тройки»-«четвёрки», стала завучем школы, ещё не достигнув тридцати. Свою работу она очень любила, но, когда ей несколько раз предлагали стать директором, всегда отказывалась: это, значит, выбивай деньги на ремонт, разбирайся с техниками, сторожами, школьным буфетом и выполняй ещё много разных хозяйственных дел. А ей хотелось заниматься только учительским трудом.

Без партбилета

Однажды руководство решило, что из прорабов отец уже вырос, и назначило его начальником одного из отделов, переводя снова в город, в управление. И тут начинается грустная страница в нашей жизни. Как и многие русские мужчины, отец полюбил по выходным расслабляться с бутылочкой. Мама сердилась, но он уговаривал её, что это же чуть-чуть, для поднятия настроения, для успокоения нервов — работа-то ответственная, напряжённая. И на обеденном столе иногда появлялась «чекушечка». Мы спрашивали: что это? Он говорил — лекарство. Но какое же лекарство, когда на этикетке написано «Водка»?

Было неловко, что он говорил неправду. Отец выпивал немного, отправлялся полежать на диване, а к вечеру снова занимался домашними делами. Но привычка усиливалась, и вот он уже стал навеселе приходить с работы, и никакие мамины укоры не действовали.

Накануне моего поступления в первый класс мы жили ожиданием очередной поездки в Касимов. Уже были куплены билеты на поезд, начинались паковать чемоданы. И вдруг мама сказала, что мы никуда не поедем, потому что папу не отпускают с работы. Мы огорчились, конечно, но лето есть лето — у нас и во дворе было чем заняться, и целыми днями мы пропадали там с друзьями, забегая домой только поесть. Конечно, мы заметили, что папа несколько месяцев не появлялся дома, что мама иногда куда-то уезжала на целый день. Но на все вопросы получали от неё убедительные объяснения: папа уехал в командировку, а сама она была в Иркутске по школьным делам. Как ей удалось от нас скрыть все эти печальные события, как мы не могли ничего особенного заметить? Обо всём мы узнали через много лет, когда выросли. Отец под хмельком подписывал какие-то липовые документы, и когда всё обнаружилось, его арестовали и увезли в иркутскую тюрьму, потом был суд, приговорили — «пять лет условно», исключили из партии, сняли с должности...

С этого времени началась у него совсем другая жизнь. Да и у нас тоже. Человек, лишённый партбилета, терял все надежды на дальнейшее развитие карьеры. Тем более что у отца был только техникум, хотя по знаниям и практическому опыту он превосходил многих инженеров. Занимая какие-то рядовые должности, он часто подавал рацпредложения, дома с увлечением каждый вечер что-то мастерил, но тяга к рюмочке постоянно сбивала его с нормальной жизни. Да он не особенно и боролся с этой привычкой. Алкоголизм — это болезнь, но надёжно излечить от неё не умеют и сегодня. А кроме того, может быть, он заглушал таким образом чувство собственной ущербности, тоску по несбывшимся планам. А может, добавлялись к ним ещё и воспоминания об унижениях плена, о том, что он вернулся домой без наград, в то время как другие фронтовики с гордостью носили свои «иконостасы», и вручённая через двадцать лет медаль очень уж опоздала...

Всё чаще он стал поздно приходить домой. Долго скрёб ключом, стараясь попасть в щель замка, что-то ворчал в темноте, потом, войдя, тихо шмыгал в свою комнату, ложился на диван, откинув валик, и засыпал тяжёлым сном, отравляя всю квартиру перегаром. Мама встречала его строгими выговорами, он всегда виновато отвечал и обещал «завязать», но через пару дней всё повторялось. Она несколько раз устраивала его лечиться, но, пройдя курс и потерпев с полгода, он опять срывался. Однажды я сгорал от стыда перед сбежавшими со всего квартала мальчишками, которые сначала сообщили, что «там твой папа на траве пьяный лежит», а потом тащили его на своих плечах до нашей квартиры, потому что сам он только перебирал ногами, но держаться на них не мог.

Несмотря на должность завуча и вечное сидение вечерами за проверкой тетрадей, мама получала за свою работу небольшие деньги, и когда отец стал пропивать зарплату, нам стало совсем туго. Одноклассники ходили в новых костюмах и полупальто-«москвичках», заимели магнитофоны, у них всегда были карманные деньги на кино, газировку и мороженое, а мне перелицовывали старые папины пальто, на голове была давно вышедшая из моды кожаная ушанка, а в школу я ходил с купленной ещё в первых классах полевой сумкой. Я понимал, что выгляжу как-то старомодно, но знал также и то, что денег на моё преобразование у нас нет. А девочка, которая мне нравилась ещё с шестого класса, при встрече со мной в школе делала какую-то презрительную гримаску, и я в полной мере чувствовал себя гадким утёнком. Хотя друзья у меня всегда были, и они не обращали внимания на то, в чём я хожу.

Чтобы у нас с братишкой была возможность иногда покупать что-нибудь вкусненькое, мама откладывала самую мелкую сдачу (копейки) в небольшой латунный стаканчик, стоявший у неё в тумбочке письменного стола. Это у нас так и называлось — «копеечки». Когда набирался почти полный стаканчик, мы опустошали его, обменивали в банке или сберкассе монетки на рублики и тратили, на что хотели.

Но никогда мама нам на отца не жаловалась. Конечно, мы слышали, как она ругала его, когда он приходил после получки пьяным и приносил домой какие-то крохи. И

всё-таки ни разу не сказала что-нибудь вроде: «Папаня ваш всё пропил, негодяй, так что никакого мороженого вам не будет». Наоборот, хотя мы и видели, что папа делает плохо, но иногда даже жалели его, когда ему от мамы доставалось. Да он и сам всё понимал и никогда не скандалил, что-то несвязно возражал, пока не уходил на свой диван. И даже будучи пьяным, отец никогда не ругался и тем более «не выражался». Самое грубое слово, которое от него довелось услышать, мне по секрету поведал братишка: «Папа вчера, когда умылся, сказал: “Ух ты, сука, не то полотенце взял...”».

С какой-то естественной мудростью мама своим отношением к пьющему мужу сохранила в нас если не горячую сыновнюю любовь к отцу, то теплоту воспоминаний. Много позже она рассказала мне, что не хотела, чтобы получилось так, как у её лучшей подруги, тоже учительницы. Впрочем, я и сам видел, как у них получилось, ведь мы дружили семьями и часто даже Новый год встречали вместе. У той тоже муж выпивал, и нервные разборки постепенно стали заканчиваться придумыванием обидных прозвищ, при этом в союзники с каждой стороны призывались их дети, брат и сестра — наши сверстники и друзья. Они взяли сторону матери и со временем, по её примеру, между собой и даже при нас стали называть своего отца «кыра» (сокращённое от «крокодил») и ещё как-то. После развода тот нашёл себе другую женщину, а с детьми отношений практически не было. По крайней мере, мы видели, что они по нему не скучали.

Мама

Моё позднее детство и юность пришлись на шестидесятые годы, которые и поныне остаются для меня самыми светлыми в жизни. Сейчас, вспоминая то время и сравнивая его с нынешним, можно только удивляться, как в большинстве изменились люди, их отношения между собой, их восприятие себя в стране и в мире спустя всего-то два-три поколения. Какими открытыми и душевными были наши родители, их друзья и знакомые, как были убеждены в том, что мы непременно построим в скором времени коммунизм. Ради этого можно и потерпеть временные трудности, которые связаны, конечно же, с тем, что мы идём неизведанными путями и прокладываем дорогу к счастью всему человечеству. И как всем повезло — им самим и нам, их детям, что родились в такое время и в такой стране!

*Наш мир был аурой пронизан —
как в скачке за бесценным призом,
как в штольне, если виден свет.
Ведь до победы коммунизма
каких-то двадцать было лет.*

*В столовской очереди горбясь,
читали все «Моральный кодекс»
на стенке около меню,
но, о насущном беспокоясь,
всё раскупали на корню...*

Спутники, полёты космонавтов, братская помощь Кубе и колониальным странам, ЛЭП и ГЭС, досрочное выполнение семилетки, карикатуры в печати на «дядюшку Сэма» и НАТО («Ходит НАТО по канату, хочет НАТО страх нагнать. Эти трюки могут НАТО в результате доконать») ... Когда на XXII съезде приняли Программу КПСС, провозглашавшую, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», отец, налив себе в выходной день рюмашку для расслабления, хоть и без особого пафоса, но произнёс: «За Программу!» И это несмотря на то, что он уже был выкинут из рядов этой партии, обещавшей скорый коммунизм. Но мама была убеждённым коммунистом и с чувством особого долга постоянно задерживалась на работе — то у неё политзанятия, то партсобрание, то какое-нибудь воззвание в помощь угнетённым народам ... За эту деятельность однажды она была признана лучшим пропагандистом города, в городской газете появился её портрет и рядом — статья, в которой она делилась своим опытом агитации и пропаганды. Любимой её песней в то время была «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Георга Отса, и, услышав её по радио, она хватала карандаш и листок бумаги — записать слова. С удовольствием разучивала она песню «Ленин всегда живой», и потом с этой песней во главе колонны своей школы ходила на Первомайские и Октябрьские демонстрации.

Вечная учительская нагрузка — домашняя проверка тетрадей. Придя из школы, приготовив ужин и выполнив разные дела по хозяйству, мама садилась за письменный стол, зажигала настольную лампу и брала первую из высокой стопки тетрадей, принесённых в портфеле. Она читала тетради и исправляла ошибки, макая пером в чернильницу-непроливайку с красными чернилами, потом ставила оценку, иногда писала внизу одну-две строчки замечаний и прикладывала к написанному пресс-папье. Был такой прибор — приспособление для промокания чернил, чтобы они не запачкали соседнюю страницу. За один раз проверить двадцать с лишним тетрадей редко получалось, остальные переносились на завтра, потом надо было проверять уже следующие задания, и таким образом проверка была практически ежевечерним занятием.

Ещё с детского возраста я любил сидеть рядом с мамой у стола и смотреть за её работой. Печатные буквы я уже умел читать, а вот «письменные» ещё нет, поэтому просто смотрел на бегущие строчки, которые с невероятной быстротой появлялись из-под маминого пера. «Как это у неё получается? Я никогда так не смогу», — с отчаянием думал я, следя за её рукой. Став школьником, я уже мог читать тетради. Это было тем более интересно, что их писали ребята намного старше меня — наверное, пятый класс. Потом они стали шестиклассниками, потом ещё взрослее. Мама довела этот класс до выпуска, и я до сих пор помню многие фамилии: Галаганенко, Горнак, Зарицкая, Сержант, Фалилеева... После торжественного прощания со школой и последнего звонка они позвали маму погулять с ними в окрестностях города и принесли потом кучу фотографий с этой прогулки.

Вообще ученики её всегда любили, и многие, даже уехав в другие города, писали ей письма, рассказывая о своей жизни. Может, ещё и потому, что школа была не простая, а интернат, и все, кто в ней учился, были сиротами или имели непутёвых родителей, с которыми у них часто не было никакой душевной связи. А мама не только преподавала им в школе, но и ходила на дежурства в общежитие, которое весь учебный год было их домом. И ребята доверяли ей, словно матери, свои чувства и переживания, следовали её советам. Известный иркутский писатель Арнольд Харитонов, учившийся у неё, на встречах с читателями вспоминает: «Я хотел поступать в сельхоз на охотоведа, а Лидия Петровна убеждала: с твоими способностями к русскому и литературе тебе надо идти только на филологический. И я послушался».

Среди учителей её авторитет был очень высок. Хотя она и была над ними начальницей, общение было простым и душевным. С давних пор в день её рождения к нам домой приходили пять-шесть ставших особенно близкими коллег. И эта традиция продолжалась до маминого восьмидесятилетия. Я иногда попадал на эти празднества, когда бывал в отпуске. Некоторых учительниц я помнил ещё совсем молоденькими, а на последнем мамином юбилее за столом сидели уже постаревшие, опытные и авторитетные в городе директрисы школ и с благодарностью вспоминали, что это она чуть ли не насильно заставляла их посещать разные курсы повышения квалификации, а тех, у кого не было высшего образования, заканчивать институты. И только благодаря ей они состоялись в профессии.

За свою учительскую и общественную деятельность она получила звание «Отличник народного просвещения», была награждена орденом «Знак почёта» и медалями.

Мастер

Отец тоже мог бы достичь многого в жизни, если бы приложил чуть больше усилий в борьбе со своим алкогольным недугом. Начиная какое-то дело, он всегда старался доводить его до конца. И часто осваивал на ходу то, чем раньше заниматься не приходилось. Однажды по просьбе маминой знакомой учительницы он много дней вечерами после работы изготавливал большое панно для кабинета химии. Кажется, там были перечислены основные этапы развития химической науки. Он закрасил коричневой краской большой лист стекла, а когда краска высохла, приступил к написанию текста. Для этого из британского лезвия «Нева» он сделал несколько скребочков, которыми по закрашенной по-

верхности стекла процарапывались буквы и знаки препинания. Причём текст наносился в зеркальном отражении, и это требовало усиленного внимания. А когда всё-таки случалось ошибиться, приходилось это место снова закрашивать и ждать, пока высохнет. Когда всё было написано, отец покрыл буквы золотистой краской, и получилось не хуже, чем в рекламном бюро, где работали профессионалы. Наверное, ему что-то заплатили, и, наверное, меньше, чем профессионалам, — школы у нас никогда не имели лишних денег. Но, думаю, он и без денег взялся бы за это, как с увлечением брался за многие дела.

Ремонтom квартиры отец всегда занимался сам: белил стены и потолки, шпаклевал и красил полы. В соответствии с модой он то покрывал колер серебряным накатом, то рисовал «шотландку» — крупную клетку, для чего сначала всю стену размечал карандашом, а потом кисточкой проводил линии; то наносил трафаретом по всей стене рисунки, из которых мне запомнились пальмы в маминой комнате. Особенно он гордился тем, как ровно у него получалось прочерчивать в коридорах филёнку — разделительную линию между верхней, побеленной частью стены и нижней, окрашенной масляной краской.

После «Детского мира» любимым нашим магазином стал «Культовары». Там продавалось множество интереснейших вещей, в том числе заготовки для моделей самолётов и кораблей. Но наши неумелые руки никак не могли справиться с тем, чтобы ровненько выпилить бортики для парусного швертбота или склеить каркас крыла для авиамодели и потом обтянуть его калькой. И отец брался за эти дела сам. Правда, первый и единственный полёт модели самолёта окончился аварией из-за порыва ветра. А вот модель подводной лодки мы принесли на Китою, и много мальчишек сбежалось посмотреть, как она погружается на глубину и всплывает, когда кончается завод резинового мотора.

В то время во многих семьях увлекались аквариумами. Они заводились, конечно, для детей, но в то же время были хорошим украшением квартирных интерьеров. Мы с братом тоже мечтали иметь аквариум. Готовые аквариумы редко можно было найти в магазинах, надо было всё доставать и изготавливать самим. И отец принялся за дело. Он где-то раздобыл большой дюралевый каркас, потом купил толстые стёкла и обрезал их по размеру. Стал вклеивать стёкла в каркас и занимался этим несколько дней, потому что испробовал много разных клеев, прежде чем налитая в аквариум вода перестала просачиваться сквозь склейки. Когда аквариум был готов, с берега Китою мы принесли песок и насыпали на дно, потом из-под крана налили воду. Целый вечер я сидел перед пустым аквариумом и представлял, как будут в нём плавать разные красивые рыбки. И рыбки появились — сначала простые гуппи да меченосцы, подаренные друзьями, потом стали покупаться более элитные породы: похожие на полумесяцы скалярии, пучеглазые телескопы, голубые гурами, полосатые барбусы, а ещё моллинезии, тетрагоноптерусы, пецилии, макроподы, гамбузии, цихлозомы... Со дна аквариума поднимались стебли водорослей, по стёклам скользили улитки. На задней стенке висела лампа с отражателем и освещала подводный мир.

Оказалось, что для рыбок нужно насыщать воду кислородом, и отец сам сделал насос для аквариума. А сделал он его из консервной банки, к которой вместо крышки приклеил мембрану, вырезанную из старой футбольной камеры. Просверлил в банке отверстия и из кусочков той же камеры смастерил впускной и выпускной клапаны. К мембране одним концом прикрепил шатун, а другой его конец соединил с кривошипом на широком маховике. Маховик через резиновый пассик крутился от электромоторчика. И вся эта неказистая на вид конструкция исправно качала воздух.

Но хлопотное это было дело — содержать аквариум. Для рыбьего пропитания надо было покупать сушёный корм, разводить в земле, насыпанной в ящик, мелких червячков, а иногда ездить в посёлок Байкальск — две остановки на трамвае, чтобы в озере маленьким сачком ловить живых дафний и ещё каких-то мелких обитателей. Надо было менять воду, чистить стёкла, вовремя отсаживать в банку появившихся на свет мальков, чтобы их не сожрали собственные же родители... Отец видел, что мы, вырастая, потихоньку теряем интерес к аквариуму, и ещё долго занимался всеми этими делами сам, а потом как-то незаметно аквариум исчез из дома.

Пушок

Однажды осенью мамина знакомая учительница принесла нам котёнка — серого, полосатого, голубоглазого. Мы с братом сразу влюбились в него, до этого у нас в доме не было ни кошек, ни тем более собак — тогда собаки в домах вообще были редкостью. Взрослые назвали котёнка Пушок, а мы сразу стали звать его Пухом — так же, как любимого нами медвежонка из сказки Милна. Он был третьим нашим братом. Мы каждый день с ним играли и сами ухаживали за ним: набирали в детской песочнице во дворе песок для его туалета, наливали ему молочка, я ходил в магазин за камбалой для него, спал он с одним из нас на кровати. Летом мы уехали в Касимов, а отец остался дома — видимо, денег не хватило, чтобы поехать всем вместе, ведь он стал получать намного меньше, да ещё что-то пропивалось. Но и летом мы скучали по нашему Пуху, а когда вернулись, первым делом помчались искать его в комнатах. И не нашли...

Отец на наши вопросы отвечал: однажды котёнок выскочил за дверь, убежал на улицу и потерялся. Мама к нашему горю отнеслась как-то очень равнодушно и без сочувствия, чем мы тоже были расстроены. Мы стали искать Пуха во дворе, в подъездах соседних домов, в подвалах, благо, они тогда не запирались. Спросили лучшего друга Серёжку, не видел ли он нашего котёнка. И узнали от него невероятное: Серёжка видел, как наш папа, выйдя во двор, держал Пуха за шкурку, бил его по мордочке и по ушам, а потом швырнул куда-то в траву. Почему? за что? папа? бил? котёнка?

К вечеру мы Пуха всё-таки нашли. Он был грязный, худой, испуганный, но это был точно он. Отец и мама переглянулись, но радости, что котёнок (вернее, уже вполне взрослый кот) нашёлся, с нами не разделили. А через несколько дней Пух снова пропал, и больше отыскать его мы не смогли.

Правду мы узнали через много лет. Игривый Пушок несколько раз бросался на большое, величиной с черешню, родимое пятно на маминой ноге, и расцарапал его так, что у неё начался рак кожи. И ещё перед поездкой в Касимов ей сделали операцию. Она не могла больше терпеть кота дома, и отец, пока нас не было, выкинул его на улицу. А после того как мы притащили его обратно домой, наверное, унёс подальше... Мы же снова, как и с папиным арестом и судом, ни о чём не догадывались. Да и не знали тогда, что рак настолько опасен и трудноизлечим. Слышали про такую болезнь, но что к чему, не знали. После девятого класса был я у маминого брата, лётчика, в гостях в Кубинке под Москвой. Однажды раздался звонок в дверь, открываю — стоит ещё один мой дядька, муж старшей маминой сестры. Виделись мы год назад в Касимове, но он зашёл так, будто мы встречаемся каждый день: просто «привет», и всё. Спросил: «Где Женя?» Отвечаю, что на службе. Минут пять поговорили о том о сём, он пообещал приехать как-нибудь в другой день, а потом спросил: «А что, правда, у твоей мамы рак кожи?» Так, из чистого любопытства, без всякого сочувствия. Я ответил — не знаю, и он как-то слишком торопливо сказал: «Я тебе ничего не говорил» — и тут же ушёл. Но даже после этого у меня не зародилось никакого подозрения в том, что мама больна чем-то почти смертельным.

Несколько лет она мучилась с ногой. Лежала в больнице в Иркутске, перенесла не одну операцию. Потом рассказывала мне: «Я ведь уже к самому худшему приготовилась. Всё думала, как вы без меня будете, как папа вас вырастит, если он так же пить будет. Было страшно».

Но всё обошлось. Врачи справились с её болезнью, и о ней напоминал только обширный шрам на ноге, со временем сделавшийся малозаметным. Впрочем, у мамы, видимо, была склонность к онкологии, и уже на восьмом десятке лет ей пришлось сделать ещё две операции, но уже не кожные, а внутренние. И опять всё обошлось, потому что она обращалась к врачам при первом же своём подозрении на болезнь. И возраст, и успешный опыт излечения придали ей смелости, и она без страха ложилась, как говорится, под нож. По крайней мере, не подавала виду. Но один Бог знает, что пришлось пережить ей в душе.

Он добрый

Периоды увлечённости разными делами прерывались у отца тихими запоями. И однажды мамино терпение кончилось. Но подавать на развод она не стала. Не хотелось, наверное, насовсем рвать ту тоненькую ниточку, что ещё связывала её с отцом. Тем более что в те времена все бракоразводные дела оглашались в городской газете на последней странице, в «подвале». «Гражданка такая-то возбуждает дело о разводе с гражданином имярек... Дело будет слушаться там-то». Светиться на весь город не хотелось. Родители просто разменяли нашу «трёшку» на две квартиры в соседнем квартале, причём в домах напротив, а их окна выходили в один двор. И остались в добрых отношениях. Отцу, конечно, было неуютно жить одному, зато его никто больше не пилил за пьянство, с которым он так и не смог справиться. И маме тоже было трудно без мужской руки в доме, но теперь ей стало спокойнее. Союз между ними хоть и ослаб, но не прервался. И если требовалась в доме какая-то мужская работа, мама задёргивала на кухне одну занавеску, и отец приходил на этот сигнал.

Рассказывают, что в некоторых местностях России женщины вместо «люблю» говорят мужчине «я жалею тебя». Вот у мамы так и было. Может, она уже и не любила отца, как в молодости, ведь столько неприятностей от него натерпелась. Но когда он приходил на зов занавески, она всегда накормит его, да ещё с собой что-нибудь даст. А мне, когда я приезжал в отпуск, говорила иногда: «Всё время за него переживаю: как он там себе стирает, что он там ест... Уже готова пустить его обратно, но как представлю, что придёт пьяный, запахи эти на всю квартиру, ни поговорить толком, ничего, — нет, не хочу».

Но жалела, да. И как-то сказала мне: «Добрый он, добрый. Однажды пьяный замахнулся на меня, я сжалась, рукой закрылась, а он, будто протрезвев вмиг, сказал с упрёком: «Что ты! Глупенькая! Разве я тебя смогу когда-нибудь ударить? Что ты...»

Тревога за детей

Родительский дом мы покинули сразу после школы. Юрка, хотя и был младше, сделал это раньше меня, уехав учиться в Томск. Там он и остался жить, приезжая домой на каникулы и потом изредка в отпуск. Я же, пока учился в институте в Иркутске, бывал дома каждую неделю. А после учёбы на четыре года уехал в Забайкалье, и в это время маме пришлось порядком поволноваться за меня. Работал я в геологической партии, домой писал редко, и вот однажды в адрес конторы пришло письмо от мамы, в котором она просила сообщить, где находится её сын. Начальник партии показал мне письмо с упрёком: «Ты что же домой совсем не пишешь!» Я отослал маме возмущённый ответ: зачем ты меня позоришь перед коллегами, я же в тайге живу, где нет почты на каждом углу, и если не пишу, то, значит, у меня всё нормально, а вот если что-то случится, тебе об этом сразу сообщат... Но всё-таки чувствовал себя виноватым, ведь действительно, мог писать и чаще, просто не думал о том, что ей без моих весточек одиноко и беспокойно. И с тех пор старался при каждой возможности черкнуть хоть полстранички. С отцом мы отдельно не переписывались, но я всегда посылал ему через маму приветы.

Благодаря моим ставшим по возможности частыми письмам она уже не так тревожилась за меня, когда я уехал служить на границу. Хотя здесь было гораздо опаснее, чем в геологии. Китайцы тогда считались самым вероятным противником, они уже были биты на Даманском и Жаланашколе, после чего уползли в конуру зализывать раны. И вот наши правители решили срочно укрепить границу с Китаем, для чего на подмогу кадровым офицерам стали призывать на два года из запаса лейтенантов, почерпнувших кое-какие знания на военных кафедрах. Под такой призыв попал и я, служил в инженерных войсках. Наша рота стояла лагерем в тайге и усиленно строила мосты, дороги, заграждения из колючей проволоки и линии связи между заставами на Аргуни и Амуре, поскольку до нас

здесь существовали только конные тропы и не было никаких там пограничных столбов, контрольно-следовых полос и прочего хозяйства. А особысты сообщали нам, что рядом с лагерем китайцы уже тропу натоптали, наведываясь на нашу территорию, поэтому строительство следует ускорить, партийно-политическую работу с бойцами усилить, а бдительность утроить и учетверить. И вот после какой-то стычки совсем на другом участке границы в экспедиции, где я работал до службы, прошёл слух, что я погиб, и вечная мне память и слава... Когда я приехал туда после дембеля, чтобы уволиться, на меня глядели как на привидение. Потом, правда, сказали, что я теперь до ста лет проживу. И слава Богу, что эти слухи не долетели до матери, и она по регулярности получения моих писем считала, что у меня всё в порядке.

Как мало всё-таки нужно родителям, чтобы тревога за детей не грызла их сердца! Короткая весточка раз в месяц, что всё идёт нормально. А переправа через взбесившуюся после дождей речку Урку по переброшенной с другого берега верёвке, выставление заслонов против сбежавших уголовников, чтобы они не ушли в Китай, преследование нашего катера китайцами на Амуре, опрокидывание на машине с водителем-новобранцем и многие другие рутинные эпизоды службы остались ей неизвестны и хранятся лишь в памяти — для мемуаров, которые, возможно, будут ещё написаны...

Судьба

После службы в армии я устроился работать геологом недалеко от Иркутска. Жил дома в Ангарске и каждый день на электричке ездил на работу и обратно. И даже когда через год нас «сослали» на постоянное базирование в посёлок Нижнеангарск на севере Байкала, я часто приезжал домой то в командировку, то в отпуск. Лишь однажды приехал совсем по другому поводу.

Поздней осенью, в конце октября, когда уже выпал снег, я с буровой бригадой работал на участке в сотне километров от посёлка. Пришла машина с базы, и водитель Лыткин сообщил, что мне нужно срочно выехать в посёлок. Зачем, он не говорил. Всё повторял: «Не знаю. Начальник сказал, чтобы я тебя привёз». Я понимал, что Лыткин что-то скрывает, но «расколоть» его так и не смог. И любой на моём месте пришёл бы к выводу, что случилось какое-то несчастье. «Только не с ней, только не с ней», — твердил я, трясясь в машине и думая о матери. Приехали в посёлок, и начальник партии подал мне телеграмму: «30-го умер отец. Приезжай. Мама»...

Было это 1-го ноября, в день маминого шестидесятилетия. На следующий день в аэропорту Нижнеангарска я попытался попасть на самолёт до Иркутска. Телеграмма не была заверена врачом, поэтому билет без очереди мне не давали. Но начальника аэропорта удалось уговорить, и вот после обеда я был уже дома. Брат прилетел раньше меня на день. Мама встретила меня словами: «Прости нас, но мы его вчера похоронили. Не было возможности ждать».

Советский ненавязчивый сервис... Одно похоронное бюро на весь город занималось только изготовлением венков и цветов, остальное всё надо было организовывать самим. В том числе и искать машину до кладбища. А с машиной смогли договориться только на вчера.

Я стал вспоминать, когда видел отца в последний раз. Да, в июне, когда после окончания отпуска надо было возвращаться в Нижнеангарск. Мама за несколько дней до моего отъезда уехала в Москву, чтобы отправиться на теплоходе в путешествие по Волге, о котором давно мечтала. Путёвку ей купил я, будучи перед отпуском в командировке в Москве. Отец пришёл со мной попрощаться, сидел на скамеечке возле нашего подъезда, курил. Мы поговорили с ним недолго, и я пошёл на автобусную остановку, чтобы ехать в аэропорт. Не люблю оглядываться, но в этот раз оглянулся. Отец сидел на скамеечке и смотрел мне вслед. Таким одиноким он был, таким неприкаянным...

Вечером мы сходили в дом напротив, туда, где он жил. Неуютная, давно не видевшая ремонта комната в большой квартире. Соседи — Надежда, выпивающая мать-одиночка

лет тридцати, и сухонький, невеликий ростом дед. В комнате старый продавленный диван, тумбочка, стол, стулья, на тумбочке радиолы «ВЭФ-Аккорд», внутри на полочках — пластинки, не виниловые, а толстые шеллачные на 78 оборотов — всё наше прежнее, что-то ещё из восьмого района. Я искал запомнившиеся мне с детства предметы, чтобы сохранить на память: медаль «За оборону Киева», трубку-мундштук с наборной цветной серединой и вырезанным на конце бородатым лицом Мефистофеля или кого-то на него похожего — подарок одного из эзков ещё с пятидесятых годов; простенький портсигар, которым отец никогда не пользовался, — тоже чей-то подарок. Ничего не нашёл, наверное, отец продал их. В последнее время жил он только на небольшую пенсию. Несколько лет трудового стажа ему не удалось подтвердить — куда-то делись документы в одной из монтажных контор, где он работал. Помню, я сам по его просьбе ездил в Иркутск в эту контору. Через маму я посылал ему иногда какие-то деньги — она говорила, что много не надо, а то пропъёт.

Врачи написали, что у него случился сердечный приступ. Хотя на сердце он никогда не жаловался. Мама сказала, что, скорее всего, он умер от алкоголя, но врачи в таких случаях щадят родственников и пишут про сердце или про что-нибудь такое же нейтральное. Было отцу шестьдесят три с половиной года. Комната его отошла Надежде...

В советское время популярны были девизы, лозунги, кредо — не знаю, каким словом обозначить, — вроде такого: «Человек — хозяин своей судьбы», или «Мы — кузнецы своего счастья». Я в молодости считал так же:

*Мы сами, насмехаясь над судьбою,
творим себе законы бытия...*

Теперь вот думаю: не всё зависит от самого человека.

Когда началась война, отец не скрывался, не откосил от призыва, это было его решение — идти на фронт. Кто трусил и цеплялся за все возможности не воевать — те выбрали себе судьбу тоже сами. Но когда отец попал в окружение под Киевом и потом в плен, что он мог сделать, как изменить свою судьбу? Ею распоряжались другие: наши командиры и наши враги. Он был хозяином своей судьбы, когда поехал из тёплой, уютной Европы в Сибирь. И не был им, практически не борясь со своей тягой к выпивке. Всё понимал, но противостоять этому не мог себя заставить. И как я брошу в него камень за это, зная, что главное в нём — то, что сказала мама: «Добрый он...»? Просто очень жаль, что судьба его сложилась именно так.

*...Но где-то есть аэродром
в тайге, который он построил.*

*И молодости был запал,
и управлять людьми свобода,
и он, усталый, приезжал
домой по средам и субботам.*

*Уходят в небо «ястребки»,
алеют крылья на закате.
Надёжны плиты, швы крепки.
И спи себе спокойно, батя.*

Мамина старость

Мама к этому времени уже несколько лет была на пенсии. Но без дела — скучно, и вот она стала заниматься на дому с теми, кому по каким-то медицинским причинам врачи не рекомендовали обучаться в классе, среди своих сверстников. Это были не совсем ум-

ственно полноценные дети, которым приходилось по десять раз повторять одно и то же во время урока, или нормально соображающие, но легко возбудимые, с неадекватным поведением — им тоже полагалось индивидуальное обучение. А потом её пригласили работать смотрителем в недавно созданный в Ангарске музей Победы. Здесь она трудилась около пятнадцати лет, пока не почувствовала, что на восьмом десятке тяжело каждое утро спешить на трамвай и весь день проводить на работе.

Дома она читала книжки, вела обширную переписку с родственниками и друзьями — в этом она всегда была аккуратна, на письма отвечала сразу, писала много и подробно... Сейчас эпистолярный жанр практически исчез из нашего обихода — мы обмениваемся эсэмэсками, общаемся по скайпу, через «Одноклассники» или «Вконтакте», причём многие, скрывая свою безграмотность, нарочито коверкают слова и избегают знаков препинания — это считается модным. А письма всегда были частью культуры нации, это можно заявлять без всякого преувеличения. Само их ожидание было если не обрядом, то волнующим элементом жизни, а получение писем — радостью, которой хотелось поделиться с близкими или даже просто с соседями. И если я бывал дома в отпуске, мама всегда спрашивала, когда я входил домой с улицы: «Почту посмотрел? Писем нет?» К праздникам она получала десятка два открыток, многие — от своих бывших учеников, и всегда раскладывала их на журнальном столике: так они радовали её душу!

Несмотря на то, что годы нужды — военные и послевоенные — были давно пережиты и у неё была довольно хорошая пенсия, мама на всю жизнь приучила себя экономить на всём. Она никогда не выкидывала старые вещи, и я, приехав в очередной отпуск, с трудом уговаривал её избавиться, наконец, от какого-нибудь древнего хлама, на что она соглашалась очень неохотно. После её смерти мы нашли в шкафу большой ворох тщательно заштопанных чулок — хотя она их не носила, но выбросить не поднималась рука, а в кухне обнаружили мешочек со многими десятками пустых полиэтиленовых пакетов. Она всегда выключала за собой свет, даже если выходила из комнаты на минутку, и я тоже невольно перенял эту привычку. С войны она знала сама и наставляла нас, что еда без хлеба не приносит сытости, и я ел с хлебом всё, даже оладьи в столовой, куда мы дворовой компанией ходили перед школой.

Когда у нас с женой родился сын, мы посылали обеим бабушкам подробные описания его жизни: как он начал ходить, что научился говорить, рассказывали разные забавные случаи с его участием. И вот в один из моих приездов, когда сын уже пошёл в школу, мама подала мне тетрадку с заголовком: «История интеллектуального развития Кости Дмитриевского». В эту тетрадку она выписала из наших писем всё о том, как рос её внук, дополненное личными наблюдениями в те месяцы, когда она гостила у нас в Нижнеангарске. Может, и было название чересчур высокопарным, но я через какое-то время попытался это её стремление к систематизации и описанию событий обратить на другое и предложил записать ей воспоминания о своей жизни — то, о чём они с отцом когда-то рассказывали мне, когда я «выращивал» на бумаге родословное древо наше, но всего, конечно, не запомнил. А я был твёрдо убеждён, что такие воспоминания будут интересны не только мне и нашим родственникам, по тем причинам, которые я привёл в самом начале своих записок.

Если бы я знал, что это предложение надо было сделать раньше! К этому времени сознание её стало постепенно мутиться, ей трудно было сосредоточиться на воспоминаниях, порой возникали галлюцинации, да и память стала подводить. После курса лечения она вроде бы снова обрела ясность ума, но мои предложения о мемуарах мягко отвергала, говорила, что не чувствует в себе сил и интереса к этому.

В один из мартовских дней она тихо уснула и больше не проснулась.

Мы с вами

К своему уходу мама начала готовиться, когда её возраст подходил к восьмидесяти. Жене моей показала, где отложено купленное ею смертное одеяние, а мне — где спря-

таны деньги, отложенные на похороны, где какие лежат документы. Советовалась, как составить завешание на квартиру, выбирала фотографию на памятник. Разговоры об этом вела спокойно, как о чём-то обыденном и необходимом. Когда я обрывал её и говорил, что никто не знает своего срока и ещё неизвестно, кто из нас раньше уйдёт, она пугалась: «Что ты, не должно быть такого, чтобы родители хоронили детей». И во время одного из таких разговоров сказала: «Положите меня рядом с батей. Места там хватит».

Вот и лежат мои дорогие вместе, в одной оградке, среди берёз и сосен. Тихо здесь, только стучат на деревьях дятлы, порхают с ветки на ветку синицы да белки шмыгают меж могил, привыкнув находить на них угощение: хлеб, печенье, конфетки. Иногда орут вороны, и пробегает по спине зловещий холодок мистического страха. И тогда ещё явственней воспринимается скорбная и торжественная тишина, распростёртая над лесом. Но эта тишина не безмолвна.

«Мы сделали для вас всё, что смогли. И пусть теперь мы далеко, но мы с вами».

«И мы будем с теми, кто останется после нас».

2012–2016 гг.



СВЕТЛАНА ЧЕПИНОГО



Вершится всё, чего душа ждала...

Начала

Долго после потопа земля врачевала увечья.
Скован хаос. И падает снег.
На размытую глину, на мутные воды Двуречья.
На бездомный ночлег.

Нереальный покой в очертаньях расплывчатых линий,
Над тяжёлыми тучами стынет созвездье Креста...
Снег идёт и ласкает песчаную спину пустыни
И остывшие камни, и чахлую зелень куста.

Обернувшись быком, Зевс ещё не похитил Европу,
И звезда на востоке ещё не возшла...
Но сапфировый лёд сберегает идею потопа,
Замутнённую пагубой зла.

Замывается время, продетое между веками.
За пределы его ни вперёд, ни назад не дано...
Океаны бунтуют, зажатые материками,
И вулканы ворчат, оттого что они заодно.

ЧЕПИНОГО Светлана Игоревна. Родилась в 1967 г. в г. Зима Иркутской области. Закончила исторический факультет Иркутского государственного университета, работает преподавателем истории. Публиковалась в журнале «Сибирь». Живёт в Иркутске.

Разъярённая бунтом жизнь вновь выползает на сушу,
Влажно топая, трудно и жадно дыша...
И душа над волнами похожа на прежнюю душу,
Оттого, что она неизменная, та же душа.

Снова начат отсчёт, но намечены противоречия,
Зреет в будущем прошлое и прорастает зерном.
Только душу томит безначальное и бесконечное,
То, где в виде возможности всё существует в одном.

И стремление вперёд равнозначно стремлению обратно.
На слепящие брызги взорвётся застывший сапфир...
Снег идёт, превращаясь в кровавые пятна...
В муках старится мир.

Ожидание зимы

Прозрачные дали полны ожиданьем зимы.
Она ощущается в воздухе утром морозном,
В пожухлой траве, обездвиженной лёгким наркозом
Проникшего холода и навалившейся тьмы.

Тоскливое чувство... В воде металлический блеск.
Река тёмно-серая тащит себя к океану —
в оцепененье, в беспамятство, в спячку, в нирвану,
В провал временной... Ожидание — та же болезнь.

Из хищной волны, смаковавшей разгром атланtid,
Поднимется туча чудовищем мрачным из сказки.
Но снежную мантию бросит под ноги по-царски,
И белой крахмальной тканью она захрустит.

Неяркое солнце громадная туча затрёт,
И день канет, странно короткий, как заячий хвостик.
У детского сада прямые от санных полозьев
Расчертят причудливо выпавший снег у ворот.

А утром по снегу шаги заскрипят под окном,
Появится стайка настырных синиц на балконе.
Они не заметят за стёклами пышных бегоний,
А засуетятся от сала да плошки с пшеном.

И столько проявят сноровки в своей суете,
В извечной и мудрой заботе о существованье!
Любая зима веселей своего ожидания
И белым простором противостоит темноте.

Пельмени лепить и выбрасывать стыть на мороз.
И в парк по субботам. И Ваньку поставить на лыжи...
А снег, между тем, посереет и свалится с крыши...
А он и не выпал. Зимы ещё не началось.

Лермонтов

Слишком сознавать — это болезнь, много сознания,
но даже всякое сознание болезнь.

Ф.М. Достоевский. «Записки из подполья»

Попытка бесконечность осознать
Рождает тошнотворную тревогу.
Нас бережёт небес голубизна
И свет дневной. Благодаренье Богу!

Спасён ли тот, кто в предвкушенье бездн,
Презрительно молчал под пистолетом?
Но... «слишком сознавать — это болезнь».
Болезнь, позвольте?
«Я стою на этом».
Мысль бьётся, натываясь на абсурд.
Итог известен — в пропасть мироздания.
Ах, есть такой невероятный труд —
Бороться с искушением сознания.
У вечности безмерные крыла.
Как примирить конечность с бесконечным?
И на сукно рабочего стола
Бросает тень зловещую подсвечник.

Как профиль... Для чего, о чём, зачем?
Колеблется незримая преграда
Меж миром этим и пространством тем,
В которое заглядывать не надо.
Как молнией, озарены листы,
Разрушена черта границ непрочных —
Осознан демон, и его черты
Воссозданы в спешащих нервно строчках.
И бездна размещается в душе.

Как сладить с ней, язвительный поручик?
Теперь она сама себе мишень.
И значит, будут грозовые тучи,
И молнии, и ливень, как бичом,
Хлестнут по ветром согнутым верхушкам...
Мартынов уязвлённый ни при чём —
Не здешних сил случайная игрушка.

* * *

Со временем у тусклого стекла,
Подёрнутого облачностью неба,
Вершится всё, чего душа ждала,
Неудержимо устремляясь в небыль.

Вершители, пустившиеся вплавь
В течениях нахлынувших видений,
В которых сверхъестественную явь
Угадывает внутреннее зренье.

Вкусившие неведомых щедрот,
Взрастившие миры своих фантазий,
Нечаянно творившие полёт,
Что вам причинно-следственные связи?

Глубин души защитный рикошет
Швырнёт в реальность холостым патроном,
Когда воображаемый сюжет
Вдруг заживёт по собственным законам.

И, озираясь, как в чужой стране,
Искатели затерянного клада
Осознают: для них всего ценней,
Что не сбылось и, в общем-то, не надо.

И так ли уж важны «сейчас» и «здесь»,
Когда вдруг ощутишь нутром и кожей,

Что всё, что в мире выдумано, — есть.
То, чего нет, — придумать невозможно!

Невыразимо чище и светлей,
То, что душа баюкает и прячет,
И, отразившись в небе, как в стекле,
За временем вершится, не иначе...

Ветер

Коварство стылых мартовских рассветов —
Прощание дряхлеющей зимы.
И лёд залива нежно фиолетов,
И снег — обрывки серой бахромы.

Едва рассвет забрезжил над заливом,
Берёзы чёрной масти вдалеке,
А ветер взвыл и — вдруг — речитативом
На непонятном странном языке...

Промозгло и пустынно на рассвете,
Тропинка вдоль залива пролегла.

И хорошо, что можно слушать ветер,
Не покидая сонного тепла.

Он напоследок вышвырнут, как козырь,
Запятанный до срока в рукаве,
Чтоб тайну, что не выдали морозы,
Он достонал, доплакал, доревел,

Чтоб злобным и безудержным порывом
Обрушился на вербу за окном
И зарево рассвета над заливом
Заставил биться бешеным огнём.

* * *

Весна пропала, о себе напомнив,
Обрушились на город холода.
И ветер, налетев на подоконник,
Сдувает голубые крошки льда.

Что горестней обманутой надежды?
Вот-вот, вот-вот... И вновь, и вновь метёт.
И тормозов невыносимый скрежет
По нервам бьёт. И лёд, и лёд, и лёд...

Холодная разнuzданность погоды.
Свист ветра, пресекающий фальстарт.
Заглушены несмелые аккорды,
Случайно обозначившие март.

Что тягостней ненужных ожиданий?
Чуть-чуть, чуть-чуть... Давно намечен путь.

Но рыщет ветер по фасадам зданий,
Чтоб в брешь нырнуть и дуть, и дуть, и дуть...

Прости меня, простившийся случайно,
До лета, до сирени, до тепла,
Чтоб ожиданья маленькая тайна
Комочком грелась и жила, жила...

Что может быть загадочней, чем время?
Тик-так, тик-так, опять — тик-так, тик-так...
У смерти окончательные клейма.
А был ли знак? Не факт, не факт, не факт...

Никто не собирался жить короче.
Чего терзаешь, глупая вина?
Но хлещет ветер чередой пощёчин.
Метёт февраль. Закончилась весна.

* * *

Март заходится в радостном плаче,
Расторопной капелью звучит.
Этот вечер особенно вкрадчив.
Просто так. Без особых причин.

Всё предчувствие, всё ожиданье.
Он предтеча бессонницы, и
Стали резче берёз очертанья,
Загалдели дружной воробы.

Солнце рыжее избаловало.
Всем досталось с лихвой от щедрот...
Из глухих лабиринтов подвала
Появился потрёпанный кот

И куда-то направился резво.
Хвост трубой. Неспроста, неспроста...
Бодро вышел мужик из подъезда —
До чего же похож на кота!

* * *

Распахнуто окно в весенний дождь.
Частят к земле стремительные капли,
И выцветшие травяные патлы
Зелёная одолевает мощь.

О кажущейся хрупкости ростка,
Взломавшего собой темницу грунта,
И о живой безудержности бунта
Свидетельствует грубость каблука.

Но где следило множество подошв,
Морщиною останется тропинка.

И кажущуюся броню суглинка
Бесцеремонно размывает дождь.

В слепом разбеге дождевой строки
Тоскливой тучи неразборчив почерк,
Но нежной плотью пробивая почву,
Настойчиво торопятся ростки

Оттуда, где сохранно, но темно,
Туда, где можно обмануться светом...
Как книга с удивительным сюжетом,
В весенний дождь распахнуто окно.

* * *

Взлёт лайнера. След обозначил
Погоню за небом ночным.
И солнце, как розовый мячик,
По следу вкатилось за ним.

И в утренний свет окунулись,
В прозрачный прохладный простор,
Прямые пустующих улиц,
Забитый машинами двор.

Как рано, росисто и зябко,
Как воздух особенно свеж!
И утро дарило охапку
Из старых и новых надежд.

Как бесцеремонно и нежно
Шалил озорной ветерок!

Сумбурно вмещались в надежды
Маршруты бегущих дорог,

Чириканье стайки пернатой,
Над клумбой жужжанье шмеля...
В прозрачности голубоватой
Купали листву тополя.

Несбыточным, дерзким, нелепым
Надеждам открылась душа.
И город наполнился небом
До цокольного этажа...

А где-то в бескрайности дальней,
Являя крылатую мощь,
Взлетевший над городом лайнер
Преследовал летнюю ночь.

* * *

Поезда простучат мимо сосен
И желтеющих рано берёз...
И поселится временно осень
В деревянном домишке под снос.

Не смахнёт по углам паутины
И пушистую пыль не сомнёт,
Щедро кинет листву на старинный
С облупившимся лаком комод...

Скрипнут жалобно петли дверные,
Стукнут ветви негромко в стекло,
И запляшут дожди проливные
На дворе, где листву намело,

На крыльце, покосившемся, утлом,
И на крыше, где мхи проросли,
И туманы расстелятся утром
Покрывалами мокрой земли...

Поезда с перестуками мимо,	Уходящим, всегда уходящим,
С бесшабашностью ввысь ветерки...	Обречённо болеет душа...
Как же всё это больно любимо,	Снова осень колдует по чашам,
До животной глубинной тоски!	Неизбежность ухода верша.

* * *

Какой же время — лекарь? Шарлатан!
 Рассыпавший цветные безделушки,
 Когда от злых противоречий душно
 И ни к чему весёлые цвета.

Вот чёрный цвет густеет, словно гнев,
 Растёт до пелены перед глазами.
 Но, спрятанный, придавленный годами,
 Он мечется, как в тесной клетке лев.

И льётся белым тёплым молоком,
 Баюкает иллюзии как кукол,
 Но он за уязвимость загнан в угол,
 Удержан, как собака, поводком.

Но в глубине нахлынувшего сна
 Свободу чуют запертые звери,
 И снова в пробужденье, как на берег,
 Выносит их тревожная волна.

Глаза откроешь — за окном темно.
 Обрывки, чётко-белое кино...

И в настоящем прошлое реальней.
 И валерьянку капаешь в стакан.
 Какой же время — лекарь? Шарлатан!
 И тикают часы, и душно в спальне...

Печаль

Дневная пыль осела на газоны.
 Хранит тепло нагретый асфальт.
 И города, где воздух загазован,
 Касается закатная печаль.

С качели гибких тополиных веток
 И с желтоватой линии луча
 Стекает в расплескавшееся лето,
 В его коктейле чуточку горча.

И проникает капелькой отравы
 В остатки деловитой суеты,
 В июльский воздух с терпкою приправой,
 Настоянной на травах духоты

Сочится сквозь зашторенные окна
 В колодец опустевшего двора...

Легчайшими мазками на полотна
 Наносятся такие вечера!

Чтобы в оттенках золотисто-рыжих
 Случайный взгляд внезапно замечал,
 Язык заката по-щенячьему лижет
 Разлитую над городом печаль,

Чтоб позолота тополиных листьев
 И тронутая отблеском кора
 Непроизвольно возвращали к мысли
 О том, что день уходит во вчера.

От тени ли, от слабого луча ли
 Неясною мечтою полон взгляд.
 Закатна суть нахлынувшей печали.
 Печален остывающий закат.

Предновогоднее

В потёках появлялись огоньки.
Сначала — редко, а потом — гирляндой.
Железный мост над крепким льдом Оки
Угадывался в дали неоглядной.

Перед рекою расступался лес,
Волненье комом к горлу подступало...
А поезд уходил за переезд
И тормозил у старого вокзала.

И вместе необычен и знаком
Вокзал являлся теремом с открытки.
Звёзд золотинок над резным коньком
Предпразднично рассыпаны в избытке.

И из вагона — на ночной перрон,
И дальше в глушь безлюдных зимних улиц.

Волшебной снежной тишью покорён
Спал деревянный город. Потому ли

Морозный воздух с запахом дымка
Казался вкусным необыкновенно,
И голос тепловозного гудка
Звучал в ночи, как задушевный тенор,

Что иссякал декабрь и во дворе
Ждала игрушек срубленная ёлка?
Я вынимаю сказочных зверей,
Они хранятся бережно и долго.

Вот обезьянка в юбке и с хвостом,
Медведь в лаптях, а с зайца краска слезла.
Они с той ёлки, что вносили в дом
Наутро после нашего приезда.

* * *

А город был заснежен и расцвечен,
Звучал мотив приятный, но неясный,
Когда беспечно растворялся вечер
В очередях у театральной кассы.

То розовый, то синий, то лиловый
Снег выглядел вполне декоративно.
Всецветие гирлянд в ветвях еловых
Мерцающими сделало витрины.

Река небрежно куталась в туманы,
Резной фонарь высвечивал неярко
Вдаль устремлённый пафосно-чеканный
Мужицкий профиль крепкого монарха.

И в каждом камне сохраняла площадь,
Транслируя сквозь время и пространство
Раскат имперской дерзновенной мощи
И нежные надрывы декаданса.

Как это чувство властно увлекало,
Усиливалось волшебством театра!
И потому по импортным лекалам
Не получалось выкройки для завтра.

Неистовство теней, огней и снега
Извечным было и непреходящим,
И прошлое Серебряного века
Неизъяснимо жило в настоящем.

Зима

Поднялась пылица и осела
Мягкой серой пудрой на листе.
Вялые головки чистотела
Клонятся к притоптанной траве.

Ставни закрывают и калитки,
Стих моторов непрерывный гул,
Месяц робкий, тоненький и прыткий
Суетливо на небо скакнул.

Фонари зажглись. Теплом июлитесь
Матового света желтизна.
От степи и до депо по улице
Разлилась неспешно тишина.

Мирно по степи гуляют лошади,
Чутко у депо дежурят псы.

И туман густеет за окошками,
В сад пробравшись от речной косы.

Здесь его ночёвка не последняя.
Грузно напоздаст на дома
И плывёт в ночи такая летняя
Полудеревянная Зима.

С крышами, садами, огородами,
С камышами... Вот такой пейзаж!
Мир панамок и коленок содранных,
То, что в сердце, то, что не предашь,

Что живёт во мне от роду-племени
Потайным живительным ключом,
То, что балансирует вне времени
И хохочет солнечным лучом!



Игорь Аброскин



Щемящее чувство дороги

Нам любая тайга, как квартира...

Слова из песни

Последние три дня он писал в своём ежедневнике: пропавшая экспедиция, пропавшая экспедиция... Бывалые речные люди успокаивали: если вышли из Орха-Бомы, то дадут о себе знать, доставят на моторках, если нет — без вертолётки не обойтись. Но вертолёт — это ЧП областного масштаба, это губернатор, сумасшедшие деньги.

Оговорённый срок истёк неделю назад. И он поехал на речку, поехал встречать. А они там, на воде, также называли себя пропавшей экспедицией. В последний день — восемь часов на катамаране, на вёслах, река успокоилась, прозрачные, тихие плёсы, неторопливые шиверы, а это значит пахота, гребля. Саяны кончились Кабан-горою, горизонт раздвинулся, воздух стал мягче и пах равниною, тальником. 23 сентября, в сумерках, на окраине Верх-Оки поход был завершён. Последний дневной переход составил шестьдесят пять километров, они — догребли, он — дождался. Позади тридцать восемь дней на реке. И каких дней!

Он предусмотрел всё. Он матерно ругал их за опоздание и раздавал мужикам сигареты (последнюю неделю они перебивались махрой). Потом был стол, тосты, уха, гитара. Тридцать восьмой день на реке закончился ярким, долгим, за полночь, костром. Прозвучал прощальный походный аккорд. Завтра дорога домой.

Пропавшая экспедиция: Сергей Судленков, Виктор Надь, Юрий Гавриков, Николай Смирнов, Алексей Смирнов, Александр Бугров, Олег Дудник и я, автор этих строк.

АБРОСКИН Игорь Викторович родился в 1958 г. в Баку. Окончил Днепропетровский университет. Служил в армии. Работал в «Оргхиме» при строительстве «Саянскхимпрома». В восьмидесятых был одним из создателей «Литературного кафе» в Саянске и неформального литературного объединения «Помост». Печатался в иркутском альманахе «Стихи по кругу» (1990), в альманахе «Серебряный Саянск» (1995) и «Саянск-2000», «Ковчег» (2009), «Иркутское время», в журнале «Сибирь» (2016). Автор сборника «Все?...» (1998). Живёт и работает в Саянске.

А теперь позвольте представить действующих лиц этой истории: он — Владимир Александрович Примачек, зам. мэра нашего города, надёжный тыл и опора всего похода.

Поход начался восемнадцатого августа, в шесть утра. Свежее, ядрёное августовское утро. Сбор, камуфляж, рюкзаки, автобус, холодное пиво. Съёмка у «камня» в сквере Первостроителей и — поехали, «счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги». Я был почти счастлив. Я отдыхал. Впереди тысяча вёрст, позади предпоходная суэта, бессонная ночь. Все было как обычно, поход планировался с весны, а собирались аврально, в последние три дня, прихватывая ночи.

Как приятна роль беспечного пассажира! Хочешь — вздремни, хочешь — смотри в окно. Я сегодня не за рулем, я сегодня пассажир. Лёгкое чувство отрешённости и покоя.

Промелькнул посёлок Средний — зелёная картофельная ботва, густой ячмень, кукуруза в мой рост, уборочная ещё не началась. А когда мы вернёмся, будет уже жёлтая осень. А когда мы вернёмся?

В 12:20 миновали Шелехов, а в 13:49 увидели Байкал. Батюшка встретил туманом, облачностью, серое небо и серое море, запах большой воды. На смотровой площадке скопление машин, торговля, высокие «туристические» цены на рыбу и ягоды. Сколько я не виделся с Байкалом? Пожалуй, лет десять. Здравствуй, здравствуй, Батюшка!

15:00. Въехали в Тункинскую долину, быстро промелькнули Кырен, Туран, Монды. 20:00. Остановка на ночлег у Белого Иркута. Первая походная ночь с костром, палатками, гитарой. Большое кочевье началось.

19 августа. Подъём в 8:00. Завтрак и — в путь. Остановились у горного ручья, умылись, но зубы никто не чистит, в поход не берут ни зубную пасту, ни щётку. Не принято. Вода чудесно оживает. И вот в 10:40 мы у истока Оки. 1933 метра над уровнем моря. Не очень большое, скажем так, средних размеров озеро. Горы в снегу, море света, ровного, неяркого, бессолнечного, с белесого близкого неба.

Из озера вытекает небольшой ручей, в метр шириной — это и есть наша Ока, её начало.

Совсем не жарко, градусов десять, не больше. Однако традиция есть традиция, по возможности решительно (главное, не раздумывать) раздеваемся догола, к чему здесь эти условности в виде трусов, а тем паче плавок, и — в озеро. Несколько метров обжигающей воды, всплываешь в исток — и на берег. Мужики подносят рюмку водки. Воскрес! Заново родился! Жить хочется, дышать хочется! Здравствуй, Ока! Вот и свиделись, поздоровались.

От истока Оки едем в Орлик. Удивительно, но буквально через несколько километров ручеек Ока превращается в достаточно полноводную, широкую реку.

Орлик — это в основном деревянный посёлок численностью в пару тысяч жителей, где трёхквартирный дом стоит одиннадцать тысяч рублей, а лук для спортивной стрельбы фирмы «Ямаха» — тридцать три тысячи рублей. Рядом на Самарте моют золото, в окрестной тайге добывают зверя, плюс частное животноводство, чистый, не замаранный край. Живут в покое и достатке, наливая два раза местному буряту — и путешествуй с Богом. Перед поссоветом обязательный Ленин, правая рука которого почему-то в кармане. За ленинской спиной шумят торговые ряды.

К вечеру мы уезжаем за Орлик, на берег Оки, дабы разбить лагерь и готовиться к сплаву.

21 августа. К обеду катамараны построены, спущены с крутого берега на воду и загружены. Идёт нудный мелкий дождь, который достаёт даже через прорезиненную куртку. Большая мутноватая спокойная вода. Сплав начался. Катамараны пошли. Впереди поход длиною в триста речных километров.

В 19:00 ночёвка, отаборились, ни хариуса, ни ленка, глухо. Не клюёт. Накапывает мелкий дождик. А какие радуги по распадам и плёсам! Радужная стоянка.

22 августа. Подъём в 7:00. Левый крайний баллон катамарана пуст, спустил. Мой баллон. Я левый передний матрос, качаю. Сегодня проглядывает солнышко. В 11:45 приходим в Хужир. Это один из последних населённых пунктов перед ущельем. Здесь у нашего капитана, у руководителя похода, Сергея Павловича Судленкова живёт старинный армейский товарищ — Александр Уиденович Папаев, нынче директор местной школы. Семьдесят хужирских дворов вольготно расположились в долине Оки, а по горизонту — горы, горы, горы. Хужир — это около трёхсот жителей, занимающихся скотоводством и охотой. Как рассказал нам Папаев, колхоз упразднили, теперь живут крестьянскими хозяйствами. У многих свои охотничьи наделы в тайге. Мясо возят в Иркутск, техника есть, на жизнь хватает, да и сама жизнь стала лучше, просторнее, чем при советской власти.

Папаев с семьёй спешил: выдался солнечный денёк, подсохло сено; крестьянское лето не признает праздности, да и нас ждала речка. Поэтому, быстренько перекусив, обменялись подарками, мы им — хлеб (в деревне завозная мука), сувениры, они нам — масло, сметану. Пока, Хужир! Впереди безлюдный Орха-Бом — Ложе Дьявола, ущелье, начинающееся первым порогом Трёх Геологов и заканчивающееся где-то там, далеко, через восемьдесят километров, почти в беспорожном, прозаическом низовье у Трёх Ок.

Перед ущельем Ока замирает, разбивается на рукава, нежится между песчаными островами, но буквально через два километра собирается в тугую струю и мощным коротким рывком режет вставший на её пути Восточный Саян на левые и правые отвесные скалы.

Предчувствие входа в Орха-Бом! Тревожная радость. Встреча с опасным, первозданно-диким другом-соперником. Сюда не заходят моторки, здесь нечего делать на резиновой лодке. Здесь всё очень серьёзно и смертельно опасно, около двадцати шести порогов пятой и четвёртой категории сложности, валы от трёх до шести метров. Это поединок. Здесь ещё достаточно безлюдно, а потому и чисто.

На одном из песчаных островов, как раз таки на Заячьем, мы погоняли зайчишек. Восемь здоровенных мужиков с гиканьем, вприпрыжку... Выстрелы. Добыли двух. Жалко дурашек. Живые ещё глаза припорошены песком, мягкая шерстка...

И вот мой первый порог, я даже и заметить ничего не смог, так, покачало слегка, помакал как мог веслом — и всё; швартовка по левому, моему борту. Разбиваем лагерь, ошкуриваем зайцев, мы в Орха-Боме!

23 августа. После вчерашнего вечернего дождя остались мокрыми трава, мох, деревья. И над всем этим, сырым и прохладным, — голубое, чистое небо. Но солнце поздно заглядывает в ущелье, не раньше одиннадцати утра, а сейчас только девять. Позади первая ночь в Ложе Дьявола. Катамараны разгружены и вытащены на берег, спас-концы надёжно привязаны к деревьям. Сегодня обедаем и уходим в радиальный поход. По «золотой речке», за золотым корнем. В лагере остается лишь Судленков, или просто Палыч. Уходим на две ночёвки, как раз за это время, Бог даст, спадёт, высветлеет вода и начнется рыбалка. Как мы надеялись и как мы ошиблись! Но всё по порядку.

Четыре часа крутого подъёма, много солнца, брусники, голубики, можжевельника, шикши, следы кабарги, сохатого. А вот здесь поработал «хозяин»: разорил барсучью нору, выкопал целую яму, легко, как гальку, разбрасывая валуны. Прямо на тропе свежий медвежий помёт. Жарко. Шумят, переговариваются быстрые, живые ручьи и речушки. Жара, резкая, жёсткая, горная. Идётся тяжело, но это не значит, что плохо. Радостно, светло, чисто на душе. Тысячу лет не ходил с рюкзаком. К 16:30 дошли до границы леса, здесь у полуразрушенной зимовьюшки и отаборились. Перекусили. Дальше — разведка боем, это ещё два часа подъёма, налегке, без рюкзаков, и вот цирк: три озера, серый курумник, речушка, и всё это в высокогорной чаше, залитой всклень вечерним солнцем. Корень есть. Можно брать. Не зря били ноги. Уйдём не пустые. Но основной сбор будет завтра, а сейчас надо определиться с наиболее урожайными местами и — спуск на нашу временную базу.

Спуск занял полчаса.

Сумерки, костёр. Ужин. Надвигается точь-в-точь южная ночь. А ведь действительно, южная, мы на одной широте с Днепропетровском. Чудесная, тихая, чернильно-чёрная ночь, не разбавленная жидким светом городских фонарей, с тишиной, цельной, полной, густой. И только дым от костра тремя млечными тропками тянется к светлой долине Млечного Пути. Боже, сколько звёзд! Какой яркий, бездонный, втягивающий в себя мир! Господи, спасибо за хороший, полный день и дай нам на завтра солнца и удачи!

В общей сложности у нас было сегодня восемь часов серьёзной горной ходьбы, и, уже засыпая, я вновь вижу тропу, плотные, как в шубах, кедровые ущелья, а один особенный, он похож на крест или на лиру, на лиру или на крест... Брусника, голубика, шикша, чуток чёрной смородины... Нигде не спится так полно и отдохновенно, как здесь, под этим чистым, горным, близким и далёким небом.

24 августа. Подъём в 9:00. Завтрак — и на корень. Взяли с собой «ССС» — сало, сухари, спирт и одну кружку, не поход — обжираловка. Часов до трёх по полудню было чудесно: солнышко, вода, правда, золотой корень к этому времени уже изрядно мне надоел. А мужики брали хватко, жадно. Я же не большой охотник до всякого собирательства, будь то хоть лесная ягода, хоть корень, хоть вишни в южном саду моей покойной бабушки. Не азартное, кропотливое, тихое это дело. На рыбалке, да на харьужовой, куда веселее. А тут и солнышко устало смотреть на наш нудный труд, спряталось за тучи, всё стало серым, чужим, ударил гром, пошёл крупный косой дождь, да всё чаще, всё навязчивее. И мы свернули сбор. Цирк остался за нашими спинами один на один с тремя свинцовыми озёрами, мороком и туманом. Гружённые товаром, мы двинули вниз, к зимовьюшке, гоношить костёр, сушиться, ужинать.

25 августа. Проливной дождь. Он шёл целую ночь. Крыша в зимухе — решето, от капли не увернуться, вымокли за ночь напрочь, от спальников до тросов. Поутру спешно возвращаемся в базовый лагерь на Оку. Греемся ходьбой, только она и спасает. Вода сверху, вода под ногами. Речушки превратились в реки, ручьи — в бурные потоки. Брод за бродом, собачку Травку, что была с нами, пришлось переносить на руках. Спустились. Боже мой! Как вздулась Ока, как забурилась! Какая тут рыбалка! Вода цвета кофе с молоком и на прибыли. Мелкий мусор, плавник, вырванные с корнем деревья — и всё это несётся, питаемое дождём и туманом, рушит песчаные берега, подтачивает скалы.

Палыч за время нашего отсутствия успел поймать с десяток большущих жирных налимов. А у нас не получается развести костёр, так всё пропиталось влагой. Необходима уха, спирт и — спать. Все устали. Мокро. Неуютно.

После двухчасовых потуг костёр всё же разгорелся, уха удалась, белое налимье мясо, много спирта...

У Палыча есть такая удивительная застольная команда «Быть добру!». Сие означает, что больше не наливают. И у нас был заведён, опять же Палычем, такой порядок — на завтрак, обед и ужин каждому участнику похода положено сто грамм для аппетита, сугрева, куража или ещё для чего там, не ведаю, но положено. Просто сдвигаются кружки, кто сдвинул — тому налили, не желаешь, не подставляй кружку, не соучаствуй. Все очень просто, ненавязчиво и разумно. Когда налитая соточка поднята, когда уже чокнулись, побурхали и выпили, Палыч роняет над столом своё небрежное, но беспрекословно выполняемое «Быть добру!». И — баста. Разливала закручивает пробку и убирает под стол бутылку. Но всякие, даже очень строгие и разумные правила, имеют исключения. И вот Палыч сказал: «Быть добру!», раз — налили, выпили, закусили, смотрим друг на друга. Палыч сжалился и сказал: «Быть добру!», два — вновь разлили, выпили, потом — три, четыре, пять... Разгулялась душа, согрелось тело, мы читали молитвы и пели песни, целлофановый полог хранил нас от дождя, костёр пьянел вместе с нами и разгорался всё ярче. За вечер уговорили четыре литра разведённого спирта.

26 августа. «А поутру они проснулись»... А что делать? Конечно же, проснулись.

Я спал в обнимку с костром, точнее, с валуном, лежащим возле костра, и сильно обжёг тыльную сторону правой ладони. Образовался пузырь. Палыч, как Будда, неестественно прямо застыл с закрытыми глазами за столом, он так и не вставал из-за него со вчерашнего вечера. Олег Дудник тоже за столом, голова упала на руки. Остальные, похоже, добрались до палаток. А дождь так и не угомонился. Ока вздыбилась пуще прежнего, вчера ещё сухая протока стала рекой, но самое невероятное — на месте нашего катамарана лишь обрывок спас-конца, сиротливый, мокрый, жалкий, одинокий. А катамарана нет, нет — и всё тут! Второй катамаран, слава Богу, на месте. Часть продуктов и несколько фляг вода унесла в протоку и в основное русло. Ну, ладно. Что там по распорядку? В 9:00 завтрак — завтракаем, и — «Быть добру!». Ни охов, ни ахов, просто какое-то тупое похмельное удивление — вот это да!

Палыч пошёл вниз по реке искать катамаран. Вернулся с одним огурцом и куском сала. Это всё, чем сегодня поделилась с нами река-разлучница. Катамарана нет. Малой кровью отделаться не удалось. Придётся строить новую «посуду». А из чего? Гвоздей, и тех кот наплакал.

Физически ощущается замкнутость пространства, узость ущелья. Солнце где-то карабкается в гору, а у нас лишь туман по скалам, предчувствие солнца. Вечером же солнышко бежит из Орха-Бомы сломя голову. Только-только успел подсушить спальник, а уж холод течет, торопится по ущелью.

Итак, на сплав вышло два катамарана. На одном командиром Николай Смирнов. Этот катамаран уцелел. На него шьём дополнительный баллон, увеличиваем грузоподъемность. Николай возьмёт основную, самый тяжёлый груз. Второй катамаран, Сергея Павловича Судленкова, строим заново.

29 августа. Это «великое сиденье» надоело, хочется рыбалки, чистой воды. Кстати, о воде — она на убыли, но ещё очень велика и мутна. Протока же обмелела, и нашлись фляги, большая часть продуктов и вещей. В обед промчались три лёгких катамарана из Перми. Красиво, быстро прошли, отличная экипировка. Мы строимся. А вообще, за последние дни мимо нас пробежало катамаранов пятнадцать: Курган, Уфа, Пермь, Москва... Почти вся Европейская Россия. Оно и понятно, столь популярный и близкий Кавказ сегодня опасен. Дальний Восток — слишком дальний. А вот Бурятия, Иркутская область — в самый аккурат, снял с Интернета лоцию — и на поезд.

В 15:00 пришвартовались ребята из Ульяновска — Андрей, Дима и Вова. Встали рядом на ночёвку, поделились гвоздями, поужинали с нами. Все трое закончили Ульяновский университет, экономисты. Андрей работает в банке, Володя производит УАЗы, Дмитрий продаёт их. Заметил одну закономерность (на реке у нас было много встреч): туристы-водники, да и вообще, просто туристы, в основном люди с высшим образованием, вот и наши два саянских экипажа не исключение.

1 сентября. Час в час две недели похода позади. Где-то детишки пошли в школу. Мы дошли, достроили катамаран. Дождь вчера кончился, а солнышко сегодня так и не появилось. Если в районе Орлика преобладала лиственница, то здесь флора побогаче: кедр, ель, пихта. А какие тополя! Могучие, в обхват толщиной, с морщинистой вековой корой, с кронами над елями, но не пирамидальные, не южнорусские. Хотя прибрежный лес слегка и напоминает юг. Шуршат под ногами листья, прелый, прощальный запах осени... Только ели и мох возвращают в действительность, в горы, в Бурятию.

В пятом часу вечера сворачиваем лагерь, загружаем катамараны и уходим. Но как высока, мутна и быстра вода, её скорость достигает двадцати километров в час. Ульяновцы делают с нами стол, кров и речку, они решили сплавляться с нами. Значит, идём тремя экипажами. Виктор Надь перешёл на ульяновский катамаран командиром. Дело в том, что ребята рассчитывали на сплав третьей категории сложности, на лёгкую прогулку по воде. Но Ока решила по-другому. Сегодня река поднялась до пятой, почти высшей категории, и втроём, по лоции, с одним новичком (Володя впервые на катамаране) сплавляться очень опасно, по Оке полно памятников. Вот Надь и ушёл на ульяновский

катамаран. А это значит, судленковский экипаж сократился до трёх человек: я — полный «чайник», опытные Юра Гавриков и Палыч. А Палыч уже двадцать лет на реке, он её хозяин, ему лоции не нужны, пройдем. С Богом!

Мы двинули первыми, за нами Смирнов, ульяновцы с Надем замыкают поход. Прошли около четырёх километров, и вдруг сильнейший накат слева, меня отбрасывает на палубу, не помню, как успел за что-то ухватиться и не выронить весло. Груз сдвинулся вправо и придавил Палыча (мы сидим с ним по диагонали — я левым передним матросом, у него правое заднее командирское место). Катамаран стал плохо управляем. Судленков орёт:

— Работать, мать перемать!..

Валы огромные, я уже выровнялся «в седле» и едва успеваю цеплять веслом воду. Всё! Дальше плыть невозможно. Команда Палыча — уходим в левый отстой. Швартуемся прямо перед Бурятским порогом. Все три экипажа дошли без потерь. Командиры уходят к порогу, на совет. Долго судят, рядят, прикидывают и так и этак, бросают палки в воду и решают — на ночь глядя не рисковать. Слишком коварны «бочки», слишком быстра и высока вода. Разгружаемся, ставим лагерь. А лес уже начинает желтеть, пока лишь пятнами, но скоро поползут по хребтам жёлтые, красные гривы, а там, за первым снегом, недалёк и листопад.

3 сентября. Третьи сутки стоим перед Бурятским порогом. Ждём воду. Ока приходит в себя, но, ох, как медленно, нехотя! Клёва нет совсем. Мутняк. Вершины гор уже покрыты снегом. Вчера шёл дождь, а сегодня свою силу пробует солнышко, но туман, сговорившись с облаками, сильнее. Ульяновцы переделывают, расширяют до нужных пропорций свой катамаран.

Странно, более двух недель в походе, но почти не тянет домой, точнее, в город. На реке спокойней, чище. Лакомлюсь жимолостью и смородиной. Смородина здесь интересная — кусты в мой рост (метр восемьдесят), а ягода мелкая, чёрная. Это горная кислица, она тянется из курумника к небу, возвышаясь над неподвижными валунами.

После обеда грузимся и уходим. Сразу перед нами Бурятский порог. Тревожно. Но страха нет. С молитвой берусь за весло: «Господи, благослови, спаси и сохрани!» Чётко, быстро, грамотно проходим порог и швартуемся, таборимся на правом берегу. Уже вечер, скоро ужин, ещё один день промелькнул, сгорел. Палыч пошёл порыбачить. Наблюдаю за работой профессионала, этот мужик поймает и в бассейне, куда и не запускали рыбу. А тут Орха-Бом, вечерка, правда, вода мутновата. Одна проводка на грузовую снасть, вторая — есть хариус! Ещё один! Значит, пошло дело. Дожить бы до утра.

4 сентября. Что бы я ни делал — шёл в «радиалку», строил катамаран, плыл, грёб, обедал, спал — всю эту бытовуху питала, пронизывала одна великая страсть — рыбалка, вернее, ожидание рыбалки. Это как болезнь, как неутолённая жажда. Я уже полмесяца у реки, рядом с этой красивой строптивой девкой-Окой и — ни одной поклёвки. И вот сегодня утром случилось! Быстрая вода, хариус клюёт резко, неожиданно, безо всяких прелюдий и раздумий, на «потоп». Подсёк. Удилище выгнулось, задрожало, как самую великую драгоценность вывожу... Всё! Мой красавец на берегу, небольшой, граммов на триста, хариус. Но первый, самый желанный. Руки дрожат. Забрасываю снова, опять удача, не помню, как закурил, сигарета обжигает пальцы. Оглядываюсь — сверху стоит и улыбается Палыч, взглядом спрашивает: «Как дела?» Я поднимаю большой палец — всё отлично, получилось!

Семь лет я не рыбачил на «мух», а на грузовые вообще рыбачу впервые, и вот дождался. Смог. До обеда поймал двадцать шесть хариусов от ста до восьмисот граммов. Первый голод был утолён. С этого дня началась Рыбалка, речка уступила, посветлела и отдала нам свою рыбу. Но вот что хочу заметить, «дурной» рыбалки не было, хариус и в верховьях хариус! На голый крючок не берёт, необходима «правильная муха», точная проводка, необходимо знать и чувствовать воду — струя, отстой, ямы и прочее.

К вечеру рядом с нами пришвартовался экипаж из Москвы. Тайга толкает людей друг к другу. В гостях у Её Величества Тайги либо вместе, либо не выживешь. Здесь даже мелкие ссоры, недоделки, недоброжелательность чреватые трагедией. Поэтому люди, встречаясь на тропе, на реке, поднимают в приветствии руки, желают друг другу здоровья.

Ужинать за общий стол нас село шестнадцать человек. Восемь саянцев, трое парней из Ульяновска и пятеро москвичей. Решили: самый сложный участок реки — Слив, Трек, проходить всем вместе, четырьмя экипажами. Москвичи отлично экипированы, у них надёжный маневренный катамаран, они бывалые, хорошо подготовленные ребята, это далеко не первый их сплав. Ну что ж, завтра предстоит серьёзная, опасная работа, а сегодня весёлый, шумный ужин. Знакомьтесь: Андрей — командир московского экипажа, опытный водник, в миру — майор, пожарник со Старой площади. Татьяна — его жена, работает в системе МВД, в походе отвечает за видеосъёмку. Василий — безработный, в недавнем прошлом служил в охране адвоката Япончика. Павел — бывший армейский разведчик, сейчас автослесарь. Наталья — занимается компьютерными программами, единственная не москвичка. Живёт то в Гамбурге, то в Питере.

5 сентября. К обеду наши четыре экипажа встали перед Сливом. Командиры ушли к порогу, совещаются, обсуждают, прикидывают, как лучше его пройти. Татьяна с видеокамерой пристроилась прямо напротив Слива, на правом берегу, на скале. Она будет снимать прохождение. Солнышко припекает. Мы паримся в «гидриках» у катамаранов. Леха Смирнов задремал. Юра Гавриков невозмутимо таскает со струи харюзишек.

Ждём-с.

Прошёл час. Как известно, хуже всего ждать и догонять. А что остаётся? Внешне всё тихо и спокойно, но нарастает, живёт, шевелится в такт шумящей реке нетерпение — скорее бы! Душа мечется, тянется к быстрой воде, к действию.

Наконец-то показалась процессия, Судленков впереди. Идут молча. Неужели сплав отменяется?! Нет, Палыч впервые за весь поход надел спасжилет. А это что-то да значит!

Москвичи отчаливают первыми, круто, красиво выходят на струю. Здесь река так резко падает вниз (отсюда и Слив), что мы карабаемся вверх по курумнику, дабы увидеть прохождение. Катамаран щепкой, с подскоками несётся по валам, делает вираж у скалы, где сидит Татьяна, и швартуется. Молодцы! Теперь они будут ждать нас, заберут Татьяну и замкнут прохождение.

С остервенением качаю левый баллон нашего катамарана. Мой баллон. Я на нём сижу. Он безбожно, постоянно спускает. Теперь десять человек ждут лично меня, это нервирует. Палыч сухо бросает: «Хватит, пошли». Да, здесь не успеешь и лба перекрестить, ну... с Богом! Главное, услышать команду и чётко её выполнить. Всё сейчас в руках Судленкова, всё зависит от его опыта и чутья. Козырёк каски сполз на глаза, весло на изготовке, я весь вытянулся на стремени, перед глазами скачет, несётся под катамаран вода. Краем глаза успеваю заметить скалу с Татьяной. Пролетели Слив, вошли в Трек, на повороте пришлось поднатужиться, Юру выбило из седла, я успел зацепиться за воду. Кружится, вертится, беснуется передо мной Ока, заливая по пояс. Хорошо, что козырёк закрывает горизонт, меньше видишь — чётче выполняешь команды. Надо просто в полный напруг, неистово, постараться отработать. Захватывает азарт — кто кого?!

Не было ни растерянности, ни страха — полная сосредоточенность и настырная уверенность — делаем всё, что должно, и выиграем.

Палыч грамотно провёл катамаран, мы отработали, как смогли. Двадцать минут сплава показали одним стремительным рывком. Все мы — четыре экипажа — успешно пришвартовались на Проспекте Туристов. О Проспекте особое слово. Это расслабуха, перекур, перекус после тяжёлой работы. Это средней величины плёс по левому берегу Оки с пологим просторным песчаным берегом, где хорошо сбросить мокрые сапоги и побродить босиком. Высокие сосны, оборудованные кострища. Здесь туристы оставляют подарки. Вот бюст Ленина, перед ним рюмка и телефон. Вот баночка для почты, можно оставить записку, её кто-нибудь когда-нибудь прочтёт. Наш привал продлился два часа. И опять сплав. После Проспекта Туристов прошли ещё восемь километров, преодолели два порога. Было, конечно, проще, чем на Слив и Треке, но в Орха-Боме совсем просто и легко не бывает.

Встали по левому берегу Оки, в глубоком отстое. Берег завален плавником. Хорошо — проблем с дровами не будет. Устали. Солнышко село, вечереет. Снег спускается с гольцов всё ниже и ниже, доходит до зоны леса. А лес всё желтее и желтее. Разбили лагерь. Ночлег. Долгожданный отдых.

6 сентября. Какое свежее, светлое утро! С инеем, с надеждой на тёплый день. После завтрака Палыч даёт самую замечательную, самую желанную команду — «Всем рыбачить!». Выполняю бегом. Потихоньку привыкаю к реке, начинаю чувствовать её. Вот тут ямка, пускаю поплавок рядом со струей — есть! И хороший хариус. Второй помельче, третий — и тишина. Бегу дальше. Берег просторен, есть, где разгуляться. А какое горячее солнце, какая гамма: голубой, жёлтый, белый, зелёный, серый, стальной цвета. Поплавок бежит по воде, бац, зацеп! Ладно, раздеваюсь догола и отцепляю «муху». Вода обожгла, солнышко согрело. Сижу, шурюсь, нежусь на солнце, никуда не тороплюсь, не дергаюсь. Блаженное одиночество, оно покоится на единении с Природой, с Богом.

В обед ульяновцы Андрияха, Дима и Вован прощаются с нами. Им пора, их ждёт мир, суета, работа. Наш стол стал на трёх человек короче. Жаль расставаться, мы уже привыкли друг к другу. Потом, уже из Ульяновска, они позвонили в Саянск, мол, добежали, добрались без проблем, обещали прислать фотографии. Удачи вам, ребята!

К вечеру подвёл итог — четыре десятка хариусов, неплохо, и Олег отлично отловился. Но за Палычем не угнаться, его рыбацкая сумка тянула килограмм на двадцать, двадцать пять.

9 сентября. Сплав продолжается. Первую рыбацкую жажду я уже утолил. Нет прежней суетливой дрожи, просто очень хочется на рыбалку. А времени на неё остается очень мало. Рыбачишь, как подворываешь, украдкой. Большую часть времени сжирает катамаран: ремонт, шитьё, подклейка и беспрерывная подкачка. Нет, на «целлофане» ходить нельзя, а на что-то более приличное не хватает средств. Но утром до завтрака, если не полениться и пораньше встать, всегда можно спокойно поблеснить. Вот Олег Дудник и прочёсывает своей «мышью» широкий плёс. Мы с Витей Надем собираемся сплавить на «резинке», на ближайший остров, там нашлись останки нашего первого катамарана — ножки да рожки, но с блудной овцы хоть шерсти клок. Натягиваю бродни Юры Гаврикова, своих у меня нет. Вдруг крик: «Па-

лыч, что делать?!» Это Олег. Короткий титановый спиннинг слегка выгнулся, катушку, поставленную на трещётку, не удержать. Олег пробует подтянуть — бесполезно. Мы сгрудились на берегу — «болеем». Пальцы советуют: «Отпусти, поводи, помучай». Леска «ноль шесть» дрожит струной, вода забурилась, показался огромный лиловый хвост. Минут десять величайшего напряжения, борьбы. Таймень сходил вниз, потом Олег повёл его против течения, с трудом, но успешно обогнул валун — и вот он — берег, совсем близко, но как мелко, как катастрофически мелко! Рыбина скользит брюхом по камням, она уже вся снаружи. Последние критические мгновения. Оглядываюсь — все только со сна, в тапочках, я один в броднях, и я молча решаюсь — оскальзываясь на покрытых водорослями камнях, сторожко, но по возможности быстро обхожу тайменя сзади. Ну, Олег, чуть-чуть подтяни и замри! Вот так. Рыба устала, нет, это не рыба, я таких больших не видел, это чудище какое-то. Примерился, попробовал ухватиться за жабы, таймень шевельнул хвостом — и я упал на колени. Неудача. Олег вновь подтянул леску, таймень замер, делаю второй бросок — руки под жабы, рывок, выпрямился, поднимаю, не чувствуя веса, рыба голова у груди, хвост хлещет по воде, несколько шагов к спасительному берегу — и таймень извивается на песке у ног победителя, у ног Автора! самого счастливого сегодня человека — Олега Дудника! Щёлкают фотоаппараты, работает видеокамера москвичей. Первое ощущение — нереальность всего происходящего. Неужели удалось?! Такая удача выпадает раз в жизни: таймень длиной в сто тридцать пять сантиметров и весом двадцать пять — тридцать килограмм! Но мало этого, Олег сделал несколько судорожных затяжек, таймени ходят парами, и он пошёл за вторым. И минут через пятнадцать поймал второго тайменя. Правда, помельче, рыбаина вытянула «всего» килограммов на десять. Я ассистировал Олегу, как и в первом случае — за жабы — и на берег.

А вечером была уха из тайменя, вернее из его потрохов, плавников и головы. Жирная, густая, настоящая уха. Да и вообще, наши речные ужины достойны пера Гиляровского. Вот, например, ужин от десятого сентября двухтысячного года: на первое — уха из двадцати шести мелких хариусов (по две рыбки на брата), четырёх налимовых голов и потрошков. На второе — потрошки хариусовые (печень, сердечко, жир), тушённые на противне с луком и морковкой. Плюс четыре жареных полутоннаграммовых налима. Тушили и жарили москвичи на отличном австрийском топленом масле. На третье — чай трёх видов: чай обыкновенный, чай курильский — с курильской травой, каменным зверобоем и смородиновым листом; чай из карагана (бурятская верблюжья колючка). Сухое молоко и сахар по вкусу. За стол нас садилось тринадцать человек — мы и москвичи. Ульяновцы уже уехали. Не смею утверждать, что так мы питались ежедневно, то был праздничный ужин. А в будни — китайская лапша, супы с тушёнкой, вермишель, сухари, спирт — обычная, нормальная походная еда, плюс уха из хариусов, её мы ели каждый день, и не надоедало.

11 сентября. 8:00 — подъём. Рыба не ловится, ремонтируем наш катамаран. Подремонтировали, подкачали, загрузили «посудину» и к обеду пошли дальше.

Ближе к вечеру пришвартовались к острову, пробежались — ягода есть. Будем брать. Ставим лагерь. Палыч ушёл охотиться. Жрать хочется чертовски.

Вот к красавцу листвяку двухсотмиллиметровыми гвоздями прибита табличка: «Тобольск 97–98 г.», ниже то же самое сделали омичи, но уже в 1999 году. Молодцы, молодцы, братья-водники, в живое, сталью, дабы увековечить своё человеческое, тщеславенькое, меленькое...

Мы прощаемся с москвичами. Вышел и их срок. Фотографируемся, пошла по кругу традиционная кружка, Палыч каждого с ложки «причащает» хариусовой икрой. Пока, ребята! Московский катамаран ловко увернулся от прижима, поймал струю и зашпешил вниз. Всё, мы остались одни. Вечером рыбалка. Не чувствую, что поймал, нет чувства реки и азарта. И — ничего не поймал. Два схода и два секача, которых отпустил. Пришёл в лагерь пустой и опустошённый. Мужики поймали хорошо. Понедельник. Остров моего невезения.

12 сентября. 9:00 — подъём. Впервые захотелось в город. Чуточку, легоньким сквознячком потянуло — в машину бы, да в эту кутерьму из огней, домов и дорог...

У Бугрова кончились сигареты, он бросил курить, железный мужик. У меня осталась одна пачка. Скоро эта проблема встанет перед всеми.

Собираем бруснику, ягода есть, не ковром, но брать можно. Над нами пролетают самолёты, высоко, далеко... Ночью, звёздочками по небу — спутники. Вот и все вестники цивилизации.

Собрали семь ведёр брусники, практически всё, чем был богат остров.

Вечером, с половины седьмого, рыбачил на верховую снасть, поймал штук пятнадцать хариусов, но мелких, всего с пяток средних.

13 сентября. 7:45 — подъём. Ушёл рыбачить. Блеснил. Поймал леночка, грамм на восемьсот. Солнышко, здравствуй! Хорошо-то как! К обеду жарко. Выдалась свободная минутка — искупался. Вода ледяная, но какое солнце! Песок горячий. Тело, обожжённое водой, жадно впитывает, лакает солнечный жар, ветер срывает жёлтые листья. Фантастика, сентябрь, горы, Сибирь!

Где-то в три часа пополудни загрузили катамараны и вышли, с трудом (со второй попытки) преодолели прижим, пройдя в полуметре от скалы. Шли рыбача. Хариус клевал, но всё моё время жирила подкачка моего же баллона.

Ока прозрачна. Отчётливо видно, как круто река катит вниз. Стало облачно, но от скал пышет жаром, встречный ветер порывист и тёпл. Где-то далеко впереди лесистая сопка, вся жёлтая от осенней лиственницы и солнца.

Работаем вёслами. Тяжело. Жмёт время, медленно, упорно пробиваемся на Тайменный плёс. Слева на каменной косе, метрах в трёхстах от катамаранов, по ходу их движения — медведь, у самой кромки воды. Лениво, чинно оглядел нас, отвернулся и спокойно закосолопил в прибрежный лес.

В 21:00 пришли на Тайменный. Это «дача» Палыча. Он явно рад встрече с «домом». Скалы расступились, просторное небо, лесистые многочисленные сопки, над которыми возвышаются гольцы, практически бесснежные. Снег сошёл. Небо — облака и звёзды. Тихо. Тепло.

На Тайменном прожили шесть дней. Начали с оборудования лагеря: стол, лавки, таган, коптильня, баня. Прошедшее наводнение наделало бед, пришлось всё строить заново.

15 сентября. Баня! Баня в походе — это событие! Событие долгожданное и радостное. Туристическая баня делается так: наваливается большая груда камней, обкладывается дровами. Костёр поддерживается часа три, четыре. Потом головёшки отбрасываются, и раскалённые камни накрываются деревянным каркасом, обтянутым плёнкой. Всё, баня готова. За неимением пихтовых — пользуемся кедровыми вениками. Охлаждаться бегаем к Оке. Хорошо! Напарился, как выпрямился. А главное — совсем не хочется курить! Всего у нас в походе было в достатке, а вот с куревом просчитались. Но нет худа без добра, теперь я точно знаю, что пять сигарет в день — это много, это роскошь. Ладно, скажу скромнее, этого достаточно, чтобы удовлетворить никотиновый голод и получить удивительное наслаждение от выкуренной сигареты.

После бани меня и Алексея Смирнова посвящали в водные туристы. Мы прочли клятву, выпили забортной воды и были готовы... к новым походам.

Неделя пролетела мигом за ягодой и рыбалкой. Двадцатого сентября добрались до Трёх Ок. Орха-Бом попрощался с нами сильным встречным ветром и дождём.

21 сентября. К вечеру пришли в Мойгэн. Грустно, поход подходит к концу. Мойгэн — это три ладно, прочно срубленных зимовья, баня, столовые. Зимушки строили в 1993 году из здорового неподсохшего дерева, которое до сих пор радует глаз своей первородной желтизной, прочностью. Здесь уже восемь лет хозяйствует, промышляет охотой и рыбалкой пятидесятирёхлетний Михаил Мудрый. С ним делят нелёгкий таёжный хлеб две лайки: мощный красавец Барс и белая сучка Тайга. На Мойгэне мы нашли радушный приём и тёплый ночлег, а главное — курево! Спасибо Мише за кров и махру!

Эти зимовья строились в расчёте на иностранных охотников. И действительно, в первой половине девяностых приезжали норвежцы. Добыли несколько медведей. Были охотники из Тюмени. Но большую часть времени зимовья стоят пустые, чисто убранные, с звериными шкурами на полатах. Ждут гостей. Но, увы, или к счастью, река здесь совсем малолюдна, хотя до Мойгэна можно дойти на моторке. Да и вообще, туризм на Оке дикий, никакой туризм, личное, на свой страх и риск упражнение одиночек.

22 сентября. Пока, Мойгэн, пока, Миша, нам надо торопиться, впереди оклоло ста километров до Верх-Оки.

В 17:00 швартуемся на Игноке. Готовим перекус. Здесь стоит одна зимовьюшка, хозяином — Сергей Михайлович Плотников, охотник с двадцативосьмилетним стажем. Пожилой, уставший мужик, проживший на этом свете семьдесят один год. Старость гулкая, горькая, с добрыми, выцветшими голубыми глазами. Он на Игноке безвыездно уже лет десять. Жить одному тяжело, но деваться некуда, в дом престарелых не хочется. На днях докопал картошку, одиннадцать кулей, на зиму хватит. Капусту в этом году не сажал, близко река, да сил нет поливать, ноги не ходят, успеть бы заготовить дрова, впереди долгая, долгая зима. Прощаясь, Михалыч всё предлагал и предлагал сигареты, приговаривая, что не поделится в тайге куревом — грех.

23 сентября. Утро. Иней. Последний день на воде. Это я сейчас знаю, что последний. А тогда — лёд в кружках, солнышко сверху, костёр сбоку и впереди шестьдесят пять километров тихой, медленной воды.

Прошли Арзаму, Тугултуй. На всём протяжении нам встретился лишь один порог — Белый Вал, да и тот мы ловко обогнули, а так — плёсы, шиверы, прозрачная вода, бегущая вперёд, к дому.

Почтенно преклонив одно колено, с веслом наперевес, сижу на катамаране в полупоклоне перед изумительной Окой, перед этой тёткой, девкой, сестрой. Мы долго были вместе, и вот пошли последние часы.

Когда причалили, покачивало от восьмичасовой вёсельной работы. В 20:20 на окраине Верх-Оки в сумерках поход закончился. Мы дошли, Примачек дождался.

Мы соприкоснулись с великой Чистотой. Спасибо всем! Спасибо Реке, спасибо Тайге, спасибо вам, мужики!

P.S. Минуло вот уже полтора десятка лет со времени того похода, я открыл пузырёчек, куда собирал пихтовую смолу — ею я мазал, лечил обожжённую в начале похода руку. Пузырёк, конечно же, давно пуст, но запах! Запах тайги, пихты, похода — жив. И рука жива, даже шрамов не осталось, только — память, одна лишь память. В сердце.



НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ



Россия — держава разящего Слова...

Берег осени

Всё более яркой янтарною пенкой
сентябрь листву золотит день за днём.
Ещё один день — и вся гамма оттенков
на рощи и парки прольётся огнём!

Ночь скатится в тени, как в узкие щели,
и лес придорожный окажется вдруг
весь красным, как киноварь, где только ели
чернеют, войдя в этот огненный круг.

В семнадцатом веке вот так старoverы
в невяньских иконах свой огненный дух
в багрянец и охру вливали без меры,
спаяв воедино восторг и испуг.

Ещё один день — и костром Аввакума
взовьются леса, унося в небеса
сгоревшие души берёз, что угрюмо
останутся мёрзнуть и ждать чуда.

Листок на ветру, как посланье в конверте,
помчит, вопрошая: «Доколе ж терпеть?» —
и высь отзовётся: «До самых смерти...»
(А после — веками среди ангелов петь!)

Кончается в жизни любая дорога,
но надо ль грустить, что недолог был путь?
У Бога — небесных обитателей много,
в любую входи и как дома в ней будь!

ПЕРЕЯСЛОВ Николай Владимирович. Родился 12 мая 1954 г. Поэт, критик, прозаик, эссеист, переводчик стихов национальных и зарубежных поэтов. Член Союза журналистов Москвы, Международной Федерации журналистов, Международной Ассоциации писателей и публицистов. Секретарь Правления Союза писателей России. Действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Славянской литературной и артистической Академии в Варне (Болгария). Делегат 1-го Российского Литературного Собрания с участием Президента России В.В. Путина (21 ноября 2013 г.). Участник 1-й Международной поэтической конференции в Каире и 1-го Международного фестиваля поэзии стран Азии во Вьетнаме. Работал шахтёром, геологом, журналистом, директором Самарского отделения Литературного фонда России, помощником мэра Москвы (Ю.М. Лужкова). Автор более 30 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов с национальных языков, а также огромного количества публикаций в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Туркменистана, Армении, Грузии, Эстонии, Болгарии, Германии, США, Китая и других стран. Живёт в Москве.

Ну кто мы на дереве жизни? Не больше,
чем листья меж небом и голой землёй.
Нет силы смотреть с высоты нам и — Боже! —
нет силы подумать о встрече с зимой...

Как танки по полю, пугающим ромбом
тяжёлые тучи ползут в небесах.
И нет нам укрытия в мире огромном
под ветреной высью в холодных слезах.

Курлыча прощально, протяжно и громко,
косяк журавлей уплывает на юг.
У берега осени — хрупкая кромка,
опасно стоять у неё на краю.

Очнись! Не смотри в эти мокрые выси —
там холод и смерть, и ничто не спасёт
от ветра, что ловит багряные листья
и их, словно души, над миром несёт...

Зимнее одиночество

Стало холодно. Дует в окно.
А за ним — как в пещере, темно.

Ни далёкой звезды, ни огня —
Только темень глядится в меня.

Смотрит цепко, колюче и зло...
(Хорошо, что меж нами — стекло!)

Я задёрну окно невзначай.
Отойду. Заварю крепкий чай.

Сяду в кресло поближе к огню...
Я холодную ночь — не виню.

Всё от Бога, что в нашей судьбе, —
этот чай, этот ветер в трубе,

эта долгая чёрная ночь,
эта жизнь, уходящая прочь.

Всё — от Бога... Спасибо Ему!
Что ж так горько душе, не пойму?..

Ледяной дождь

Ты останься со мной, пережди
непогоду и грустные мысли.
Над страной ледяные дожди
как стеклянные нити повисли.

Посмотри — вся Россия лежит,
как опасная скользкая горка.
Как бы солнечный сгусток души
не покрыла такая же корка.

Слышишь — ветки трещат за окном,
от нависшего груза ломаясь?
Нелегко жить в плену ледяном,
гнушей тяжести льда не сдаваясь.

Стынет сердце ледышкой в груди.
Новый век, как метель, сатанеет.
Мрак и холод лежат впереди,
и душа от тоски леденеет.

Защитят ли холодную кровь
свитера да из шкур одеяла?
Мир промёрз, как окно. Лишь любовь
в нём чуть видный глазок продышала.

Это наше спасенье! Она —
нас согреет сильнее, чем одежда.
Нам любовь эта свыше дана,
чтобы в нас не погибла надежда.

Этот дождь, что сверкает стеклом,
он — не кара, а только проверка
наших душ и сердец на излом
и житейских трагедий примерка.

Чтоб, шагнув за порог избяной
на простор меж былым и грядущим,
мы любили наш мир ледяной,
веря в то, что он станет цветущим...

Мартовское

Мезень. Мазай спасает зайцев.
В душе тоска. Ты где, Мисюсь?
Мазками солнца, всем на зависть,
март, как Малявин, пишет Русь.

А в вышине — над крыш дворцами,
над хором кошек и собак —
мизинец Моцарта мерцает,
как Марса тлеющий маяк...

В лесу капель звенит мазуркой,
с берёз струится сладкий сок.
А ну-ка, подходи с мензуркой —
прими для бодрости глоток!

Как в сотый раз журнал «Мурзилку»,
листая мокрый старый сад,
весенний ветер, рот разинув,
в просторы устремляет взгляд.

Восстав над сумрачными снами,
взамен зимы сухой и злой,
март птичьи песни, точно зная,
вознёс над мёрзлого землём.

Там, вдалеке от шумных улиц,
раздеты за год догола,
берёзы белые, сутулясь,
спят в ожидании тепла.

Смыв, как застывшую мастику,
снегов заумную мазню,
он, словно мальчиков Матисса,
ввёл в хоровод берёзок «ню».

Мазай мазуриков ушастых
везёт, в долблёнку погрузив.
Спроси его, что значит счастье,
он лишь покашливает в усы!

Ещё морозец бродит низом,
но, чуя ток уже в крови,
март бродит кошкой по карнизам,
горланя песни о любви.

Несутся сахарные льдины
по мутной мартовской воде...
Русь и поэзия — едины.
Мезень... Мазай... Мисюсь, ты где?..

Ноктюрн

Ночная Москва — как огромный кроссворд из горящих
и аспидно-чёрных — погашенных — окон домов.
Налево пойдёшь — ненадёжную радость обрящешь,
направо пойдёшь — потеряешь навеки любовь.

А прямо по курсу — наткнёшься на сотни вопросов,
ответы к которым таятся за дымкою лет.
Решишь хоть один, и считай, ты уже — Ломоносов,
и можешь сложить про себя триумфальный куплет.

Московский кроссворд всё тасует окошек квадраты —
часть окон зажжёт, а другие погасит взамен.
Что нам посулят эти жёлтые яркие карты —
усладу успеха иль горькую горечь измен?

Кто прячется там, за горящими клетками окон?
Какую судьбу в них вписать, чтобы им подошло?..
Ночь мягкою тайной окутала всё, словно кокон,
лишь призрачно светит луна, точно диск НЛО.

Вон там — кто-то молится, кто-то корпит над стихами,
там — кто-то читает Пелевина, тихо плюясь.
А там — кто-то меряет комнату нервно шагами,
браня за свои неудачи соседей и власть.

Вон женская тень в жёлтой раме окна, а над нею —
склонилась мужская, в объятья её заключив...
Разгаданный мною мой город тихонько темнеет,
заполненных клеточек-окон огни отключив.

Над кромками крыш высь источенный плед развевает,
прожжённые звёздами вольно раскинув края.
И полночь зевает... зевает... зевает... зевает...
И вот уж — уснула устало столица моя!..

По мере того как с секундами перетекали
мгновения вечера в ночи звенящий хрусталь —
все те, кто с утра себя числили по вертикали,
вписали себя в многоспальную горизонталь.

Затихли во мраке гудящих моторов раскаты,
недавние боли снесло ветерком во «вчера».
И я возвращаюсь домой, кем-то свыше разгадан
и в клетки кроссворда записанный им до утра.

И сладостный сон овевает меня собой, будто
на свете не стало ни войн, ни болезней, ни ссор.
И падают звёзды с небес, как незримые буквы,
кому-то назавтра готова судьбу, как кроссворд...

Сростки

Над Москвою — латай не латай! —
хляби неба разверсты.
Ну, а мой самолёт — на Алтай,
где берёзки стоят, как невесты.

С высоты, как зелёный паркет,
предстают огороды.
Вот — гора под названием Пикет,
вот — скопление народа.

Свои души раскрыв, как мошну,
где хранились краюшки достатка,
вся Россия идёт к Шукшину,
принося себя в дар без остатка.

Мне б понять — ну хотя бы на треть! —
наши грустные были:

почему надо лишь умереть,
чтоб тебя — полюбили?

Несть в Отчизне талантам числа!
(Только нет им — и ходу.)
Затопили страну волны зла.
Чем спастись народу?

Где найти необманный ответ:
как нам жить в мире этом?..
И идёт вся страна на Пикет —
к Шукшину. За советом...

Ну а завтра опять: «Улетай!» —
жизнь потребует хмуру.
И глядит нам вдогонку Алтай —
по-шукшински, с прищуром...

Сибирский сонет

Опять шумят над соснами дожди.
Опять вконец испортилась погода.
А позади — сплошных ошибок годы
и, Бог там знает, что там — впереди,

где ни тропинки, ни моста, ни брода,
лишь глухо ветер в вышине гудит,
и где из рек, бурля, выходят воды,
как хриплый выдох из моей груди.

А по лугам, полянам и болотам,
под трав сухих и листьев позолотой —
видна повсюду осени рука.

И режут воздух струи дождевые,
а над тайгой, над лесом, как живые,
плывут, как гуси в небе, — облака...

* * *

И снова багровая осень
простёрла над миром крыла...
Давайте у Бога попросим,
чтоб жизнь эта — вечной была.

О счастье мечты в себе носим,
а ходим по горло в крови.
Давайте у Бога попросим,
чтоб дал Он побольше любви!

В тоске расшибаются озёмь
последние листья в саду...
Давайте у Бога попросим,
чтоб Он — отодвинул беду.

Коль душу мы не отморозим
в гуденье январской пурги,
давайте у Бога попросим
прощенья за наши грехи.

Надежды, как листья, уносит
по стылой тропе октябрей.
Давайте у Бога попросим,
чтоб мир этот — стал чуть добрей.

Когда же всё зло с себя сбросим,
и тем побеждён будет бес,
давайте у Бога попросим,
чтоб Он — улыбнулся с небес...

Глядя на облака

Над землёю плывут облака.
Далека их стезя. Нелегка.
То под солнцем плывут, то во мгле,
то дождём шелестят по земле.

Так когда-то, смеясь и звеня,
океан этот примет меня,
дав возможность душе без преград
плыть над миром столетия подряд.

Над землёю плывут облака,
будто гонит их чья-то рука.
Над Смоленском плывут, над Невой,
над моею любимой Москвой.

Ах, как сладко смотреть с высоты
на деревья, поля и цветы,
слышать радостный гул голосов,
видеть буйные гривы лесов!

Над землёю плывут облака
из неведомого далека.
И глядит с высоты, чуть дыша,
в каждом облаке чья-то душа...

Только нужен ли он, не пойму,
этот сказочный рай — одному?
Коль я в небе тебя не найду —
будет хуже мне там, чем в аду.

Так когда-то и я поплыву
в ослепительную синеву,
где сливаются души навек,
будто сотни впадающих рек.

Позови! Я узнаю тебя,
чтобы плыть нам сквозь вечность, любя,
вместе плыть через свет, через мрак —
дай мне знак, дай мне знак, дай мне знак...

* * *

В келье инокa Филарета —
нету видика, Интернета,
ничего не смущает покой.
Только — Библия под рукой.

В келье инокa Филарета
не гремят из столицы приветы.
Он живёт тут один, сам-перст.
Лишь на стенке — распятыe-крест.

В келью инок Филарета
не доходят эпохи приметы.
Но ему и не надо газет,
чтобы знать, что кончается свет.

Келья инок Филарета —
не протоплена, не прогрета.
За окном — зимний ветер свистит...
Но лишь тут можно душу спасти.

Полоса безмолвия

Из нашей эпохи ушли летописцы.
Молчат очевидцы и нет стихотворцев.
Кто словом опишет, как брешут лисицы
на мраком покрытое чёрное солнце?

Кто скажет потомкам о наших потёмках,
о наркопотоках и кровоподтёках?
Кто выведет, как броненосец «Потёмкин»,
роман о цветущих пыреем пороках?

Вы где, правдуробцы? Сюда, борзописцы!
Нацельте на зло свои вечные перья!
Доколе лукавому резво беситься
на нивах унынья, греха и безверья?!

Россия — держава разящего Слова,
фундаментом нашим является Книга.

Здесь столько Апостолам было улова!
Его не избыть до последнего мига.

Народа душа до конца не иссохла.
Она снова учится жить и молиться.
О Боже! Её окропиши иссопом,
дай шанс паче снега опять обелиться!

Пусть грех, словно кашель, из горла исторгнув,
взлетит она в небо, горя, как жар-птица.
И сердце аукнется песней восторга,
спеша свою радость излить на страницы.

Заткнутся злословы. Замрут святотатцы.
Отступят враги пред Господней любовью.
И, слава Спасителя, в мир возвратятся
поэты, захлопнув эпоху безмолвия...

В момент заката

Январский лес стоял, как новодел,
зелёной крышей похваляясь смело.
Корой стволов, как яркой медью, рдел...
И вдруг — как тумблер щёлкнул! — солнце село.

И тут же стала вся лесная глушь —
точь-в-точь, колода из трефовых карт лишь!
(Словно Господь — извёл цветную тушь,
оставив в деле чёрно-белый картридж.)

Лишь белый снег да чёрные стволы
из зыбкой мглы контрастно проступили.
(Как — пятернёй в следах печной золы
от верха к низу по листу водили...)

Между дерев, как между смутных вех,
иду в глубь чащи, точно в глубь колодца.
И лес стоит вокруг, как тёмный век,
в котором вдруг — не стало Бога-солнца.

Расставлены точки. Под ливнем и ветром
осенние дачи отчаянно мокнут.
И странно похожи на письма в конвертах
крест-накрест забитые досками окна.

О, сколько им ждать в бессловесном молчанье,
за вьюгами боль непрочтенья скрывая,
до часа, когда, сургучи распечатав,
жильцы возвратятся, доверившись маю!

Дома — не бездушны. Любые бараки
сложнее, чем просто углы для ночлега.
Нет стен, что в себя не вбирали б характер
за ними ютящегося человека.

Ты помнишь, мы жили с тобою пол-лета
в заброшенном доме над речкою сонной?
Как он изменился! Каким новым светом
лучились — вчера ещё темные — стёкла!

Он будто воспрянул! Весёлую песню
сверчок сочинил, не предвидя потери...
(...Я был там недавно: дом пуст и растерзан,
и я побоялся войти в его двери.)

О боль листопадов! Какие указы
отучат сады от ухода в запой,
когда, незаметно для слуха и глаза,
их неотвратимость заполнит собою?

Всё голо. Всё пусто. Снимаются птицы.
Весна — это сказка, дожить до которой
настолько же трудно, как нам — возвратиться
в тот дом, не поранив сердец о повторы.

Что слыло, то сплыло. (Все реплики — мимо!)
Реальны лишь туч неподвижная серость
да едкая горечь осеннего дыма,
как нить меж сгорающим миром и сердцем...

Судьба театральная



ТАМАРА БУСАРГИНА

ИСКУССТВОВЕД

«Зажигаю днём свечу...»

О ТВОРЧЕСТВЕ ДРАМАТУРГА ВЛАДИМИРА ГУРКИНА

Земля наша щедро рождает драматургов, да мало им жизнь отпускает. В тридцать пять лет ушёл Александр Вампилов, в сорок восемь — Михаил Ворфоломеев и Владимир Удатов (по сию пору никто не ведает, где ныне его десять пьес). В пятьдесят восемь, в пору расцвета таланта, ушёл из жизни Владимир Гуркин, самый сибирский, самый наш по привязанности его пьес к впечатлениям черемховского и иркутского детства и юности, самый широко известный и вместе с тем самый малоизученный драматург, и к стыду нашему, не самый жалуемый вниманием автор в родных иркутских театрах...

Драматург, писатель, актёр, режиссёр-постановщик, сценарист Владимир Павлович Гуркин родился в 1951 году на Урале, в селе Васильево Верх-Городковского района Пермской области. В 1959 году вместе с семьёй приехал в шахтёрский город Черемхово Иркутской области, где пошёл во второй класс. Черемхово — странное место. Ни деревня, ни город, там и народ всё пришлый, с бору по сосенке, где и своими традициями вроде ещё не успели обзавестись, но именно там, в Черемхово, где собрались со всей Руси великой люди крученой-верченой судьбы и принесли с собой со всех весей её жемчужины русского слова, и должны были родиться наши драматурги — А. Вампилов, В. Гуркин, М. Ворфоломеев...

В городе Черемхово, где Гуркин жил с восьмилетнего возраста до семнадцати лет постоянно, всё было как у всех: люди работали, мужчины после работы в шахте, отмыв в бане угольную пыль, садились «забивать козла», играли в шашки, пили «настоящий» самогон, что нередко кончалось дракой и поножовщиной, и что не удивительно — по свидетельству самого В. Гуркина — из пяти мужиков трое были бывшими зэками. Но вместе с тем взаимопомощь и взаимовыручка, доброта и любовь к детям были неизбывны, дети были все «своими» — попробуй кто-нибудь обидеть их, «за своих стояли горой», — вспоминал позднее драматург. Все хотели лучшей доли для детей, строго следили, чтоб они не пили спиртного, не курили.

А было в Черемхово ещё нечто удивительное! Этим не всякий малый город в СССР мог похвастаться — в Черемхово был настоящий профессиональный драматический театр — советская власть заботилась о досуге рабочего пролетарского города. Театр был его сердцем. Под влиянием театра находились все: в школе работал драмкружок, и в квартире Гуркиных, что помещалась в двухэтажном бараке, дети под руководством Володи устраивали спектакли. Нет, даром в душе мальчика поселилась мечта стать артистом. А ещё в городе была хорошая библиотека, она приохотила его к чтению.

В 1967 году мечта Гуркина сбылась — он стал студентом Иркутского театрального училища и, мало того, будучи студентом, стал появляться на сцене Иркутского ТЮЗа, где, с перерывом на службу в армии, проработал до конца семидесятых годов. Иркутск в судьбе драматурга сыграл, возможно, решающую роль. В своём становлении как писателя он отдаёт должное Иркутскому ТЮЗу. Там он встретил Ксению Владимировну Грушвицкую, режиссёра театра. «Уникальный человек в смысле знания театра, литературы. Можно ска-

зять, приобщиться к писательству она мне помогла. И в театре осталась моим учителем. Её репетиции, разговоры до утра — о книгах, пьесах, ролях — явились моей главной театральной школой»¹.

Из-за постоянных перемещений по обширной Сибири, всё огромное это пространство (от Перми до Владивостока) Гуркин считал Сибирью и своей родиной. Многие города считают его своим. В детские годы Володя с семьёй жил в Хабаровске, затем, в молодые годы, по законам кочующей театральной судьбы (жена его, Людмила Худаш, тоже актриса), Гуркины меняли города, жили и работали в Благовещенске, а в 1976–1983 годах — в Омске.

Омск в писательской, актёрской и просто жизненной судьбе драматурга тоже много значит. В Омске Гуркин закончил свою первую пьесу «Зажигаю днём свечу...» («Андрюша. Его история в трёх частях»), написал свою знаменитую народную комедию «Любовь и голуби», постановку которой в Омском академическом драматическом театре (режиссёр Г. Тростянецкий) автор считал лучшим прочтением пьесы. И позже, живя в Москве, куда он и уехал с семьёй в 1984 году, писатель связи с Омском не порывал — в 2005-м Гуркин становится руководителем лаборатории драматургии при театре. Омск был дорог ещё и потому, что здесь родилась дочь Катюша.

Очень интересное наблюдение сделала театровед Светлана Васильева, она обнаружила сакральное число в судьбе Владимира Гуркина. Судите сами: в Иркутске, Омске и Москве он работал по восемь лет, по восемь лет он проработал в московских театрах «Современник» и МХАТ им. Чехова, как режиссёр он поставил в разных городах страны восемь спектаклей, от себя добавим — последнее издание произведений драматурга включает восемь пьес. К этим наблюдениям, конечно, можно отнестись с иронией, но не исключено, что творческая душа Гуркина именно в таком временном интервале созревала к переменам.

В московском театре «Современник» Гуркин работал как актёр и литсотрудник, там двадцать лет с большим успехом шла его комедия «Любовь и голуби». В Москве режиссёр Владимир Меньшов её экранизировал, сделал, по существу, культовым, любимым фильмом миллионов зрителей. С помощью Олега Ефремова при МХАТе Гуркин создаёт творческую лабораторию молодых драматургов, которой придавал большое значение: хотя драматургия дело таланта, но не выучки, ему очень хотелось помочь будущим авторам войти в профессию, «ввести их в контекст высокой этики и эстетики». В Москве драматург окончил Высшие литературные курсы (педагоги — Инна Вишневская и драматург Виктор Розов, которого Гуркин считал своим духовным отцом). В Москве он стал членом Союза писателей СССР. Так что вряд ли можно согласиться с теми, кто считает, что Гуркину Москва пошла во вред, хотя ему, сибиряку, очень трудно было разобраться в столичных правилах игры. «Первым моим местом в Москве стал театр «Современник», там шла моя пьеса, туда меня взяли работать. Я был влюблён в творческих людей, в этот театр. Мне казалось, что и меня привечают, я принимал это за абсолют, верил. Я же вырос среди простых, искренних людей, которые что думают, то тебе в лицо и скажут. Не понимал, что здесь — это лишь форма поведения. Я видел, как некоторые меняли отношение ко мне и не понимал, что это связано с положением на социальной лестнице. То от тебя отвернулись, то расточают ласки, заботы»².

Со временем Гуркин закалился, привык к столичным манерам — «перестало быть неожиданностью, когда бьют по голове и душе»³. Бьют по голове и душе хорошо и в Иркутске, но московские шишки могут быть уравновешены московскими пышками: столичные возможности для продвижения по творческой лестнице для драматурга гораздо шире — недаром Вампилов так стремился в Москву. Всё-таки там Гуркин стал драматургом с именем.

В середине девяностых годов Гуркин вышел в последний раз на сцену МХАТа в своей пьесе «Плач в пригоршню» — он играл вернувшегося после тридцатилетнего отсутствия в родные края Саньку. Николай Чиндяйкин, режиссёр и актёр, коллега Гуркина по театру

¹Мудрик М. Ремарки. Омск, 2010. С. 320.

²Гуркин В. Любовь и голуби. М., 2014. С. 679.

³Там же.

в Омске, считал: «Если бы он не стал великим русским писателем, он стал бы большим русским артистом». Но к этому времени у Гуркина созрело желание полностью отдаться писательству — пишет сценарии по рассказам Шукшина, инсценировку романа Пастернака «Доктор Живаго», пьесу «Саня, Ваня, с ними Римас», задумал роман «Драматург», написал сценарий для кинофильма, где прообразом главного героя мыслился Александр Вампилов, который, особенно в начале его собственной карьеры драматурга, оказал на Гуркина большое влияние.

Где бы Гуркин ни жил, дважды в год приезжал к маме в Черемхово. Там жили прототипы его пьес, там, как океан в капле, отражалась жизнь нашей великой страны. «Когда он под разными предлогами уезжал в Черемхово и жил рядом с мамой, то возвращался — и пьеса. Эта земля его питала»⁴.

Здесь он с успехом ставил спектакли по своим пьесам «Весёлая вода печали», «Прибайкальская кадрили» и «Плач в пригоршню», поставил спектакль «Добрые и злые» по рассказам Шукшина. Он мечтал создать в Черемхово театр в том значении, какое он вкладывал в это понятие, т. е. хотел «прикоснуться к тайне Станиславского, к художественной жизни человеческого духа, к пребыванию актёра в образе «аз есмь», когда я не показываю своё пребывание, а живу жизнью своего персонажа. Сейчас на сцене перевоплощение практически исчезло»⁵.

Для реализации всех своих замыслов он просил у судьбы лет тринадцать спокойной, без московской суеты, жизни в милом сердцу Черемхово.

В Черемховской земле Владимир Павлович Гуркин и упокоился в 2010 году.

В настоящее время Черемховский драматический театр, а также одна из его улиц носят имя драматурга, возле театра стоит памятник «Драматургам — уроженцам г. Черемхово», где он изображён вместе с Александром Вампиловым и Михаилом Ворфоломеевым, а городской сквер украшает скульптурная композиция «Любовь и голуби». В память Владимира Гуркина действует межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция».

Владимир Гуркин, уже живя в Москве, так писал о своей первой пьесе «Зажигаю днём свечу...»: «Эту пьесу я стал писать ещё в Иркутске. Я работал в ТЮЗе и писал не для того, чтоб стать драматургом, а для того, чтобы играть то, что я не мог играть на сцене. Я просто сочинял для себя театр... Эта пьеса очень личная. Все её герои — иркутяне».

Где бы Гуркин ни работал над ней, творческим импульсом была тоска по Иркутску. Вот что пишет об этом драматург: «Из Иркутска я переехал в Благовещенск, но Иркутск — город таинственный, он всё время тянет к себе, тоска и печаль по дому провоцировали на литературный труд. Менялись герои, сюжет — пьеса обретала форму... Уже работая в Омске, я продолжал скучать по Иркутску. Подлинные иркутские истории трансформировал в события пьесы. Вот тогда я, наконец, определился в сюжете... И вот в Омске я эту пьесу написал-таки. У неё двойное название: «Зажигаю днём свечу...», или «Андрюша». В центре — тип инфантильного мужчины, в театре ещё не разработанный»⁶.

Пьеса писалась три года (1977–1979). В Омске, судя по афише, она шла под двойным названием: «Зажигаю днём свечу...», «Андрюша. Его история в трёх частях».

О чём эта история? В беседе со Светланой Васильевой автор сказал: «Я писал своих героев с двух человек, в основу положил историю актёра, который спустя годы, кстати, прекрасно живёт, стал профессором. (Это верно. В Иркутском педагогическом институте на факультете общественных профессий он вёл, и очень интересно, школу актёрского мастерства. — Т.Б.). Финал — из жизни журналиста. Но дело не в профессии»⁷. И не в прототипах, добавим от себя. Иркутяне и омичи с удовольствием находят в фабуле пьесы и в характерах героев «знакомые всё лица», но тот, кто хоть как-то может представить себе творческий процесс при создании чего-нибудь, относящегося к искусству, должен понимать — от прототипа до художественного образа «дистанция огромного размера».

⁴Гуркин В. *Любовь и голуби*. М., 2014. С. 695.

⁵Там же. С. 683.

⁶История в лицах: театральные Омск разных лет / ред.-сост. С.А. Нагнибеда. Омск, 1995. С. 245.

⁷«Пьесы для меня — способ жить» // Омский вестник. 2005. 25 мая. С. 12.

В пьесе «Зажигаю днём свечу...» (название — строка из известной песни Евгения Бачурина) явно виден вампиловский след. Ещё в 1972 году, в год гибели Вампилова, Гуркин пишет пьесу о студентах и, конечно же, под влиянием его «Прощания в июне». Писал, как признавался автор впоследствии, «от избытка чувств». Главный герой пьесы «Зажигаю днём свечу...» Андрей Долин чем-то похож на Зилова из «Утиной охоты», они оба журналисты из информационного отдела, оба не без способностей, и у того и у другого есть жёны и преданные молоденькие поклонницы, есть друзья, и закадычные, и заклятые, и у того и у другого жизнь идёт под откос. Но на этом сходство и кончается. Гуркин и Вампилов разного замеса драматурги, беря даже одну тему, они напишут по-своему и о своём. Важно и другое: то, о чём размышляют Вампилов в «Утиной охоте» и Гуркин в «Зажигаю днём свечу...», заботит всю мировую литературу и искусство во все времена. Эта пьеса о блудных сыновьях, о потере Себя, Дома во всей полноте этих понятий и в бытийном, и в духовном смысле, пьеса о мере собственной ответственности перед ними и своим призванием.

Как во всех пьесах Гуркина, её начало много значит, хотя не всегда автор сразу раскрывает, что за люди перед нами и чего от них ждать. Но в пьесе «Зажигаю днём свечу...» в общем виде есть предчувствие конфликта — уж с очень разным настроем двое мужчин сейчас подошли к дачному домику своего товарища писателя Танова и его жены Любы. (Кажется, они нам знакомы, да и действие, хотя и происходит где-то на острове, очень напоминает дачу Распутиных — Скифов на Байкале, откуда, действительно, слышны гудки паромов, да и кресло из коряги в доме есть.) В отсутствие хозяев между Байковым и Долиным происходит диалог:

Байков. Собаку ему, что ли, сюда привезти... А?

Долин. Не было печали, купила баба...

Байков. А что? Лес кругом. Будет сторожить, охотиться.

Долин. Не люблю собак.

Байков. Это плохо.

Долин. Собак, кошек, голубей... Брезгую.

Байков. Нарушаешь связь. *(Показывает вокруг.)*

Долин. Потребности нет. *(Оглядывается.)*

Байков. Совсем плохо. Город, что называется, изуродовал. *(Не сразу.)* Не надо нервничать. Любка его любит, кстати, как собака. И давай в гостях вести себя прилично.

В этом диалоге нельзя ничего ни добавить, ни убавить — потеряется динамика разговора. А она здесь важна — мы понимаем, что Долин приехал поневоле (потом узнаем подробности), что он нервничает и говорит дурное про собак и всю живность просто из нежелания говорить что-нибудь вообще. Эта его нелюбовь к природе (хотя в утверждении «нет потребности» есть доля бравады) означает, что у него в трудную минуту не будет болеутоляющего душу убежища. Дальше мы узнаём: волнуется Долин из-за того, что встретит здесь свою любовь ещё с университетских лет Любу, которая предпочла ему когда-то более перспективного Танова. Но и это еще не всё: оказывается, Долину грозит увольнение, он не справился с очень важным редакторским заданием, не привёз материал об открытии какого-то лесопромышленного объекта — просто пил коньяк со случайной «шишкой из Москвы». Прежде чем попросить Танова спасти его от увольнения, поехать на север области и доделать статью за него (всё это Танов сделает, ведь он же в отпуске), Долин разыгрывает спектакль. Он объявляет своим приятелям, что уволился, будет работать «трепачом», т. е. диктором на телевидении, освободит себе время для творчества. А что? «У тебя», — говорит он Танову, — уже книжки пошли, Саша из замов скоро в главные прыгнет. А я что?» Ему и вправду надоело ездить в командировки по области и писать о том, сколько какая-нибудь гениальная несущка снесла за квартал яиц.

«Меня нельзя выгонять. Помогите мне. Ну... в последний раз. Я брошу пить», — обещает он Байкову. Но все знают, и прежде всего сам Долин, что это пустые разговоры. Долин

остаётся работать, но, поскольку в соседях у него врач, он постоянно подводит сослуживцев и друзей, беря во время запоев бюллетень. Люба, с которой он сошёлся после трагической гибели Танова, не собиралась выступать в роли спасительницы, несмотря на все усилия, не удалось это сделать и несчастной, преданной ему до последнего девочке Кате.

Гуркин действительно поддался обаянию «Утиной охоты», но между образами главных героев большая разница. Долин, в отличие от Зилова, человек размышляющий, более интеллектуальный, это Зилов, задающий вопросы и осознающий глубину своего падения. Он никого не винит, ни к кому не предъявляет претензий (иногда, правда, в подпитии, говорит что-то невразумительное о том, что его в детстве обманули, в юности избили). Долин по-своему честен и искренне не понимает, зачем ему ходить на работу с похмелья — голова-то всё равно не варит. Он просто любит Любу и не может принять её расчёты и объяснения, что оформлять супружеские отношения с Долиным она не собирается, так как не хочет лишиться дивидендов с гонораров своего покойного мужа...

Валентин Распутин, прочитав пьесу «Андрюша», посоветовал Гуркину рассказать подробнее о Любви Тановой, но это, видимо, и не входило в гуркинский план, поскольку в планы самой Тановой не входило быть спасительницей Долина — она быстро ушла, передав эстафету молоденькой неопытной Кате. Честен он и с Катей. Когда осознал — «Я фикция, Катя», то, чтобы она, наконец, это поняла и не губила свою жизнь, уходит из дома и спит на скамейке в парке. И вообще, вы можете представить Долина на охоте, с ружьём?

Пьеса «Зажигаю днём свечу...» — о несостоявшихся «мальчишках под сорок» (сколько мы их знаем!), которые «теряют себя оттого, что лошадь, на которую они ставили, не приходит первой»⁸. Вместо того чтобы предпринять усилия и изменить ситуацию, приготовить свою лошадь к заездам получше, либо вовсе её сменить, или противостоять неудачам ещё каким-либо образом, они устраниются от проблем, и чаще всего обычным русским способом — пьянством. Оправдывать Долиных не обязательно, но понять необходимо. К этому призывает нас автор.

Тема ответственности человека перед жизнью, которой, по убеждению Гуркина, мы должны больше, чем она нам, — главная тема всех его пьес. Гуркин любил говорить своим слушателям на творческих семинарах начинающих драматургов: самое главное в жизни — угадать своё предназначение на Земле. У Долина этого не случилось, и Гуркин жалеет его и хочет понять, почему. Очень удобно свалить всё «на систему», но Гуркин, слава Богу, этого не делает. По свидетельству Владимира Палагутина, драматург высказал однажды ему своё мнение об отношении бытия к сознанию: «Сознание всегда определяло, как живёт человек и как будет жить человек. Если есть искажённое представление, оно может стать на какое-то время определяющим, но, наверное, сама жизнь заставит повернуть в правильном направлении, хотя можно и опоздать. Такое бывает»⁹. Вот и Долин. А вдруг он не понял, что журналист-то он никакой, а вот шахматист высокой пробы из него бы получился, он же пьяный «в доску» обыгрывает мастеров спорта по шахматам. И другое — сидит в тебе зуд писательства, и тебе есть что сказать миру — пиши «в стол», придёт время — оценят.

К духу пьесы, к творческим и человеческим установлениям автора пьесы, конечно, более подходит второе её название «Зажигаю днём свечу...». Эта строка из песни неоднократно звучит в пьесе как лейтмотив, как надежда, что маленький, совершенно бесполезный при свете дня фитилёк этой свечи что-то такое невыявленное высветит, подожжёт силы, которые, может быть, где-то на доньшке души Андрюши ещё теплятся, и он найдёт в себе мужество стать наконец Андреем. Этого хочется автору, этого хочется и мне, читателю.

Автор в этой пьесе впервые (это станет хорошо выверенным и оправданным драматургическим ходом во многих пьесах Гуркина) заглядывает в сокровенные уголки подсознания, во второе «я» человека. Происходит это по-разному, но чаще всего, как у протопо-

⁸Кручинин Е. *Новая грань творчества. Знакомьтесь: драматург Владимир Гуркин* // Советская молодёжь. 1980. 27 мая. С. 3.

⁹«Драматургия — товар шуточный» / беседовал В. Палагутин // Восточно-Сибирская правда. 2003. 24 сент. С. 4.

па Аввакума¹⁰, в «тонком сне», в состоянии между явью и сном. Мистики в этом никакой нет — это реальная жизнь нашей души. В ремарке у Гуркина (читайте его ремарки, они многое проясняют!) чаще всего значится — «он спит» или, как в «Андрюше», «такое часто бывает в снах». В лечебнице от алкоголизма во время сна на скамейке в больничном саду происходит диалог между Долиным, который хочет ухватиться за Катю как за соломинку, уверяя себя, что Катя его заберёт, она его любит, и другим Долиным, который всё понимает. Доктор (его второе «я») говорит: «Я понимаю, когда влюбляются в героев, я понимаю, когда влюбляются в молодых красивых жеребцов, я могу понять любовь к старику, задурившему такую девушку, как вы, ложным равенством сверстника; я даже готов поверить в любовь к чёрту — здесь тайна может завлечь, — но я не понимаю любви к уроду. К уроду, который не способен ни летать, ни ползать».

Долина очень жаль. Он оказался совершенно незащищённым перед жизнью. Даже дворовый бандит Борода посчитал, что таких, как Долин, надо убивать: «Вас бьют, а вы уже и не пишите».

Вот разговор двух людей «вне системы», один из которых даже претендует на философское обоснование своей звериной теории:

Борода. Я выполняю благородную миссию, очищаю атмосферу от подобных тебе.

Долин. Считаешь, что я не имею права на существование?

Борода. Сомневаешься?

Долин. Почти нет. Убедили.

Это «почти» в душе Долина заставляет его ещё помнить кое-что из своей юности:

«...Иногда люди выбирают себе звезду. Пошарят по небу и говорят: «Вот моя звезда. Я её выбрал». И неважно, что её уже выбрал другой. Ведь тот, другой, не возьмёт и не положит её в карман, а я буду считать её своей... <...> Лет пятнадцать назад я тоже выбрал себе звезду. А потом пришло время, и забыл. Забыл какую, и вообще — выбирал ли. Пришлось загадать второй раз. Вот эту крохотную, чуть различимую, где-то там, на отшибе — я помню. Казалось даже, что наш земной ветер сносит её в сторону, такая она была маленькая. На следующий вечер я её не нашёл. Потом ещё искал и бросил».

Андрюша — не персонаж пьесы «из жизни», это сама жизнь. Вот так и сносит куда-то земной ветер нашу маленькую звезду. А мы? Искали, искали и бросили. А вдруг Андрей Долин, внимательно пошарив по небу, всё-таки отыщет её? А вдруг не опоздал? Вот такая горькая история.

Людмила Петрушевская о пьесе Гуркина «Зажигаю днём свечу...» написала:

«Через три года после ухода из жизни Вампилова, этого божества тогдашнего нового театра, молодой актёр пишет — думаю, в виде более трезвого взгляда на ту же журналистскую среду, — пьесу «Зажигаю днём свечу...». И той алкогольной грешной любви, той романтики мужского братства, которые заканчиваются раньше, чем похмелье, у Гуркина даже больше, и всё гораздо страшнее и невыносимее»¹¹.

Страшно, честно говоря, и там и там. И не знаю, насколько гуркинский взгляд на журналистскую среду «более трезвый», но «более добрый», — уж это точно. Долина почему-то жаль, а вот Зилова не очень.

Владимир Гуркин — один из немногих драматургов-современников, который органически не любил изображать зло, у него в пьесах и впредь не будет абсолютных злодеев. Даже в головорезе Бороде он выискивал рыцарские черты: «Я б за свою бабу глотку перегрыз», — с ненавистью сказал он Долину, посчитав предательским по отношению к девушке его поведение когда-то в юности, при нападении уличных хулиганов.

Сценическая судьба пьесы складывалась нелегко. Её выходу на сцену предшествовали обычные для тех времён мытарства. Чтобы спасти спектакль, автору и всему твор-

¹⁰Пакулов Г. Гарь. Иркутск, 2015. 562 с.

¹¹Из прошлого в будущее // Современная драматургия. 2015. № 1. С. 261.

ческому составу театра в Омске пришлось пойти на уступки Управлению культуры и ОК КПСС. При обсуждении пьесы в этих инстанциях (куда автора даже не пригласили) чиновниками от культуры и идеологии был поставлен диагноз: это чернуха, мутная пьеса, пасквиль на советскую интеллигенцию. Такие герои, пьющие, не знающие, как жить, нам не нужны. Да и где автор видел спившихся журналистов? Это передовой отряд советской интеллигенции. (Думаю, что всего этого вдоволь наслушался и Александр Вампилов, пытаясь устроить свою «Утиную охоту» в театр.) Неудача с постановкой «Андрюши» объясняется ещё и тем, что она подгадала под кампанию борьбы с пьянством. Сам же Гуркин проволоочки с постановкой пьесы усматривал в неверном понимании её, вовсе не исключал и своих промахов: «В литературном отношении можно было сделать лучше. Однако мрачной, беспросветной её тоже не считаю. Если говорить о сверхзадаче, хотел, чтобы зритель, посмотрев спектакль, сказал себе: «Не хочу так жить». Чувство протеста — здоровое чувство»¹².

Первый постановщик пьесы Владимир Симоновский, с которым так успешно сотрудничал Вампилов, ставя «Старшего сына», решительно не согласился переделывать в соответствии с чиновничьими указаниями и уехал из Омска. Но всё же на некоторые уступки пришлось идти: с согласия автора новый режиссёр Артур Хайкин, не меняя концепции и духа постановки Симоновского, вложил в уста главного героя назидательное «так жить нельзя!».

Спектакль прошёл тринадцать раз и был тихо снят. Гуркин тяжело это переживал и, видимо, из чувства самосохранения, с головой погрузился в писательское дело. Драматург в короткий срок (за три месяца!) создал свой шедевр — «Любовь и голуби». Сценическая судьба у пьесы — счастливее не придумаешь! Она двадцать лет шла в московском «Современнике», спектакль по ней выдержал двести двадцать восемь представлений в Омском театре драмы. Все удивлялись: откуда у Гуркина такое знание деревенского быта? Какой колоритный язык! Ведь он человек городской. На что писатель почти оправдывался: «Не совсем городской. Родился в деревне, отец самый что ни на есть земледелец-тракторист, да и Черемхово — что за город? Его населяют вчерашние сельские жители. Когда писал, видел своих земляков, слышал их речь». Вдали от родины он их ещё больше любил.

О «Голубях» много написано. После выхода кинофильма пьеса разошлась на цитаты, которых было бы гораздо больше, кабы не урезали текст, и на экраны вышел двухсерийный фильм, как и было задумано Меньшовым. Драматург считал экранизацию несколько легковесной и работающей на публику, но фильм сыграл немалую роль в его судьбе: поправилось материальное положение семьи и даже, правда, чуть позже, во времена, когда бесплатных квартир в Москве уже никому не давали, Гуркины её получили от самого Лужкова, любившего смотреть «Голубей».

Мне представляется уместным сказать не столько о бытийном, что, вроде, ясно, а о «небесном», «голубином» слое пьесы, тем более что сам Гуркин даёт ему прекрасное толкование:

«Есть такая притча: женщина спросила музыканта, о чём его пьеса. И он снова сыграл её. Добавлю: я согласен, что голуби — выплеск творческого начала. Не было бы у Василия Кузякина их, всё равно он нашёл бы что-то, не дающее его жене спокойно спать. И, ясно, у Кузякина — голуби, у другого — другое. Это идёт от величайшей любви к жизни, от неистребимого желания познавать. Вот и произошла ошибочка — альянс с Раисой Захаровной. Но, раз шмякнувшись, раз изменив природе своей, своей жизни, Кузякин всё-таки не может не вернуться к жене, к голубям. Притом на более высоком витке, чем в начале»¹³.

Да, всё вернулось на круги своя, но тревожно на сердце, болит оно за этих людей, за Васю, за этот мир — так хрупок он и непредсказуем. Это лейтмотив всех гуркинских пьес. Он — автор любящий.

Поводом для написания пьесы «Музыканты» (1984 г.) послужила услышанная драматургом от кого-то средневековая легенда: жители одного города, желая изгнать при-

¹²Мудрик М. Ремарки. С. 321.

¹³Там же. С. 322.

шедших к ним бродячих музыкантов, людей, живущих по другим законам, убили мальчика-музыканта. Он просто сидел и играл на волынке. Музыканты обещают жителям — они тотчас уйдут из города, как только на могиле мальчика завянет последняя белая роза. Неблагодарные жители города (ведь музыканты освободили город от полчищ диких собак) сполна наказаны за эту ненависть к инаковости, за неприятие чужого — дикие собаки вернулись в город.

Всё в жизни повторяется. К.В. Грушвицкая рассказала Гуркину о подобном случае в каком-то провинциальном американском городке, куда пришла мирная группа хиппи. Они расположились за городом, в палаточном лагере, заходили в город, чтобы купить продуктов и музицировать в местном парке. К ним потянулась молодёжь, и тогда один из жителей города, увидев, что его дочь сидит на скамейке с мальчиком-хиппи, убивает его. Мальчика похоронили. Горожане, боясь мести, забаррикадировались, полицию привели в боевую готовность. Боялись они напрасно. Хиппи три поминальных дня по очереди сидели на скамейке, где был убит их товарищ, затем мирно покинули город.

Гуркин берёт за основу средневековую версию этой легенды и перебрасывает временной мост в сегодняшний день, где рассматривает трагедию неприятия инаковости на примере индивидуальных судеб своих современников.

«Музыканты, или Легенда о Праведном Перевозчике» в двух действиях — это развитие темы о судьбе городской интеллигенции, которая впервые была обозначена в пьесе «Зажигаю днём свечу...». «Музыканты» не содержат никаких признаков и впечатлений черемховского детства писателя, пьеса навеяна городской юностью его в Иркутске, писалась же она тогда, когда Гуркин был уже «московским сибиряком». Здесь другие герои — художники, реставраторы, архитекторы, да вопросы те же: жизнь человека доброго и совестливого, с хорошими творческими задатками, и она, как и у Андриюши, не удалась. Но здесь совсем другой подтекст.

Как всегда, у Гуркина очень важно начало. Оно в «Музыкантах» необычно. Всё начинается с того, что музыкантам надо перебраться на другой берег, но им нечем заплатить Старiku за перевоз. Но, оказалось, Старик денег и не берёт: «Вы у Него (показывает пальцем вверх) смерти мне лёгкой попросите». Музыканты в растерянности. Они знают — Старик глухой и не всегда слышит крики людей на другом берегу, желающих переплыть реку, и поэтому предлагают Старiku музыкальный инструмент из своего оркестра — тарелки. Старик раздумывает — возьму тарелки и тогда людям на том берегу не надо будет кричать? Но я же не беру плату за перевоз. Считай, говорят музыканты, что мы их тебе подарили. Нет, отвечает Старик, так не честно. Музыканты предлагают — мы сами привяжем на том берегу к дереву тарелки, и ты услышишь любого, просящего перевоза. — А как вы туда попадёте? Музыканты отвечают — мы попросим тебя отвезти кого-нибудь из нас на тот берег. Значит, рассуждает дальше Старик, вы выполните мою просьбу и попросите у Него для меня лёгкой смерти? Мы попросим, отвечают музыканты. А дальше, на мой взгляд, самое главное: это уже получится пустая молитва, считает Старик. Но на той стороне оставлен один из музыкантов, начинается гроза, дождь — и Старик молча берёт тарелки. Небесные заботы откладываются.

Старик — это второе «я» главного персонажа повести архитектора Ксенина. Автор сразу вводит нас в круг неразрешимых противоречий, разлада между потребностями быта и бытия, между земным и небесным, и придаёт пьесе характер общечеловеческий, все-ленский.

*О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!*

Эта взаимозависимость обычной жизни и надмирного бытия, которое в пьесе олицетворяют музыканты, музыка, будет постоянным мотивом этой философской притчи. Музыканты импровизируют на тему «Звёзды! Венера! Гармония!», а Ксенин в это время

полощет детское бельё, при этом (так в ремарке автора) он взволнован, сосредоточен — в открытое окно смотрят звёзды. Он видит какой-то древний танец, слышит музыку до тех пор, пока в неё не вторгнется голос Аллы Филипповны, которая гоняет курильщиков на лестнице.

Так впервые мы встречаемся с Ксениным. Фамилия главного героя — это память об одной из его бабушек и производное от имени Ксении Грушвицкой, уже упомянутой нами. Ксенин с семьёй живёт в общежитии, «забегаловке», в здании, где до революции у входа висел красный фонарь, а после революции было общежитие для повышающих квалификацию партработников. Сейчас здесь вместе с семьёй Ксенина живут архитекторы, реставраторы, музейные работники. Житьё-бытьё подобного рода автору хорошо известно, он жил в Иркутске в общежитии творческих работников по улице Грязнова в такой же «забегаловке», где на стенах висят тазы и ванны, на верёвках сохнут детские пелёнки и куда «все, кому не лень, прутся».

И жизнь там обычная. Курьер Алла Филипповна выгнала мужа-пьяницу и от тоски бдительно следит за порядком, за жильцами. Она встречает в подъезде коллегу Ксенина, Колкова, который, после захода в «Снежинку» (такое знаменитое в Иркутске кафе) привёл к Ксениным приехавшего из Питера очень удачливого своего однокашника Тесданова. Привёл не без умысла. Колкову в своё время отказала во взаимности жена Ксенина, красавица Наташа, и он решил из мести соблазнить её Тесдановым. Колков рекламирует его как товар: рост, волосы, нос, каков нос! Посмотрите на этого атлета, мастера спорта по фехтованию, человека выдающихся способностей, что обеспечило ему работу в престижном институте и материальное благополучие. Тесданов, «роскошный сын белых ночей», поначалу не понимает, насколько они антиподы с Ксениным, и, видя бедственное состояние его семьи, предлагает порыбачить с начальником — ведь Марат Маратович, тот, который нагло присваивает результаты ксенинских трудов, дядя Тесданова. Совместную рыбалку Тесданов устроил, но не вышло, и выйти не могло у Ксенина «рыбку съесть и в кресло сесть». Ксенин, «в себя опрокинутый», «не в той фазе существующий», по определению Тесданова, выпив вина, что для него непривычно, решил вразумить шефа как надо жить «по структуре», т. е. по службе, и по-человечески. Словом, выложил Марату Маратовичу всё, что он о нём думает и что говорил своему начальнику лишь в мыслях.

«Старик! Вот и кончилась твоя карьера» — с этими словами Тесданов оставляет пьяного Ксенина на берегу, а сам едет в общежитие, где-таки соблазняет его жену, бедную Наташу, экскурсовода художественного музея, уставшую от нищеты и неустроенности.

Автор решительно противится считать Ксенина проигравшим. Здесь, на берегу, на Ксенина (опять важная ремарка) «обрушивается мощным аккордом музыки громада волн и погружает его в мягкую тёплую бездну». Ксенин кричит всем стихиям, кричит нечто несусветное, кричит от избытка мощных музыкальных аккордов в его душе: «Я пришёл лететь вместе с волной, лишь звёзды и ночь... и голого сердца полёт». К нему, улыбаясь, шёл Маэстро, он принял Ксенина за своего.

Эти качели «бытие — инобытие», переходы из одного состояния в другое есть прежде всего результат напряженной пульсации внутренней жизни главного героя пьесы-легенды. При всей условности этого приёма, он у Гуркина всегда драматургически обоснован — житейские дела персонажей, скорее, являются поводом для отображения «события души».

В дальнейшем реальное действие в пьесе развивается параллельными линиями с жизнью средневекового города, куда стремятся музыканты. Соблазнив Наташу, Тесданов уезжает, прихватив с собой итог многолетнего труда Ксенина — макет реставрации музея декабристов (это тоже иркутская примета). «Не макет, а чудо!» — по определению Тесданова. И семья, и работа Ксенина трещат по швам, он в отчаянии. А в это время город, куда прибыли музыканты (автор не указывает ни страны, ни времени — это и неважно, ведь проблемы здесь непреходящие, вечные), живёт той же жизнью, что и город Ксенина. У жителей этих городов схожие земные заботы: ничего не меняется под луной. Точно так же, как Тесданов, торгош Бириш убеждён, что за деньги можно купить любовь, и преследует сироту Дою. Он безнаказанно убивает мальчика-музыканта Юна. Один из музыкантов,

Гростен, приходит в майорат с просьбой разрешить им неделю музицировать в городе. Глава майората избивает музыканта за то, что он играет на волынке и не берёт плату за игру: это против всяких правил. В конце концов, майор рассуждает и действует с позиции власти: выпороть артистов гораздо проще, чем с ними договориться.

Гростен. Бить слабых нехорошо.

Майор. А вы никогда никого не били?

Гростен. Я не умею драться.

Майор. А я не умею играть на волынке.

Вот так — каждый при своём. Водораздел между творцом и обществом, их непонимание друг друга — дело обычное, привычное и, похоже, вечное.

Ксенин унижен, обижен, и первый импульс — наказать Наташу, Тесданова, может, он и смерти достоин. Но второе «я» Ксенина говорит ему: музыканты же не мстили, этого никогда не сможет сделать тот, у кого «есть музыка в душе». И на скамейке, где поочерёдно сидели музыканты в память о своём убитом горожанами мальчике, Ксенин ясно увидел Наташу. И душа Ксенина стала свободной, определилась с выбором.

Гуркин оставляет нас с двойником Ксенина, с его внутренним голосом. Старик слышит на другом берегу звон литавр — это значит, что там ждут перевозчика. Но такого шторма, как сейчас, старик не видел тридцать лет. Он может погибнуть, а рядом никого нет, и некому сейчас попросить для него лёгкой смерти. Старик понял, что не доплывёт, и... поплыл. Старик сделал всё, как надо. Этот перевоз в страшную бурю и был его молитвой — убиенный горожанами музыкант Юн встречает его на Том берегу со словами: «Молитва твоя услышана, перевозчик. Иди за мной».

Не всё вмещается в диалог. Не всё проговаривается. Дальше в пьесе многое на себя берёт ремарка. Из неё мы узнаём, что и Ксенина, обнявшегося со Стариком, тоже ждут музыканты. «Маэстро взмахнул рукой... И пронзил сердце Ксенина, и вывел в образовавшийся круг, полный боли и радости, дитя далёкого юга, древний танец. Возникший внезапно здесь, он был как отдохновение от долгого пути, как долгожданное возвращение, как надежда...»

Древний танец — символ круговерти вечной жизни, с бытием и бытом, с болью и радостью — вот почему в тот миг, когда сердце Ксенина пронзает древний танец, «на авансцене плачет, курит, смотрит в белый кружащийся ворох снега Алла Филипповна». Так заканчивается эта легенда-притча.

О чём же эта пьеса, написанная после такой кристально ясной деревенской идиллии «Любовь и голуби»? Да о том же, только по-другому. О жизни. О любви. Да ещё об исцеляющей и примиряющей с жизнью силе искусства, музыки. О трагической судьбе художника во все времена.

«Музыканты» — пьеса со многими пространственно-временными планами, они проникают, прорастают друг в друга совершенно свободно, согласно представлениям Гуркина о театре как игре стихий, смыслов, образов, явлений. Герои из были и небыли то уходят, то возвращаются, помечая не только и не столько движение сюжета, фабулу пьесы, но, главным образом, внутреннюю жизнь главного персонажа этой философской притчи — Ксенина.

Я думаю, ни одна из пьес Гуркина не говорит так ясно — автору тесно в рамках драматургии, которая, как ни крути, более жёсткая конструкция, нежели проза. Видно, что талант его развивался в сторону эпическую, романную. Об этом говорят и пространственные ремарки пьесы, которые зачастую важнее текстов диалога. В ремарках выявляется тяготение автора к пейзажу, к движению ветров, гроз, к звукам, к шелесту листьев, к рассветам и звёздам — всё это в унисон с чувствованием героя. Ведь далеко не всё, что в душе героя происходит, вмещается в диалог, кое-что хочется драматургу Гуркину сказать «от автора».

«Музыканты, или Легенда о Праведном Перевозчике» вмещает в себя множество ходов — реалистических, романтических, символических и даже сюрреалистических. Следить за хитросплетениями положений, порывами, изгибами, пульсацией внутренней жизни персонажей пьесы — одно удовольствие, и кажется, что чтения и довольно. По крайней мере, для меня.

Я заметила — после пьесы с высоким градусом проблем Гуркин даёт себе некую разгрузку, пишет о том, что сам хорошо знает и где зритель может просто насладиться языком, сюжетом, наконец, при сценическом воплощении пьесы, просто зрелищем. Так, после «Андрюши» он пишет «Голубей», после психологически сложных «Музыкантов» пишет бытовую драму «Шёл медведь по лесу...» и добрую чудесную сказку «Золотой человек», после «Плача в пригоршню» пишет озорную «Прибайкальскую кадрили»: люди попадают в собственную ловушку, в анекдотическую, но вместе с тем опасную ситуацию, и от грехопадения их всех спасает Любовь. После «Кадрили», набрав воздуха, пишет «Саню, Ваню...».

В драме в трёх действиях «Шёл медведь по лесу...» (1988 г.) всё на первый взгляд просто. Действие происходит в шикарном доме «зубника» Собежникова (а кто не знает, что в начале перестройки это самое «клёвое» ремесло). По случаю пятнадцатилетия брака хозяина квартиры с работницей управления культуры Ниной собрались друзья-детдомовцы, несмотря на то, что самой Нины нет, она сейчас в командировке со своим начальником Раздроковым (и правда, был такой культурный начальник в Иркутске). Друзья-детдомовцы по-разному устроились в жизни. Здесь медсестра Восоркова, которая и в детском доме обстирывала и обштопывала всю эту троицу — Церёшко, Стокова и Собежникова, а последнего и сейчас иногда подменяет на работе — он ещё служит и в советской поликлинике. Церёшко — богемный человек, поэт, живёт в коммуналке, по неделям не бывает дома, в сезон навигации возит грузы, в основном, водку, «на севера». (Знавали мы таких в Иркутске!) Это он в сердечном порыве детдомовского подкидыша («А вдруг это мать твоя?») приводит с вокзала старушку, брошенную внуками, и в результате оставляет её Собежникову. Второй детдомовец — театральный администратор Стоков, занимает у Собежникова деньги без отдачи, возит на них, крадучись от жены, на гастроли в Севастополь Люсеньку. В доме Собежникова пасётся соседка Пасюкина. Ей Нина поручила следить за мужем, так как знает, что в прошлом у Восорковой был серьёзный с ним роман, и что Восоркова по-прежнему ему нужна. «Ты у него для души, а я для хозяйства», — говорит она Восорковой по телефону из своей командировки. Кроме общего хозяйства у Собежниковых есть ещё общий сын Виктор. Но до него никому нет дела: отец много работает. Работы хватает и Нине, в доме всегда много людей — Собежников принимает клиентов на дому, к тому же он как был в детском доме для Стокова и Церёшки «папой», так и остался.

Собежников строит дом. У него особенное понятие Дома — это возможность пустить корни, утвердиться на земле. Помогает ему в этом единственный дельный и преданный ему детдомовец Ерготун, который в свободное от работы время (он работает на заводе) отделывает дом — навешивает ставни, кладёт плитку и т. д. Станет ли Собежников в нём хозяином, если дом предполагается для всей детдомовской братии, которая уже превратила его городскую квартиру в «забегаловку»? Собежников и сам понимает, что что-то неладно в этом укладе, что угроза краха Семьи, Дома, о которых он так печётся, налицо.

На первый взгляд кажется, что весь неустрой в семье, вся проблема в том, что Собежников не может выбрать приоритеты — своя семья или семья со всеми, кого он уже приучил иждивенничать. Можно решить, что «Шёл медведь по лесу...» — бытовая пьеса. Но всё гораздо сложнее. Гуркин обращает внимание на большие вопросы уклада и воспитания детей в детских домах — наши Церёшки и Стоковы остаются, как правило, детдомовцами навсегда, они привыкли жить на всём готовом, их не приучили выживать, преодолевать тяготы. Какая в них опора для семьи и кого бы то ни было? Им и вправду туго в жизни приходится. Даже таким, как Собежников. Он семейный человек, но то ли детдомовская жизнь, то ли последующая исказили его представление о благополучной семье. Семья его разрушена, и Восоркова ставит диагноз: «Промажнули. Профукали жизнь, друг друга. Надо было жить хорошо, а мы богато...»

А кто знает, как жить хорошо? Вот Церёшко, которого любить, вроде, не за что. Бросил бабушку у Собежникова, но ведь он получил телеграмму, что в Новосибирске выходит его первая, пусть и тонюсенькая, книжка стихов «Настой подорожника». Это для бабы Ксюши она «простудное, наверно», а для него, возможно, начало новой жизни. Гонорар он пропил. А что? Бывает по-другому? Тогда, возможно, это его первая и последняя книжка.

Для Церёшко это важная веха в жизни, ведь ничего другого он делать не умеет. Собежников этого не понимает. «И ничего вам, небожителям, не надо: ни денег, ни комфорта, ни карьеры... Друзья поддержат благородные забавы». Для человека «всё в дом» стихотворчество лишь «благородные забавы». Церёшко искренне не понимает: «Если мы друзья, так на кого же мне надеяться?» Дай Бог, чтобы в новых экономических обстоятельствах, в которых Собежников наверняка не пропадёт, он, во имя детдомовского братства, печатал церёшкины книжки — на кого же поэту ещё надеяться?

Не только в развитии сюжета, но и в некотором прояснении коллизий времени (пьеса писалась в конце восьмидесятых годов) важен образ Штапова, «подёнщика с персональными пайками», директора завода, на котором работает Ерготун. Он и приглашает Штапова к Собежникову в надежде, что тот поможет устроить старушку в интернат и отстоять строящийся дом, который попал в зону отчуждения завода. Штапов трезво оценил ситуацию: «Возможно, вначале и была у вас коммуна, но люди есть люди... Появился лидер... Уклад, иерархия, у каждого свои лимиты». Штапов понял, что Собежников в будущем его соперник. Не один он смекнул, куда ветер дует. И присмотрел, и знает, как отобрать строящийся дом. Вначале, конечно, для завода, а потом для себя вместе с заводом. Штапов из племени хватких приватизаторов, Собежников ему не товарищ — у директора завода и начинающего «малый бизнес» Собежникова будут и впредь «разные уровни неприятностей». Собежников, возможно, из тех, которые с «человеческим лицом». «А я, — говорит Штапов, — из тех, которых на дому лечат, бреют, обшивают». Так и дальше будет. Они оба — люди будущего, да только разные у них жизненные устои, и трамплин для разбежки в бизнес тоже разный. Вот, казалось бы, во времена абсолютно туманные по поводу результатов нашей перестройки, Гуркин размышляет об этом и кое-что предвидит.

Конец драмы, как всегда у Гуркина, оставляет читателю и зрителю возможность самостоятельно поразмышлять — что ждёт его героев, как сложится их судьба? Автор оставляет Собежникова одного — даже Восоркова уехала со Штаповым, жена ещё раньше ушла, сын тоже покинул дом. Есть над чем задуматься.

«Шёл медведь по лесу...» — о житейской истории пьеса, но... с элементами мифа. Как обычно в мифе, приходит некто, Бог весть откуда, из какого-то другого мира. Высвечивает и проясняет непроявленное, развязывает узлы — изменяет жизнь. Ничего, что баба Ксюша такая простая сибирская бабушка-частушечница. Это обманка. Она, сидя за дверью, всё видела и всё поняла. Она не в лоб советует Собежникову, которого жалеет, что ему делать и как поступить, а говорит притчу: «Шёл медведь по лесу, а в зубах тетерева. Тут лиса его и спрашивает: «Ты, Миша, откуда путь держишь?» Ему бы тут зубы сцепить да и сказать, мол, с севера. Вот эдак. С севера. А он вместо этого раззявил пасть-то: «С запада». С запада, говорит. Тетерева и улетели». Эта совсем земная, но мудрая бабка находит такие необходимые сейчас слова: «Чё уж теперь... Убили Павлика. Рази воротишь. Чё уж теперь-то...» Она дала возможность убитому горем Собежникову соизмерить его положение со своим. В ремарке: «Собежников поднял голову, прислушался. Ещё текут слёзы, но напряжение уже оставило его». Он повторяет своё приглашение: «Пойдём... На улицу пойдём. Хочешь погулять? Погуляем. Ничего. А, мать?» Дальше из пространной ремарки мы узнаём — Собежников «одевает её осторожно, как одевают детей на прогулку».

Куда он её поведёт? В райсовет, сидеть на стульях? А может, действительно погулять? Ещё неизвестно, кто кому сейчас больше нужен.

«Плач в пригоршню», по всеобщему мнению тогдашних критиков и театралов, является шедевром русской драматургии девяностых годов прошлого века. «Был счастлив, когда её писал, — вспоминал Гуркин, — хотя сценическая судьба пьесы представлялась туманной». Поэтому писал без оглядки на театр или кино: Гуркин был убеждён, что пьеса — это прежде всего литература. Но пьесу ставили, и очень удачно. В 1993 году режиссёр Дмитрий Брусникин во МХАТе им. Чехова сделал, по мнению автора, лучший спектакль по «Плачу в пригоршню».

«Плач в пригоршню. Роман для театра» построен как регтайм. Пространственно-временные пласты его прерываются, но при этом содержат в себе такие внутренние скрепы,

что вся конструкция пьесы прочно держится. Действие в пьесе начинается в первое послевоенное время, затем прерывается до 1964 года, потом мы встретим всех персонажей (или почти всех) уже в начале девяностых.

«Плач в пригоршню» целиком автобиографична. В основе сюжета пьесы положены впечатления автора от раннего детства в Хабаровске и жизни семьи на рабочей окраине шахтёрского города Черемхово. Там собрался всякий люд, кто по воле, а кто и поневоле (бывших эзков в большие города не пускали). С Амуре приехала семья Саньки, из-под Читы семья Тани-Кирзы, с окрестного села баба Даша со Светкой. У всех есть своя, чаще всего трагическая, предыстория. Александру, мать Тани-Кирзы, медсестру, отбывавшую заключение где-то под Читой, пользуясь своим положением, принуждает к сожительству конвойный, бывший шахтёр из Черемхово, срочник службы Анатолий, но, полюбив её и родившуюся девочку, увозит в свой город. Ладной семью не назовёшь — Александра не сможет простить «конвойщику» своего унижения. А на Амуре в это время, под Хабаровском, Нину, мать Саньки, выгоняют из квартиры, но сержант, Аркадий Яковлев, по долгу службы выполняющий эту миссию, пожалел их, поселил в своей комнате, и вскоре стал отчимом Саньке. Он и привозит всю семью в шахтёрский городок под Иркутском. Эта крепкая, непьющая семья в посёлке во многом предстаёт прообразом семьи Гуркиных, да и Санька уж очень похож на автора в детстве — он тоже много читает и мечтает выучиться на актёра.

Владимир Гуркин кое-что и сам помнил, но, в основном, историю своего рождения и раннего детства знал со слов его мамы Валентины Петровны. Она родила Володю в двадцать лет, но создать семью не получилось. Оставшись с ребёнком на руках, без угла и средств, она ютилась то «у евреев», помогая по хозяйству, или в казармах «нахалом», в малюсенькой каморке, куда входили лишь кровать и чемодан, и где, поскольку крыша протекала, спали, накрывшись клеёнкой. В Хабаровске Валентина Петровна при обстоятельствах, описанных в «Плаче», вышла замуж за Павла Васильевича Гуркина. После расформирования части, где служил Гуркин-отец, семья приехала в Черемхово.

Автор не просто наблюдал, а проживал с земляками их нелёгкую жизнь. Ему, как и Саньке из «Плача», пришлось видеть пьянки и драки с топорами, занимать очередь на хлеб с четырёх часов утра, собирать в тёплых шахтных отвалах куриные яйца, слышать живой, сочный, часто одобренный тюремным жаргоном язык черемховцев. Живя с ними, драматург учился за мутными, тёмными сторонами жизни земляков распознавать их истинную суть — неизбывную тягу к добру, к чистоте, к чему-то идеальному. Именно здесь он уверился в том, что моральные нормы, определённые божьими заповедями, у народа, что называется, в крови. Носителями этих универсальных моральных установлений в пьесе «Плач в пригоршню» являются, прежде всего, баба Даша и Светланка, «старый и малый», неграмотная бабка и «дурочка». Вот они и будут спасать Саньку, который выучится, выбьется-таки «в люди» в Москве, через тридцать лет вернётся в родные края с итогом — «Я не знаю, как жить!»

Начало пьесы — диалог бабы Даши и председателя колхоза, всего шесть реплик (по три на душу), а что мы узнали? У бабы Даши умирает внучка, но сейчас покос, каждая баба Даша на счету, а потому ехать в район лечить внучку она не может. Да к тому же у неё нет паспорта, ни справки на паспорт (так было). Справку председатель ей «сварганил», так что «покос отмахай и езжай. А то... Девка помрёт — чего ехать?», почти с надеждой говорит председатель, которому не позавидуешь, он и сочувствует бабе Даше, справку же «сварганил», а как покос? Здесь жалко всех — бабу Дашу, председателя и Светланку, которая умирает на кровати. Такое начало многого стоит. Баба Даша и Светланка — ключевые образы пьесы.

Светланка ещё читателю и зрителю не явлена, и вообще, где она? Бабка её не узнаёт, либо настоящую Светланку кто похитил, либо подменили — решает она. Убёг Светик мой! В полуживом тельце Светланки душа от смерти «убегает». Эти «убёги» Светланки и её появления держат нить повествования и психологическую пружину пьесы. Явившись в запевках пьесы, она время от времени будет появляться, обозначая события внешней и внутренней жизни героев. Она нужна на земле, и Серебряный Старец — вещая душа

Светланки — велит ей жить. Зов инобытия уже сводит почти на нет земное притяжение, и напрасно Серебряный Старец её увещевает: поживи ещё, виноватых встречай, не бросай потерянного, люби всех людей — они как дети. Светланку вовсе не прельщает перспектива любить всё человечество, и тогда Душа-Старец приводит самый веский аргумент в пользу жизни — а будущее дитя твоё как же, кто его приведёт сюда, кто встретит, как встретят здесь тебя твои родители?

Светланка вовлечена в быт, помогает своей бабке и поселковым старикам носить дрова и уголь, каждый день ходит в магазин, покупает капусту, которую баба Даша солит. Как и многие подростки, она пьёт вино, покуливает, Зяма с Кривоносом водят её в сарай, обещая ребёночка, о котором она мечтает. Но для Саньки она всегда светлая душой, из тех, к кому грязь не пристаёт. Ближайшая родня по духу, его *alter ego*, разница только в том, что Светка верит в чудеса, а Санька должен ещё жизнь прожить, чтобы понять то, что для неё ясно. Светка опекает Саньку, гоняется за ним: «И-и-и! Дитяtko моё!» Она не покидает Саньку в тяжкие для него дни. Совсем не случайно, она единственная, которая почувствовала Ужас, у которого «не было глаз, не было дыхания... Саван слетел, и перед Санькой оказался Виктор» — ведь это его вина перед Виктором, ужас угрызения совести, который охватил Саньку после беды на железной дороге. Когда его мать, Нина, потерявшая сына, в порыве отчаяния и иступления бьёт его ремнем, он не слышит ударов — он слышит Светкин голос — «в глубине пространства закричала Светка, крик её переходит в стон-плач» — так сказано в ремарке автора. Саня знает, почему кричит Светка. Она ведь и «задурела» из-за своих родителей: отец по пьянке убил её мать и сам утопился в Ангаре. Она мечтает «умереть и родиться заново у ласковых», какими и считает Санькиных родителей. Светка придёт к нему на помощь и тогда, когда река жизни, после тридцатилетней отлучки, прибьёт его к родному берегу.

Первым встречает Саню, теперь Александра Аркадьевича, безногий пьяненький Виктор и, не узнавая его, сообщает, что Яковлевы на сороковинах — поминают Светку. Когда поняли, кто есть кто, выпили, конечно, посидели на поминках, повспоминали, как было хорошо, когда работали шахты — дети играли в лапту, взрослые в лото и карты... А сейчас шахты закрыли, работы нет, Наилька, друг детства, «опять турма попал», Таня, его первая любовь, которая в юношеских снах-грёзах представлялась ему принцессой в красивом, усеянном золотыми блёстками платье, после смерти родителей превратилась из Кубы (от слов песни «Куба, любовь моя!») в пьянчужку Кирзу.

Александр Аркадьевич выходит во двор, по пути замечает, что от качелей остался почерневший столбик. (Качели — очень важный символ в пьесе. «Улечу от вас!» — кричит Светка. С качелей когда-то они оба, Светка и Санька, видят солнце и луну.) В отчаянии он забирается на сарай с дырявой крышей и вопиет не то к землякам, не то к небу: «Милые мои!.. Что наделали?.. Что с вами наделали? Нет совести... Понимаете? У них нет! А Бог есть? Баба Даша, Бог есть?» Кто же ещё, кроме бабы Даши, это точно знает? «А куда ему деваться? Везде есть...» И совесть есть у всех нас. Для бабы Даши совесть и есть Бог: «А совести нет — ничё нет». Её чистая, не знающая сомнений вера, подсказывает единственные, такие простые и такие нужные сейчас для Сани, Александра Аркадьевича, слова: «Чи жало на тебя в высоту глядеть, Санечка. Покуражился, и устань! Устань, Санечка, слезавай!»

В этой сцене, полной драматизма, для понимания смысла всего «романа для театра», важнее бабы Даши никого нет. Баба Даша понимает, что Саня уже на грани срыва и чего-то непредсказуемого, спасать его надо. И делает это, исходя из своих жизненных устоев, которые вполне укладываются в гуркинское понимание добра и зла. «Боль и несправедливость, — утверждает писатель, — неотъемлемые части судьбы и жизни».

У бабы Даши (а вернее, у автора Владимира Гуркина) своя мелодия говорения слова. «Устань! Санечка, слезавай!» — помимо удивительной, чисто гуркинской звукописи, здесь бездна всего: беспокойства, доброты, жалости. «Санечка, слезавай!» — и ничего ты, Саня, не изменишь, и нам ничем не поможешь, не бери душу. И никто не виноват, и ты не винись. Саня, оторвавшийся от жизни своего двора, уже не может быть судьёй ни «им», ни кому бы то ни было, а тем более своим землякам. Его планка измерения добра и зла

здесь не подходит. Это понимает и Татьяна-Кирза. На Санино вопрошание «Милые мои! Что с вами наделали?» она, совсем по-бабадашиному, ответила: «Кто наделал? Саша, ты чё? Сами делались». Интеллигентские истерики на стайке — не их жанр.

Пережив потрясение, Саня, убаюканный колыбельной матери, погружается в состояние между двух миров, своим, явленным, и иным миром, светланкиным. Драматург, как и в «Музыкантах», расширяет временные и пространственные зоны бытия, где сон-видение тоже реальность, всё это присуще жизни души — человек всегда живёт в трёх временных измерениях, переживая настоящее «на пороге прошлого с грядущим». Санька увидел Светку. Она бродила по залитому лунным светом капустному полю и тихонько обирала листья: «Ещё немного и объявится... Листочки отлетят — дитёночек сидит, в самой серединке». Дальше ремарка: «Порыв ветра доносит едва слышимый перезвон колоколов. Светлана и Саня осторожно снимают с кочана листья. После каждого листа Светлана снимает сапоги, затем телогрейку. Теперь она в белом лёгком платье, облегающем хрупкую фигурку. Наконец убирает с головы и шаль. Саня замер». (Совсем как у Блока: «Сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен»). Дальше диалог:

Саня. Чудо...

Светлана. Чудо. А ты не верил?

Саня. Я не знал.

Два полюса души — вера и знание, что разделяют и соединяют двуединое «я» человека, здесь срослись.

Светлана наказывает Саньке не терять веры и остаться жить, совсем как когда-то её Серебряный Старец, говорит ему: «А ты не спеши, ещё рано» и от себя добавила: «Пройди себя, не пугайся, они хорошие. Никого не брани».

Конец пьесы — чистая поэзия в прозе. Он стоит того, чтобы привести его полностью.

Светлана (*кладёт Санину голову к себе на колени*). Спи. (*Шепчет.*) Придёт пора — ветер тёплый, чистый омоет тело твоё, и встретит тебя Старец Серебряный. Возьмёт за руку, робкого, счастливого... Через леса прохладные, сквозь листву звонкую, солнцем пробитую, над полями, лугами зелёными, над реками чистыми в синеве небесной полети-те. Потом вода большая, покойная: ни морщинки на ней, ни слезинки случайной — всё задумано, всё загадано. Переведёт тебя батюшка к берегу высокому, а на берегу люди милые ждут тебя. Всех их ты знаешь, все тебя ведают, ждут неспешного с сердцами светлыми, тобою полными».

И ремарка: *«Всё громче пели колокола, всё светлее и бездоннее становилось небо. Из глубины, от края поля, к ним шли люди. Саня спал».*

Некоторые из исследователей пьесы считают: в конце её Светлана и Саня встречаются уже за порогом жизни. Инна Вишневская пишет: «Они умирают одинаково и встречаются после смерти в каких-то прекрасных горных краях». Это будет потом, а сейчас (читайте обязательно ремарки) — Саня спал. А зрителю, как и Сани, которому ещё жить да жить, придётся разгадывать — что задумано, что загадано, и жить, не изменяя своему предназначению.

Вот так, на грани небесного-земного пульсирует жизнь этих людей, «грешных людей, но прежде всего людей, а потом уже грешных», как определил героев своего необыкновенного «романа для театра» Владимир Гуркин.

Согласно теории Михаила Чехова, которого драматург любил и тщательно изучал, образы, созданные однажды, не исчезают, а существуют самостоятельно в каком-то пространстве, и их жизнь между исчезновением и проявлением вполне предсказуема. Вот и образы «Плача в пригоршню», Сани, бабы Даши и Светланки, живут и будут жить в нашем русском подсознании как архетипы.

«Плач в пригоршню», как и «Музыканты», пьеса многоплановая, но самым мощным из них предстаёт реалистический план. По определению Людмилы Петрушевской, пьеса — «подлинное драматургическое изумление. Я давно ждала такого национального народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям». Это плач по нашей

огромной стране, где неизбывны слёзы, невидимые миру, и где полным-полно людей добрых и мудрых той вековой мудростью и верой, которые «не задушишь, не убьёшь». У них, живущих, как дети, чувствами, злобы на час, а доброты на всё про всё хватит.

В 2005 году в журнале «Современная драматургия» была опубликована последняя из написанных Владимиром Гуркиным пьес — «Саня, Ваня, с ними Римас» (другое авторское название — «Весёлая вода печали»). После первого публичного прочтения пьесы, в ресторане, недалеко от МХАТа, когда плакали все, как вспоминают слушатели, режиссёр, предполагающий ставить пьесу, сказал: «Её ставить не надо. Её надо просто читать публике».

Согласимся с этим — пьесу довольно и прочесть: такого пронзительного текста о войне в драматургии просто не было. Но ведь это пьеса. И у неё неплохая постановочная история, её многие ставили. Были неудачи, которые Гуркин тяжело пережил: например, в Омском драматическом театре пьесу пытался поставить режиссёр Евгений Марчелли. При прочтении, вспоминает режиссёр, «произведение произвело милое, приятное впечатление». Но в процессе работы он догадался, что драматургический язык, стилистика пьесы, да и смысл её сложнее, чем ему представлялось поначалу. Режиссёр попытался «перевести пьесу в реалистический план», ему привычный, но и здесь ничего не вышло. Переделявать пьесу драматург, что вызывает, конечно, уважение, не стал. Спектакль был снят¹⁴.

Но были и большие удачи: за спектакль по пьесе «Саня, Ваня, с ними Римас», который шёл в театре имени Ермоловой под названием «Не для меня» (реж. В. Данцигер), театр получил «Золотого Витязя». По мнению автора, спектакль у Вадима Данцигера, коренного москвича, получился, потому что режиссёр учился в Иркутском театральном училище, которое в те времена было не хуже московских училищ. «Сибирь — правильная школа. Потому и спектакль такой удачный», — утверждал Гуркин позднее¹⁵.

Наш прославленный драматург любил гордиться Сибирью!

Замечательный спектакль по пьесе был поставлен в Новосибирском театре «Глобус» (реж. Марина Брусникина). Удачным и хорошо посещаемым был спектакль по пьесе (он шёл под названием «А я остаюсь с тобою», реж. А. Бадулин) в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве. Эта пьеса является рекордсменом по части постановок на малых и клубных сценах России. По мотивам пьесы в 2009 году снят фильм под названием «Люди добрые» (реж. А. Карелин). Несмотря на то, что наш кинопрокат не жалуется на русские ленты, да и фильмы показывают, как правило, в неудобное ночное время, его многие видели. Он хотя и не совсем гуркинский, но сам сюжет, судьбы героев не могут не трогать зрителей.

Да, трудно подобрать ключи к пьесам Гуркина. Казалось бы — всё из жизни, автор воспроизвёл историю своих дедов и бабушек. Саня и Ваня — это баба Саша и дядя Митя из «Любовь и голуби», только здесь они на сорок лет старше. И живут они в пьесе «Саня, Ваня...» под своими именами, а потому она и воспринимается как знак благодарности и памяти внука — тем более что и дедовских могил уже нет, деревня-то снесена из-за строительства гидроэлектростанции.

О чём же эта «пьеса в двух частях»? Она о том, как война вошла в самые медвежьи уголки нашей страны и изломала жизнь людей. В центре пьесы три сестры, Александра, Софья и Анна. Живут в ладу со своими мужьями и детьми, у них обычные радости и горести, хотя уже идёт война — мы застаём их в июле 1941 года. В орбиту русской судьбы попал контуженный, видимо, в финской кампании, литовец Римас. Это он предупредил Ивана и Петра (мужей Александры и Софьи) о том, что по навету самодура, тупого и злобного председателя колхоза, их ждёт арест, а потому, не дожидаясь неизбежной повестки, Иван и Пётр ночью убегают на фронт. Их наскоро собирают жёны — попрощаться по-людски не вышло.

Председатель колхоза — фигура важная в пьесе. Драматург оставляет его за кулисами,

¹⁴Марчелли Е. Ж. Сибирско-итальянское ЧП / записала Эльвира Кадырова // Труд-7. 2005. 19–25 окт. С. 7.

¹⁵«Я никогда не писал то, что надо» / беседовала С. Новикова // Современная драматургия. 2010. № 2. С. 200.

такого действующего лица в пьесе нет, но мы многое о нём узнали. Это тип выдвиженца из города в колхозы (было такое), партдеятеля, деревенской жизни сроду не нюхавшего, но гораздого на доносительство. Из разговоров мы узнаём, что его даже животные к себе не подпускают, лошади лягают, бык гоняет по деревне, и мужикам приходится выручать его. Вскоре после ухода Ивана и Петра на фронт, председатель тонет на лесосплаве, и, похоже, бабы, видя это, спасти его не бросились.

После проводов мужчин на фронт, аж на целых восемь лет драматург прерывает действие, оставляет нас в неведении, как эти надсаженные войной женщины жили до тех пор, когда в 1949 году как снег на голову возвратился домой Иван, муж Александры. Его встретила Женя, крестная дочь Александры, она и рассказала Ивану, что лиха на всех хватило — Пётр погиб под Сталинградом в сорок третьем, Софья, слабая сердцем, не пережила смерть мужа, а Михаила, мужа Анны, инвалида, председатель из мести семье «убрал с конюшни, заголодали совсем» и, не желая быть домашним обузой, он покончил с собой. Александра, устав ждать мужа, от которого и весточки не было за эти восемь лет, решает выйти замуж за Римаса. Иван подгадал как раз к свадьбе, что в жизни почти невероятно, а в искусстве, как вольной стихии, этот сказочный (а он не единственный в пьесе!) ход вполне оправдан — совпадение этих событий даёт возможность автору усилить накал переживания такой необычайной коллизии. Автор ставит своих героев в сложное положение: жизнь сплела для них замысловатый узел — Саня, Ваня и Римас. Как развязать его? Александра, страстно любящая Ивана, поначалу, как и положено живущей чувствами женщине, выплёскивает на Ивана все обиды, потом, немного успокоившись, решает выслушать его: «Может быть, ты у нас герой какой несусветный, а я на тебя бочку качу». После страшного рассказа Ивана (это сюжет для отдельной трагедии) о его мытарствах в плену, о жертвенном подвиге (по-другому не скажешь!) в отношении той, другой, встреченной на войне Саши — одна сцена мытья Иваном безногой фронтовой подруги в женской бане чего стоит! — Александра понимает, что не в чем его винить. Это всё она, война проклятая! А Римас, который тоже её любит? «А Римас-то если бы... Счас бы на кладбище нам цветы таскал», — говорит она Ивану. Александра не в силах решать судьбу этих мужчин, и она находит (или автор — как угодно!) выход, достойный Василисы Премудрой: отдаёт право решать её судьбу мужчинам. Они оба выстрадали её любовь, и их решение станет божьим решением для неё. «Даю вам ночь. Утром приду, кого здесь застану, с тем и буду жить». И вовсе не сказочно, а вполне по-житейски и по-русски добавила: «Вот вам бутылка». Автор вовремя разрядил ситуацию, добавив в неё юмора и комичности.

А что мужчины? Они встречаются, и их мирный, по возможности, разговор заканчивается тем, что они, как два богатыря былинных, пытаются решить спор в борьбе. Борьба эта походит, скорее, на какое-то показательное представление, которое затеял, конечно, Иван. Он словно проигрывает страшный эпизод своего побега из плена, доказывая то ли себе, то ли Римасу, что он достоин прощения. Но они оба знают, что сила здесь ничего не решает, решает только Любовь! И тот, и другой любят Александру, желают ей добра: Иван готов уйти, оставить её с Римасом — «она хорошая». А Римас, в свою очередь, говорит Ивану: «Она чиста перед тобой» и... уходит. Вот так благополучно, светло и грустно заканчивается эта «пьеса в двух действиях».

При всей достоверности этих трудных, сложносочинённых по лекалам войны жизненных ситуаций автор приподнимает всё в ней происходящее на котурны, на такую степень обобщения, что пьеса становится притчей. Как и «Плач в пригоршню», она приобретает масштаб саги, саги о народе, где через обычную жизнь обычной уральской деревни показана жизнь огромной страны, тогда ещё Советского Союза.

В пьесе «Саня, Ваня, с ними Римас» много прекрасных строк, объёмных по смыслу живых цветистых диалогов, архетипических образов, знаковых деталей. Символическое звучание приобретает в «Сане...» традиционный сакральный образ русского народного сознания — образ реки, Чусовой. К ней, чтоб отойти душой от пережитого, от встречи с Иваном, приходит Александра с племянницей Женей, как когда-то, в начале войны, приходили к Чусовой сёстры. Мать Жени, Софья, глядя на реку, тогда сказала: «Какая красивая

наша река». И через много лет дочь уже покойной Софьи, Женя, удивляя свою коку (крёстную) Александру, произносит те же слова, с той же интонацией. «...Пройдут века, так же будет в вечном строе течь и искриться река...» Реку жизни не остановишь.

Тот же образ коловращения бытия выполняют в пьесе часы-ходики, гирику которых, уходя на фронт, Иван подтянул до упора — «Вот так-то... Я скоро». То же сделал через восемь лет, когда вернулся в свой дом. Закончился один виток жизни. Каким-то будет следующий?

Драматург Владимир Гуркин ставит вопросы, на которых нет простых ответов.

* * *

Владимир Гуркин — русский национальный писатель. Из его пьес «выпирала, вырывалась из них, из любого персонажа непостижимая и трагическая русская Душа, которой, может, теперь и нет»¹⁶. Он владел тайнами народного, полнзвучного, живого и просторного русского Слова, умел сочетать в творчестве меткие, вдумчивые жизненные наблюдения с безудержными полётами фантазии, воображения.

Драматург Гуркин верил в духовное призвание театра. «Для меня важно не разрезать жизнь как лягушку, чтобы увидеть, что у неё внутри, а если и препарировать, то духовными категориями. Мне важно найти нечто красивое, в смысле красоты Достоевского, а не красоты. Я ведь хочу быть хорошим человеком... Я люблю театр красивый, человеческий, живой», — говорил он в беседе со Светланой Новиковой¹⁷.

А живой театр — это игра, это чудесная стихия свободного человека. Живой театр стремится показать жизнь во всех её ипостасях, непредсказуемостях, изломах, а потому противится стремлению втиснуть произведение в регламенты жанровых, стилевых установлений. Театр Гуркина трудно приписать какому-нибудь из них — автор позволяет себе вольно пользоваться средствами, исходя из драматургической канвы пьесы. Что такое «Саня, Ваня, с ними Римас»? Автор обозначил её обще — пьеса, но это народная бытовая драма и народная трагедия, это притча и русский эпос с былинными ходами и, как «Плач в пригоршню», русская сага. А «Музыканты»? Вполне узнаваемая семейная драма, рассмотренная через вневременные понятия любви, верности, долга, творчества и красоты — и в результате глубокая философская притча.

Владимир Гуркин был убеждён, что театр — убежище от нехорошего в жизни. У него было ясное понимание, к чему должно вести человека в искусстве. Ему, как настоящему интеллигенту, претил «плач по идеалу», так захватившему нашу «образованщину». Писатель часто в разговорах цитировал митрополита Антония Сурожского, которого читал, старался не пропустить его передачи-проповеди по радио: «Нет идеала? А чем Иисус не идеал? Бог — высший идеал. С ним и живи. Зачем другие?»

Гуркин старался жить и работать согласно этим православным установлениям. Он любил людей, любил жизнь, считал, что должен жизни больше, чем она ему, а потому все неурядицы в своей творческой судьбе воспринимал как просто опыт. Неудачи с постановкой пьес, которые вдруг оказывались «не формат», невнимание столичного и нашего местного, часто корыстного, литературоведения к его творчеству, дурная привычка театров паразитировать на нём, ничего не платить («Он что, Олби?» — удивлялась администрация Иркутского драмтеатра), — по Гуркину это пусть и горький, но полезный опыт. Все, кто его знал, говорят: он ни на кого не держал зла, не обивал пороги театров и не рассылал свои пьесы веером. Его не волновало, что даже те, кто смотрел «Любовь и голуби» десять раз, не скажут, кто автор этой блистательной комедии. Он воспринимал как должное, что и в постановках, и в критике ещё мало кто дотягивается до понимания его полифонических текстов. Он верил — это пока.

У Владимира Гуркина хорошие предшественники — Василий Шукшин, Александр Вампилов, Виктор Розов, Александр Володин. Но писал он по-своему и о своём. Смерть

¹⁶Саввина И. Иногда случайная встреча... // *Любовь и голуби*. С. 749.

¹⁷Современная драматургия. 2010. № 2. С. 201.

его застала на пороге каких-то новых, скорее всего связанных с прозой, открытий. Я обратила внимание на пространные авторские ремарки, разбросанные по всему тексту пьесы. Они у Гуркина особенные. Обычно авторы дают широкие ремарки в начале пьесы с целью ввести читателя (а также и постановщика) во внешний антураж, в обстановку, обозначить место действия. У Гуркина всё по-другому. Ремарки у него, как и водится в драматургии, дополняют диалоги, проясняют действие и мотивы поступков персонажей пьесы, но важнее другое — они добавляют красок и нюансов во внутреннее состояние, в переживания героев. И делает это Гуркин, скорее, как прозаик или поэт, пытаясь отобразить состояние человека между «явью и сном», которое определяют обычно как «пограничное», проникнуть в глубинное, подсознательное. Наконец, тяга к «шорохам и звукам» природы, к гудкам паровозов, к шелесту падающего с эстакады угля — всё говорит о том, что Гуркину тесно в пьесе. И это не удивительно, ведь он начинал не с пьес, а с рассказов, а затем («Я же артист!») ушёл в драматургию.

Будущее русского театра невозможно без подъёма драматургии, а подъём, мы в этом уверены, невозможен без обращения к творчеству Владимира Павловича Гуркина. Из наших краёв вышел, возможно, один из последних драматургов любви и надежды в русском искусстве, автор с космическим ощущением жизни, а потому его творчество будет актуальным всегда.

Автор благодарит Л.А. Мирманову за оказанное содействие в написании данной статьи.



ВЛАДИМИР ХОДИЙ

ЖУРНАЛИСТ, г. ИРКУТСК

Неизвестный Вампилов

Так случилось, что ещё в начале учёбы в университете, «Восточно-Сибирская правда» напечатала мой репортаж из хранилища периодических изданий Научной библиотеки Иркутского университета. Тогда оно размещалось в теперь несуществующем старом здании на задах гостиницы «Ангара». Сотни названий, бесчисленная масса подшивок газет, покрытых невидимой пылью времени... И легли тогда на бумагу заключительные слова об увиденном: «Здесь уснули тысячи новостей. Их можно разбудить. Они расскажут вам много интересного».

Однако немало «разбуженного» и интересного вышло, когда спустя полвека я снова пришёл в хранилище, только теперь оно располагалось в солидном капитальном здании на улице 5-й Армии. Пришёл, полагая, что до меня там уже побывали все, кто интересуется и тем более изучает творческое наследие замечательного писателя и журналиста Александра Вампилова, и что никаких белых пятен, или, как говорят библиотечные работники, лакун в этом отношении не обнаружу. Но оказалось это не так.

Хрестоматийный факт: Александр начал печататься, учась на третьем курсе историко-филологического факультета, в газетах «Иркутский университет» и «Ленинские заветы» Иркутского сельского района, а на пятом курсе, в 1959 году, его взяли в штат «Советской молодёжи». На первых порах все свои публикации — а это были исключительно юмористические рассказы — он подписывал псевдонимом *А. Санин*, а в «Молодёжке» под «штатными» материалами ему волей-неволей пришлось ставить свою фамилию. Так продолжалось ещё какое-то время: литературные опыты венчал *А. Санин*, а разные журналистские корреспонденции, репортажи, очерки — натуральный *А. Вампилов*.

И тут, на что до сих пор никто не обратил внимание, в начале 1961 года в газете появляется ещё один его псевдоним — *А. Валентинов*. Александр к тому времени успел, как вспоминал впоследствии его коллега по «Молодёжке» поэт Сергей Иоффе, «исколесить немало дорог с удостоверением литсотрудника, а потом зав. отделом комсомольской жизни». Печататься приходилось часто, и не всегда требовались крупные материалы, так что этот псевдоним оказался палочкой-выручалочкой. В одном случае шла в номер небольшая зарисовка о молодых строителях «большой химии» из Усолья-Сибирского, в другом — о библиотекаре, агитаторе и депутате сельсовета в одном лице из Зиминского района, в третьем — репортаж с избирательного участка в день голосования. Всего, до отъезда на учёбу в Центральную комсомольскую школу в Москве осенью того же 1961 года, под этим псевдонимом Вампилов напечатал не меньше десятка материалов.

Примечательна заметка «Быть похожим на себя...». В ней рассказывается об участии областной конференции «Молодость. Творчество. Современность», будущей гордости иркутской живописной школы Галине Новиковой.

Вампилов писал:

Галина Новикова еще студентка, но творчество уже началось. Началось в ученье, в сомнениях, в поисках верного пути, сюжета, штрихов, красок, света, композиции — в поисках самого себя...

И далее:

Поднимает, влечет за собой традиция, огромное, могучее наследие старых мастеров. Влечет и подавляет. Толкает вперед и встает поперек дороги. Надо быть похожим... на себя.

Новые «звезды», новые школы, новейшие стили. Смело, интересно, захватывающе. А надо быть самим собой.

Думай, художник, отрицай и утверждай, сомневайся и экспериментировать. Но помни: надо быть самим собой. И надо быть верным жизни.

Конечно, адресуя эти слова молодой художнице, Вампилов адресует их и себе.

Ну а юмореска «Когда идет игра» под псевдонимом А. Валентинов — это уже стопроцентный Александр Валентинович!

Когда идет игра

Задерганный, затравленный, оглохший, оскорбленный и напуганный, я выбрался на свободу. Осмотревшись, я не нашел на себе почти не одной пуговицы. Я добрался до автомата, выпил воды. Тут в темном стекле я увидел свое лицо. Оно ошеломило меня своей бледностью, нервозностью. «К врачу! — подумал я. — К врачу!» За спиной опять грянули эти ужасные вопли и страшный свист. Я быстро пошел прочь.

Я только что побывал на футболе. Побывал первый раз в жизни. Приятель заманил.

Сначала все шло мирно. Усаживались, читали газеты, ели мороженое, разговаривали.

Но вот выкатили мяч — и началось. Нет, меня не били. Но со мной делились восторгами и огорчениями.

Игра шла у одних ворот, мой приятель застучал зубами и накинута на меня со страстными иезуитскими объятиями, потом он стал рычать и бить себя в грудь, потом он стал бить в грудь меня. Переходы от нежности к грубости были так неожиданны, что я не спускал с него глаз.

Сидящая сзади девушка визжала, и, кажется, уже несколько раз пробежалась по моей спине.

Забил гол. От свиста и рева на трибунах поднялся ветер. Мой приятель был невменяем. Я успел его оттолкнуть, тогда он обнял и поцеловал сидящую рядом женщину.

— Что ты делаешь! — испугался я. — А если ее муж болеет за другую команду?

Но муж, не замечая ничего на свете, самозабвенно орал. Он болел за эту же команду.

Девушка, сидящая сзади, отбивала на моей спине чечетку. Все вокруг рычало, визжало, неистовствовало. Стало жутко. Я решил бежать.

Я вырвался из объятий своего приятеля и кинулся к выходу.

— Куда вы? — удивился приятель. — Это же настоящая игра! По классу «Б»!

Я ничего не ответил, а только подумал про себя, что бы здесь было, если городская команда играла по классу «А»! Я бежал. Меня не пропускали.

— Куда вы? Что с вами?

— Пропустите его, это сумасшедший!

Но вот я на свободе. В клинике я бойко взбежал по лестнице в кабинет знакомого врача невропатолога. И — ужас! Я застал его сидящим у динамика с открытым ртом и безумными глазами. Он слушал репортаж о проклятом футболе. Я хотел уйти, но в этот момент врач вдруг рявкнул и завопил:

— А-а-а! Забили!!! Наши! А-а-а-а!

И он кинулся ко мне. Он бежал за мной вокруг стола, рычал, и, кажется, он хотел меня укусить. Я изловчился и вылетел в двери.

И тут меня взяло зло. Я вспомнил всех этих помешанных, их свирепые, торжествующие физиономии, и мне вдруг захотелось оказаться там, на стадионе, и увидеть, как эти «наши» не выиграют, а проиграют. Мне захотелось злорадоваться.

А. Валентинов

21 мая 1961 г.

* * *

В феврале 1963 года, вернувшись после учёбы в Москве и поработав ответственным секретарём редакции, Вампилов в качестве специального корреспондента летит на север области, где намечается новая гигантская стройка.

И вот, третьего марта номер «Молодёжки» открывает аншлаг «Третья ГЭС на Ангаре будет построена здесь». Под аншлагом — панорамное фото и текст:

Ровесники Иркутского моря собираются в школу, волны давно уже пасутся на каменной груди Пурсея — пришел черед Толстого мыса. Створ будущей плотины проходит от диабазовой твердыни мыса до осин на правом берегу. Усть-Илимская ГЭС начинается.

А всю вторую страницу украшает рисованная редакционным художником шапка «Подвинься, товарищ тайга!». Она же повторяется и в следующем номере, а потом стала рубрикой в газете, ею пользовались многие, кто писал о северных стройках.

Огорчает, что на этих страницах под шапкой «Подвинься, товарищ тайга!» составители библиографических указателей творчества Вампилова обратили внимание лишь на его очерковые материалы «Колумбы пришли по снегу» и «Дорога». А ведь рядом и с продолжением ещё в двух номерах идёт фоторепортаж автора. Именно фоторепортаж, а не отдельные фотоиллюстрации, под сквозным заголовком «Усть-Илим начинается». Я насчитал более десятка снимков. Заняты подписи к ним. Вот одна:

Через несколько лет этот снимок напомнит, с чего начиналась стройка Усть-Илимской ГЭС. Начиналась она со строительства палаток, и лошадка в этом деле тоже кое-что знала.

Фоторепортаж А. Вампилова, спец. корреспондента «Советской молодежи»

Но в этой командировке не только романтика и готовность молодых строителей преодолевать любые трудности оказались в поле зрения спецкора газеты. И седьмого марта, уже под рубрикой «Разрешите вмешаться!», на первой полосе появляется его заметка с категоричным заголовком в одно слово:

Некрасиво

Бригада Николая Юдина (СУДР-3 управления строительства Усть-Илимской ГЭС) пробивает дорогу на Толстый мыс, к месту строительства Усть-Илимской ГЭС. Сейчас это самый что ни на есть передний край новой стройки. Бульдозеристы работают в глухой тайге, ночуют они не в особенно благоустроенной времянке на саях, которую волокут за собой по тайге.

Недавно в Воробьево в ОРС стройки пришли меховые брюки и куртки, явно предназначенные для строителей, работающих на улице, на морозе.

Ни один бульдозерист теплой, давно заказанной одежды не получил. Зато в новых меховых куртках разгуливают сейчас некоторые работники управления СУДР-3. Тепло оделись нормировщики, начальник АТЗ тов. Борисов, его заместитель, диспетчер АТУ-5 и прочие. Кто так небрежно распорядился куртками и штанами — пока неизвестно. Мы предлагаем заинтересоваться этим начальнику СУДР-3 тов. Копытову.

Нужна новая партия меховой одежды, но теперь — по назначению.

А. Вампилов

7 марта 1963 г.

* * *

Есть устойчивое мнение, что на Вампилова — прозаика и драматурга — большое влияние оказали Гоголь и Чехов. Не буду спорить, но думаю, что к ним нужно добавить, по крайней мере, ещё одно имя — американского писателя О'Генри.

Известно небольшое эссе Александра Валентиновича об этом, по его определению, «писателе-гуманисте, рассказчике-виртуозе». Публикация за подписью А. Санин увидела свет по случаю столетия со дня рождения писателя, 11 сентября 1962 года и известна

читателям. Напомню, Вампилов отвергает обиду критиков на то, что О'Генри «не создал «человеческой комедии» современной ему Америки, не поднялся до больших социальных обобщений». «Но О'Генри не обязан быть ни Свифтом, ни Бальзаком, — писал Александр. — Его рассказы — золотые россыпи юмористики. Пружина его рассказа — парадокс. Парадокс — повествование в диалоге, в действии. Парадокс — как точное средство мышления, как самое яркое и краткое выражение сущности нормального, обычного».

Проходит меньше года, и в кинопрокате нашей страны появляются экранизированные на студии «Мосфильм» три новеллы О'Генри под общим названием «Деловые люди». Вампилов тут же публикует рецензию — «маленькую», как он её назвал, — «Железные шутки», которая почему-то осталась незамеченной тем, кто исследует его творчество. А ведь посмотрите, с какой глубиной, с каким знанием предмета он её написал!

Так, рецензент огорчён, что создателям картины удалась только одна новелла, а две другие «перегружены неумеренной, поверхностной, отчаянной стилизацией». Что лучшие усилия затрачены на «внешнюю, бутафорскую подлинность происходящего», а не на «подлинность человеческих характеров». Что картина «замучена клоунадой»...

Вместе с тем обратите внимание: Вампилов то ли случайно, то ли сознательно, но не называет имя режиссёра-постановщика фильма «Деловые люди». А был это Леонид Гайдай, в дальнейшем создатель таких блистательных кинокомедий, как «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».

Зато в другом случае, когда на экраны страны вышла художественная лента «Гамлет» в постановке Григория Козинцева и с Иннокентием Смоктуновским в главной роли, он откликнулся краткой, но убедительной персональной оценкой одного и другого. Ключевая мысль заметки: «Сомнения, страдания и борьба — это логика одного характера. В сомнении — начало борьбы, в страдании — её продолжение. В борьбе — истина». По-моему, это самое крылатое из всех крылатых выражений писателя Александра Вампилова.

Познакомьтесь и вы с этими текстами-шедеврами.

Железные шутки

МАЛЕНЬКАЯ РЕЦЕНЗИЯ

10 из 30 выбили мосфильмовцы, экранизируя три новеллы О'Генри. Удалась только одна вещь — «Родственные души». Успех обеспечило счастливое сочетание — отличный юмористический сюжет, требующий психологической точности исполнения, и хорошие комедийные актёры.

Дуэт Р. Плятта и Ю. Никулина интересен уже сам по себе, к тому же актёры отнеслись с должным вниманием к О'Генри, к своеобразию его юмора, они воспользовались лучшими мыслями писателя. Внешне чисто водевильные, «Родственные души» не так уж невинны, если к ним присмотреться.

Критики слишком единодушно обвиняют О'Генри в примиренчестве классов, приписывают ему больше, чем полагается, беспринципности, благодушия. Посмотрите «Родственные души». Это юмор, но юмор, наводящий на размышления. Ревматизм вора ничем не хуже ревматизма преуспевающего дельца. И когда писатель заставляет эти две взаимно непримиримые стороны, взявшись за руки, направиться в кабак — посмотрите, как зрителю по-хорошему, по-умному смешно. Возможность и пример человеческих отношений между бродягой и джентльменом вдруг дают большее ощущение неравенства, чем их извечная вражда. Зритель видит и понимает, как далеко друг от друга увела жизнь двух людей, зритель оказывается у самой пропасти несправедливости и чувствует неумолимую нелепость действительности.

Две другие новеллы — «Дороги, которые мы выбираем» и «Вождь краснокожих» — перегружены неумеренной, поверхностной, отчаянной стилизацией. Экранизируя эти новеллы, лучшие усилия постановщик затратил на внешнюю, бутафорскую подлинность

происходящего, тогда как мы хотели видеть подлинность человеческих характеров. Америку, какой ее описал О'Генри, мы скорее узнали бы именно в яркой колоритности характеров, чем в намалеванном на стене каньоне и в безответственных оплеухах у входа в провинциальный ресторан.

Стилизация захлестывает две эти вещи. Зачем, к примеру, исполнитель главной роли Акулы-Додсона похож на Юла Бриннера из «Великолепной семерки»? Зачем провинциальные жулики дремлют, сидя верхом на коновязи и обязательно надвинувши на лоб шляпу? Откуда в руках у шулера появилось это неотвратимое ковбойское лассо?

Акула-Додсон прежде всего должен быть бизнесменом и уже вследствие этого — убийцей. В фильме — наоборот. В фильме Акула-Додсон — ковбой, веселый шулер-ковбой, мальчишка — исключительно ковбой, все прохожие — ковбои.

Новелла «Вождь краснокожих» не претендует на глубокие социальные обобщения и, конечно, не требует серьезности в исполнении. Она требует легкомыслия, хорошего художественного легкомыслия, юмора. И когда его не хватает у постановщиков фильма, они подсовывают зрителю сто раз уцененные вещи. Фильм замучен клоунадой.

Зритель смеется, глядя на бесконечное похлопывание героев по бюстам и слыша при этом металлические звуки. Стучат и сами же прислушиваются, как в цирке. Зритель смеется, но смеется бессмысленным смехом. Потому что это тяжелый, принудительный, механический юмор. Юмор самого низкого качества. Утиль. Такие шутки живут вне сюжета, вне чувства, вне мысли и, наконец, вне О'Генри.

Разумеется, О'Генри не чужды гиперболы, фарс и клоунада. Этого достаточно в его произведениях. Но О'Генри пользовался этими приемами со вкусом и неизменным чувством меры.

А. Санин

8 июня 1963 г.

Гамлет-неожиданный

Гамлет Козинцева и Смоктуновского производит неожиданное впечатление. Принц-страдалец откровенно преобразен в принца-тираноборца. Эта трансформация и оправдана, и художественна. Сомнения, страдания и борьба — это логика одного характера. В сомнении — начало борьбы, в страдании — ее продолжение. В борьбе — истина.

Смоктуновским глубоко понята исключительность Гамлета. В Эльсиноре, в гнезде лжи, правда — велика, честность — гениальна, откровенность — болезненна.

Единственно здоровый, непораженный ложью человек — Гамлет.

Есть мелочи, грешащие против стиля и вкуса. Но речь о сути.

Пройдет время, и, возможно, мы увидим другого Гамлета, где режиссер и актер повернут к нам новой, сейчас неразличимой гранью великую пьесу Шекспира. Но те будущие — режиссер и актер — должны быть так же талантливы, как Козинцев и Смоктуновский. Тогда мы снова поверим и снова удивимся.

А. Вампилов

18 октября 1964 г.

Кеуль — воспоминание навсегда

Был повод: летом 2013 года последние месяцы отводились Кеулю — одному из самых старых (возраст более трёхсот лет!) населённых пунктов Иркутской области. Скоро его должны были накрыть волны водохранилища строящейся Богучанской ГЭС. И я вспом-

нил, что ровно полвека назад, тогда сотрудник «Советской молодёжи» Александр Вампилов с коллегой из «Восточно-Сибирской правды» Вячеславом Шугаевым взяли в своих редакциях командировки и вместе улетели на Север. Своими впечатлениями, увиденным и услышанным они поделились в путевом очерке, озаглавленном под стать тогдашнему духу времени, духу романтики и свободы — «Голубые тени облаков».

Очерк опубликовали в четырёх номерах «Молодёжки» — четыре «истории одной поездки». Первая история, или часть, — встречи в районном центре таёжного края Нижне-Илимске, вторая — в селе Кеуль, третья и четвёртая — тогда ещё в палаточном посёлке строителей будущего белокаменного города Усть-Илимска.

Читая и перечитывая очерк, я невольно задался вопросом: а как авторы писали эти части — непосредственно двумя перьями или каждый отдельно, а затем согласовывали и стыковали то, что создавалось в одиночку? Ответ искал, ориентируясь на характерные для каждого из них слова и речевые обороты. В истории из Кеуля обратил внимание на строку: «Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. Крепки серые вековые твои дворы...» Вспомнил, что в более позднем очерке «Прогулки по Кутулику» Александр Вампилов также употребил слово «положительно»: «Положительно, в Кутулик пришла золотая футбольная эра».

И тут меня что-то подтолкнуло взглянуть на подписи авторов под каждой частью очерка. Действительно: если обычно фамилии ставятся в алфавитном порядке, то здесь под первой и третьей историями подпись «В. Шугаев» опережала подпись «А. Вампилов», а в двух остальных это правило не было нарушено. Получается, что так товарищи по перу обозначили границы своего авторства и соавторства, и, значит, можно считать, что рассказ о посещении Кеуля, а также заключительная часть очерка писались Александром Вампиловым.

Теперь — о не менее существенном. Обратите внимание, с какой обстоятельностью и даже нежностью и восторженностью подан в очерке образ старинного села на самой окраине Иркутской области. Какими живыми и симпатичными предстают перед нами его жители — бабка Наталья, Гаврила Анкудинов и его сын Володя, «амазонка» Валя Карнахова, да и постоялец Вася Сизых, молодые геологи, что бьют шурфы на берегу Ангары.

А чего стоят последние абзацы!

Село удалялось, становилось воспоминанием надолго, а может быть, навсегда... И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — столица задумчивости и белоснежных облаков.

«Столица задумчивости и белоснежных облаков» ... Наверное, никто так возвышенно о Кеуле не сказал и, думаю, уже не скажет.

Голубые тени облаков

В Кеуль — две дороги. Одна гладка, холодна, мощенная золотом и серебром, эпически широкая дорога сквозь тайгу. Темные, тяжелые сопки громоздятся по обеим ее сторонам, мелькают веселые острова с березами, раскидистыми, как дубы, осинками, стройными, как танцовщицы. Дорога эта — Ангара.

Другая — прямая, необъятная и непроходимая, когда ветер и дождь. Маленькие здешние самолеты летают только в отличную погоду.

Третьей дороги в Кеуль нет.

Наш «антон» приземлился прямо за огородами, по лужайке подрулил к новому домику, взревел, замер — и мы прыгнули на траву. Нам быстро объяснили, что домик, обшитый свежим тесом, — аэропорт, а улочка, тайгой прижатая к реке Кеуль, — старое кержацкое село.

Что ж, здравствуй, Кеуль! Будем знакомы! Ты хорош уже тем, что мы с тобой никогда не виделись.

Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. Крепки серые вековые твои дворы, румяны новые твои срубы, затейливы резные наличники на твоих окнах, что установились на мир с наивным, святым удивлением.

На улице возилась ребятня, и ласковые, томные от жары собаки расслаивались у ворот на шикарных своих хвостах.

Мы кое-как выяснили, что все взрослое население на том берегу Ангары огораживает загон для колхозного стада. Дома почему-то оказались здоровенный колхозник Гаврила Анкудинов и его сын Володя, охотник. Нам где-то надо было устроиться. Анкудиновы посоветовали пойти к бабке Наталье, тоже Анкудиновой, но в родне с Гаврилой и его сыном не состоящей.

К бабке повел нас Володя, красивый парень, разговорчивый, ловкий, с победительной бесконечной усмешкой на губах.

— Возьми постояльцев, — сказал бабке Володя, — серьезные люди.

Бабка, скособоная, снизу вверх взглянула на нас быстро-быстро. Бабка сказала:

— Кто их знает... Серьезные или какие. Никто не знает. Не беру я постояльцев. Брала, а больше не беру.

Володя снисходительно (к бабке, к нам, к целому миру) стал объяснять ей, что мы не жулики. Она минуту не соглашалась, потом отвернулась от нас, пошла на кухню и на ходу выронила:

— Оставайтесь. Куда пойдете? Все на городьбе.

Володя усмехнулся и ушел, мы стали приставать к бабке с расспросами, она отвечала охотно и обстоятельно. Ей восемьдесят три года, у нее три дочери, они вместе с детьми живут по разным местам — в Тушаме, в Ангарске, одна живет здесь, в Кеуле, но другим домом и заходит редко. Бабка живет одна и хозяйничает одна. Всю жизнь прожила в этом доме, всю жизнь занимается скотом, огородом и рыбалкой, сети ставит с детства и по сей день ставит. У нее своя лодка и полный амбар снастей.

— Как же ты одна со всем управляешься? Не трудно тебе?

— Так и маюсь, — просто, не жалуясь, ответила она. — Живу и маюсь, — сказала она с удовольствием.

Немного погодя выяснилось, что у бабки Натальи уже живет постоялец — рабочий с геологической партии, которая квартирует в Кеуле и тут же, по берегам, ищет уголь и бокситы.

Оказалось, что Вася Сизых, бабкин постоялец, в этот день уволился и уезжает в Кежму — туда, откуда приехал месяц назад. За свои двадцать пять лет он объездил чуть ли не весь Красноярский край, бывал и в других местах, по леспромхозам, у геологов, у плотников — нигде ему не нравилось, нигде не сиделось.

Он вошел в избу, высокий, с огромным кудрявым чубом, в темно-синем плаще до пят, поздоровался и тут же спросил, не уезжаем ли мы в Кежму: он искал попутную лодку. Мы ответили, что только что приехали, и он мгновенно потерял к нам всякий интерес. Он сел за стол у окна, положил на руки небритый, сверкающий, как мокрая трава, рыжий подбородок и, выпучив глаза, закручинился тупо и беспробудно.

— Уезжаешь?

Он не ответил.

— Что тебе здесь не понравилось?

— Погнался, дурак, за длинным рублем, — заговорил Вася покаянно.

— Ну, а здесь какой рубль оказался?

— Ну его к черту, Кеуль этот! — закричал вдруг Вася с воодушевлением.

— Куда же ты сейчас?

— В Кежму! — сказал он полувосторженно.

— Тебе и в Кежме будет худо, — сказала ему строго бабка Наталья, — в Кеуль захочется. Вася взглянул на нее испуганно.

— Ну! Придумала, ворона! — сказал он, но моментом успокоился и уже мечтательно произнес: — В Кежме лучше.

К вечеру мы узнали о Кеуле уже многое.

На том берегу упало малиновое покрывало заката, вода в реке потемнела, далеко моторки запели, как туча комаров, — пришел вечер, раздумчивый и спокойный, как ста-

рость бабки Натальи. Моторками через полчаса был усеян весь берег. Лодки здесь в каждом доме. В лодках здесь ездят большие, чем ходят пешком. Скромные колхозные уголья: немного пашни, покосы, загоны для скота — все это находится по берегам и на островах. Сегодня колхозники огораживали узкую полоску вдоль того берега. Туда за четыре километра привезут коров, и они будут жить там, пока не съедят всю траву. На дойку будут ездить из села, через реку. Пастбище огораживают, чтобы коровы не разбрелись, — медведь ходит здесь всюду.

В зените лета ночи здесь незаметные, вовсе не темнеет. Почему-то не спалось, да еще рядом с бабкиной избой, у магазина, девки собрались в очередь за дешевыми туфлями. «В жизни раз бывает восемнадцать лет», — выли девки. На сундуке храпел Вася, кудрявый дезертир. Попутной лодки он так и не нашел.

Утром нас разбудил бригадир криком в соседское окно:

— За реку! На городьбу!

Утро вдруг оказалось пасмурным, нудил едва заметный дождь. Бабка зажарила нам тайменя, выдала кринку молока и подалась по хозяйству.

По меже, по бабкиному огороду мы спустились к серой скучной реке, там была уже вся деревня. На берегу мы познакомились с Георгием Сусловым, начальником геологической партии. Георгий молод, но суров и серьезен не в меру и, видно, мужик толковый. Он взял нас в свою лодку, и мы поехали за Ангару, к рабочим-геологам, что бьют на том берегу шурфы.

Парни живут в палатке у самой воды, их трое — Илья Антонов, Толя Матюшков, Юра Миронов. В деревне часто бывать не приходится, они свыклись с пещерной своей жизнью, на вещи смотрят с трезвым оптимизмом, шутят непрерывно, напропалую. Это им необходимо в первобытной их жизни.

Мы навалились на них со своими извечными вопросами, пошли смотреть шурфы, потом курили у костра. День разгуливался, с запада поперли белоснежные, непорочные облака. В лесу какая-то птаха твердила одно и то же — что-то бесхитростно меланхолическое.

— Когда она спит? — сказал Толя. — Вот всю ночь так и весь день, без обеденного перерыва. На прогрессивку.

И тут, раздвинув тяжелую портьеру тальника, к костру вышла Валя. Валя Карнаухова, коллектор. Она возвращалась от дальних шурфов. Спортивные брюки и плащ на ней наполовину вымокли. Она покраснелась — быстро шла, и глаза ее блестели восторженно. Рослая, стройная, Марьяна, амазонка! Валя в прошлом году закончила десятилетку и осталась в Кеуле, в своем селе, в своей тайге...

Уезжали мы на лодке, был пышный июньский день, голубые тени шли по Ангаре плавающими островами.

Село удалялось от нас, кивая нам старой деревянной церквушкой на горе, белой фермой, трепещущей лентой горной речки. Село удалялось, становилось воспоминанием надолго, а может быть, навсегда.

И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — столица задумчивости и белоснежных облаков. Путь наш был на Усть-Илим.

А. Вампилов, В. Шугаев
«Советская молодежь»

10 июля 1963 г.

«Золотая футбольная эра»

Идея провести этот потешный футбольный матч родилась в редакции газеты «Советская молодежь». На воскресенье 13 октября 1963 года была назначена финальная игра на кубок газеты, в которой встречались юношеские команды «Шахтёр» (Черемхово) — «Ан-

гара-2» (Иркутск). И вот, по инициативе сотрудника редакции Александра Вампилова, «Молодёжка» решила вызвать на футбольный поединок областную студию телевидения. Вот что писала потом газета:

Противники договорились заранее, телеоператоры шептались на углу Карла Маркса и Ленина о стратегии и тактике, встречаясь с журналистами, грозились выиграть у них с баскетбольным счетом — перчатка была брошена, вызов принят.

И вот... Студия явилась на стадион в единственном лице (Ю. Четин из киногруппы).

Что же помешало явиться на стадион остальным? Насколько мы понимаем в телевидении, явиться им помешали, мы подозреваем, антиспортивные мероприятия. Струсили, смалодушничали, подвели...

Но это выяснилось на следующий день. А в субботу — рабочий день, поскольку газета выходила в свет и по воскресеньям — зашёл я, тогда студент отделения журналистики госуниверситета и часто печатающийся автор, в редакцию «Молодёжки» на улице Киевской, дом № 1 и увидел расстроенные лица Вампилова, Юрия Скопа, Евгения Хохлова и других сотрудников. Наверное, мои слова прозвучали как утешение и спасительная надежда: «А что, давайте мы выйдем на поле вместо телестудии, у нас проблем со сбором нет...»

И вот на завтра, как и условились, обе команды составами в одиннадцать человек, да ещё с запасными, высыпали на газон центрального стадиона Иркутска сразу после того, как его покинули юные участники финального матча на приз газеты.

Впрочем, здесь нужно прерваться и сказать, что не было в то время среди мужской половины населения Советского Союза иного сравнимого по масштабу здорового пристрастия, чем футбол. Кстати, наиболее свободной от идеологического контроля и цензуры сферы тогдашней нашей жизни. Правда, большой футбол — игры чемпионата страны, международные встречи — можно было увидеть только в Москве. На остальных же необъятных просторах страны о нём могли слушать лишь по радио и читать в газетах. Потребовалось ещё несколько лет, пока, в частности, под Иркутском не построили наземную станцию «Орбита» и начался показ передач Центрального телевидения. И с ним появились конкуренты футбола — хоккей с шайбой и фигурное катание. А в конце 50-х — начале 60-х годов в отношении зрелищности и популярности ещё безраздельно господствовал футбол. У всех на устах была победа сборной СССР в Кубке Европы 1960 года, драматическая неудача на чемпионате мира в Чили и не менее драматическая судьба легендарного форварда Эдуарда Стрельцова, о котором долго помнили, как в первом же своём матче за сборную страны против шведов он забил три гола...

Что же касается конкретно 1963 года, то для нас, живущих в Прибайкалье, он вообще оказался богатым на события в футбольном мире. Иркутская «Ангара», выступавшая в восточной зоне класса «Б» первенства страны, заняла достаточно престижное шестое место из пятнадцати, опередив хабаровский СКА, красноярский «Локомотив», «Томич» и другие потенциально сильные команды. Тогда впервые в этой компании попробовал силы «Старт» из Ангарска. Сенсационно выступили в финале первенства СССР, заняв третье место, наши юноши, ведомые талантливым наставником Александром Веденевым. Ярким украшением окончания сезона стала впервые проведенная на зелёном газоне игра между иркутскими мастерами футбола и хоккея с мячом — «Ангарой» и «Локомотивом». А прошло два месяца, и уже на ледовом поле того же стадиона «Труд» наши кудесники оранжевого мяча Иннокентий Протасов, Игорь Хандаев, Антонас Толжунас и другие впервые триумфально одолели многократных чемпионов СССР — армейцев Свердловска. На той игре впервые в истории были полностью заполнены обе трибуны главной спортивной арены города...

Но вернёмся к футболу и к матчу «Советская молодёжь» — отделение журналистики госуниверситета. Не буду ничего дополнять и комментировать от себя, вот концовка отчёта о нём в газете (начало процитировано выше):

Против нас выступила срочно сколоченная команда студентов-журналистов. Ребята набрали прямо с футбольных площадок — румяных и резвых.

Видит бог — мы не футболисты...

Тактику мы выбрали, прямо надо сказать, — оборонительную, играли вежливо, корректно, вратаря противника, надо сознаться, мы не утомили.

Студенты носились по полю, как молодые олени, ни одного из них невозможно было догнать. Они налетали дружно, легко распасовывали и, хуже всего, били по воротам. Мы сменили несколько вратарей, Яшина среди нас не оказалось. Во втором тайме мы предприняли несколько атак, наши нападающие топтали штрафную площадку противника. Наш левый крайний поэт Анатолий Преловский даже побывал в чужой вратарской площадке.

Студенты неистовствовали. Создается впечатление, что университет битком набит футболистами. По крайней мере, эти наши внештатные корреспонденты никогда еще не были так активны.

Счет матча... Что и говорить — мы не футболисты.

У телевидения мы бы выиграли...

С разгромным счетом!

Хотя под этой заметкой стояла подпись «Команда «Матрица», все в редакции «Советской молодёжи» знали, что писал её Саня — Александр Вампилов. Всё в тексте было его — лёгкость пера, раскованность, ирония и даже самоирония. А потом он любил футбол, неплохо в нём разбирался. В написанном позднее очерке «Прогулки по Кутулику» читаем:

На поле шла игра и, надо заметить, приличная игра... Я прислушался к разговорам болельщиков, разговоры оказались квалифицированные, с упоминанием новейших тактик, Сандерленда, Эйсебио. Положительно, в Кутулик пришла золотая футбольная эра.

Или следующее наблюдение:

Кутулик на три дня погрузился в золотой футбольный бред, а финальная игра была назначена даже на четвертый день, на понедельник.

Да что там Кутулик! Вампилов видел и не такое:

...Я вспомнил городские футбольные ажиотажи, ночные бдения у телевизоров, москвичей, которые по вечерам собираются у стен стадиона «Динамо» и, сбившись в кучу, до поздней ночи, а то и до утра гудят, как отропившийся улей...

И поэтому не случайно, что футбол присутствует в его пьесах. В «Провинциальных анекдотах» сюжет «Истории с метранпажем» вообще завязан на футбольном радиорепортаже, а голос комментатора даже стал действующим лицом. А смотрите, насколько афористична реплика ключевого персонажа сценического действия — администратора гостиницы Калошина: «Если футбол, то для чего тогда двери на ключ закрывать?» Или взять «Утиную охоту», где один из окружения главного героя признаётся, что он болельщик «не заядлый, а так, знаете, умеренный», в адрес другого в качестве наказания звучат слова жены: «Его мы лишаем футбола! На сегодня... Вы не представляете, что значит для него футбол!»...

Однако снова вернёмся к нашей игре и к тому, что о ней написала «Молодёжка». А написала она ещё и такое:

Мы не припомним встреч подобного рода, считаем это начинание полезным и намерены сделать спортивные встречи между творческими коллективами города традиционными.

Действительно, прошла всего неделя, и состоялся давно намеченный поединок с участием работников студии телевидения, а ряды «Матрицы» подкрепили мы, студенты университета. И снова отчёт в газете, написанный с той же вампиловской лёгкостью и иронией:

Это уже не может быть сенсацией. Команда «Матрица» (редакция «Советская молодёжь») обещала выиграть у футболистов студии телевидения (команда «Микрофон»).

Обещали — выполнили.

Выиграть «Матрице» помогли: 1) обещание выиграть, 2) солидная физическая подготовка, 3) филигранная техника, 4) воля к победе, 5) игроки команды «Микрофон».

«Буря и натиск» — так мы характеризовали бы игру нападения «Матрицы».

Как известно, Яшин вылетел в Англию, чтобы играть за сборную мира. По этой простой причине в воротах «Матрицы» стоял Ж. Гаврилов, который и не пропустил ни одного мяча.

Нападающие «Микрофона» в первом тайме предприняли несколько утомительных попыток обыграть защиту противника. Во втором тайме они бросили это бесполезное занятие и так увлеклись защитой, что до конца матча ни одному из них так больше и не приходила в голову эта бредовая идея — забить гол в ворота «Матрицы».

...Игроки команды «Микрофона» впали в меланхолию, то ли их оставила воля к победе, то ли у них отнялись ноги. «Что уж тут... — говорили они, гуляя по полю, — корову мы проигрываем что ли? Или телевизионную вышку?..»

Финальный свисток судьбы Льва Петровича Перминова зафиксировал баснословный счет, с которым «Матрица» выиграла у «Микрофона»...

* * *

Как и полагал автор вышеприведенных строк, тот матч 13 октября 1963 года открыл, без всякого преувеличения, эру поединков на футбольном поле не только пишущей братии, но и представителей других профессий — артистов театров, работников государственных учреждений, преподавателей вузов, предпринимателей.

БОРИС БАРАНОВСКИЙ

ЖУРНАЛИСТ, г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Прошлым веком в Иркутске

В 2017 году 19 августа культурный мир будет отмечать 80-летний юбилей Александра Вампилова. А двумя сутками раньше — тоже круглая дата, только чёрного цвета — 45-летие со дня его гибели.

Я пишу эти воспоминания под тихие звуки знаменитого скрипичного концерта Мендельсона — ну, совсем как тогда, шесть десятилетий назад. Только тогда, в общежитии, музыку дарил не нынешний компьютер, а простенький проигрыватель третьекурсника Игоря Петрова, живущего в соседней комнате. Эти третьекурсники нашего филологического каким-то чудесным образом оказались чуть ли не все «как на подбор» музыкантами, даже создали свой оркестр народных инструментов, и не раз потом восславят в своих мемуарах баян Игоря Петрова, скрипку Вадима Гребенцова, гитару Александра Вампилова. Об этой гитаре рассказано столько!.. Да разве только о гитаре...

Начиналось всё в Алари

Впервые я рассказал о «живом» Вампилове в очерке о «знаменитом графомане», который стал прототипом героя одного из самых первых рассказов А. Санина — «Сумочка к ребру», но не как об известном драматурге, а как об однокашнике по Иркутскому госуниверситету 1957–1960 годов. Был он тогда для нас не Александром, и даже не Сашей и не Саней (как он именуется в большинстве воспоминаний современников), а просто Санькой. Не пристало сюсюкаться нам тогдашним, двадцатилетним, — Александров рядом много, а Санька был один. И когда Борис Кислов, его однокурсник и мой сосед по общежитской койке, входя в комнату, вопрошал: «Санька, не приходил? Загулял что ли!» — было ясно, о ком речь. Или когда историк Вася Позднышев вбегал с возгласом: «Саньку в милицию забрали! У кого есть удостоверение дружинника, пошли выручать!» Или когда во время студработ в колхозе, деревенский парень с семистрункой в руках появлялся в стане филологов с вопросом: «Где у вас Санька? Гитару настроить сулил...» — понятно, что всё это о нём.

Вторично я обратился к образу студента Вампилова, когда готовил литературную беседу под специфическим названием «Чувство слова», и здесь, наверное, всё-таки — как к будущему писателю. Ибо ему-то это чувство было присуще уже тогда, а точнее — всегда. Особенно меня умиляла его привычка играть словами. Самое первое впечатление осталось от пребывания на тех же сельхозработах в колхозе Аларского района в сентябре 1957 года. Вспоминаю, как мы с Петром Шумковым, два первокурсника, лопатим зерно. (Шумкова я упоминаю не случайно, так как именно он явился косвенной причиной появления «Сумочки к ребру».) Рядом — Вампилов в паре со своим дружком Борисом Леонтьевым. Мы трудимся в основном молча, а пара справа щебечет промеж собой без умолку. В основном трещит Санька, вспоминая какие-то картины из своего сельского прошлого. Из отдельных доносящихся обрывков фраз с упоминанием Кутулика и Забитуй нетрудно догадаться, что сам Санька родом из тех мест, где мы в тот момент пребываем.

Неожиданно в поле нашего зрения появляется местный житель преклонного возраста, которого я уже успел возненавидеть. Дело в том, что мне постоянно приходилось кататься на грузовике с зерном до посёлка Забитуй в качестве грузчика. Моё законное место было

рядом с водителем, но почти всегда этому зловредному старику приспичивало туда и обратно. Заняв моё место в кабине, он выживал меня в кузов, на кучу холодного зерна под пронизывающий ветер. Обо всем этом я громогласно поведал сотоварищам. Вампилов отреагировал мгновенно — в привычном своём (как я убедился позже) стиле. Стоя прямо, он продекламировал будто бы в пространство: «Покупай, хрыч, велосипед!»

Эту манеру приходилось наблюдать постоянно. Я уже сказал о его привычке играть словами, он не просто играл, он их смаковал, особенно любил с таким нажимом проговаривать некие привычные выражения. Например, любая застольная тематика у него выражалась неременной довольно избитой фразой: «Выпить и закусить». Слова как бы растягивались в его пухлоластных губах, смакуя их, он с наслаждением порой будто цедил отдельные звуки, особенно согласные: «Вы-ппи-ть и за-ку-с-си-ть!» Привычные речевые штампы приобретали у него юморной шарм.

Вот он в нашей комнате разыгрывает забавную, на его взгляд, сценку, подсмотренную им накануне у двери музыкальной комнаты университета: две девчонки, замерев, слушают доносящиеся звуки увертюры Россини к опере «Севильский цирюльник». А играет на баяне его однокурсник Игорь Петров. Ещё вчера этот баян и эта партитура гуляли по общежитию от Петрова к Кислову, а сегодня Игорь, уже в музыкалке, начал потихоньку наигрывать, потом увлёкся, усилил звучание, привлекшее случайных слушательниц. Всё это в своем рассказе Санька выразил одним просторечным словом: «Игорёша заиграл Россини, да и ра-сс-тя-нул...», изобразив при этом руками, как Игорь «растягивает гармозу».

Наряду с баяном «поселялись» в общежитие и домра, и мандолина, и гитара, на которых упражнялись все, кому не лень, чаще не очень продвинутые любители, что однажды дало повод Вампилову, неплохо владеющему струнными, выразить своё отношение к игре на мандолине одного такого любителя. В присущей ему манере, приблизив лицо к играющему, он с нескрываемой лукавинкой и милейшей улыбкой, искрящейся добродушием, произнес негромко, но очень отчётливо: «Ну ты играешь! как серпом...» И, оборвав известную поговорку, скромно удалился в сторону.

Такое обыгрывание известных словесных оборотов настолько сильно сидело в нём, что в будущем неоднократно отразилось в его произведениях. А уж коронное «выпить и закусить» проявляется неоднократно, начиная с «Прощания в июне», где уже в первом действии один из персонажей (Букин) произносит: «...Дуэли не будет. Он прав. Прошу выпить и закусить...»

А в «Утиной охоте» любимое изречение варьируется по меньшей мере трижды.

Действие первое. Картина первая

ЗИЛОВ. Да, Дима, у нас полчаса. Надо выпить и закусить.

Действие третье

ЗИЛОВ. Посмотри, какие они все серьёзные. Они не выпивают, не закусывают.

Там же через несколько страниц

ЗИЛОВ (по телефону). Вот я вам и говорю, приходите на поминки... Как — что делать?... Ввыпьете, закусите — как водится...

Мой сокурсник Давид Медведев постоянно искал случая пообщаться со столь оригинальным острословом. Вот как-то, отловив того в коридоре учебного корпуса, стал пытаться об его отношении к одной преподавательнице. Саня ответил чисто в своём ключе: «Я её не уважаю...»

Посмаковал сию остроту, в дальнейшем её и в «комедию вставил» — общеходовое в народе «Ты меня уважаешь?» в вампиловской интерпретации оказалось в его рассказе «Коммунальная услуга», что усиливает комическую ситуацию, в которой оказались два мужика, свалившиеся в глубокую яму и принявшиеся там выяснять отношения. «Будем называть друг друга на «ты», тем более я вижу, что мы друг друга не уважаем», — говорит один другому, сидя в яме.

Что-то было в нём такое...

Кстати, об отношении Давида Медведева к Вампилову следует сказать особо. Но вначале я обращусь ещё к одному нашему сотоварищу — Арнольду Харитонову, точнее, к его замечательной книге о прошлом «Эй, путь-дорожка», в которой немало места отведено Вампилову-студенту. При этом автор вступает в спор с теми, кто задним числом утверждает, что видел в нём «будущего гения». «Один друг даже так и написал примерно: когда он входил в комнату, сразу все понимали — вошёл гений. Полная чушь!» — утверждает Арнольд и настойчиво проводит мысль об обыкновенности своего товарища, который был вроде бы как и все. В то же время на страницах книги достаточно чётко рисуется образ человека, который уже в юности был яркой, запоминающейся личностью. Я бы сказал больше. Да, уже тогда он был личностью, отличающейся неординарностью и глубиной. Разумеется, ни о какой гениальности речи не идёт. В то же время во внешнем облике нашего однокашника было нечто такое, что как-то выделяло его из толпы, несмотря на то, что сам он всегда держался довольно скромно, говорил, как правило, негромким голосом, никак не стараясь обратить на себя внимание, и тем не менее его обращал — то ли своей нестандартной внешностью, то ли почти постоянной сдержанной, чаще хитроватой, а может, загадочной, улыбкой — явно, «себе на уме». Это трудно описать словами. Бывает тип людей, которые с первого взгляда вызывают некий интерес к себе, причём у представителей обоего пола, обладая не «штатной» привлекательностью, а неким магнетизмом, что ли, а может, притягивают внутренней энергетикой. Таким запомнился мне Вампилов. Будучи нешумным, он всегда был заряжен на шутку-прибаутку, подковырку. В то же время в каком-либо принципиальном споре так же не громко, но твёрдо высказывал своё особое мнение по любому вопросу, непреклонно его отстаивая, нередко со скрытой издёвкой в адрес оппонента. Тихое упрямство в словесной перепалке порой могло закончиться и не словесно... а то и милицией.

Ярчайшим подтверждением всего вышесказанного и является отношение к нему со стороны Давида Медведева, который откровенно пребывал во власти вампиловского магнетизма. Несмотря на то что он, как и я, учился двумя курсами ниже, по возрасту он значительно старше не только меня, но и вампиловских однодокков. Он раньше разглядел не только Саню, но и его «музу» — Люду Добрачеву, ставшую в дальнейшем первой женой писателя. Об их нежных отношениях довольно подробно поведал А. Харитонов в своей «Путь-дорожке». Я, признаться, находясь в той же среде, поначалу понятия не имел, с кем он дружит, пока мои глаза не открыл тот же Давид, увлекательно расписывая прелести этой Люси, по правде сказать, немалые; ненароком думаю, он сам был бы не прочь увлечься пленившей его «красатулей», но, как говорится, «каждому своё»... У меня осталось двойственное впечатление об её как бы «застывшей» красоте (нечто подобное выразил Евгений Онегин о музе Ленского — Ольге Лариной). Похоже, и внутренние миры Людмилы и Александра были мало совместимы, возможно, поэтому их семейный союз не оказался «нерушимым». Впрочем, это дело прошлое — и не наше...

Давида постоянно тянуло к общению с этим своеобразным, оригинально мыслящим и оригинально же говорившим юношей. Я не случайно упомянул, что он использовал малейший повод, чтобы заговорить с ним, «позадавать вопросыки», часто игривого характера, на что последний реагировал весьма благосклонно. Нередко их можно было видеть за этим занятием, оба при этом лукаво улыбались, как бы подтрунивая друг над другом. Об одной из таких сцен расскажу подробнее.

Дело было в нашей комнате — тогда мы ещё жили в университетском общежитии по ул. 25-го Октября. И год шёл, скорее всего, пятьдесят восьмой. Медведев и Вампилов в общежитии не жили, но обитали там довольно часто. Вот и в описываемый вечер оказались у нас в гостях, и мы по какому-то поводу или без такового надумали учинить небольшое застолье, или, как тут же произнёс Саня своё сакраментальное, — «выпить и закусить». После некоторого возлияния Санька, «отвалив» в сторону и водрузив на табуретку подобие пепельницы, занялся перекурком, а некурящий Давид тут же подсел к нему со своими

бесконечными «а как ты думаешь о том-то и о том-то»... Его собеседник сам не прочь был побалакать «за жизнь». Поначалу он расфилософствовался на тему множественности миров: «Вот я сижу и думаю, что где-то сейчас сидят такие же мы и так же разговаривают точно о том же, что и мы... Так же курят, выпивают и закусывают». Саня «глубокомысленно» пускает клуб табачного дыма, но в задумчивости насчёт загадок мироздания пребывает недолго.

Я к ним присоединился, когда разговор зашёл о том, каким должен быть писатель, и тоже начал пытаться «мудреца»:

— Санька, а как ты думаешь, писатель должен быть умным?

Вопрос, между прочим, не такой уж спонтанный. Я как раз в то время стал размышлять, всегда ли талант сочетается с умом. У будущего драматурга сомнений на сей счёт не возникало, он отреагировал без раздумий: «А как же иначе!» Всё ему было предельно ясно, меня же сомнения сверлят до сих пор.

На какое-то время я отвлекаюсь от их дискуссии, но снова встречаю, когда слышу, что Вампилов философствует насчёт того, что в жизни ничего не надо бояться, и уж он-то не ведаёт страха.

— Так ты ничего не боишься?

— Ничего!

— И никогда?

— Никогда!

И тут я, не придумав лучшего, выпалил:

— И даже смерти?..

Прошло почти шестьдесят лет с того времени. Но я дословно помню, как он, чеканно печатая каждое слово, произносит: «Что может быть глупее, чем бояться смерти!»

Жить ему оставалось неполных полтора десятка лет. И, судя по всему, при личной встрече он её не убоился.

Надо сказать, что он чутко реагировал на «словесные перлы» и в чужой речи. В связи с этим вспоминается один эпизод. В очерке, посвящённом Валентину Распутину, «Живём и помним» я довольно подробно описал шутовскую атмосферу комсомольских собраний, которую создавали юмористы-филологи, в том числе будущие классики, и как я с лёгкой руки Валентина оказался избранным в состав бюро. История получила продолжение в 1959 году на отчётно-выборном комсомольском собрании. Вампилов с одним из друзей расположился где-то на заднем ряду и откровенно, но по-тихому потешался над происходящим. Мы, члены бюро, были на первом плане, потому что отчитывались. Когда начались выборы, меня снова предлагают в состав комсомольского бюро. Толку от нашей деятельности не было никакого, поэтому когда начались выборы и меня опять выдвинули в состав этого органа, я запротестовал отчаянно. Сам не знаю как, у меня вырвалось: «Надоело смешить публику!»

При этих словах Вампилов просто закатился. И после собрания он активно выражал свои эмоции, но опять же по-своему, как-то исподволь. Не говоря ничего, типа «ну ты даёшь» или что-то в этом роде, он по коридору со своим спутником пристроился мне в след и до самого выхода не переставал бубнить, опять же не очень громко, но так, чтобы было слышно: «Надо же! Один приятный момент на собрании... «Надоело смешить публику»... Нет, надо же...»

А может, его, как будущего драматурга, привлекло слово «публика»?

За его фирменной загадочной улыбочкой запросто мог таиться какой-нибудь подвох. В свою последнюю зимнюю сессию как-то в читальном зале нашей «фундаменталки» — научной библиотеки — он вдруг подсаживается ко мне с довольно странной просьбой: «Слушай, знакомому фотокорреспонденту надо сделать снимок на улице, он выбрал тебя. Пойдём!»

Я для начала послал его подальше, что он безропотно и выполнил, не выразив при этом особого огорчения. Однако через несколько дней снова подкатил с той же заморочкой, теперь уже с уговорами. Приблизившись почти вплотную, он, бодая меня в лоб своей

раскидистой шевелюрой, приступил к длительной осаде. Видели бы вы эту хитрющую мордашку! Не гася лукавых чёртиков в глазах, он стал воспевать мою фотогеничность, и до того «достал», что... пришлось согласиться. Каверза раскрылась у гардероба, где уже одевалась напарница по фото — моя однокурсница Вера Авдеева, самая высокая девица на факультете. Если учесть, что я был самый *наоборот*, то нетрудно представить, как она почти на голову возвышается надо мной. Правда, за поднятыми воротниками лиц не было видно. Под заснеженными деревьями на берегу Ангары, куда мы переместились, фотохудожник пытался запечатлеть странную по его замыслу парочку, а довольный Санька стоял в стороне и в досталь тешился по поводу происходящего, опять же в своей манере — с тихой улыбкой, на сей раз ещё и озорной. Подозреваю, что фотограф в качестве модели приглашал его самого, росточка-то он был столь же «богатырского», да ещё и шупленький, но хитрец решил найти себе дублёра. Появилось ли где-то фото или нет, не знаю.

И вновь не убоюсь

Но вот учёба позади, и теперь искусство слова находит себе применение в журналистике, в хлёстких и язвительных фельетонах, которые появляются в областной печати, в том числе в соавторстве с В. Шугаевым и Ю. Скопом. Почему-то у меня почти на шесть десятилетий засела в мозгу фраза из одного его фельетона «на тему морали» о чьём-то великовозрастном отпрыске, который «бил человека ногой в лицо по детскому недомыслию»...

Однако, оказывается, полного расставания со студенчеством не произошло. Оно так глубоко вьелось ему в кровь и плоть, что навяло тематику как отдельных рассказов, так и чуть ли не половины основных драматических произведений. Судите сами: герои пьес «Прощание в июне» и «Старший сын» — студенты, а у молодых специалистов из «Утиной охоты» явно проявляются замашки студенческой вольницы.

Но не в этом суть. Важно то, что особенности личности Вампилова, отмеченные выше, отразились на общем тоне его произведений. Внешняя неброскость, обыденность, чисто житейские ситуации, «простые советские люди» — и нигде ничего «героического». Теперь он стремится поразмышлять «за жизнь» на страницах своих творений, на которые почему-то не весьма благосклонно реагируют издатели и критики, а главное, цензоры. С писательским ростом растёт и разочарование в нашей тогдашней действительности. С наибольшей силой это выразилось в драме «Утиная охота», до конца многими не понятой и по сей день, даже для маститых критиков являющейся «загадкой». Но это отдельный, серьёзный разговор — расшифровать «загадку Зилова–Вампилова» я постараюсь в другой раз.

Сейчас же хочется отметить лишь один момент: появление в «Утиной охоте» онегинско-печоринского образа возрождает в литературе типы «лишнего человека», «живого трупа». Возникновение подобного явления в дореволюционной литературе объясняли просто: виноват тот общественный — самодержавный — строй. Следуя столь железной логике, лишних людей нашего времени породил наш, советский, строй. Страшно сказать! Даже подумать боязно!

А вот Вампилов и здесь не убоюсь. Не просто сказал, а создал весьма своеобразное произведение, отразив в своей, опять же неброской, какой-то затаённой, манере на примере небольшой группы «обычных» людей, символизирующей наше общество, деградацию этого общества, падение морали, грозящее необратимыми последствиями. В духе того времени — «осудили, запретили» — талантливый драматург подвергся мытарствам и разочарованиям. Убеждениям и предупреждениям не вняли, и необратимые последствия не замедлили наступить: общество раскололось, страна развалилась, чего, правда, видеть и испытать Александру Вампилову уже не привелось. Может, хотя бы в этом ему, горько скажем, повезло...

СВЕТЛАНА АСЛАМОВА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «СИБИРЯЧОК»
(1991–2013 годы)

Как ты живёшь, Сибирячок?

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству.

Д. Лихачёв

Редактор должен быть человеком «...с явно выраженной физиономией, то есть обладать своей творческой, человеческой позицией и, уважая позицию автора, не подменять ею свою собственную.

А. Чехов

Двадцать пять лет в Иркутске выходит в свет детский литературно-художественный журнал «Сибирячок». Четверть века прошло, а журнал навсегда остаётся в детстве и с детством, радуя малышей добрым чтением, весёлыми играми и рисунками. Для периодического издания это немалый срок. В канун юбилея принято подводить итоги. Давайте совершим экскурс в историю создания журнала.

Истоки ведут в восьмидесятые годы прошлого века. В стране появилось много изданий русского зарубежья, неизвестных советскому читателю. Это были ошеломляющие открытия. Читали произведения А. Солженицына, Б. Пастернака, М. Булгакова, Б. Зайцева, В. Набокова, И. Шмелёва, Г. Газданова... Их творчество несло в себе от века идущие духовные ценности, веру в доброе предназначение человека. Доступны стали работы по философии И. Ильина, П. Флоренского, В. Розанова, Н. Бердяева... В детской литературе появились забытые имена обэриутов — Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, Ю. Владимиров. Вслед за журналами «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Костёр», «Пионер» выходили новые озорные, весёлые журналы для детей: «Трамвай», «Миша» и др. Свежий ветер перемен коснулся издательской деятельности и в Сибири.

В те времена Восточно-Сибирское книжное издательство было известно на всю Россию названиями книжных серий, библиотек, новинками сибирской литературы. В издательстве выходил альманах «Сибирь», в котором была возможность печататься и маститым, и начинающим авторам. В издательстве я научилась многому — ценить литературный талант, работать с авторами, считаться с уникальностью каждой творческой личности. Это была настоящая школа профессионализма. Главный редактор Р. Филиппов — человек был фантастически общительный, образованный, хороший поэт и настоящий товарищ. Там работали интересные творческие редакторы: Л. Иоффе, Р. Бородин, Г. Алексеева, Н. Есипёнок, А. Лысенко, А. Глюк, Л. Чумакова, А. Лазуткина, В. Семёнова, Г. Суслова, А. Расторгуева. Доброе слово хочется сказать и об уникальном художественном редакторе Е. Касьянове, заведующей производством и искусном техническом редакторе А. Пономаревой. Труд их был огромный, так как книга сама по себе явление искусства. От начала и до конца — это гармонично спроектированное издание.

А тем более журнал! У него своя структура и эстетика. Восхищают до сих пор славные переплёты, рисованные форзацы, красивые титульные листы, фронтиспис с портретом автора, шмуцтитулы к разделам, хорошие иллюстрации художников.

Не так давно вышла в свет книга о директоре издательства Юрии Ивановиче Бурыкине. При нём оно стало одним из лучших в России. Он был инициатором многих творческих акций. Если бы не ушёл так рано из жизни, издательство, уверена, и в лихие девяностые продолжало бы свою деятельность в любой правовой форме. Многие сотрудники после развала издательства перешли в редакцию «Сибирячка»: Н. Киренская, Н. Есипёнок, Ж. Сизова, А. Расторгуева, Л. Жернова, Г. Чекурова, Т. Воронцова.

Помню, как в критике «О детской литературе» нашла ссылку на издание А.О. Ишимовой «История России в рассказах для детей». Один том был в Областной библиотеке им. И. Молчанова-Сибирского, в фонде редкой книги, а в научной библиотеке ИГУ — второй. Это был популярный пересказ для детей «Истории государства Российского» Н. Карамзина. Мы открыли для себя и читателей имя Александры Осиповны Ишимовой, издательницы журналов для детей «Звёздочка», «Лучи». Алек-

сандр Пушкин писал ей: «...Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»

Наше Восточно-Сибирское книжное издательство первое в новой России, в непрестом 1993 году, тиражом аж в пятьдесят тысяч экземпляров переиздало эту замечательную книгу. Текст А.О. Ишимовой легко читается, написан с большой любовью и уважением к читателям: «Вы любите, дети, слушать чудные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах, вас веселят сказки о добрых и злых волшебниках. Но, верно, для вас ещё приятнее будет услышать не сказку, а быть, то есть сущую правду?..»

Надо отметить, что в России издавать для детей начал Н.М. Карамзин: к «Московским ведомостям» прилагались листки «Детское чтение для сердца и разума». Как хорошо было названо! Именно — «для сердца и разума». Интересно, что в XIX веке при Иркутской духовной семинарии выпускался рукописный журнал «Козуля» («Козуля идёт, забодёт, забодёт...»). Учил семинаристов Михаил Васильевич Загоскин, писатель, общественный деятель, учёный. Прекрасно его наставление: «Что бы ни было, будь добр, люби всё прекрасное в природе, в жизни и в поэзии, больше родины свою, и благу её будь готов служить честно до последнего вздоха». Разве устарели эти ценности?

Много лет выходила в Восточно-Сибирском книжном издательстве «Библиотека для детей и юношества», научно-популярная серия «Азимут», «Каким быть?». Привлекались учёные, специалисты из разных областей знаний. В то время в расцвете было творчество иркутян М. Сергеева, А. Шастина, В. Стародумова, Л. Огневского, Б. Лапина, Г. Михасенко, Ю. Черных, Ю. Самсонова, Д. Сергеева, А. Зверева, М. Трофимова, В. Хайрюзова, Ф. Боровского, С. Волковой, Н. Матхановой и многих других.

В Москве при Министерстве печати где-то в конце восьмидесятых годов было проведено совещание по детской литературе. Я помню, что в президиуме, кроме чиновников, сидели писатели С. Алексеев, В. Берестов, Я. Аким. Все говорили, что «нужны талантливые, свежие, хорошо задуманные и хорошо написанные книги для нашей школы».

Полезной была стажировка в издательстве «Детская литература». Ведущий редактор С. Боярская, помнится, сказала: «То, что принято называть редактированием: работа над текстом, над языком — нередко является лишь последующей, заключительной стадией работы. Один из первых и главных процессов в редакции художественной литературы — это отбор рукописей для издания».

Побывала я тогда и в Пермском издательстве, которое всегда отличалось своими оригинальными книгами: это удивительные миниатюрные книжки со спичечный коробок, это замечательный детский альманах «Оляпка», это книги интересного детского поэта Льва Кузьмина.

Вскоре в Иркутск приехала делегация издательства «Детская литература». В её составе были известные писатели научно-художественной литературы Л. Разгон, Ю. Давыдов, В. Порудоминский, ведущие редакторы. Мне повезло войти в состав этой делегации вместе с читинским поэтом Г. Граубиным. Мы были в Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте. Состоялись незабываемые встречи с юными читателями в школах, общение с творческими людьми. Были в гостях у братчан Г. Михасенко, В. Сербского, В. Корнилова. Север наш впечатлял гостей мощью Братской ГЭС, ЛПК, Осетровским портом, БАМом.

Зародилась и у нас идея составить в Иркутске цветную книжку-сборник для детей, где главным героем-путеводителем были бы объединены лучшие сказки, рассказы, истории, стихи и загадки сибирских писателей. Представилась бы возможность и молодым авторам напечатать свои произведения. Марк Сергеев, нестоимый на выдумку, написал сказку «Сибирячок». Она не устарела и по сей день: в каждый юбилей журнала мы печатаем её вновь и вновь для подрастающих читателей. *«В тайге на берегу Байкала, растёт кедр... Иголки его свежи, ветви толсты и прочны... Вдур на стволе вырвался лучик, засверкала радуга, и появилась рыжая шишка. Шишка упала, отлетели все чешуйки, остался на земле один орешек, раздался треск, скорлупа лопнула, и на поляне появился мальчишка в меховой курточке, в шапочке из чешуек кедровой шишки...»* Волшебная история появления малыша Сибирячка была восхитительной. И альманах для детей мы назвали по имени героя сказки.

Содержание «Сибирячка» обсуждали все редакторы нашего издательства, предлагали лучшие произведения сибирских писателей.

В 1987 году вышел в свет первый сборник «Сибирячка», в 1989-м — второй. Тираж по нынешним меркам был просто фантастический — сто тысяч экземпляров. Оформил оба издания художник А. Муравьёв. Он воплотил на бумаге литературный образ Сибирячка.

Успех был невероятный. Шли письма от детей с разных уголков Сибири. Дети писали: «Как ты живёшь, Сибирячок? Не холодно ли тебе в лесу?.. Помоги по русскому языку!.. Помоги помириться с другом!..» Была даже посылка от ребёнка с разными сладостями. Директор читал письма вместе с нами, смеялся и радовался успеху. У детей Сибири появился свой герой, близкий им по своей природе, шалостям, интересам.

В 1989 году в Красноярске проводились Дни газеты «Литературная Россия». Конечно, все ехали на встречу к В. Астафьеву. Из иркутян гостями были В. Хайрюзов, А. Байбородин, Е. Суворов, Г. Машкин, и мне выпала такая честь.

На сцене Большого концертного зала расселись гости, вместе с писателями сидела я и слушала их выступления. Полный зал народа. Выступающие говорили о проблемах издания, о перестройке, о надеждах и ожиданиях... Вдруг вижу — поднялся В. Астафьев и подходит ко мне: «Расскажи-ка красноярцам о «Сибирячке». Под ярким освещением подошла к краю сцены и начала говорить. Очень волновалась... столько зрителей! После окончания вечера ко мне многие подходили и говорили, что всем понравился «Сибирячок».

В. Астафьев пригласил нас, иркутян, в гости. Встретила нас супруга его Мария Семёновна. Виктор Петрович завёл гостей в комнату, где были полки с его изданиями: «Выбирайте любую!» Всем подписал автограф. У него стоял хороший музыкальный центр, он любил слушать классическую музыку, особенно Г. Свиридова. Видимо, неслучайно, что Г. Сапронов издал замечательную книгу «Созвучие»¹, посвящённую памяти В. Астафьева и Е. Колобова...

На другой день все поехали в Овсянку, где на берегу Енисея отдавали уху. В библиотеке провели встречи с читателями, в храме отстояли службу. С тех пор началось наше сотрудничество с В. Астафьевым.

Ещё не раз я приезжала на «Литературные встречи в русской провинции» и рассказывала о наших редакционных планах. Там познакомилась с В. Курбатовым, В. Толстым, М. Ганичевой, А. Бондаренко. Все они так или иначе помогали нам.

В то же время формировалась «Сибирская библиотека для детей и юношества». В. Астафьев, председатель редколлегии, советовал нам, редакторам, какие произведения сибиряков печатать, написал вступительную статью, приглашал на совещания и с трибуны просил писателей нести рукописи в «Сибирячок». Расширялся круг наших авторов.

В Восточно-Сибирском книжном издательстве в 1991 году была издана повесть Л. Бородина «Год чуда и печали». Судьба писателя была трудной, мужество и стойкость этого человека достойны уважения. В конце восьмидесятых иркутяне встречали писателя в нашем городе. Помню, мы не поместились в зале Дома просвещения, а стояли на улице у открытого окна и слушали его. Он родился в Иркутске и учился в нашем университете. Был арестован по политическим мотивам. Повесть «Год чуда и печали» писал в тюрьме и читал своим сокамерникам исписанные страницы. Да, Байкал — чудо природы! Обычные пассажиры в поезде видят в окно озеро, и что-то происходит с ними! «...В этих лицах редчайшее выражение доброты, открытости, искренности...»

Критик В. Курбатов назвал повесть «светлейшим произведением за последнюю четверть века». Но чудо — это не только красота природы, нашего «священного» озера, но и проявление человеческой доброты, умения прощать. Отрывки из повести печатались в «Сибирячке» в № 5 за 1997 год. В этом же номере — рассказ А. Вампилова «Солнце в аистовом гнезде». Его герой, мальчишка, тоже ждёт чуда. А сидит он на крыльце сельского клуба и ждёт — не закатится ли солнце в аистовое гнездо. Оказывается, вот как много счастья на земле! Ждали этого чуда и все сельские ребята, ведь в село должен был приехать театр. Как необходима литература, в которой есть пример чуткого обращения к душе ребёнка!

Почти у каждого мастера слова найдутся в творческом наследии или выборки текстов для детей, или специально написанные произведения. Например, рассказ В. Распутина «Мама куда-то ушла». Малыш ждёт маму, которая вышла ненадолго, однако её нет и нет. «Когда же она придёт?» — спрашивает он у зайки. «Он плакал от боли и одиночества. Что такое боль, он уже знал. С одиночеством он встретился впервые...» И столько в этом рассказе тревоги и сочувствия ребёнку! А сколько ещё ему доведётся испытать горестей в своей жизни... Рассказ проникнут жалостью и сочувствием. Или другой рассказ — «Что передать вороне?» — о неразрывности связи родственных душ. Не так поговорил отец с маленькой дочкой, уехал на дачу, она заболела. Рассказ держится на каком-то внутреннем нерве, вине, беспокойстве. Это рассказ-исповедь. Всё как наказание: и то, что он не остался дома с дочкой, и непогода. Природа и человек здесь как одно целое.

Нас в редакции иногда упрекают в «перевзрослении» материалов в журнале. Дети, мол, не поймут. Да поймут и понимают! Иные дети умнее взрослых.

Вспоминается очерк А. Ахматовой «Пушкин и дети», который мы опубликовали в журнале. «Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии...» — пишет наша великая поэтесса. Понятна ли эта мысль нашим юным читателям? Конечно, понятна! О чём очерк?

¹Созвучие. М.; Иркутск: Издатель Сапронов, 2004.

О том, как в юбилейные дни 1937 года некая комиссия по неизвестной причине решила демонтировать памятник Пушкину, стоявший в сквере. Однако дети, игравшие рядом, подняли такой рёв-плач, что памятник пришлось оставить. На встречах наши юные читатели наперебой отвечали нам, почему плакали дети, когда у них хотели забрать памятник. Они понимают: это их Пушкин, это их Родина!

Публиковали мы «взрослых» поэтов и писателей с их «взрослыми» темами: Николая Рубцова, его трогательные стихи о «тихой родине», замечательную «Сказку матери» Марины Цветаевой, рассказы Василия Шукшина — невозможно перечислить всё богатство русской литературы, представленное в «Сибирячке» за двадцатипятилетие! И столько мы получали писем от наших юных читателей с благодарностями за то, что через наш журнал они узнали о творчестве больших русских писателей.

Мы старались не беспокоить В. Распутина, он был всем нужен, занят, но однажды я всё-таки подошла к нему с нашими проблемами и попросила его войти в состав редколлегии. «Раз для дела надо, включайте, только с условием — вместе с В. Крупиным!» — согласился он. Это была радость получить поддержку таких людей. И помогли они! Писатель В. Крупин — золотой наш человек, сколько он дал журналу превосходных произведений: «Православная азбука», «Соколки», «Крупинки» и др.

Успех выпуска двух альманахов «Сибирячок» предопределил вырасти ему в периодическое издание для детей. В стране шла перестройка, и журнал для детей стал бы флагом издательства. Директор Ю. Бурыкин отвёз в Москву заявку на выпуск, получил добро. Министерство не только одобрило, но и согласилось выступить учредителем журнала совместно с нашим издательством. А мне поручили готовить регистрационные документы. Организации журнала, таким образом, способствовала большая просветительская деятельность издательства в выпуске детской литературы.

Итак, «Сибирячок» — литературно-художественный журнал, основан в 1991 году Министерством печати и массовой информации РСФСР совместно с Восточно-Сибирским книжным издательством как региональный журнал для детей от пяти до двенадцати лет Сибири и Дальнего Востока. Четвёртого июля 1991 года было выдано «Свидетельство о регистрации СМИ». Периодичность выхода — шесть номеров в год. Приказом министра М. Полторанина назначили меня главным редактором. Это было событие, но я и не представляла, какие трудности меня ожидали впереди.

В состав первой редколлегии журнала входили: Ю.И. Бурыкин (директор Восточно-Сибирского книжного издательства), В.П. Астафьев, Г.Р. Граубин, М.Д. Сергеев, Г.Н. Машкин, С.К. Устинов, С.Л. Волкова, Ю.Е. Черных, М.В. Башкиров, С.Н. Элоян, А.В. Самарин, Я.Ю. Лисицина. Как указано в уставе, основная цель журнала — приобщение юных читателей к общечеловеческим духовным ценностям, богатому наследию литературы, искусства, культуры России, народов Сибири и Дальнего Востока, их истории, этнографии, а также формирование основ нравственности, гуманизма средствами богатого русского литературного языка, живописи, с помощью сказочных персонажей — героев журнала.

Первый номер вышел в 1992 году. Тираж номера составлял пятьдесят тысяч экземпляров. Это очень большой тираж, ещё не было подписки, рекламы. В настоящее время тираж — четыре тысячи экземпляров. Периодичность выпуска — шесть номеров в год. Издано сто шестьдесят выпусков.

Не всё сразу пошло хорошо, было много проблем и трудностей, но постепенно всё решалось. Рядом были друзья-единомышленники: А. Муравьев, М. Сергеев, С. Волкова, Я. Лисицина, О. Соболева, М. Аристова, М. Филатова. Круг этот расширялся постепенно.

В 1993 году произошла смена состава учредителей. Издательство закончило своё существование, как, впрочем, и многие региональные издательства. Министерство печати сдало функции учредителя местным органам власти. Помогал областной Совет народных депутатов, администрация Иркутской области, выделяя средства на выпуск издания. Благодарна команде губернатора Ю. Ножикова: Ю. Кустову, В. Лапенкову, С. Ступину, В. Кутищевой и другим; учредителем журнала стал Комитет по культуре администрации Иркутской области. Редакция получила статус государственной организации культуры. В дальнейшем присоединилось Управление образования Иркутской области как учредитель. Однако редакция не входила в перечень образовательных учреждений, и финансирования не было. Всё же закупки журнала для школьных библиотек осуществлялись. Управление социальной защиты населения Иркутской области приобретало «Сибирячок» для детских домов и реабилитационных центров.

Журнал стал финансироваться из бюджета области, распространяться по подписке агентства «Роспечать», «Почта России» по области и России. Проблем, конечно, было много, трудностей не перечесть. Нужны были помещение, оргтехника, склад, машина, гараж — всё это постепенно приобреталось.

За двадцать пять лет юным читателям представлен обширный материал сибирской детской литературы. Это история освоения земель Сибири первопроходцами, краеведение, экология и культура, искусство и театр, и много интересного о жизни людей в России, в разных странах. Особое место занимала рубрика «Пенаты», её вел С. Смирнов, рассказывая о родине известных писателей. Сейчас

в журнале по-прежнему уделяется много места устному народному творчеству народов Сибири, современной детской литературе, краеведению, познавательным играм.

Интересная и полезная рубрика «Беседы о главном», в ней поднимаются волнующие вопросы чести, правила жизни, вопросы этики, морали, анализа произведения и многое другое. Например, размышления русского философа Ивана Ильина «О чём спрашивает человек сказку?» О счастье ли, о горе, о судьбе, о правде и зле, о смысле жизни. Сказка — это ответ на вопросы вступающей в мир детской души. В любые времена сказка выручала человека в поиске правды.

Приключения Сибирячка и его друзей пишутся С. Волковой, рисуются к ним весёлые комиксы, игровые поделки. Сибирячок стал символом журнала. Обаятельный, весёлый, любознательный, он сразу завоевал симпатии юных читателей нового времени. Он знает и любит свой край, заботится о его жителях, защищает слабых. До сих пор благополучно здравствуют и другие персонажи издания: боцман Федя Сарма, леший Кеша, аптекарь Анти-Ох, робот Урсик, мудрая Ворона, Таёжка. В журнале волготно поживает и отрицательный персонаж — Шито-Крыто, разбойник и браконьер.

Все проекты журнала разрабатываются редсоветом и редколлекгией. Самое главное — всегда искать и находить увлекательное, задушевное, познавательное чтение в творчестве сибиряков, в то же время находить нужный для детей критерий игры в журнале.

Главные современные рубрики журнала: «Детское чтение», «Славные в Сибири имена», «Беседы о главном», «Игры Сибирячка», «Сказка Сибирячка», «Рассказы лешего Кеша», «Таёжкины истории», «Красочный мир», «В мастерской художника», «Аптека Анти-Оха», «Сибирячок с микрофоном» и др.

Особой популярностью у читателей пользуются цветные вклады формата А-1, посвященные разным темам: «Мир дикой природы», «Рыбы Байкала», «Птицы Байкала», «Цветы Байкала», «Ушканьи острова на Байкале», «Животные Байкала», «Погружение в глубины Байкала», «Декабристы в Сибири», «Иркутск», «Гербы Иркутской области», «Детские писатели Сибири», «Мастерская Сибирячка» и другие. Вклады познавательные по содержанию, иллюстрированы рисунками, фотографиями.

Сформировался активный авторский состав. Журнал «Сибирячок» привлёк внимание многих творческих людей, благодаря многочисленным литературным конкурсам, выставкам иллюстраций журнала.

В составе современной редколлекгии: В. Крупин, В. Курбатов, М. Трофимов, А. Горбунов, С. Устинов, С. Кузичкин, Н. Домашенко, Г. Медведева, С. Смирнов, С. Ступин, Е. Горбунова, И. Бухарова и др. Появились молодые талантливые авторы Е. Анохина, С. Бунтовская, А. Озорнина, М. Язева...

Успех издания, безусловно, зависит от художественного оформления. Главный художник А. Муравьёв создал галерею журнальных персонажей. Они функциональные, смешные, весёлые, детям нравятся. Он привлёк многих художников для оформления журнала. Давно с нами сотрудничает замечательный график Н. Домашенко. Ему поручаются серьёзные произведения из истории Сибири, классические произведения Н. Гоголя, М. Лермонтова, П. Ершова, И. Шмелёва... У нас в Иркутске живёт уникальный художник-оформитель детской книги Р. Бардина. Рисунки художницы — чистая нежная акварель, персонажи согреты её добрым сердцем — курочка ряба, сказочные медведи, козлята, утята, воробышки... Много веселья и забавы в рисунках А. Самарина, Я. Лисициной, Ю. Ружниковой, Т. Муравьёва, А. Свинарёвой, Е. Синьковской и др.

В 1993 году была организована книжная библиотека «Сибирячка». Это русские сказки «В тридесятом царстве», историческая повесть В. Яна «Никита и Микитка», Л. Чарской «Счастливчик», «Копилка игр Сибирячка», «Крепкие орешки Сибирячка», «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу», «Через пень колоду», «Слово о Байкале», В. Стародумова «Омулёвая бочка», «Берестяное лукошко».

Деятельность редакции привлекла внимание общественности России. Журнал «Сибирячок» является обладателем: Знака отличия «Золотой фонд прессы» за 2006, 2014, 2015 годы; лауреатом Всероссийской литературной премии им. П. Ершова за высокий художественный уровень и нравственную позицию; специальной премии Всероссийского конкурса «Патриот России» — 2001, 2008, 2014 годов; удостоен Большой и Малой золотых медалей Сибирской ярмарки; диплома за «Лучшее издание для детей» VII Всероссийского конкурса журналистов; почётных грамот Королевского посольства Дании в РФ за участие в торжественных мероприятиях, посвящённых юбилею Г.-Х. Андерсена; Министерства природных ресурсов РФ — за участие во Всероссийском конкурсе «В гармонии с природой» и множества других наград. Много лет подряд редакция отмечается Знаком качества «Лучшее — детям».

Кажется, что всех и всё напечатали, и всё уже придумали, нарисовали, проиллюстрировали, но рождаются новые проекты, идеи, планы. Подрастают молодые авторы, приходят юные современные таланты, удивляя самостоятельностью и креативностью. Новый век журнала известен современными интерактивными акциями: «Дружественный Сибирячок», «Клуб друзей Сибирячка», «Творческая мастерская». Журнал приобретает новый качественный контент, идёт навстречу юному читателю, учитывая его интересы и склонности. Редакция журнала «Сибирячок» обновляется, пополняется молодыми кадрами, успешно занимается проектной деятельностью, внедряет новые технологии по продвижению журнала к читателям.

«Литературный QUEST»: в поисках сибирского Грааля

Литературно-художественный журнал «Сибирячок» всю четверть века своего существования считает приобщение детей к чтению качественной литературы важнейшей своей задачей, причём особый акцент мы делаем на творчестве сибирских писателей, которое в школьной программе представлено мало. При этом очень важным нам кажется не заставлять ребёнка читать — принуждая, очень легко привить отвращение. Наша же цель — вызвать искренний интерес к хорошей книге, и для этого мы постоянно ищем новые формы, которые были бы близки очередному поколению наших читателей. К примеру, сейчас популярны игры-квесты. «Почему бы не устроить литературный квест?» — подумали мы в редакции.

Изначально термин «квест» (исходное значение английского слова *quest* — «поиск») обозначал особый тип фольклорного сюжета — путешествие персонажа к цели через преодоление различных препятствий. Подобный сюжет часто встречался в рыцарских романах, один из самых распространённых квестов рыцарей Круглого стола — поиск святого Грааля. Затем слово стало применяться для обозначения определённого жанра компьютерных игр и «живых» командных игр, связанных с поиском.

Игровая деятельность, естественно, всегда нравится детям больше учебной. Кроме того, такая форма не только мотивирует детей к чтению, но и (что не менее, а то и более важно) даёт им навыки командной работы, учит мыслить логически.

Итак, в рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства — жителям Иркутской области» редакцией журнала «Сибирячок» совместно с Иркутским региональным отделением Союза писателей России был начат проект «Литературный QUEST». Целью проекта было обозначено «воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения учащихся, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры». Задач стояло три: познакомить учащихся с творчеством сибирских писателей; стимулировать интерес к чтению; способствовать культурному росту учащихся.

Чтобы дать детям комплексное представление о сибирской литературе, мы приобщаем их не только к классике, но и к творчеству современных, «живых» писателей. Поэтому, помимо игры, в городах прошли встречи с членами Союза писателей России — поэтами Еленой Анохиной и Андреем Мирошниковым.

Аудитория нашего журнала — дети от пяти до двенадцати лет. Участие в проекте мы предложили детям верхней возрастной границы — пяти-шестиклассникам — уже достаточно взрослым, способным мыслить логически. Проект рассчитан на три года. Для первого этапа были выбраны Саянск, Зима, Нижнеудинск, Тайшет и Бодайбо, представители редакции провели там игры в марте и апреле 2016 года. Победители отборочных этапов приняли участие в финале, который прошёл в Иркутске 7 июня.

Положение о проекте и приглашение к участию были отправлены в городские библиотеки, а библиотекари и педагоги сформировали команды из читающих детей по пять человек (пять-семь команд в каждом городе). Где-то желающих было так много, что пришлось проводить свои, «внутренние» отборочные туры. Задания отборочного этапа были основаны на творчестве М. Сергеева, Г. Михасенко, Ю. Самсонова, Ю. Черных, В. Распутина. В финальной игре к ним добавились В. Астафьев, Т. Белозёров, Г. Граубин, Г. Машкин. Участникам игры требовалось ознакомиться с произведениями и биографиями этих писателей; список был разослан заранее.

Пока мы, составив задания, собирали реквизит, подготовка на местах тоже шла полным ходом: ребята читали произведения, смотрели экранизации, обсуждали, тренировались. Так, в Зиме библиотекари провели тренировочную игру из ста вопросов! И всё равно игроки не были готовы к тому, что их ожидало.

Вопросы требовали не только знания текстов. Командам пришлось и разгадать шифр, и решить математическую задачу, и понять, какое отношение имеет контурная карта Европы к творчеству Валентина Распутина. Таким образом мы пытались заставить школьников «выйти из плоскости», научить их применять вне уроков полученные в школе знания по русскому языку, математике, географии, биологии. Наши игроки, потерявшие немало драгоценных минут в поисках слова «*кортюфель*» в толковом словаре, никогда не произнесут расхожую фразу: «Зачем мне писать грамотно, мы ведь не на диктante». Они уже поняли: никогда не угадаешь, какие знания и умения могут пригодиться в жизни.

В любой интеллектуальной игре требуются два умения — думать и искать. В связи с особыми целями нашего квеста, при разработке заданий мы делали упор на первую составляющую. Но и без внимательного поиска выполнить задания тоже было невозможно. Записки с вопросами находились в самых неожиданных местах. Было интересно наблюдать за поведением игроков: одна команда в поисках несуществующей книги была готова вытащить стул из-под координатора игры, а другая, найдя отмеченную условным знаком коробку, стеснялась её открыть. Основных поисковых стратегий было две: либо сразу разворошить игровое пространство и пытаться отвечать на все найденные вопросы одновременно, либо идти по вопросам шаг за шагом и искать именно то, что требуется в данный момент. На отборочном этапе обе стратегии давали результаты, но в финале победила команда «Книгочеи» из Тайшета, отвечавшая на вопросы строго по порядку.

Впрочем, с поиском все команды так или иначе справились. Основная трудность крылась совсем не там, где мы ожидали. Главной проблемой игроков оказалось неумение внимательно прочитать вопрос. Стремясь опередить соперников, дети второпях пытались выхватить ключевые слова, но выхватывали не то. Скажем, увидев в вопросе слова «Кандаурские мальчишки» и «найди книгу», бежали искать повесть Михасенко. Но полностью вопрос звучал так: «С какой книги началась дружба Миши и Вити в повести Г. Михасенко «Кандаурские мальчишки»?». Разумеется, в поисках несуществующей книги они тратили куда больше времени, чем ушло бы на то, чтобы один раз прочитать каждое слово в вопросе.

Когда представитель команды прибежал за подсказкой, в половине случаев достаточно было сказать: «Перечитай вопрос». «А-а-а!» — восклицал он и, озабренный, бежал обратно к команде. Так мы не только привили детям любовь к чтению, но и просто научили их читать.

Конечно, нам важно было получить обратную связь, чтобы знать, выполнил ли проект свои задачи, нашёл ли отклик у участников, есть ли смысл его продолжать? Для этого мы попросили детей и педагогов изложить свои впечатления. Едва ли не каждое предложение в детских отзывах оканчивается восклицательным знаком, а то и не одним. Часто повторяются слова «интересно» и «познавательно», многие просят: «Приезжайте к нам ещё». С удивлением юные участники игры обнаруживают, что литература — это не только урок в школе, что чтение может быть интересным. Отмечают, что приобрели навыки командной работы.

«Конкурс нам очень понравился, очень интересные задания, надеюсь, что вы оцените наши старания. Команда в игре сплотилась, научились слушать друг друга. Большое спасибо!»

«Мы ранее не были знакомы с многими сибирскими писателями. Квест помог нам раскрыть новых писателей и узнать новое про нашу область. Несмотря на то, что мы в разных классах, мы работали дружно и сплочённо.»

«Нужно было прочитать всего три рассказа Астафьева, а я всю книгу прочёл, потому что было очень интересно!»

«Нашей команде понравилось, что головоломки были сложные, очень интересные вопросы и спрятанные в совершенно разных местах подсказки. Квест помогает раскрыть свой предел знаний. Ещё нам понравилось работать в команде, можно узнать, насколько мы дружные. Была интересная подготовка к квесту. Мы узнали много нового о писателях. Их книги были интересные и познавательные. Читая книги, мы узнали, каким должен быть человек.»

Учителя и библиотекари рассказывают, как проходила подготовка команд, рассуждают о педагогической ценности игры как способа приобщения детей к чтению, повода познакомить их с сибирскими писателями, творчество которых мало представлено в школьной программе. Читательская аудитория расширилась и за пределами проекта: литературой родного края заинтересовались не только активные участники игры, но и их одноклассники.

«Книги, которые нам предложили прочитать, очень интересные, я считаю, что на такой литературе мы должны воспитывать детей. Жаль, что в наших учебниках литературы их нет. Самим ребятам понравились книги, они с удовольствием рассказывают о них, хотя другие произведения почитать».

«На уроках литературы я включала девочек в работу, прося их провести ассоциации с прочитанным произведением. Это помогло мне увлечь и других учеников чтением произведений сибирских авторов. Многие захотели узнать, о чём мы говорим, и вступить в беседу.»

«Большое спасибо за встречу с поэтом. Ребята с большим удовольствием слушали «живую» речь поэта.»

«Спасибо редакции журнала «Сибирячок»! Молодцы!»

Слова благодарности, приятные уже сами по себе, показывают: мы на правильном пути. Результаты первого года проекта развенчивают миф о том, что современные дети не читают. В любую эпоху все дети разные, у каждого свои интересы, и чтобы среди этих интересов оказалось чтение, надо просто найти правильный подход. Надеемся, что и в следующие два года квест «Сибирячка» поможет новым его участникам так же научиться логически мыслить, применять свои знания в нестандартных ситуациях, найти новых друзей и обрести свой Грааль — замечательную литературу родного края.

ДИАНА КАН

ПОЭТ, Г. САМАРА

Запрягающий судьбу

ИЗВЕСТНОМУ ПРОЗАИКУ И ЭССЕИСТУ ЭДУАРДУ АНАШКИНУ 70 ЛЕТ

Не зря говорится про русских, что они долго запрягают, но быстро ездят. Название одной из книг моего давнего друга-коллеги, самарского прозаика и эссеиста, юбиляра этого года Эдуарда Константиновича Анашкина «Запрягу судьбу я в сани» (2002 г.) невольно навеивает подобные аналогии. Запрячь судьбу, а литературную тем паче, порой и жизни может не хватить. Как говорится, век живи — век запрягай! Эдуард Константинович впрягся в свою литературную судьбинушку в далёком 60-м году, попав на ныне легендарный Всесоюзный семинар-совещание молодых писателей в Чите. Там он впервые пересёкся с совсем молодым на тот момент и не имеющим ещё в творческом активе ни одной изданной книги, а ныне нашим выдающимся, но, увы, покойным классиком Валентином Григорьевичем Распутиным. Встреча эта, как показала жизнь, стала не только судьбоносной для Эдуарда Константиновича, но и знаково-ключевой. Тогда Валентин Распутин, ставший открытием Читинского семинара, пообещал совсем ещё «зелёному» читинцу из города Хилок Эдуарду Анашкину свою будущую книгу, как сегодня говорят, по факту издания... Потом по мере написания и выхода книг Распутина, открытий Распутина будет ещё много. Едва ли не каждая распутинская повесть станет откровением для читающей и мыслящей России — откровением порой горьким, но сладких лекарств не бывает.

Дружбу этих двух сибиряков — русского классика Распутина и летописца-населенника волжской глубинки Анашкина — разделили годы и тысячи неоглядных русских вёрст, причём со стороны Эдуарда Анашкина эта дружба была сокровением. Иначе бы я, зная к 2002 году Анашкина уже многие годы, не была так изумлена, раскрыв его книгу «Запрягу судьбу я в санки» и увидев предисловие Валентина Григорьевича. Я прочитала и несколько раз перечитала предисловие. Изумилась, позавидовала, погордилась, порадовалась! Надо же, сам Распутин не только прочитал эту вещь моего самарского земляка, но и нашёл нужным откликнуться предисловием. И только выразив Эдуарду Константиновичу своё изумление, узнала, что с Валентином Григорьевичем его связывают десятилетия знакомства и годы творческой дружбы.

Сразу извинюсь, что, говоря об Анашкине, мне придётся время от времени поминать имя Распутина всуе, но из песни слов не выкинешь. А Валентин Григорьевич, не побоюсь этого определения, знаковый человек для судьбы Анашкина. И это я знаю не со слов Анашкина, а просто наблюдая многие годы, каким событием для Эдуарда Константиновича был каждый телефонный звонок от Распутина, каждая присланная им новая книга. Этой радостью Эдуард Константинович по телефону делился со мной, и даже голос его в эти минуты звучал иначе. И как он переживал, когда порой раздавались голоса, мол, лучшая распутинская повесть написана про предателя... «Диана, как же некоторые до сих пор не понимают, что Распутин — пророк, что он ещё в благополучные советские годы предсказал, что ждёт Настёну-Россию, если она будет спасать предателей...» — с горечью как-то вздохнул он. А я, помнится, тогда подумала, что такова вообще человеческая природа, ведь метафизика в том, что человек не хочет слушать правдивых предостережений, а когда они сбываются лишь потому, что он предпочитал быть глухим и слепым, человек винит именно того, кто предупреждал о грозящей беде... Увы-увы!

Помню, каким событием стало для Эдуарда Константиновича посещение литературного праздника «Сияние России» в Иркутске несколько лет назад по личному приглашению Валентина Григорьевича. И какой утратой огромного духовного пространства внутри

стал уход Распутина из жизни. По жуткому закону парадокса, смерть лучшего современного русского писателя фактически открыла Год литературы в России, и такое открытие, конечно, не сулило ничего хорошего литературе, что и подтвердилось впоследствии. «Словно воздух выкачали из груди», — только так и сказал Эдуард Константинович о смерти Распутина. Больше мы распутинской темы в разговорах не касались...

Эдуард Анашкин — писатель несовременный. Да и человек, слава Богу, тоже несовременный. Его мало интересует нынешний формат человеческой успешности. Ему интересна душа человеческая в вечных её проявлениях — изначального одиночества и сиротства, и преодоления этого сиротства, если уж таковое привелось испытать в поиске Отца, без Которого все мы сироты, даже вырастая в полной семье, какая не посчастливилась герою моего повествования. Какая радость и какая редкость в наше-то «креативненькое времечко» встретить такого несуетного человека, как Анашкин! Вот так бежишь куда-то и за чем-то, и вдруг его звонок. «Диана, с праздником! Ныне Богоявление!» И думаешь: «Стоп! А не пропустил ли ты в вечной беготне по кругу самого главного?»...

Чем страшна современность для писателя? Чем чревато городское многолюдье? А тем, что встреча человека с человеком перестаёт быть для обоих событием. Хотя, по сути, это и есть главное в земной нашей жизни. Важнее лишь встреча человека с Богом... Для живущего в самарской глубинке Анашкина встреча с человеком всегда была и остаётся событием. Как и встреча с каждой новой дарственной книгой, что в изобилии слали, шлют и будут слать ему со всей России современные словотворцы... Собственно, это переживание каждой такой встречи и вылилось в последние годы у Анашкина в ряд изданных в Самаре и Москве книг литературно-художественных эссе-портретов словотворцев современной России. И вот из литературного «портретиста» и сам Эдуард Константинович по причине своего юбилея попался на кончик моего пера.

«Щемящая нота сиротства» — так я когда-то для себя определила суть прозы Анашкина. Детдомовское детство стало истоком и главной темой его творчества. Поколение детей Победы, к которому принадлежит Эдуард Константинович, можно ещё с полным основанием назвать поколением послевоенного сиротства. Но даже в повестях, в том числе в отмеченном Валентином Распутиным рассказе Эдуарда Анашкина «Вовкин поцелуй», это сиротство есть сиротством преодолённое. Дело в том, что когда Эдуард Константинович вырос и стал пробовать себя в литературе, ему не надо было искать свою тему. Эта тема — тема сиротства — сама нашла его, задолго до того как он стал писателем. Сначала стала болью его детства, и только потом — темой его прозы. Но читая «сиротскую прозу» Анашкина, в какой-то момент понимаешь, что, по сути, сирот на свете нет и быть не может. Даже если ты растёшь без родителей в разрушенном почти до основания пришлой немчурой атеистическом государстве, в каком приспело тебе на долю родиться и жить, у тебя всегда есть Отец Небесный. И Он всегда рядом с тобой, важно лишь ощутить Его присутствие. Ведь даже если ты не веришь в Него, Он, несмотря ни на что, верит в тебя. Вера в Бога и общение-встречи с верующими людьми России на Всемирном Русском Народном Соборе, частым гостем которого является Эдуард Константинович, стали для писателя некоей духовной крепью.

Анашкин — человек бывалый, перепробовал разные профессии — учительствовал, кочегарил, чабанил... Один из аксакалов самарской поэзии Борис Зиновьевич Сиротин как-то рассказал совершенно удивительную историю о том, как в лихие девяностые, будучи вооружен только кнутом, чабан Анашкин, поддерживаемый залиvisto отчаянным лаем своей единственной помощницы — собачонки, дерзнул пойти против вооружённых отнюдь не рогатками дюжих братков на «мерседесе», которые по пути с «трудов праведных» решили, походя, «прихватизировать», по тогдашнему обыкновению тотальной эспроприации всего и вся, парочку совхозных баранов, вверенных чабанскому попечению Анашкина. Но не на того нарвались. Не впервой людям сибирско-волжского формата идти с оглоблей на танк и с кнутом на автомат. Как говорит в шутку Эдуард Константинович, «наш русский удар вилами: один удар — четыре дыры». До вил дело тогда, слава Богу, не дошло. Изумлённые смелостью чабана, братки то ли утомились, то ли усовестились, да и махнули рукой и на баранов, и на их малахольно отважного «пастыря».

Сибиряк-то Анашкин сибиряк, да вот первая публикация у него состоялась на Волге, в Самаре (тогда Куйбышеве), куда Эдуард Константинович — «сибирский волжанин» или «волжский сибиряк», как он порой себя называет, — приехал жить. Это был 1986 год и областная газета «Волжская коммуна». Запрягал Эдуард Анашкин долго: первая публикация, которую он считает знаковой, случилась у него лишь в 40 лет! Зато запрягший наконец свою литературную судьбу Анашкин далее поехал хоть и не суетно, но не остановимо. Книги прозы и эссеистики, вышедшие в самарском издательстве «Русское эхо» и в московском издательстве «Российский писатель», множество публикаций от всероссийских газет — «Парламентской газеты», «Общеписательской литературной газеты», «Российский писатель», «День литературы», и т. д. и т. п., публикации в престижных всероссийских журналах «Наш современник», «Роман-журнал-21 век», «Сибирь». Плодотворное сотрудничество практически со всеми ведущими журналами современной России — воронежским «Подъёмом», оренбургским «Гостиным Двором», пензенской «Сурой», саратовской «Волгой-21 век», самарским «Русское эхо»... Перечислять можно много и долго, но лучше поздравить юбиляра — замечательного русского человека и писателя с юбилеем.

Дорогой Эдуард Константинович, как говорится, посылай тебе Бог ещё много-много юбилеев!

Дорогой Эдуард Константинович!

От всей души поздравляем Вас с семидесятилетием.

*Желаем Вам крепкого здоровья, творческого долголетия,
дальнейшего служения России, которую Вы искренне и глубоко любите!*

Редакция журнала «Сибирь»,
Иркутское региональное отделение Союза писателей России

Уроки Распутина



ЭДУАРД АНАШКИН

Из глубин памяти

С каждым годом всё уже и уже становится круг моих друзей. Ветерок прощания коснулся и моих, покрытых серебром, волос. В день своего рождения умер Валентин Григорьевич Распутин. Многие захотят меня поправить, дескать неточность — умер поздно вечером 14 марта. По московскому времени всё было так. Но, сибиряки, да я сам говорю: он умер 15 марта, в день своего рождения. В Сибири уже была глухая ночь — 15 марта. Поддерживают это и священнослужители.

Целый год, я не мог убрать с телефона ни его московский домашний номер, ни иркутский, ни сотовый. Ждал его звонка. Не верил в его кончину.

Да и до его книг с автографами, писем, открыток, телеграмм дотронулся только после годовщины со дня смерти.

Хочу выразить глубокую признательность известному иркутскому критику Валентине Андреевне Семёновой, которой я выслал денежный перевод, и она от моего имени возложила букет цветов во время его похорон и в годовщину со дня смерти старшего товарища, друга, земляка Валентина Григорьевича Распутина.

Сейчас на моём рабочем столе стоит первый в России бюст В.Г. Распутина работы московского скульптора, народного художника России Николая Александровича Селиванова, который подарил его мне. Значительное место в творчестве Николая Александровича занимает русская литература в лице её вернейших представителей: Михаила Ломоносова, Василия Шукшина, Павла Васильева, Николая Рубцова, Николая Клюева, Юрия Бондарева. Год назад эту галерею выдающихся людей пополнили прекрасные скульптурные портреты Василия Белова и Валентина Распутина. «Мне хотелось бы своими скульптурами оставить в памяти потомков этих великих деятелей нашей культуры», — говорит Селиванов. Хочу добавить: в настоящее время около 80 работ Николая Александровича хранятся в 38 музеях нашей страны.

Я не впервые пишу о Валентине Григорьевиче. Мои воспоминания и очерки о нём публиковались в региональной и центральной печати, писал в его защиту от нападок бойких журналов и критиков. А вот как о человеке, земляке начал писать не так давно. Хотя знакомы мы с Валентином Распутиным были с далёкого 1965 года, когда он делал свои первые шаги в литературе. Мы тогда ещё не нажили отчеств, были молоды и нетерпеливы.

15 марта, вторник. За окном идёт снег, 5 часов утра. Я всегда, уже много лет, просыпаюсь в это время. Чашечка кофе, сигарета и — за письменный стол. Сегодня год со дня смерти.

Включаю телевизор — о Распутине ни слова. Есть новости о зарубежных певичках, зарубежных актёрах, но в иркутских газетах, журналах пока много пишут о Валентине Григорьевиче. После его смерти многие люди, как я заметил, стали очень интересоваться его биографией. Что-то находят для себя интересного: сейчас у Распутина «столько друзей» появилось, что знают всё о нём, даже чем он болел, какие ему делали операции, ощущение таково, что изучили медицинскую карточку.

Обычная семья, со своим укладом, своими проблемами, радостями и горестями.

Вячеслав Огрызко в своей статье «Возможен ли прорыв» (книга «Время Русь собирать», Москва, 2005) пишет: «Он очень долго умалчивал о своих родителях». Это с чего бы?

Родился Валентин Распутин в районном центре Усть-Уда Восточно-Сибирской (ныне Иркутской) области. Папа Валентина, Григорий Никитович (кстати, «его отчество пишут по-разному», — сообщает мне его племянница Екатерина Мавроди из Братска). На его могиле в Аталанке чётко и ясно написано — *Григорий Никитович*. Работал в Усть-Удинском лесничестве лесником, часто ездил в другие деревни по служебным делам (тушить пожары, караулить порубщиков леса). После свадьбы работал экспедитором в райпотребсоюзе. Кстати, местом одной из многих сталинских ссылок была Усть-Уда! Сталин не забыл об Усть-Уде, став генсеком. По его указанию многие юные усть-удинцы побывали в Москве.

Когда семья в 1938 году переехала в Аталанку, отец устроился работать сопровождающим почту при Аталанском отделении связи, а жену его, Нину Ивановну, приняли на работу на должность письмоносца — почтальона. Однажды в Доме творчества Переделкино я спросил у Валентина Григорьевича: почему именно в Аталанку? Деревню Аталанка не найти на картах Иркутской области, разве что на самых подробных.

— Дело в том, что в этой деревне жила вся огромная семья Распутиных, жил дедушка Никита Яковлевич с бабушкой Марией Герасимовной (в девичестве Черновой). А вот откуда дедушка появился в Аталанке и женился на бабушке — вопрос для меня до конца не изучен. В Нижнеудинском районе нашей области жили да и живут много тофаларов, жили деревнями (сейчас перемешались все и не понять, где русские, где тофалары). Вот дедушка, видимо, из тех краёв... В моей крови помешано много: и польская, и цыганская, и тунгусская, и русская, — ответил мне тогда Валентин Григорьевич. — Вот либералы говорят и говорят на всех экранах: «Мы — россияне». Какой это я россиянин? Да, у меня в паспорте нет графы национальность — убрали. Сколько я был за границей, то слышал только — русский. Да и ты, Эдуард, как я заметил, разных кровей. Не ошибаюсь?

— Нет, Валентин Григорьевич, Вы правы. Прадедушка по отцовской линии — поляк, фамилия Бонзо, был управляющим золотыми приисками в Минусинском уезде Красноярского края. Прабабушка из богатого казачьего рода Анашкиных. Но брак свой не оформили, потому что прадедушка католик, а прабабушка — православная, хотя и любили друг друга. А другая по отцу — сербка, прадедушка — из Молдавии. При строительстве Транссибирской магистрали всех их выселили в Петровск-Забайкальск Забайкальского края. Со стороны матери я целиком русский. Вот с именем Эдуард не увязка.

— Как понять это? — заинтересованно спросил Распутин.

— В 1948 году мои родители приехали в отпуск на родину матери в Орловскую область. Вот здесь-то моя бабушка возмутилась: как так внук некрещёный?! Решили покрестить, но батюшка посмотрел в книги, не нашёл в них имя Эдуард и предложил родителям, на дворе был месяц октябрь, назвать меня Сергеем. Вот и крещён я под этим именем, а в документах так, как называли родители.

Валентин Григорьевич громко рассмеялся, аж до слёз, и произнёс:

— Всё ясно. Настоящий сибиряк!

В 1939 году в семье Распутиных хлопот прибавилось — родилась дочь, сестра Валентина Григорьевича, которую называли Альбиной, но в деревне, да и все родственники её звали просто Ага.

Весть о начале войны в Аталанку запоздала (радио в селе не было), а узнали люди из газеты «Правда», приехав с пахоты. В списке призывников на фронт был отец Валентина Григорьевича Распутин — Григорий Никитович. На военные сборы он выбыл 19 июля 1941 года. Вслед за Григорием ушли десятка два его односельчан, а также родственники: сестра отца Клавдия Никитовна. Брат Виктор Никитович, зятья — муж сестры Александры — Алексей Анциферов, муж сестры Кристины — Алексей Спирин.

Виктор Никитович Распутин, как и многие аталанцы, не вернулся домой, погиб в 1942 году под Сталинградом. Зять, муж сестры Кристины, Алексей Терентьевич, умер от ран в 1944 году над Витебском. На фронт призывался и дедушка писателя Никита Яковлевич Распутин, он воевал под Ленинградом, участвовал в прорыве блокады, получил тяжёлое ранение, после лечения был комиссован.

Григорий Никитович воевал на мурманском направлении. На этот северный порт наступал отборный горно-егерский корпус фашистов. Распутин был одним из тех, кто своей

грудью встретил первый удар врага. Здесь он получил ранение. А затем, после лечения, опять в строй, на защиту Отечества.

«Папа вернулся домой 7 октября 1945 года, — пишет мне сестра Валентина Григорьевича, Альбина Григорьевна, — в орденах и медалях. О фронте отец ничего внятного не рассказывал, всё больше отмалчивался, может, не хотел говорить об этом мне и Валентину?»

А в самой Аталанке, старожилы деревни вспоминали, что земляк попадал в тыл к немцам, что ночевать приходилось в разных местах, даже на кладбище, и что вышел он из окружения вместе со своим ротным командиром.

«В ноябре 1945 года папа поступил на работу в Аталанское отделение связи, работал начальником отделения, — вспоминает дочь Альбина Григорьевна, — а мама уже работала контролёром на почте».

В 1946 году в семье Распутиных родился третий ребёнок — сын Геннадий. И тогда произошла для семьи трагедия. Григорий Никитович, в очередной раз получив крупную сумму денег как начальник отделения связи для выплаты рабочим в Аталанке, встретился в райцентре с друзьями. Встречу хорошо отметили, а на пароходе он заснул. Нашёлся какой-то подлец, срезал сумму с деньгами — и загремел Распутин в Магадан, на рудники на 7 лет. Вернулся домой по амнистии только в 1953 году, совсем больной. Его приняли на работу десятником в Замараевский лесозаготовительный пункт Аталанского леспромхоза. Умер Григорий Никитович в 1974 году в возрасте 61 года. Похоронен он в Аталанке, там же, где похоронены его отец и мать, похоронен его младший сын Геннадий в 2001 году и многочисленная родня Распутиных — Черновых.

«После похорон отца маму, Нину Ивановну, я взяла к себе в Братск, — говорит дочь Альбина Григорьевна. — Прожила она у меня до 85 лет и похоронена в Братске. Валентин каждый год приезжал к нам. Мы с ней каждый год, как только наступала весна, на «Метеоре» уплывали в Аталанку и жили там в родном доме до глубокой осени. Возились на огороде, заготавливали грибы и ягоды».

— Отца я, конечно, простил за его грех, хотя и признаюсь, что не сразу. Конечно, очень досталось маме, — рассказывал Валентин Григорьевич при нашей последней встрече в Иркутске на Всероссийском литературном празднике «Сияние России», — о работе на почте уже не шло и речи. Да и наши деревенские не сразу поверили, что сумку у отца украли: судачили, как говорят в Сибири, «прикарманил»... И вот мама, которую я сильно любил до самой её смерти, с грудным ещё ребёнком, сестрой и со мной переехала в деревню Замараевку. Здесь находился лесозаготовительный пункт, и мама устроилась на работу банщицей в казённую баню. Целый день то на коромысле, то на руках носила воду для бани. Труд очень тяжёлый, но надо было как-то кормить нас, ребятишек... А как тяжело жили мы в Аталанке во время войны! Вспоминать не хочется. — Распутин посмотрел на меня и положил руку на плечо. — После похоронки на мужа в 1944 году в Аталанку вернулась в родительский дом отцова сестра Кристина со своими четырьмя малыми детками. Моя бабушка, Мария Герасимовна, отдала ей большую часть дома, а в маленькой поселилась сама со своими детьми Татьяной и Леонидом. Здесь же жили и мы с мамой... Непростая судьба у Леонида Никитовича. Как и многие его сверстники, в годы войны работал наравне со взрослыми на лесозаготовках.

«Мужиков тогда не хватало, они воевали на фронте, очищали нашу землю от фашистов, но планы лесозаготовок никто не отменял. Вот собирали и старых и малых. Я в бригаде валила лес, а Леонид был возчиком, перевозил брёвна на лошадях», — рассказывала Полина Николаевна Распутина, которая в дальнейшем стала женой Леонида.

Кристина Никитовна тоже не пекла блины на лесозаготовках: валила лес, рубила сучки. Нина Ивановна Распутина, мама Валентина Григорьевича, продолжала работать на почте. А так как только одна Мария Герасимовна из всей родни трудилась в колхозе «Память Чапаева», то и делянку для покоса ей давали одной. Вот и приходилось держать только одну коровёнку. А что это значило для семьи из 12 человек? На стакан чая — две ложечки молока.

«Тяжело было, — вспоминает сестра Распутина Альбина Григорьевна. — Мы с Валей глубокой осенью и ранней весной ходили на колхозные поля, где выращивали картошку.

Неважно было, какая картофелина попадалась, всё несли домой. А осенью нас выручал лес — грибы, ягоды, и брусника, и клюква, и облепиха, и голубика, и смородина. Всё заготавливали бочками».

— Это в городе тяжело, — рассказывал мне Валентин Григорьевич о тех годах. — Нас же выручал лес — грибы и ягоды.

Здесь, в Аталанке, Валя Распутин пошёл в начальную школу, которую успешно окончил и перед матерью встал вопрос: что делать дальше? И Нина Ивановна приняла решение: сын должен учиться. Он был первым из деревни, кого повезли учиться дальше в среднюю школу, в райцентр Усть-Уду.

О том, как он жил и учился в средней школе райцентра, хорошо сказано в его знаменитом рассказе «Уроки французского». А ведь это было за пятьдесят километров от дома. Окончив в 1954 году с медалью школу, Распутин поступает на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета.

В студенческие годы стал подрабатывать внештатным корреспондентом областной молодёжной газеты «Советская молодёжь».

На физмате университета училась старшая дочь известного иркутского поэта, первого председателя Иркутской писательской организации Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, Светлана. Они познакомились, стали общаться, а затем дружба переросла в любовь. Это произошло летом 1960 года.

В 1959 году Валентин Распутин окончил университет и стал работать корреспондентом в областной молодёжной газете, где в студенческие годы был внештатником.

С 25 февраля 1961 года Валентин и Светлана стали жить вместе, а официально зарегистрировались 11 октября этого же года.

Первый рассказ «Я забыл спросить у Лёшки» — романтическая история о дружбе и смерти — был напечатан в 1961 году в журнале «Ангара». 21 ноября этого же года в семье Распутиных появился малыш — сын, которого назвали Серёжей.

В 1962 году Светлана окончила университет и получила направление на работу преподавателем высшей математики Красноярского технологического института. В августе месяце они с Валентином уехали в Красноярск, где и получили комнату в общежитии для педагогов. А Распутин устроился на работу в областную газету «Красноярский рабочий».

А что только не пишут о втором сыне Романе: и родился он в Красноярске, и здесь же похоронен, и жили Распутины в бараке, и простудили его, и даже что имя ему не успели дать. Вот так и не иначе.

В марте месяце 1966 года Распутины возвратились на постоянное место жительства в Иркутск.

15 октября 1968 года у них родился сын Роман. Да, видимо, он умер от пневмонии, так записано в документе. Умер Роман 28 ноября 1969 года. Похоронен в Иркутске.

Здесь хочется сказать несколько слов о Виктории Станиславовне Молчановой — теще Валентина Григорьевича Распутина. Он её не только уважал, но и любил. На книге Валентина Распутина «Что передать вороне?», изданной в Кургане в 1995 году, которая хранится у младшей дочери Евгении Молчановой, такой автограф: «Жил-был зять... и была у него одна тёща (а посмотрите-ка, сколько теперь у зятьёв бывает тещ!). И этот зять дарит своей единственной теще в день её юбилея юбилейную книгу не в последний раз. И так — Виктории Станиславовне, любимой теще, от зятя Валюши. В. Распутин. 14 апреля 1996 год».

Накануне своего золотого юбилея Валентин и Светлана Распутины 12 октября 2010 года венчались в храме Касперовской иконы Божьей Матери по улице Лесной, 145. Таинство венчания совершил протоиерей Алексей (Середин).

15 марта 2012 года в день своего 75-летия Валентин Григорьевич с тяжело больной женой возвратились из Москвы в Иркутск. Болезнь она переносила стойко. Никогда не жаловалась, даже когда боль была непереносимой. До самой её смерти, 1 мая 2012 года, всё это время рядом была её младшая сестра Евгения Ивановна, жена известного в России поэта Владимира Скифа.

...Утром к нам в гости пришёл внук Архип, он восьмиклассник местной средней школы. С порога радостно произнёс:

— Дедуля, вчера вечером пошарил в компьютере и нашёл статью о Распутине. Распечатал, принёс, читай.

Статья «В пламени Пожара» появилась 2 декабря 2015 года. Много ошибок и... «новость» для меня, высосанная из пальца. «...У молодожёнов родился сын Сергей. Ныне он преподаёт английский язык в одной из иркутских школ...» И здесь неправда! Но, главное другое. Дочь его Антонина, родившаяся в 1986 году, — единственная внучка писателя. Неправда!

У Валентина Григорьевича Распутина четверо внуков — Антонина, Григорий, Люба, Надя.

А вот правнучка одна — Алиса. Он держал Алису у себя на руках, она щебетала у него на коленях. Внучка Антонина жила со своей семьёй у бабушки в Москве.

Есть очень многогранное понятие — сибирячка. Произнесёшь это слово — и сразу перед глазами встаёт совершенно непохожий ни на волжанок, ни на северянок образ женщины. Такая вот статная, сдержанная, но в то же время радушная и открытая младшая сестра Светланы Ивановны — Евгения. Она мне очень много помогала и помогает в работе по сбору материала о Валентине Григорьевиче Распутине, своей старшей сестре, племяннице Марии. Из породы тех самых сибирячек и Альбина Григорьевна — сестра Распутина, её дочь Екатерина Мавроди, которые так же очень много мне помогли в работе над этим очерком.

Известный критик, прозаик, редактор отдела критики журнала «Наш современник» Сергей Куняев вспоминает, что В. Распутин по жизни был однолюбом и всегда говорил: «У меня одна родина — Россия, одна любимая жена на всю жизнь и один журнал «Наш современник»...»

А закончить свой очерк мне хочется отрывком из статьи Николая Савельева «Живу и помню», которая была опубликована в годовщину смерти Валентина Григорьевича Распутина в «Российской газете»: «Ему выпало похоронить не только свою дочь, жену, мать, а ещё и старуху Анну, и Настёну, а ещё перешагнуть тюремные ворота с обездоленной героиней последней повести. «О Господи... и это пережить... И сердце на клочки не разорвалось».

ИВАН ЧАРОТА



Валентин Распутин и славянство

Не претендуя на то, чтобы заявленную тему осветить с надлежащей полнотой, заранее извиняюсь за вынужденную беглость и поверхностность изложения, а также прошу принять оправдательное уточнение: это попытка хоть как-то подступиться к важному и весьма непростому для осмысления вопросу, во всяком случае — обратить на него внимание.

Как славяне мы не смеем быть равнодушными к исторической судьбе славянства в прошлом, настоящем и будущем. Вот и мне, в меру моих скромных возможностей, неоднократно доводилось писать о ней (см., например: *Slovanská literárna vzájomnosť' — minulosť bez budúcnosti? / Preložila doc. PhDr. Natália Kysel'ová, Csc // Evrópska únia — nádeje a pochybnosti (Slovensko — Evropa — svet). — Bratislava: CCW, 2004. — S. 5 — 21; Чарота И.А. Славянская литературная общность и вызовы глобализации // Время как объект изображения, творчества и рефлексии: материалы Международной научной конференции (Иркутск, 27 июня — 1 июля). — Иркутск, 2010. С. 9–23; О перспективах славянства и славяноведения (Раздумья не без тревоги) // Контексты мировой литературы : сб. науч. ст. к 70-летию профессора А.А. Гугнина. — Новополюк : ПГУ, 2011. — С. 39–48; Россия и славянство. — Ословесить жизнь нашу // Православное книжное обозрение (Москва). — 2012. — № 5(18). — С. 94–99). О чём прежде всего размышлял, позволю себе повторить: о судьбе славянства как феномене*

ЧАРОТА Иван Алексеевич (род. 16 сентября 1952 г. в дер. Лышники Брестской области БССР), доктор филологических наук (1998), профессор (1999), академик Международной Славянской Академии наук, образования, искусства и культуры (2008), иностранный член Сербской Академии наук и искусств (2009), член Союзов писателей СССР (1985), впоследствии — Беларуси, а также России и Республики Сербской. Круг научных интересов включает разные области славистики, сравнительного литературоведения, культурологии, религиоведения, межнациональных связей, художественного перевода. Один из самых авторитетных на постсоветском пространстве специалистов по проблемам литератур и культур бывшей Югославии. Ведущий сербист Республики Беларусь. Автор свыше пятисот научных, научно-методических и литературно-критических публикаций, а также более тысячи опубликованных художественных переводов. Составитель восьми литературных антологий, в том числе четырёх, изданных за рубежом. Работы переведены на сербский, словацкий, словенский, польский, румынский, английский языки. Является учёным секретарем Белорусской Библиейской Комиссии, членом редакционных коллегий одиннадцати периодических изданий (из них четыре — зарубежных). Лауреат Премии Республики Беларусь «За духовное возрождение» (2003), Международной премии имени Константина Острожского (Польша, 1999); премии Союза писателей Сербии (2000); премии журнала «Збиља /Reality» (СРЮ, Белград, 2000; 2006); Международной премии им. Достоевского (Сербия, 2007); Всеправославной литературной премии «Богородица Троеручица» (сербский Фонд им. Иванки Милошевич (Чикаго, США, 2011); Международной премии имени Раде Драинца (Сербия, 2014); премии Фонда Каричей (Сербия, 2014); награждён орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени (2002); памятной медалью Союза словацких писателей (2003); орденом Святого Саввы III степени (Сербия, 2004); орденом Святого Кирилла Туровского II степени (2012); Золотым знаком Культурно-просветительского общества Сербии (2008); знаком «За большой вклад в литературу» (Беларусь, 2012); серебряной медалью «За заслуги» (Сербия, 2013); медалью А.С. Пушкина (РФ, 2015).

поразительном и провиденциально-поучительном в разных отношениях, о «внутреннем состоянии и самосознании нашем как славян», «о том, что должно бы называться «рас-славяниванием» или «деславянизацией», о межславянских спорах и раздорах, о тех результатах, которые вследствие отмеченного уже проявляются в филологической науке, литературе и духовной культуре славянских народов, и о том, что при всем таком нас ещё ожидает.

А продолжить раздумья помогает приснопамятный Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015), с которым я был знаком лично и имел честь выступать с пленарным докладом на посвященной его 75-летию конференции в Иркутском университете. И сейчас, когда его уже нет в живых, как бы само о себе напоминает исключительно интересное и значимое, однако не оценённое по реальной значимости (как историсофское, а не ситуативно-публицистическое) произведение, с которым он двадцать три года назад выступил — «Что дальше, братья-славяне?» (*Распутин В.Г. Что дальше, братья-славяне? // Встреча. — 1992. — № 9. — С. 5–7; Все цитаты приводятся по публикации: Распутин В.Г. Собр. соч. в 3 т. — М.: Молодая гвардия, — Т. 3. — С. 388–410*). Оно является стимулятивным фактором в разных планах: временная дистанция не только позволяет, но и побуждает разобратся, насколько высказанные тогда опасения подтвердились действительностью; к тому же это обращение так или иначе касалось и меня, белоруса, представителя народа славянского, братского, причём по отношению к русскому «единоутробного», как определял сам Валентин Григорьевич.

Внесенный в заголовок распутинской публикации вопрос ставился, как известно, в особых условиях, вынуждавших констатировать, что «никогда еще славянство не было так далеко друг от друга, так друг к другу нетерпимо, и никогда еще, за исключением кратковременного послереволюционного периода, сама Россия не падала так в своем политическом и нравственном значении», — в прямом смысле «на пепелище» бывших СССР, ЧССР и СФРЮ, неизменно декларировавших братство и единство родственных народов. Причем Валентин Григорьевич на полную громкость озвучивал его «не для упреков и предъявления счета, а только для того, чтобы проследить, как это происходило, и прикинуть, пойдем ли куда-нибудь дальше». Всем нам, думается, понятно, что вопрос этот и в наши дни отнюдь не риторический. Более того, очевидно, что опасения подтвердились со всей определенностью, а намечавшиеся тогда противоречия не сгладились, наоборот, усугубились во всех планах. Особенно вот в этом: «В сущности, российские славяне — это один народ, народ русский, разлученный историческими обстоятельствами в старые времена на три части и в разлуке наживший различия, давшие основание называться Малой, Белой и Великой Русью. Но — Русь, с единым телом, единой душой и сердцем, сращенность которой могли взяться проверять только враги ее». Нам остается лишь засвидетельствовать, что до последнего времени это единство жестоко проверяется, и результаты проверки утешительными назвать нельзя.

О складывавшейся именно так ситуации Распутин говорил с болью и горечью, с тревогой за судьбу современного мира и славян в нём, а что для нас в данном случае важно — хотя и не без обиды на тех «братьев-славян», которые способствовали разломам и раздорам, но всё же так или иначе принимаемая давно сложившееся и историческим опытом подтвержденное мнение, что «русский вопрос есть вопрос славянский, а славянский есть вопрос русский», поскольку «Создатель высеял нас единой горстью».

Само собой разумеется, что к «славянскому вопросу» у Валентина Григорьевича подход «рускоцентричный», а это значит, что и в историческом, и в актуализированном аспектах его содержание русский писатель воспринимает объективно иначе, нежели представители других, особенно западных, славянских народов. Но, опираясь в этой своей публикации на мудрые и пророческие суждения Ф.М. Достоевского, В.Г. Распутин, подобно своему великому предшественнику, постоянно учитывает — как непрменный и определяющий фактор — «всемирную отзывчивость» русского человека, о которой вслед за Достоевским он тоже много размышлял и неоднократно высказывался. Вот и на этот раз, последовательно трезво оценивая и «славянские грезы», и «славянское самоедство», Распутин принял в качестве свыше предначертанного следующее: «Это не воля наша — быть или не быть славянином? Это наша доля, врученный нам в рассветные времена человечества духовный надел».

Собственно, есть все основания считать, что как раз ответственность за этот «духовный надел» предопределяет многое из свойственных позиций В.Г. Распутина — писателя и гражданина. Причём то, что в его мировоззрении и художественном мироотражении концентрируется именно русское самосознание, по большому счёту, противоречий не создаёт. Ведь бесспорно, что русская составляющая до сих пор является основой и опорой славянства. Более того, как

верно утверждал Валентин Григорьевич, ею объективно обуславливается и будущее: «Это будет зависеть от того, спасётся ли Россия. Не устоит она — поминай как звали славян всех вместе и каждого по отдельности».

Не секрет, что публичные рассуждения об особой исторической роли русского народа зачастую вызывают настороженность, а то и подозрения в шовинизме, гегемонизме и т. п. Но меня-то, как этногенетически не принадлежащего к племени великорусскому, подозревать в подобном вряд ли стоит. Хотя и я, должен признаться, не смущаюсь, а скорее горжусь тем, что представляю ветвь (пусть и не так уж цветущую) от общерусского ствола и славянского корня. И мне, белорусу — не белофинну, не белоевропейцу, не белоамериканцу и даже не белополяку — великоросс Распутин, естественно, близок. Это, что называется, по определению.

К тому же для меня, родившегося и воспитанного изначально в крестьянской среде, как и для выдающегося русского писателя В.Г. Распутина, уже вследствие происхождения бытийно значима и неизбывна проблема деревни... А вместе с тем она и по-особому сложна, по-настоящему болезненна. (Осознаю, что подобным же образом на нее реагируют многие коллеги моего и более старшего возраста, но поскольку не смею претендовать на роль высказывающегося «от имени», то придерживаюсь формы первого лица единственного числа.) В общем, даже если бы очень хотел, я никак не способен подойти к этой проблеме отвлечённо, а тем более отчуждённо. Всё происходившее и происходящее, так или иначе, я должен оценивать с учётом опыта не только своего, но и своих предков. И только этот совокупный опыт позволяет как-то находить разрешения противоречий, особенно нравственных. Скажем, как только я настраиваюсь на лирическо-ностальгическую волну и начинаю говорить о благоприятных условиях жизни в той деревне, которая всё ещё до боли дорога, сразу же (во мне самом!) отзывается скептический оппонент: «Да зачем распускать нюни?! Бросай город и возвращайся в деревню!..» Однако и при самой что ни есть критической настроенности, опять-таки, я не чувствую за собой права осуждать нынешних жителей деревни, которые эту среду обитания делают далёкой не только от идиллии, но и от всяческих идеалов. Ведь любой из оставшихся сельчан, а заодно и тот же (само)критичный *alter ego*, с полным правом отбреет меня: «А чего же ты, на идеалы настроенный, не остался в деревне, чтобы сохранить идиллию, делать родную деревню идеальной?» Одним словом, даёт о себе знать не только отвлечённая коллизийность, но и — пусть тоже в известной степени отвлечённая, поскольку не реализована должным образом, однако не дающая всё же покоя — ответственность как остаточная совесть.

Понятно, что сейчас реакции на поднятые В.Г. Распутиным и волнующие меня вопросы о деревне как основе традиционного жизнеустройства так или иначе предопределяются происхождением и возрастом тех, кто их обсуждает. Поэтому, увы, столь широко распространилась, а для молодого поколения стала доминирующей, самая что ни есть примитивная трактовка истории XX века, в свою очередь, вызвавшая игнорирование положительного опыта поколений отцов и дедов: мол, советский тоталитаризм страшнее германского фашизма, жертвы борьбы с которым были бессмысленными, а спасительным будет скорейшее установление демократии по образцу той же Германии либо Америки и т. д. Разумеется, были и есть основания для серьёзной критики многого из продолжительной истории построения социализма и коммунизма. В частности, того, что «прорабы» этого строительства руководствовались идеологией пролетарской, а «гегемон» воспитывался так, чтобы на дух не переносил «мироедов», безжалостно ликвидируя их, уничтожая частнособственнический уклад в целом, а затем «неперспективные деревни» и т. д. Да, таковы идеологические предпосылки почти тотального «раскрестьянивания», а в придачу и «слияния» с городом, которое стало бедствием, отнюдь не стихийным по своей природе... Но принимать во внимание только это — значит, упрощать коллизии как общественно-политической, так и духовно-культурной истории.

А глубинную суть всех этих коллизий отразила русская «деревенская проза», одним из самых ярких представителей которой является В.Г. Распутин. Это ведь не просто одно из тематических направлений, а феномен мощного духовного движения. Те, кого пренебрежительно называли «писателями-деревенщиками» — «нравственники» народные! — отразили величие народа в цепи бедственных испытаний, не скрывая правды, опровергая закрепившиеся идеологические стереотипы относительно «идиотизма сельской жизни», а утверждая вековыми традициями установленный «лад». И тогда, когда уже новый «процесс пошел», «талдычили о душе, о совести». Вообще-то, не случайно, что в русском языке (одном лишь) понятие «крестьянин» связано с «крестом» и «Христом». Ведь именно русский селянин особый крест несёт и по-особому Христа почитает, благодаря своей природной укоренённости-постоянности является хранителем полученных в наследие ценностей. Но поскольку не все считают столь

важным вероисповедное начало, то воспользуемся более общим подходом, внимание сосредоточив на том, что пафос лучших произведений «деревенщиков» кратко можно передать словами сербской писательницы Исидоры Секулич: «Селянин — человек, озабоченный больше всех в мире». Впрочем, сейчас, как и в советские времена, правомерность, а тем более мудрость такого суждения бесспорна далеко не для всех. Нынешние «властители дум» сами не помнят и другим не позволяют вспоминать о том, что именно селянам — по причине их укоренённости и наименьшей социальной защищённости — особые испытания принесли войны, революции, коллективизации, индустриализации, урбанизации, фермеризации... Потому все меньше остаётся тех, кто имеет способности (не только врождённые) воспринимать мир деревни как универсальный и самодостаточный, как оптимальный микрокосмос бытия вообще и для себя лично, как средоточие традиционных ценностей, а сельский люд — как самого ответственного хранителя и самого последовательного носителя этих ценностей. Ведь наивно полагать, что таким хранилищем может быть музей, «скансен», а хранителями его — отторгнутые от реального сельского мира музейные сотрудники.

Сказанное, понятно, более всего касается современной нашей молодёжи, не исключая писательскую и журналистскую. У неё, в основной массе, просто нет своей родной деревни, т. е. своего дома и двора, со своей околицей и своим кладбищем, своей окружающей и постоянно волнующей природой, нет своей среды родством связанных людей и обусловленного всем этим уклада жизни, да и содержания всего ряда таких понятий, как «мать», «матёра»... Что поделать, нынешняя молодёжь воспитывалась, образовывалась, просвещалась уже иначе — в реальности, сложившейся не только после «прощания» дедов с дорогим для них миром, но и после пережитого отцами глобального «пожара». Увы, для большинства этих молодых людей понятия «деревня» и все производные от него несут уже разве что негативную коннотацию. И быть как-то причастными ко всему «деревенскому», тем паче «колхозному», для них просто неприятно, стыдно даже. Намного приятнее — выискивать (как это повально делается у белорусов) «шляхетные» родословные. Трезвомыслящие соотечественники мои реагируют на такое увлечение снисходительно: ну и пускай потешатся; это не более чем проявления возрастной покомплексованности детей сельчан!.. Но такого объяснения вряд ли достаточно. Как-никак по-своему опасны и эти симптомы сами по себе, а ещё более то, что наши приемники, наследники не знают и города в положительном смысле. Так что здесь уже даёт о себе знать склонность быть вполне довольными обычным средоточием бараков и общежитий, лишь бы имелись неподалёку дискотеки и бары, удовлетворяющие их определённые запросы... Пожалуй, иначе и не могли проявляться результаты прежнего состояния «ни к селу ни к городу», давшего специфические предпосылки для нынешней «постистории».

А это означает, что «время и бремя тревог» не в прошлом. И уже потому творчество русского писателя и мыслителя Распутина важно как для его соотечественников, так и для других народов, имеющих подобный социально-исторический опыт. В их числе, разумеется, все народы бывшего СССР и все славяне, также прошедшие испытание строительством коммунистического рая на земле. Тем паче, что Валентин Григорьевич неоднократно привлекал внимание именно к общим для славян бедам, опасностям и угрозам.

С другой стороны, практически все произведения В.Г. Распутина столь значимы оттого, что являются результатом глубоко личного и незаурядно личностного отношения к тому, о чём он писал. В любом случае, пытаясь определить опознавательные знаки его как писателя, мы прежде всего выделяем то, что именно он отразил через свою собственную душу, столь отзывчивую на боль и печаль других, на неправду по отношению к народу. Следует, конечно же, должное воздать ему как личности, обладающей не только исключительно ярким даром, своеобразной художнической экстрасенсорностью и нравственной прочностью, но и непоколебимой верой в идеалы добра, а также гражданским мужеством, благодаря которым он показал, что и в условиях советского строя общественное мнение по большому счёту формируется не идеологами-функционерами, не партийной элитой, не послушными проводниками официоза, не псевдоинтеллектуалами от «образованщины», а тем более — не бульварной прессой, как сейчас. Он показал и доказал, что русский писатель может, если вынужден, поправлять и цехиков, и министров. Это в значительной степени его заслуга, что русская литература во времена «застоя» и «перестройки» продолжала оставаться «центральной миросозерцательной силой» (В.В. Кожин), а также что «литературоцентризм» русской культуры оказался самым серьёзным оружием сопротивления (*Цветова Н.С. Эсхатологическая топика русской традиционной прозы второй половины XX века. — СПб., 2008. — С. 45*).

В.Г. Распутин, своим творчеством и всей своей жизнью убедительно доказывая, что «ли-

тература — это нравственное служение», выявляя и утверждая лучшие свойства русского человека, способствовал сохранению нравственности, духовности, здорового национально-исторического сознания не только у русских, но и у всех славян. Соответственно, есть основания говорить об универсальной распутинской системе оценок того, что со всеми нами было, что есть, что может и должно быть.

В былом Валентин Григорьевич совершенно правомерно выделял лучшее, важное и для настоящего, и для будущего. В настоящем он бескомпромиссно осуждал стирание различий между красотой и безобразием, добром и злом, правдой и обманом. О будущем размышлял всегда с тревогой, а в последние годы своей жизни — и с заметным пессимизмом. Но неизменно честно выполнял важнейшую функцию писателя-гражданина: напоминал о том, что необходимо восстановить нарушенную систему ценностей, вернуть в действие законы Божьи и по-настоящему человеческие, без которых будущее невозможно. Все оценки у него последовательно строгие, а установки высокие — на то, что должно быть спасительным для каждого человека, любого народа и человечества в целом. Взять хотя бы, к примеру, вот эти, призванные вразумить околпачиваемых и дезориентируемых, суждения: «Память — само по себе понятие скрепляющее и охранительное» (*Распутин В.Г. Жертвовать собою для правды: против беспамятства // Наш современник. — 1988. — № 1. — С. 169*); «Искусство — это праведный и чистый голос человечества в целом и каждого народа в отдельности, духовная и эстетическая побудительная высота, осуществленная мечта человека, ухваченное перо жар-птицы и прометеев огонь человеческих исканий и побед» (*Распутин В.Г. «Правая, левая где сторона?» // Наш современник. — 1989. — № 11. — С. 140*); «И как для экологии природы вредны грязные производства, так и экологию языка загрязняют «фабрики» чужесловия, дурно- и тупословия, против которых вместе с охранительными законами нужна и постоянная расчистка родных истоков» (*Распутин В. Русь Сибирская, сторона Байкальская // Наш современник. — 2009. — № 11. — С. 128*); «Потрясения рождают растерянность, а растерянный человек и Отечество, и судьбу потерять может» (*Распутин В.Г. Потрясения рождают растерянность... // Российская газета. — 1997. — 18 окт. — С. 2*).

В.Г. Распутин не принадлежит к числу писателей, творчество которых воспринимается и осваивается легко. И это в известной степени влияет на особенности его восприятия зарубежными славянами. Тем более, что миру славянскому свойственны многовековые противоречия, а в последнее время они усугубляются безоглядным стремлением едва ли не всех «братьев-славян» по отдельности как можно выгоднее обосноваться в «общем европейском доме», который издали выглядит привлекательнее социалистического «лагеря». А это, соответственно, стимулирует подключение к механизмам рецепции определённых стереотипов. Так, замечалась тенденция особыми акцентами выделить, что Распутин — писатель всё же советский, а при этом последовательный в консервативно-национальных убеждениях... Что ж, он действительно был противником «перестроек» и эсээзовской, и евросоюзовской, и глобализационно-мировой. Хотя такого рода акценты существенно влияющими на восприятие распутинского творчества в целом стать не могут как на пространстве постсоветском, так и на постсоциалистическом. Они корректируются временем, а точнее — текущими процессами глобализации, которые вынуждают трезво разобраться, что на самом деле со всеми нами было и что стало, каковы наши реальные потери и каковы приобретения в плане материальном и духовном, какие ценности на поверку оказываются истинными, а какие ложными. И осмыслить всё это нам помогает В.Г. Распутин. Вот конкретный пример из практики филологическо-педагогической. Мне приходится искать-обсуждать со студентами наименее спорные показатели значимости литературных произведений. И обсуждение, как правило, сводится к тому, что мы условно определяем художественные тексты, годящиеся на воображаемый случай, когда представителям иной цивилизации нужно дать максимально полное представление о сути жизни того или иного времени. Так вот, в качестве универсальной метафоры всего бытия русского народа (и восточных славян в целом) конца XX века лично я называю неизменно «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина. Правда, если прежде, ещё даже лет десять назад, студенты воспринимали это с нужным разумением, то сейчас — и с недоумением. Как я уже отмечал, в результате воздействия новой реальности у них наблюдается всё меньше «чувств к отцовскому краю» и способностей адекватно реагировать на изменение традиционных устоев бытия, особенно сельской жизни. И упоминавшееся «время и бремя тревог» они, как правило, брать на себя не готовы, оставляя это Распутину да ему подобным. А молодёжи инославянских стран, ищущей себе места в глобалистском мире, такое свойственно ещё больше, чем молодым людям Беларуси и России.

Весьма интересно и важно было бы обсудить, как проблемно-тематическое, философское содержание произведений Валентина Григорьевича соотносится с опытом иностранных писа-

телей. Хотя это аспект сложный и требующий отдельного серьёзного исследования, остановимся на некоторых моментах. В частности, нельзя не учитывать, что его творчество — своеобразная полемика с западноевропейским экзистенциализмом. Причём распутинская концепция экзистенциального, бытийного, явно более содержательна и созидательна, чем та, которая распространилась и у нас благодаря писателям-экзистенциалистам Запада. Здесь, конечно же, есть о чём подумать. Кроме того, вряд ли по большому счёту убедительны проводившиеся сравнения В. Распутина с У. Фолкнером и Г. Гарсиа Маркесом. Так или иначе, они всё же связаны с известными тенденциями «моды» на определённых писателей в поздний период существования СССР. Значительно больше оснований имеется для сравнения, например, с украинцами Михайлом Стельмахом и Евгеном Гуцало, болгарами Йорданом Йовковым и Йорданом Радичковым, сербами Велько Петровичем и Добрицей Чосичем, поляками Владиславом Реймонтом и Юлианом Ковальцем, словаками Мило Урбаном и Винцентом Шиколой, а также, конечно, белорусами — Иваном Мележем, Василем Быковым, Иваном Пташниковым, Виктором Козько...

В связи с избранной темой для нас особый интерес представляет восприятие творчества В.Г. Распутина в разных инославянских странах. И мы попытались собрать побольше сведений об этом. Информация наша, конечно, исчерпывающей не является, но может существенно дополнить ту, которая содержится в изданном к 75-летию юбилею указателе (*Валентин Григорьевич Распутин. Биобиблиографический указатель... — Иркутск, 2007*). Отнюдь не ради критики — понятно, что наличествующий в этом издании объём сведений зависел от (не)доступности зарубежных источников, — всё-таки следует отметить, что на основе этого указателя невозможно составить адекватное представление о том, как воспринимают произведения В.Г. Распутина и славянский мир вообще, и каждый славянский народ в отдельности.

Особенно не повезло сербам: в указателе отмечается всего одна публикация на сербско-хорватском языке (с. 511), да и та — перевод рассказа, опубликованный в Черногории. На самом же деле и объём переведенного, и интенсивность освоения распутинского творчества весьма значительны. Вообще, у В.Г. Распутина к Сербии особое отношение. И у сербов к Распутину — тоже. Это имеет объективную обусловленность: сербы, как православные славяне, прошли поистине гологофский путь испытаний, утрат и жертв, принесённых ради сохранения своей славянскости и православности. Заслуженной славой овеяна история сербского народа эпохи средневековья: в XII–XIV веках сербы имели мощное государство; ещё в 1219 году Сербская Православная Церковь стала автокефальной; исключительно высокого уровня достигла тогда сербская культура, прежде всего — зодчество-храмостроительство, фресковая живопись, словесность... Однако не только развитие их, но и сохранение оказалось под угрозой из-за турецкого нашествия. Сербы сдержали прорыв турецких войск в Центральную и Западную Европу, а сами на пять веков оказались под османским игом. На протяжении всего этого периода они сопротивлялись, как могли, поработителям, а в начале XIX века самостоятельно подняли мощные восстания, в самоотверженной борьбе за независимость добившись-таки своего. Сербия стала значимым фактором освобождения Балкан от турецкого владычества в 1860–1870-е годы и в начале 1910-х годов. Не случайно именно с Сербией связаны были причины (точнее — повод) Первой мировой войны, в которой она потеряла треть населения. Несмотря на всё это, Сербия взяла на себя роль объединителя родственных народов, югославян, став опорным столпом в итоге Первой мировой (Великой) войны образованного Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (впоследствии переименованного в Королевство Югославия). Исключительный, по сравнению с остальными южными и западными славянами, героизм именно сербы проявили в период Второй мировой войны, оказывая мощное сопротивление фашизму, вследствие чего им довелось понести огромные жертвы, пострадав при этом не только от германских и итальянских агрессоров, но и от бывших сограждан — хорватских усташей. И особо трагичной для сербов оказалась «перестройка» мира в конце XX — начале XXI века, когда по ходу развала СФРЮ были спровоцированы религиозно-этнические конфликты, переросшие в почти четырёхлетнюю гражданскую войну на территории Боснии и Герцеговины, когда было осуществлено массовое изгнание сербов из Краины в Хорватию, а затем произведено отторжение Косова и Метохии, ради чего в 1999 году страны НАТО провели открытую войну против так называемой «третьей Югославии», т. е. против Сербии и Черногории.

Как уже сказано, сербы во все времена проявляли беспримерный героизм в борьбе за свою независимость и честь, за право оставаться «своими на своем». Однако результаты борьбы, даже явные победы, почти всегда оказывались не на пользу им. Чтобы уточнить это, обратим внимание: у большинства народов национальная идея, а прежде всего — её фольклорное и литературное отражение, основывается и держится на осознании и восславлении собственных

побед. Примеров этого можно привести сколько угодно. В частности, если сравнивать сербский народ с русским (а это сравнение, между прочим, часто навязывается «извне» — для того чтобы проще было обвинять сербов в гегемонизме и подобном), то бесспорно, что русскую идею нельзя себе представить без тех основ самосознания, которые заложены результатами и последствиями битв на поле Куликовом и поле Бородинском, на Чудском озере и на Неве, под Полтавой и под Сталинградом, без побед над татаро-монголами, германскими крестоносцами, шведами, французами, немецкими фашистами. А у сербов иначе: всемирно известные сербские эпические песни практически сплошь насыщены трагизмом; и вообще, в памяти народной более всего запечатлелись утраты, связанные с Солунским фронтом, Кордуном, Крагуевацким расстрелом... и особенно — поражением на Косовом поле в 1389 году, после чего настала пятисотлетняя зависимость от Османской империи... Причём, в соответствии с народными представлениями, освобождением от турок трагедия не закончилась, и Косовская битва с XIV столетия продолжается по нынешний день.

Объяснить особенности истории и самосознания сербов в принципе невозможно без учёта Косовской трагедии. Чтобы не быть голословными, обратимся к сербскому эпосу (который, подчеркнём, исходно делится на докосовский, косовский, послекосовский циклы), и в песне «Цар Лазар се приволева Царству небеском» («Царь Лазарь выбирает Царство Небесное») найдём ключ для объяснения. Главный герой Косовской битвы получает от Богородицы предложение выбрать: либо земное царство — при этом ему будет обеспечена в битве победа, а все турецкое войско погибнет, либо Царство Небесное — при этом погибнет его войско, и он сам тоже. Излагаемую в песне мотивацию судьбоносного выбора, который был сделан святым князем-мучеником (он причислен к лику святых; и мощи его пребывают в им построенном недалеко от Косова монастыре Раваница), процитируем без перевода: «Земальско је за малено царство, / А небеско увек и довека» (*Српска књижевност. Антологија текстова / Избор проф. др Иван А. Чарота. Књ. I. — Мн.: РИВШ БДУ, 2002*).

Истины ради отметим, что по поводу такого выбора сейчас доводится слышать и раздраженные оценки тех сербов, для которых «европейский выбор» представляется более значимым... Однако независимо от временных настроений и ориентаций гордостью всего народа остается то, что и ныне на территории (вновь оккупированного!) края Косово и Метохия в диаметре ста километров находится более тысячи двухсот сербских православных храмов. В самосознании сербов неизменно воздействующими, знаковыми стали понятия «гробье и робье», т. е. «кладбище и рабы». Но также неизменным на многие времена остается девиз: «Боље гроб, него роб», т. е. «лучше могила, чем рабство».

Сербский национальный характер нельзя оценивать и без такой категории, как «инат» (слово это адекватному переводу не поддаётся, а то, что оно означает, допустимо переводить словами «вопреки, наперакор, назло, по-своему»). В качестве иллюстрации возьмём также фольклорный сюжет: достославному Королевичу Марку турецкий владстелин задаёт вопрос, мог бы ли тот стать потурченцем, дважды получает отрицательный ответ, а когда в третьем вопросе пытается высказать крайнее, исключительные условия для этого, то слышит, что «само из ината», т. е. «только вопреки, наперакор условиям».

Но вернёмся к осмыслению особого удела, предназначенного сербам в конце XX века. Стереотипы, внедрённые за последнее время в массовое сознание граждан как СФРЮ, так и СССР, да и всех зарубежных стран, истинную роль Сербии в судьбоносных событиях новейшей эпохи затушёвывали, а, по сути, — искажали. Как искажали и объективно-исторические условия сопряжённости судьбы Сербии с Россией. А в связи с последствиями такой тотальной деформации сознания нельзя не отметить, что В.Г. Распутин всё это не упускал из виду, когда публично-печатно излагал свои тревоги за судьбу славянства, совершенно правомерно её сопрягая с судьбой России, в упоминавшейся уже историософской статье «Что дальше, братья-славяне?» (1992). И «сербский фактор» он при этом постоянно держал в поле основного внимания. Напомним: «...И меч после убийства в Сараеве пришлось обнажать — и слишком дорого стоил России этот вынутый меч» (*т. 3, с. 390*); «Если снова вернулось средневековое с варфоломеевскими ночами и феодальной чересполосицей, а чрезмерное и силовое деление национального, народного ядра приводит к тем же результатам, что и ядра атомного; если, как никогда, славянство раздирается межрелигиозными, межнациональными, межрегиональными и прочими межами, каких немало, и если Югославия с одного конца, а Россия с другого, стали образом воюющего самого с собой славянства!» (*т. 3, с. 390—391*); «С началом освобождения балканских славян возник вопрос, вполне естественный, сам собою напрашивающийся, какова должна быть роль России и быть ли ей в последующем их мирном устройении... <...> Волей-не-

волей она чувствовала ответственность: или не вмешивайся вовсе, или водительствуй дальше» (т. 3, с. 397); «Сербия с оружием в руках защищает православие против папской Хорватии» (т. 3, с. 402–403); «Сотни тысяч сербов во Вторую мировую войну были уничтожены за православную душу, на оставленных жить, как на евреях, нашивалась или выводилась краской буква «П» (православный), что должно было отпугивать от них, как от прокаженных. Отрекись! — требовали, ведя на пытки и казни. Не отрекись. Это свыше нас» (т. 3, с. 408); «После гражданской войны при исходе побеждённой России Сербия принимала отряды русских беженцев под печальный и торжественный звон православных колоколов: входите, братья, наш хлеб — ваш хлеб и наш кров — ваш кров» (т. 3, с. 409).

А для усиления содержательности всех наших рефлексий в связи с заявленной темой и, особенно, для оценок, насколько выверенными были мнения В.Г. Распутина по сербскому вопросу, очень существенна вот такая констатация: навязываемые стереотипы о «великосербском гегемонизме» не имеют под собой никаких оснований, поскольку, на самом деле, сербы сами себя считают малым народом. Это, кстати, убедительно подтверждается уже тем, что в среде всего сербского народа, независимо от внутренних разделов и внешних конфронтаций, издавна получила широкое распространение и нашла многоплановое употребление изначально использовавшаяся черногорцами количественная самооценка: «Нас и русских двести миллионов!»

И ещё один посыл весьма важен в нашем разговоре: для всех желающих иметь адекватные представления о ходе переустройства мира в конце XX — начале XXI века проекция на Сербию, на судьбу сербского народа, даёт возможность более чётко обозначить реальное место и реальную значимость России в общем геополитическом контексте. В.Г. Распутин, надо признать, осознавал это в должной мере.

Соответственно, отнюдь не случайное «происшествие», не просто «казус» — посещение Валентином Григорьевичем в боях рождавшейся Республики Сербской (ныне — субъекта признаваемой «мировым сообществом» Боснии и Герцеговины), т. е. стана сербов, которые упорно сражались за своё право оставаться сербами, православными. Такая поездка иностранца (в условиях войны, без элементарного обеспечения безопасности и даже надёжного транспорта) уже сама по себе является мужественным поступком. И очень много пищи для размышлений — как не осведомлённым о положении дел в том уголке мира, так и весьма осведомлённым — даёт его интервью, на основе непосредственных впечатлений с места событий, из «горячей точки» (Распутин В.Г. Там, на Балканах: интервью вёл К. Житов // Правда. — 1995. — 17–18 авг. — С.1–3).

Существеннее всего, пожалуй, та позиция, которую Распутин неизменно занимает, оценивая всё происходящее. А она предопределяется совестью — не как отвлечённой категорией, а как условием жизни в соответствии с установлениями Божьими и высокими идеалами человеческими. Здесь по-своему, предельно жёстко, выверяется честность и прочность того, что Валентин Григорьевич прежде формулировал в качестве некоей общей декларации: «Так что жить по совести — это прежде всего найти свое место в нравственном миропорядке...» (Распутин В.Г. Если по совести // Если по совести: сб. ст. / сост. Канунниковой. — М., 1988. — С. 224). А оказалось, что это не декларативное заявление, что автор данной формулировки действительно следует законам совести и как индивидуум, и как русский человек, старающийся «понять меру <...> отклонения», требовательно и критично относящийся прежде всего к себе самому. Согласимся, дороги уже эти признания русского писателя-патриота: «В Пале нам пели народную песню из прошлого века: «Идут русские через горы». Мы слышали её не один раз. И опять, и снова приходилось стыдливо опускать глаза. Куда теперь идут новые поколения русских?»; «Россия не просто бросила своих братьев в беду, она помогла свергнуть их в беду...» (Распутин В.Г. Там, на Балканах: интервью вёл К. Житов // Правда. — 1995. — 17–18 авг. — С.1).

В.Г. Распутин не уклоняется от самокритики, говоря о своей нации, о политике своей родной страны. Он определяет положение Российской Федерации на тот момент безо всяких обиняков и без эвфемизмов: «А поскольку российская политика раболепствует у западных держав, невольно мы ощущали себя товарищами по отверженности. Сербам трудно, очень трудно, но им в тысячу раз легче морально, потому что они свой выбор сделали и честь свою и достоинство спасли. Для народа, как и для человека, это не последнее дело»; «Еще раньше Россия (если можно называть Россией, водворившийся в ней режим) предала собственный народ, окунув его в срам и грязь чужеземных порядков, обобрав его до нитки и унизив пресмыкательством перед Западом» (Там же).

И такие именно заключения закономерны, поскольку В.Г. Распутин имел возможность — «изнутри» и «снизу» — увидеть и убедиться, как далеко зашло дело утверждения новой «справедливости» на сербских землях, а также понять, как это близко типологически и для его Отечества: «В судьбах наших государств и наших народов много общего, гораздо больше, чем видно на первый взгляд. Поэтому события готовились по одному сценарию. Думаю, что они готовились не последовательно, а одновременно». А также сделать вывод: «Мы говорим: родная, близкая нам Сербия! Но и далекая... Ибо в своем национальном сознании, в своих самоохранных свойствах и действиях она ушла далеко вперед. У нас главная фигура в обществе — коммерсант, спекулянт; там — воин, защитник народа».

Мы, одна из самых богатых в мире стран, впали в бедность, растерянность, самоуничтожение... В Сербии — трудности, и огромные, но там народ единого духа. Его победить нельзя» (Там же).

В связи с «сербским вопросом», для того чтобы восстановить историческую память и адекватное самосознание, Распутин обращается к формулировке мудрого предшественника:

«Помните у Тютчева в стихотворении «Славянам»: «Но все же братья мы родные: / Вот, вот что ненавидят в нас! / Вам не прощается Россия, / России — не прощают вас!»» (Там же. С.3).

И сам убедительно аргументирует суть тютчевского вывода: «Сербия в средневековье защитила Европу от вторжения азиатских орд с юга, Россия — с востока. Нас и за это ненавидят в Европе. Русский народ, как и сербский, попал в неволю, а с ней — в разные исторические условия, распался на несколько ветвей, которые частью изменили православие и возненавидели его» (Там же).

А проницательность наблюдений и суждений Валентина Григорьевича с нынешней дистанции подтверждается развитием событий на пространстве не только бывшей СФРЮ, но и бывшего СССР. Между прочим, если описываемые им картины происходившего в Боснии, где вынужденно создана была Республика Сербская, невероятно похожи на те, которые в последние месяцы по ТВ передают из Восточной (бывшей?) Украины... В Боснии и Герцеговине сербы отстаивали своё право жить не по указке из Вашингтона, Брюсселя и мусульманского Сараева. Но какой ценой?! И ведь расчёт с ними ещё продолжается. Хотя большинство тех героев борьбы, с которыми встречался Распутин, в частности, лидеры сопротивления и основатели Республики Сербской — её президент Радован Караджич, председатель парламента Момчило Краишник, генерал Ратко Младич и другие — уже попали под обвинение Гаагского трибунала как преступники. Такова судьба сербов сейчас, хотя и прежде, как справедливо заметил В. Распутин, «чуть-чуть недоставало до того, чтобы виновниками землетрясений объявить также сербов...» (Там же).

Короче говоря, отталкиваясь от написанного В. Распутиным о сербах, следует признать, что у него выявилось вполне основательное знание истории сербского народа и его положения на то время как в метрополии, так и в соседних (бывших союзных) республиках, и в мире.

Вообще-то, В. Распутин — среди русских писателей и журналистов не одинок в своей озабоченности судьбой сербов. Достаточно вспомнить публикации Ю. Лощица, Т. Глушковой, Е. Бондаревой, Э. Сафонова, В. Смирнова, В. Хайрюзова, В. Юнака, В. Бушина, Н. Масленниковой, К. Мяло, Е. Пономаревой, Ю. Юшкина и др. (См., например: Глушкова Т. «В род из рода перейдет преданье...» // *Наш современник*. — 1989. — № 12; Лощиц, Ю. Сербские имена // *Литературная Россия*. — 1991. — 4 окт.; 11 окт.; 18 окт.; Лощиц Ю. Славянские святы. — М., 2006; Сафонов Э. На войне // *Литературная Россия*. — 1992. — 30 окт.; Юнак В. Дань кровью. — М., 1996; Хайрюзов В. Косовка девойка // *Без меня там пусто: повести, рассказы*. — Иркутск, 2004; Юшкин Ю. Мнение народа // *Литературная Россия*. — 1992. — 30 окт.; Юшкин Ю. Ответ сербским братьям // *Литературная Россия*. — 1991. — 31 мая; Смирнов В. «Руссия помози!» // *Литературная Россия*. — 1993. — 23 июля; Масленникова Н. Косовский завет // *Журнал московской Патриархии*. — 1999. — № 6; Мяло К. Не поздно ли мы осознаем правоту «Защиты князя Лазаря» // *Наш современник*. — 1999. — № 8; Пономарева Е. По ком звонит колокол // Москва. — 2008. — № 4). Если же заниматься скрупулёзным анализом всего высказанного Валентином Григорьевичем о славянстве, то можно обнаружить, что по поводу общности истории, антропологии, этнопсихологии, духовно-культурного опыта славян он допускает частные суждения, которые вроде бы недостаточно выверены, на что не без причин обратил внимание П.П. Каминский, оценивавший содержание его статьи «Что дальше, братья-славяне?» (Каминский П.П. «Время и бремя тревог». Публицистика Валентина Распутина. — М., 2012. — С. 180–185). Отдавая должное внимательности и педантичности исследователя, нельзя не учитывать другое. А именно, ведь В.Г. Распутин вовсе не

претендовал на то, чтобы с помощью этой публикации напитать как можно больше читателей требующимся объёмом строго научного знания; да и учёной дискуссии по конкретным вопросам истории славян он ни с кем тогда не вёл, даже не собирался... У него, судя по всему, иная задача. И на историю, как таковую, соответственно, взгляд иной — обобщённый, пропускающий некоторые детали (в том числе и значимые при каких-то других подходах), с сознательной установкой на определенные упрощения — для того, чтобы общие контуры чётче видеть самому и показать остальным.

Как нам представляется, в данном случае — используя все преимущества читателя статьи через два с лишним десятилетия после ее публикации — более адекватно и конструктивно реагировать на суждения Валентина Григорьевича в целом (т. е. учитывая все его высказывания по славянской проблематике) и ставить простой вопрос: в чём же ошибался автор той резонансной статьи? И тогда, на наше разумение, не останется ничего другого, как признать, что не ошибался-таки В. Распутин, что подтвердились не только его непосредственные оценки всего происходившего, но также и прогнозы относительно последующего развития событий, вызвавших отнюдь не шуточные межславянские распри. Как бы то ни было, а В.Г. Распутин смог проинициально объяснить и причины, и следствия того, что происходило двадцать три года назад (кстати, подобно Ф.М. Достоевскому, на историософский опыт которого он опирался).

Что ж, дела по «перестройке» мира и далее шли своим чередом. «Перестройщики» не принимали всерьёз предостережений ни Федора Михайловича, ни Федора Ивановича, ни Валентина Григорьевича. Однако уже само по себе важно, что их голоса прозвучали и были-таки «имеющими уши» услышаны. А в голосах тех звучали боль, скорбь и тревога, но также зов соборно преодолевать опаснейший синдром безответственности по отношению и к прошлому, и к настоящему. А главное, пожалуй, в том, что В.Г. Распутин, вслед за Ф.М. Достоевским и Ф.И. Тютчевым, неустанно побуждал избавляться от навязываемого комплекса неполноценности, служить Слову-Спасителю, а не Искусителю. Потому особенную важность имеют его суждения о роли русского народа. Потому, впрочем, простительны и некоторые преувеличения достоинств братьев-славян.

На первый взгляд, парадоксально, однако так уж получилось, что долгое время заслуги В.Г. Распутина как отечественному, так и зарубежному читателю представлялись как относящиеся к проблемам частного характера — социальным (деревня), временным (противоречия советского общества 1960–1990 годов), а то и вовсе локальным (борьба за Байкал). Понятно, для граждан России, СССР определённого исторического периода это были проблемы отнюдь не частные. Однако при таком подходе, особенно — для взгляда «внешнего», за отдельными деревнями не видно было леса. Увы, творчество В.Г. Распутина выводилось за «внешние рубежи» с маркировками вышеупомянутыми. Хотя за это вряд ли стоит упрекать как искренних поклонников, популяризаторов его творчества, так и недоброжелателей. Остаётся только сожалеть, что он не был по достоинству представлен как писатель, более многих современников сосредоточенный на глобальной проблематике, на узловых вопросах истории человечества, на универсальных законах бытия.

А отмеченное в определённой мере отразилось и на восприятии творчества В.Г. Распутина в Сербии. Общие сведения о присутствии произведений его в литературном контексте Сербии, как было уже сказано, просто впечатляют (Назовем только книги: *Последњи тренуци* / перевод Гордана Јовановић; поговор Петар Буњак. — Београд : Jugoslavijapublik; Москва: Внешторгиздат, 1981; *Опроштај с Матјором* / перевод Даница Јакишић. — Београд : Вук Караџић; Москва: Радуга, 1985; *Опроштај с Матјором* / прево с руског Петар Буњак. — Београд : Нолит, 2000; *Привиђање* / Прево с руског Милош Добрић [и др.].. — Београд : Нолит, 2000; *Шта да кажем врани: приповетке* / Превела Злата Коцић — Београд : Нолит, 1996; *Шта да кажем врани: приповетке* / Превела Злата Коцић. — Београд: Завод за наставна средства, 2006; *Живи и памти* / превод с руског Борислав Милошевић. — Београд : Просвета, 1979; *Живи и памти* / превод с руског Милош Добрић. — Београд : Нолит, 2002; *Живи и памти* / превод с руског Милош Добрић. — Београд : Глобосино, 2010; *Кћи Иванова, мати Иванова* / превод с руског Милица Добрић. — Београд : Глобосино, 2011). Немаловажно, что к популяризации произведений Валентина Распутина в Сербии приобщились известные писатели — Злата Коцич, Славко Лебедински, Мирослав Тохоль, Данило Ђканович, а также авторитетный общественный деятель Борислав Милошевич (впоследствии — посол Югославии в Российской Федерации), высшей квалификации переводчики — Даница Якишич, Милош Добрич, Владимир Ягличич, Мира Спасич, именитые филологи-слависты — Радмило Мароевич, Петр Буњак. И не случайно выполненный П. Буняком перевод романа «Про-

щение с Матёрой» был оценён как лучший перевод 2000 года, за что переводчик удостоен престижной премии «НОЛИТ».

Стоит также обратить внимание на то, что одни и те же произведения Распутина выходили там отдельными изданиями, причём в разных переводах, что рассказы его включены также в серьёзного уровня антологии, что статьи, речи, интервью публиковались в самых солидных журналах. Интерес сербов к Распутину проявляется и сейчас: так, издательство «Глобосино-Александрия», возглавляемое известной писательницей Лиляной Хабьянович-Джурович, в 2010–2012 годах выпустило по книге. Кстати, Л. Хабьянович-Джурович посещала В.Г. Распутина в России, причём на её личном сайте помещена фотография, сопровождаемая подписью: «С самым величайшим живым писателем России Валентином Григорьевичем Распутиным в его доме» (www.habjanovic.rs).

Пытаясь разобраться в причинах именно такого отношения к русскому писателю, прежде всего следует иметь в виду трагизм исторической судьбы сербского народа и его традиционно искреннее русофильство. Безусловно, особое значение имеет то, что Валентин Григорьевич посещал Сербию, а также Боснию и Герцеговину, вникал в проблемы сербов как этнической общности, раздробленной и подавленной вследствие нового передела мира. И чтобы русскому граду и миру донести правду о его трагедии, сделал несколько выступлений в печати сам (*Распутин В.Г. Там, на Балканах: интервью вёл К. Житов // Русский Восток. — 1995. — № 17. — С. 1, 4; Распутин В.Г. Балканский узел // Диалог. — 1995. — № 10. — С. 64–69*) и пригласил выступить на страницах «Литературного Иркутска» неординарного сербского публициста Драгоша Калаича. Короче говоря, имеется очень богатый материал для серьёзного исследования «В. Распутин и Сербия».

Естественно, по вопросу «Распутин и Беларусь», я тоже не смею ограничиться всего лишь утверждением: «Валентина Григорьевича у нас вполне основательно знают и ценят». А такую констатацию, в принципе верную, должен уточнить, что ранее белорусы знали его и по российским изданиям, и сами издавали как на русском (*Распутин В. Повести. — Минск : Беларусь, 1983; Распутин В. Повести. — Минск : Юнацтва, 1990*), так и на белорусском (*Распуцін В. Жыві і помні. Аповесць / пераклад М.Дубянецкага. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1982; Валянцін Распуцін. Рудольфіо / пераклала Таццяна Мартыненка // Рускае савецкае апавяданне : у 2 т. / Укладанне Б.Сачанкі. — Т.2. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. — С.354–367*) языках. К тому же для белорусских читателей и исследователей он неизменно был субъектом единого литературного процесса (см., например: *Адамович А. Война и деревня в современной литературе. — Минск, 1982; Гаранин Л. Поиск духовного единства: Характер ценностных ориентаций в современной советской литературе. — Минск, 1990. — С. 201–202, 219; Тычына М. Патрэбы літаратуры // Палымя. — 1982. — №12. — С. 209–211*). Спектакли по его произведениям ставил ряд белорусских театров. Ныне же ситуация изменилась: русские издания до нас доходят, мягко говоря, не всегда; переводы с русского языка тоже, можно сказать, почти свернуты, а единое литературное пространство никак не восстанавливается... При всем этом, однако, часть творческой и научно-филологической интеллигенции сохранила к Валентину Григорьевичу и внимание, и почтение (см., например: *Нефагина Г. Категория свободы в творчестве В. Быкова и В. Распутина // Нефагина Г. Штрихи и пунктиры русской литературы XX века. — Мн. : Белпринт, 2008. — С. 193–204*). В Беларуси о нём написан ряд кандидатских и магистерских диссертаций (*Соколовская Я. Природа и человек в современной советской прозе. — МГПИ, 1983; Крамарска Д. Характер и обстоятельства в «деревенской» повести 60–80-х годов. — МГПИ, 1991; Шпаковский И.И. Сюжетно-композиционная структура современного рассказа (На материале белорусской и русской прозы). — ИЛ АНБ, 1996; Капишай Н.П. Нравственные искания в прозе В. Козько и В. Распутина. — ГГУ, 1996; Селина А.А. Образ деревни в творчестве Й. Радичкова, В. Распутина, В. Козько. — БГУ, 2009*).

О сохраняющемся авторитете В.Г. Распутина в нашей среде свидетельствует то, что его попросили войти в Международный общественный совет на пороге XX века учреждавшегося русскоязычного журнала «Всемирная литература», который, кстати, не так давно публиковал о нём статью российской исследовательницы Н. Цветовой (см.: *Всемирная литература. — 2008. — № 6*). Такую же почётную функцию Распутин выполнял и в журнале «Белая вежа».

В белорусской литературе, закономерно, имеется ряд произведений, типологически близких распутинским. К примеру, не случайно под одной обложкой издавались повести «Живи и помни» В. Распутина и «Знак беды» В. Быкова (см.: *Гусаров Д. За чертой милосердия; В. Распутин. Живи и помни; В. Быков. Знак беды. — М., 1987*); не без оснований также критики сопоставляли роман В. Козько «Колесом дорога» и «Прощание с Матёрой»

(см.: Горловский А.С. *Проза-1982 (По страницам литературно-художественных журналов)*. — М., 1983. — С. 27–28). Тем более, что Виктор Козько впоследствии, выступая в печати с анализом творчества В. Распутина, оценивал его высоко (*Козько В. Не боковым ходом // Дружба народов*. — 1986. — № 2. — С. 261–264).

Однако творческие и человеческие взаимоотношения писателей-белорусов с В.Г. Распутиным — тема особая, деликатная. Практически все видные белорусские литераторы в своё время о творчестве русского коллеги отзывались неизменно положительно. Между тем в условиях, которыми был вызван затронутый нами вопрос Валентина Григорьевича: «Что дальше, братья-славяне?», отношение к нему существенно изменилось. Ибо по важнейшим актуально-политическим вопросам, в числе которых и упомянутый, у некоторых белорусов, декларировавших иные взгляды на историю бывшего единого государства, славянства и мира, явно обозначились расхождения с ним. При этом Валентин Григорьевич не был равнодушным и к судьбе нашей страны — посещал её в составе группы российских писателей, считавших нужным поддержать курс Беларуси на союз с Россией. Но это, опять же, тема отдельного разговора.

А обобщая то, о чём удалось поразмышлять, считаю допустимым сделать некоторые заключения. Во-первых, верное представление о русской литературе и общественной мысли в эпоху второй половины XX — начала XXI века без учёта вклада В.Г. Распутина составить просто невозможно. И этим объективно задаётся уровень интереса к его творчеству в любой стране мира, а у славян особенно. И пик его, пожалуй, ещё впереди. Во-вторых, Россия по праву может гордиться тем, что в XIX и в начале XX века посвятила себя возрождению славянства; а вот чуть ли не весь XX век власти РСФСР безоглядно осуществляли деславянизацию как внутреннюю, так и внешнюю. Да, на первый взгляд, российская история XX века — не более чем результаты деяний безумцев. Однако и провиденциальное в ней игнорировать не стоит. И оно со всей очевидностью может проявиться. В том случае, если XXI век станет концентрацией русскости ради нового возрождения славянства. А для этого, спору нет, исключительно много сделано Валентином Григорьевичем Распутиным. Честь ему и слава! Вечная память!

Пушкин и Судьба



ИВАН КОЗЛОВ

Я приеду искать приюта...

Нетленной памяти удел...

Мы все знакомимся с Пушкиным в детстве — так случилось и у меня.

В 1935 году в Иркутске возвели самый первый в городе микрорайон с необычным тогда названием ИТР-городок, где расселили молодую советскую интеллигенцию, воспитанную на идеалах революции: служащих, инженеров, врачей, педагогов, офицеров — первый социум СССР. Наша семья тоже жила в ИТР-городке, в крайнем, одноэтажном, в белый цвет доме, на четыре квартиры, с окнами на травянистые поляны и на тропинки, убегающие к сосновой роще и на речку Каю.

Мои отец и мать родились и выросли в крестьянских семьях, и оба приехали строить первый мост через Ангару — отец в 1934 году по путёвке комсомола, а мать немногим ранее, в 1934-м, вместе со своим отцом, моим дедом.

В нашей комнате на стене висел большой диффузор — бумажная тарелка-радио, и мама, случалось, будила меня утром словами: «Вставай, слушай, твоя любимая сказка...» Я просыпался и слышал: «Жили-были старик со старухой у самого синего моря...» Пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке», действительно, была моей любимой. Отец и мать как первое поколение новой советской интеллигенции, которой стало доступно бесплатное образование, учились сами и старались как можно лучше научить и образовать своих детей. Но надо сказать, что в тридцатые годы в СССР сложилось странное отношение к культуре. Никаких праздников, мас-совых, народных, традиционных, в стране не было — все старые праздники отменили. Даже историю в школах не преподавали, а читали только истпарт — историю партии. Новогодние ёлки, как атрибут христианского Рождества, тоже запретили. Вскоре стало понятно, что без культуры движения вперёд нет, и в самое репрессивное, жёсткое время в СССР был совершён своеобразный, крайне удивительный и своеобразный, и очень успешный поворот к культуре прошлого, и связано это было с именами Пушкина и Лермонтова.

В декабре 1937 года истекло столетие со дня гибели Александра Сергеевича; в свет вышло правительственное постановление «О создании Пушкинского комитета в связи со столетием со дня смерти А.С. Пушкина». Создание этого комитета, постановление о выпуске полного академического издания произведений А.С. Пушкина, о проведении пушкинских праздников, о включении его произведений в школьные программы по литературе и русскому языку стало широким, победным и торжественным возвращением страны к русской культуре и литературе. Это был необычный, даже неожиданный поворот, потому что в основу его легла не праздничная, не юбилейная и светлая дата, а дата скорби и печали, но эти скорбь и печаль сумели обратить в повод для примирения, признания, скрытого раскаяния за пренебрежение к национальной культуре, и совершить это мог только поистине государственный ум. После двух десятилетий умолчания народ восторженно заговорил о Пушкине и Лермонтове, о русской культуре, и имена выдающихся русских поэтов стали поистине всенародными, вошли в жизнь советских людей и в том числе сибиряков. В 1941 году, в связи со столетием гибели Лермонтова, также намечался торжественный общенародный праздник русской, теперь уже и советской культуры, но годовщину Лермонтова отметить не успели, — 15 июля 1941 года уже шла война.

Удивительно, как быстро можно изменить сознание народа. В начале тридцатых в СССР выходил журнал «Красный библиотекарь», и в нём нередко появлялись статьи о том, как рабочие комиссии — слесарей, ремесленников, извозчиков, комсомольцев — приходили в библиотеки и вычищали их, сбрасывая с полок буржуазную литературу. Трудно поверить, но в 1933-м, и в

последующие годы, на центральной площади Иркутска, где рушили огромный храм Казанской иконы Божьей Матери, пылали костры из книг — это «Общество воинствующих безбожников» сжигало церковные и другие книги, наследие буржуазной культуры. Но был в этом один положительный нюанс — на рынках и барахолках города можно было приобрести прекрасные вещи и, кто хотел, ещё и целые стопки великолепных старых книг — их выносили на продажу вдовы и дочери царских служащих, обедневшие наследники богатых семей. У нас дома книги занимали небольшую этажерку — несколько тяжёлых зелёных томов Альфреда Брэма «Жизнь животных», книги «Сказка о золотом петушке» Пушкина и «Конёк-Горбунок» Ершова, с завораживающими многоцветными картинками. А ещё был огромный, почти в тысячу страниц юбилейный однотомник Пушкина 1935 года и странная книга «Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей» с загадочными и страшноватыми гравюрами прямо на обложке. Там же, на обложке, уточнялось: «Иркутское областное издательство. Иркутск, 1941 год... Предисловие и комментарии М.П. Алексеева». А ещё была «Диалектика природы» Энгельса, без картинок, и я даже пытался её читать. Я так подробно помню эти книги, потому что некоторые из них по сей день так и стоят в моём доме.

Огромный юбилейный однотомник А.С. Пушкина, как и красивейшие тома Брэма, запомнились ещё и тем, что были тяжёлыми — я стаскивал их на пол, раскрывал, укладывался на живот и листал. Конечно, я не мог знать, что Пушкин переведён на все языки мира и что он достояние и нашей, и мировой культуры, но сама возня с книгами, шорох страниц, разглядывание картинок уводили меня в какой-то другой мир. Откуда тогда я мог знать, что Пушкин не просто автор чудесных сказок, но и реформатор великого русского языка? Все, что написано до Пушкина — евангелия, повести и рассказы, стихи Державина и Ломоносова, Уложение законов Российской империи, подписанное Екатериной Второй, — всё это и тогда, и сегодня читалось и читается с трудом, с напряжением непонимания многих слов и оборотов, хотя это не древний, а наш русский язык, но допушкинского времени. А вот книги, написанные после Пушкина Достоевским, Толстым, Тургеневым, Чеховым, читаются легко, хорошо, хотя язык их звучит многообразнее и обширнее, и многое хочется перечитывать, запоминать, потому что это уже послепушкинский чистый и благозвучный язык. Наслаждаться музыкой нашего языка нам мешает то, что мы, как ни странно, языка своего не знаем. Лингвисты, изучая нашу устную и письменную речь, наши сочинения, письма, канцелярские документы, слушая наши выступления, тосты и поздравления на различных торжествах, установили, что мы в нашем жизненном обывании используем в среднем три-четыре тысячи слов, в лучшем случае, пять. Четырёхтомный «Словарь пушкинского языка» включает в себя уже двадцать тысяч слов, а вообще русский язык насчитывает более ста тысяч слов и бессчётное количество диалектов, идеом, пословиц и поговорок, этих драгоценных россыпей слов, в которых живёт душа и память народа. Пушкин — это наш Гомер, наш Омар Хайям и Шекспир; Пушкина начали изучать давно, ещё до революции, и в 1880 году ему открыли памятник в Москве, почти за двадцать лет до векового юбилея, что приходился на 1899 год. В тридцатые годы мы, благодаря Пушкину и Лермонтову, вернулись к нашей культуре и стали известны имена первых исследователей творчества и жизни Пушкина: Щеголева, Полякова, Модзалевского, Эфроса. 1937 год стал стартовым годом советской пушкинианы.

В 1937 году в Иркутске выходит сборник с довольно обязывающим названием «Пушкин и Сибирь», где публикуются материалы сибирских пушкинистов — А. Гуревича, В. Селинова, Н. Цейтца, и в их числе работа Михаила Павловича Алексеева «Пушкин и Китай». Когда позже я впервые держал эти книжку в руках, я подумал, а не тот ли это М.П. Алексеев, который перед самой войной написал книгу «Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей», которая была в нашем доме? Правда, Пушкин не иностранный писатель, но здесь его имя связывается с Китаем, куда Пушкин собирался добраться.

В 1952 году А. Гуревич выпускает отдельную книгу о Пушкине и почему-то называет её так же, как был назван общий сборник в 1937 году, — «Пушкин и Сибирь». Книга выходит в Красноярске, и в ней чувствуется попытка исчерпать тему полностью, хотя она откровенно вторична, но подаётся как итоговая. И получается, что обращаться к теме «Пушкин и Сибирь» больше не следует. В книге Гуревич упоминает имена Селиванова, Цейтца, Кудрявцева, но имя Алексеева не упоминает. А может, это и не тот М.П. Алексеев, который есть у нас, — нашего бы не вычеркнули. Правда, к тому времени никакого М.П. Алексеева в Иркутске уже нет, его не было уже в 1937 году, потому что свою статью «Пушкин и Китай» он прислал в Иркутск

из Ленинграда. В «Вестнике Пушкинской комиссии» в 1937 году выходит работа «Пушкин и Запад», также подписанная неизвестным М.П. Алексеевым. Названия похожи — «Пушкин и Сибирь», «Пушкин и Китай», «Пушкин и Запад», и, может быть, и гадать особо не надо — одна тема, потому и названия похожи, и какая разница, один это или разные авторы с похожими фамилиями? Важно другое — наследие Пушкина, его произведения, письма, дневники, черновики, рисунки, посвящения изучаются тщательно и разносторонне, и, похоже, если верить А. Гуревичу, то ничего нового о связи Пушкина с Сибирью уже сказать нельзя, всё сказано, а вот в Болдино, в Петербурге, в Москве, в Пскове, в Михайловском открыты музеи и заповедники Пушкина, празднуются все его юбилеи, проводятся дни Пушкинской поэзии, конференции, выпускаются академические издания Пушкина, и много лет выходил «Временник Пушкинской комиссии», редакцию которого возглавляет тот загадочный Михаил Павлович Алексеев, — прямо мистика какая-то! Но это, конечно, другой, он — академик. А что нового о Пушкине мы найдём в Сибири? Некоторые говорят, что ничего. А вот «Пушкин и Китай» всё же интересно, и 1937 год даёт теме неожиданное и яркое продолжение.

Трудно представить, как зазвучат на китайском пушкинские стихи об осени: «Унылая пора, очей очарованье...», а вот имя Пушкина по-китайски звучит экстравагантно и красиво — Пу Си Цзинь. И вот что писали о Пушкине в самом конце двадцатого века китайские литературоведы Чжан Тефу и Цзен Цулин: «Имя Пушкина глубоко проникло в сердца людей нашей страны. Его стихи выпестовали поколение за поколением читателей и поэтов... Его художественный стиль, отличающийся искренностью, простотой, естественностью и ясностью, соответствует эстетическому вкусу китайских читателей, сформировавшемуся в течение нескольких тысяч лет. При жизни Пушкин выражал желание посетить Китай, но не смог его исполнить...»

Китайцы знают и это. Китай и Сибирь — это рядом, и наши книжки, где связано имя Пушкина с Китаем, они читали. Они всё умеют читать и всему учиться.

Первым переводчиком Пушкина на китайский язык стал известный писатель Китая Лу Синь — «китайский Горький», он перевёл повесть «Капитанская дочка» и при этом охарактеризовал Пушкина как непреклонного борца за раскрепощение человеческого духа. И вот какие удивительные события, связанные с именем Пушкина, происходили на китайской земле. В 1937 году, в столетнюю годовщину смерти поэта, которую мы использовали как повод и возможность возврата к русской классической культуре, в Шанхае, в крупнейшем городе Китая, Пушкину поставили памятник — бронзовый бюст на гранитном постаменте. Это первый и пока единственный не только в Китае, но и во всей Азии памятник поэту-иностранцу, и это в ареале стран, где много своих великих и прекрасных поэтов.

В 1948 году, когда наша страна ещё лежала в руинах, произошло два знаменательных события, связанных с именем Пушкина: в стране отменили карточки на хлеб, а в Ленинграде, пережившем страшную блокаду, когда от голода умерли сотни тысяч человек, состоялась 1-я Всесоюзная Пушкинская конференция — торжество духа и знак того, что не сломлены ни страна, ни пушкинский град Петров. А в последующем, 1949 году, в Китае, который в 1945 году, разгромив полуторамилионную Квантунскую армию Японии, освободила наша армия, была провозглашена Китайская Народная Республика, и там так же широко, как и у нас, отмечался 150-летний юбилей со дня рождения великого поэта, певца свободы, ставшего особенно близким и дорогим китайскому народу. Китайский поэт Цзен-Кэ-цзы написал в те дни стихи:

*Пу Си Цзинь —
человечества чистая совесть,
с каждым днем поднимаясь все выше,
ты в тех высях, где солнце и месяц,
и, как солнце и месяц, ты светел.*

Китай и сегодня остаётся одним из мировых центров, где знают и чтут великого русского поэта.

До Пушкина в России не было ни одного поэта, писателя или драматурга, которого бы так широко переводили, читали и знали во Франции, Англии, Италии, Германии, Китае и во всём мире.

1970–1975 годы прошли в Иркутске под эгидой поисков новых материалов о декабристах, их изучения и публикаций, и само собой эта тематика не могла не коснуться имени Пушкина — среди декабристов было немало друзей и близких знакомых Пушкина, хотя тема «Пушкин и

декабристы» озвучивалась, как и раньше, ясно и лаконично — «Пушкин и Сибирь». Но при старом названии содержание обещало быть новым, поскольку в предвоенные и послевоенные годы уже не ограниченная идеологией сибирская пушкиниана вывела на свою стезю новые имена. Причастность к творчеству Пушкина, к его окружению и пушкинской эпохе обновляла науку, творческую и духовную жизнь страны.

Когда Николай I развеял вооружённое противостояние декабристов, в основном блистательных офицеров и участников войны с Наполеоном, дворян и людей, имеющих заслуги перед отечеством, он очень старался соблюдать законность и милосердие, но у него не всегда это получалось. Казнь пятерых, разжалование и ссылка в Сибирь не одной сотни командиров и идеологов и тысяч рядовых солдат — не адекватно. Солдаты подчинялись своим командирам, и их наказание — это вымещение раздражённости Николая на низшем сословии за то, что он не мог морально противостоять тем, кто привёл армию, а отчасти и народ, в движение. А противостоять декабристам и сломить их морально император не мог, и не потому, что был слаб или недостаточно гибок. Здесь — другое... Бунтами и кровавыми переворотами ни Россию, ни Европу, ни Азию не удивишь, но в движении декабристов, в их жертвенном порыве есть нечто, что отличает их замысел от всех подобных деяний и возвышает их над всеми бунтарями. Не удивительно, когда раб восстаёт против рабовладельца, чтобы вернуть себе свободу. Не удивительно, когда крестьянин с вилами идёт против феодала, намереваясь отнять у него землю и отстоять своё право на независимую жизнь. Не удивительно, когда пролетарий стремится отобрать у капиталиста его заводы и банки, но! и ещё раз, но! — когда сословие господ и крепостников, имеющих титулы и звания, поместья, чины и награды, землю и прикреплённых к ней рабов, восстаёт, чтобы освободить этих рабов и привести их к достойной жизни, — это нонсенс, это явление, не имеющее аналогов в мировой истории, отклонение от нормы высшего сословия страны, которое поддаётся только одному единственному объяснению — присутствие в этом сословии в целом понятия высочайшей нравственности, истинного чувства чести, достоинства и справедливости. Да, я очень бы хотел жить при таком правительстве. Чем и как бы ни объясняли классики всяких *-измов* этот феномен декабристов — романтикой, политической незрелостью, идеализацией человеческого духа, невозможно не признать, что на это способны только избранные.

После каторги и тюрьмы в Забайкалье, в самом Иркутске и вокруг него в разное время расселились и жили декабристы, продолжая служить народу всем образом своей жизни, а вместе с ними более десяти женщин — жёны, сёстры и невесты, приехавшие в глухую Тмударакань поддержать своих неудачливых, оступившихся, но — мужей, братьев, женихов, которых они не предали, не бросили на произвол судьбы. Вообще, надо сказать, что следовать за мужьями, отцами, сыновьями и братьями, осуждёнными на каторгу и дальние поселения, было в обычае русских женщин. Они не десятками, а сотнями и тысячами оставляли родовые места, хозяйство, забирали с собой детей и шли в самые отдалённые места огромной империи, и здесь ждали их освобождения, а потом нередко оставались на новых местах навсегда. Поступок жён декабристов — совершенно типичный для русских женщин, но, учитывая, что декабристов выделили в особую категорию «государственных преступников» и царь их жёнам, как женщинам высшего сословия, под страхом лишения всех прав состояний, титулов и привилегий запрещал ехать в Сибирь, то поступок их иначе как героическим не назовёшь. Кроме того, царь сразу пригрозил, что им не будет разрешено вернуться, а дети, которые родятся на поселении, будут записаны в крепостные крестьяне. Но тринадцать женщин в Сибирь, в Забайкалье поехали.

Перед самым отъездом в Сибирь Волконская и Муравьева виделись с Пушкиным, говорили с ним, — он передал опальным друзьям в Сибирь слова утешения и поддержки, и обе, и Мария Волконская, и Александрина Муравьева, привезли в Сибирь поэтические послания Пушкина, адресованные именно декабристам, которые все мы знаем со школьных лет. Это послание всем «Во глубине сибирских руд» и поэтическое посвящение лицейскому другу — Ивану Пущину, который когда-то посетил Пушкина в его ссылке в Михайловском.

Одну из женщин, жён декабристов, Пушкин любил и чтит всю жизнь, и, как установили впоследствии пушкиноведа, в своём творчестве явно и тайно оказывал ей внимание и воздавал должное.

В отношениях Пушкина с декабристами осталось много белых пятен, не выясненных по сей день и ожидающих своих исследователей. Отряд сибирских, а точнее иркутских пушкиноведов и профессионалов, посвятивших этому многие годы, и исследователей, по воле случая,

единичных фактов и эпизодов, сильно разросся, и их отдельные удаchi и находки, и случайные, и совершённые целенаправленно, внесли свой яркий и впечатляющий вклад в сибирское пушкиноведение, помогли найти ответы на многие вопросы и поставили перед учёными новые вопросы. Тайны, загадки, неизвестные моменты и события всегда занимают значительное место в жизни и судьбах людей, особенно выдающихся, творческих, и разгадкам и исследованиям этих тайн нет конца, как нет конца неожиданным поворотам и сложностям жизни.

После войны многие мальчишки моего поколения зачитывались повестью иркутской писательницы Агнии Кузнецовой о детях военной поры «Чертова дюжина»; читал эту повесть и я, но ещё долго не знал того, что Агнию Александровну очень волновала судьба и образ жены Александра Сергеевича Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой. Ей и детям её и Пушкина писательница посвятила повесть «Моя мадонна». А побудило А. Кузнецову заняться историей жизни Натальи Гончаровой то, что после смерти А.С. Пушкина некоторые его современники позволили себе высказать упрёки в её адрес, упрёки незаслуженные и унижительные. Наталья Николаевна занимала в жизни Пушкина главное место, и он сам после свадьбы писал: «Я женат — и счастлив: одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь... Кажется, я переродился».

Некоторые исследователи жизни Пушкина также позволили себе бросить тень на честь и достоинство любимой жены поэта, которую он обожал до конца дней своих. При первых публикациях Агния Александровна, защищая жену Пушкина, признавалась, что писем нет, они не обнаружены, но весь образ жизни скромной и учтивой женщины, хотя и первой красавицы Петербурга, говорит о том, что она любила Пушкина и была всегда ему верна. И случилось почти чудо — найденные впоследствии письма не оставили и тени сомнения, что Наталья Николаевна была человеком высоконравственным и чистым.

Об одном из утраченных автографов, но не Пушкина, а писательницы Е. Ростопчиной, современницы Пушкина, писала в иркутской газете «Советская молодёжь» библиограф и краевед Александра Никифоровна Гранина. Публикация была сделана к 177-летию со дня рождения Пушкина. В этой публикации автор упомянула, что поиском означенного автографа занимался и глава Пушкинского дома в Ленинграде академик М.П. Алексеев. Дело в том, что в утраченном письме Ростопчиной указывалось, где и когда Пушкин написал своё послание «Во глубине сибирских руд», поскольку это остаётся неизвестным и по сей день, и по сей день не обнаружен и подлинник послания. Имя Михаила Павловича Алексеева упомянуто в статье А. Граниной дважды и приведены его слова о том, что сделанный Ростопчиной «список послания «Во глубине сибирских руд» заслуживает внимания пушкиноведов и текстологов, как имеющий все признаки достоверности и близости к утраченному подлиннику».

Интереснейший эпизод нашей сибирской и, можно сказать, иркутской пушкинианы представил всем нам и Александр Гайдай, иркутский поэт и журналист, родной брат знаменитого комедиографа Леонида Гайдая. Однажды утром он сидел в кабинете секретаря Иркутской писательской организации Франца Николаевича Таурина; пришла почта. Один из конвертов доставили из Ленинграда, из Пушкинского дома, в письме сообщалось, что в Иркутске, в посёлке имени Кирова, на левом берегу Иркуты, в собственном доме живёт Георгий Владимирович Воронцов-Вельяминов, прямой потомок Александра Сергеевича Пушкина. Письмо подписал глава Пушкинского дома академик М.П. Алексеев и учёный секретарь О.А. Пини; они просили Иркутский горисполком и Иркутское отделение Союза писателей оказать внимание прямому потомку Пушкина. В тот же день писатели добрались до посёлка Кирова, нашли указанный дом и дождались, пока с работы вернётся Георгий Владимирович. Первый же вопрос, который писатели задали хозяину, — знает ли он свою родословную, и тот, несколько не смутившись и не волнуясь, спокойно ответил: «Да, я знаю, что я праправнук Пушкина, мне об этом говорили и моя мать, и мои тётки. У моей фамилии была приставка «Вельяминов», то есть Георгий Владимирович Воронцов-Вельяминов, но во время войны я приставку из фамилии убрал...» Георгий Владимирович воевал, рядовым прошёл пол-Европы, освобождал Венгрию и Австрию, в 1945-м их часть перебросили на восток — началась война с Японией; но не успели они добраться до востока — война уже была кончена. Армейскую службу завершил в Иркутске, работал весовщиком на товарном дворе, потом экспедитором снабжения треста «Востсибнефтегеология». Обо всём этом Александр Гайдай написал статью, назвав имена детей Г.В. Воронцова, теперь уже прапраправнуков великого поэта. В конце статьи журналист вспомнил строки из письма Пушкина к одному из своих друзей: «Мое семейство умножается, растёт, шумит около меня...»

Известный иркутский поэт и эссеист ещё в конце 60-х годов начал работу над повестью-композицией о Пушкине: из цитат самого Пушкина, из произведений о нём, из документов, книг и воспоминаний о поэте он составил его документальное жизнеописание, надо сказать, очень удачно, и по литературным канонам яркое и лирическое. Но это не исследовательская, а популяризаторская работа, хотя была у него попытка провести и некоторое исследование. Он узнал, что в Государственном литературном музее хранится остаток пера, которым, возможно, писал Пушкин. Почему остаток, да потому, что гусиные перья, которыми писали во времена Пушкина, быстро истирались, слоились, и их приходилось часто затачивать перочинными ножичками. Сохранившиеся сведения говорили о том, что перо в своё время принадлежало театральному актёру из Иркутска Николаю Перфирьевичу Немезидину, но никакого актёра с фамилией Немезидин в Иркутске не нашлось: или забыт, или это псевдоним. На этом исследование закончилось.

Серьёзно, сосредоточенно и продуктивно работал с пушкинской темой в Иркутске Георгий Феодосьевич Богач, интеллигентный, предельно вежливый и очень искренний человек. В Восточной Сибири много мест, где декабристы отбывали каторгу, усадьбы и дома, где они жили, храмы, где они венчались и где их отпевали, места их захоронений. В архивах, музеях и библиотеках хранятся книги из их домашних собраний, вещицы и реликвии, которые им принадлежали, дневники и переписка иркутян, где упоминаются их имена, — Георгий Феодосьевич составил большой список того, что утеряно, что, где и как следует искать, и областная организация общества «Знание» выпустила в виде брошюры его методические рекомендации «Пушкинские рукописи в Сибири». На титульной странице рукою Георгия Феодосьевича написано: «И.И. Козлову от автора. Г. Богач. 31.01.75». Мне дорог этот немудрящий простой автограф, как одна из вех моего вхождения в сибирскую пушкиниану. У меня есть письма Г. Богача, его фотографии; мы много — поодиночке, вдвоём и целыми группами — ездили в Олонки, в Урик, в Усолье, в Тельму, в Бельск, в Смоленщину, в Большую Елань — туда, где есть декабристские мемориальные места. Летали и в Забайкалье — в Читу, Акшу, Петровск-Забайкальский, Кяхту. Всюду есть следы декабристского и пушкинского времени, и их много, и они глубоки и интересны; и работы тут хватит ещё не на одно поколение исследователей.

Моё вхождение в пушкинскую тематику началось значительно раньше, чем я познакомился с Георгием Феодосьевичем. В 1970 году в январском номере иркутского альманаха «Ангара» я опубликовал документально-искусствоведческое эссе о польском художнике Игнации Цезике, который был сослан в Сибирь за участие в польском восстании 1830 года. Сам Цезик в восстании участия не принимал, но, окончив в Вильно одну из лучших школ, Шмуглевича, по классу мелкой пластики, он изготавливал для повстанцев паспорта, печати, различные бланки, и в конце концов начал изготавливать фальшивые деньги. Для Польши это было не в новинку. Известно, что самым знаменитым фабрикантом фальшивых денег, то есть самым известным фальшивомонетчиком, был Наполеон, за что он подлежал уголовному преследованию по законодательству большинства европейских стран. Когда Наполеон пошёл на Москву, Польша примкнула к этому претенденту на мировое господство, и на фабрике фальшивых ассигнаций, которая всегда следовала за Наполеоном, работало немало поляков. Так что искусство Цезика вписывалось в традиции польской художественной школы. Более тридцати лет Цезик провёл на каторге, в кандалах, которые с него снимали только, когда он исполнял какой-нибудь интересный и дорогой заказ. Он виртуозно умел работать с таким пластичным материалом, как глина, тонируя её под мрамор, серебро, яшму и даже золото. Он делал искусные шкатулки, кубки, портсигары, курительные трубки, вазы, стаканы, декоративные плакетки, украшая их бабочками и божьими коровками, в натуральную величину, различным орнаментом и аллегорической символикой. Его работы высоко ценились, они украшали кабинеты золотопромышленников и царские будуары, а миниатюрные портреты, которые можно было закрыть монетой, легко узнавались при сравнении с оригиналом. Он оставил свои автопортреты, портреты современников и близких ему людей — жены и сына, сделал несколько кабинетных малых рельефных панно, и многие коллекционеры-историки почти сто лет искали лучшие его работы «Вид рудника Акатуя», где он провёл не один год, и «Явление Христа в пустыне» — философскую работу, подводящую итог его долгой, более чем восьмидесятилетней жизни. В разных городах и музеях Сибири я нашёл более двадцати его работ, в том числе и обе самые знаменитые, и, опубликовав исследовательское эссе, почёл себя за опытного искусствоведа. Получив гонорар и приработав дополнительно казначейских билетов, я поехал в Ленинград с надеждой

поступить на искусствоведческое отделение института имени Репина, но быстро убедился, что меня там не ждали. Времени и средств освободилось много, и я задружил с двумя девчонками-ленинградками, Олей и Юлей, студентками факультета искусствоведения, и предложил им ежедневный бесплатный проезд в любой пригород, перекус на ходу и каждый вечер ужин в ресторане «Поплавок», что покачивался на Неве недалеко от института. А они мне за это — экскурсии каждый день, чтобы не было потом обидно за бесцельно прожитые дни. Девчонки выкладывались честно: в четыре руки, соответственно погоде и освещению: «Закрой глаза... встань сюда... чуть-чуть поближе... а теперь открой», — и надо мной, к примеру, колыхался огромный живот могучего коня в тугих венах, а на коне, простирая длань, сидел ещё более могучий всадник с державным венком на голове и грозным взглядом, устремлённым вдаль.

*Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?*

Девчонки старались наперебой. У них был проезд по льготе, вход во все музеи и галереи бесплатный, как будущим искусствоведам, вино они пили по чайной ложке за вечер — это были истинные интеллигентные ленинградские девчонки, влюблённые в свой город, искренние, весёлые, и мне казалось, я прохожу настоящие великосветские академии.

Седьмого июля, помнится, у девчонок был выходной, но я уже прекрасно ориентировался в центре и самостоятельно направился в знаменитый музей-квартиру поэта на Набережной Мойки, 12, где хранится самое большое собрание личных вещей Пушкина. Я должен был видеть, должен был знать — в Сибири много попадаете старинных вещей, в том числе и пушкинского времени, и я должен уметь отличать эпоху даже в мелочах. И мне опять несказанно везёт. Я знакомлюсь с Людмилой Петровной Февчук, научной сотрудницей и экскурсоводом музея, и автором чудесной книжки «Личные вещи Пушкина».

Дом музея когда-то принадлежал Софье Григорьевна Волконской, сестре декабриста Сергея Волконского, и здесь с её ведома проживал Пушкин со своей семьёй. Софья Григорьевна, я это знаю из «Иркутских летописей», была в Иркутске, и в Иркутске в одном из домов хранится её портрет. Все вещи в музее подлинные — всё подтверждается документами, рисунками, фотографиями, и всё говорит само за себя. Я застреваю в музее на несколько дней и дружу теперь со взрослыми дамами науки, но студенточек не забываю — мы встречаемся по вечерам и обсуждаем новости. В эти несколько дней выясняется невероятно много. Оказывается, пушкинисты многого не знают из того, что связывает Пушкина и декабристов с Сибирью, и я, что знаю, выкладываю как на духу. В ответ получаю другую информацию... Я уезжал из Ленинграда в августе, девчонки и я прощались со слезами на глазах. Они купили мне на память рубашку, но вспомнили о ней, когда поезд уже тронулся. И я по сей день словно бы вижу как наяву: они бегут по перрону, размахивая свёртком, и до меня только доносятся обрывки слов: «...Не забывай!.. Пиши!..» Я не забывал: мы переписывались долго.

Прощаясь перед отъездом с сотрудницами музея Пушкина на Мойке, 12, я признался Людмиле Петровне: «У меня теперь работы на несколько лет вперёд, и, возможно, необходимо будет вам писать по разным вопросам...» — «Пишите». — «Скажите, пожалуйста: академик Алексеев, Михаил Павлович, главный пушкинист страны, — он не из Сибири? Много замыкается на нём...» Людмила Петровна пообещала при случае узнать это, и на память подписала мне свою чудную книжку «Личные вещи Пушкина»: «Ив. Ив. Козлову в память посещения музея-квартиры А.С. Пушкина в Ленннграде от автора. 8 июля 70 г. Л. Февчук».

В 1975 году, ближе к лету, в Иркутске вышла моя первая книжка «В гостях у декабристов» — итог поисков, находок и исследований за минувшие несколько лет. А 30 сентября того же года иркутская газета «Советская молодёжь» с продолжением в двух номерах публикует мой поисковый очерк «По следам пушкинских посланий в Сибирь». Я отправлял письма и свои публикации по разным адресам, в том числе и моим ленинградским знакомым.

Я приеду искать приюта...

Молодой двадцатилетней женщиной уезжала княгиня Мария Николаевна Волконская за своим мужем в Сибирь. Уезжала зимой, в декабре 1826 года, и её родственница Зинаида Александровна Волконская устроила для неё прощальный бал, который почтила своим присутствием вся артистическая и литературная Москва. Это был незабываемый вечер, и через тридцать лет, вернувшись на родину, Мария Николаевна упомянула о нём в своих мемуарах. «Тут был и Пушкин, наш великий поэт... Я его давно знала... Во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить свое «Послание узникам» для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре Муравьевой».

И Мария Волконская приводит известные всем стихи, в том виде, к какому мы привыкли.

*Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление...*

Затем она приводит ответ Александра Одоевского на послание Пушкина — строки, которые мы также привыкли видеть рядом с пушкинскими:

*Но будь покоен, бард! — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями...*

Свои короткие воспоминания о Пушкине, княгиня заканчивает так: «Пушкин мне говорил: «Я намерен написать книгу о Пугачеве, я поеду на место, перееду Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках». Он написал свое великолепное сочинение, всеми восхваляемое, но до нас не доехал».

Итак, бал в доме Зинаиды Александровны, где молодая Мария Волконская видела Пушкина, был 26 декабря 1826 года. Уехала она из Москвы 29 декабря, но в «Записках» пишет: «Я уехала в ту же ночь». Как будто мелочь, но путаница в датах иногда может сильно мешать исследователю, но это уже его проблемы. Что касается стихов Одоевского, то восьмая строка, которую мы привыкли читать «В душе смеемся над царями», у Волконской звучит по-другому — «Обет святой пребудет с нами». Да, с возрастом память стала княгине изменять.

Четвертой, самой сильной одоевской строфы —

*Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей,
И радостно вздохнут народы —*

в «Записках» Волконской совсем нет. Возможно, это опять же память, возможно, ошибка, а возможно, намеренно внесённая поправка, дабы не повторять слова «царями», «царей» отнюдь не в двусмысленном тексте. Только непонятно, кто её внес: сама Волконская или её сын Михаил Сергеевич, который родился и жил в Иркутске, учился в мужской гимназии и редактировал «Записки»? И главное: во многие издания стихов «Во глубине сибирских руд» вошли в редакции Волконской, и мы можем задать вопрос — а нет ли у Волконской каких-либо ещё поправок, изменивших звучание пушкинских строк, ведь автограф послания не известен, он утрачен? И утрачен он, по мнению многих специалистов, в Сибири, куда был доставлен декабристами и где, по логике, его и следует искать. Проследив судьбу пушкинского послания, мы сталкиваемся с неожиданными обстоятельствами — о стихах Пушкина, популярных и известных каждому сибиряку со школьных лет, мы много чего не знаем. Не знаем, когда и где они написаны, какими они вышли из-под пера поэта, явились ли они плодом длительного размышления или это блестящий пушкинский экспромт? Мы не знаем, когда они были переданы декабристам, уезжающим в Сибирь, везли они в Сибирь автограф или список, сделанный постороннею рукою? Поиском возможных ответов мне и пришлось заниматься долго.

«В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей третьей невестки. Она меня приняла с нежностью и добротой» — это из записок Марии Волконской. Зинаида Александровна — образованнейшая женщина своего времени. Она поэтесса, художница, композитор. Пройдя школу

итальянского вокала, она прекрасно пела — у неё чистое, изумительное контральто. Пушкин посвятил ей строки:

<i>Среди рассеянной Москвы,</i>	<i>Рукою нежной держишь ты</i>
<i>При толках виста и бостона,</i>	<i>Волшебный скипетр вдохновений,</i>
<i>При бальном лепете молвы</i>	<i>И над задумчивым челом,</i>
<i>Ты любишь игры Аполлона.</i>	<i>Двойным увенчанным венком,</i>
<i>Царица муз и красоты,</i>	<i>И вьется, и пылает гений.</i>

В её салоне на Тверской собирался цвет Москвы. Вяземский писал: «Тут соединялись представители большого света, сановники и красавцы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессоры, художники, журналисты, поэты. Все в том доме носило отпечаток служения искусству. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома...» В доме Зинаиды Александровны не только наслаждались музыкой и стихами, здесь обсуждались и политические новости. В бумагах Третьего отделения сохранился полный донос, где наряду с именами Рылеева и Коновницыной, племянник которой был декабристом, упоминается и Зинаида Александровна: «Между дамами, самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием для всех недовольных и нет брани злее той, какую они извергают на правительство и его слуг».

Донос датирован августом 1826 года, а в декабре Зинаида Александровна даёт бал в честь отъезжающей Марии Волконской. Ещё совсем молодая, почти юная, Мария Николаевна, само воплощение любви, самопожертвования и долга, так сильно трогает душу Зинаиды Александровны, что та пишет экспромтом пронзительнейшие стихи.

<i>О ты, пришедшая в мой дом!</i>	<i>День кончился для тебя и наступила ночь.</i>
<i>Ты, которую я видела только три дня</i>	<i>Она пришла, как зима приходит у нас —</i>
<i>И назвала своим другом.</i>	<i>Еще не остывшая земля покрылась снегом...</i>
<i>Образ твой запечатлелся в душе моей —</i>	<i>Как вслушивалась ты в наши голоса,</i>
<i>Я вижу его.</i>	<i>Когда мы пели около тебя хором!</i>
<i>Твой высокий стан предстает передо мною,</i>	<i>«Еще, еще, — повторяла ты, — еще!</i>
<i>Как величаява мысль,</i>	<i>Ни завтра, никогда не услышу я более эти звуки!»</i>
<i>А грациозные движения твои</i>	<i>И сегодня ты требуешь от меня арфы.</i>
<i>Мелодичны, как звезды...</i>	<i>Прижми ее к сердцу, ударь в струны...</i>
<i>Жизнь твоя запечатлена долгом и жертвою.</i>	<i>Погрузи себя в гармонию, упивайся ею,</i>
<i>Ты молода, но прошлое твоё</i>	<i>Пой, пой не переставая.</i>
<i>отторгнуто от настоящего —</i>	<i>Жизнь твоя не есть ли гимн?!</i>

Эти стихи оригинальной формы, их можно назвать театральными стихами или, как их называл Иван Тургенев, стихами в прозе, — труднейший жанр поэзии, действительно тяготеющий к прозе, но напоминающий и античную поэзию, которую Зинаида Александровна прекрасно знала. Её стихи, посвящённые невестке, как и доносы на саму её, свидетельствуют об отношении к декабристам московской общественности и знати. Сколько восторга и признательности — должно быть, в своём возвышенном страдании Мария Николаевна была прекрасна. Она ещё не была способна сполна оценить всей жизненной катастрофы, которая с ней случилась, которая потом сделала её высокомерной и неприступной. Но это только оттеняет, подчёркивает ту высочайшую нравственность, которая толкала декабристов к действию, столь многим пожертвовавших для народа. И тот прощальный вечер у княгини Зины был необычным. Музыка, слёзы восторга и печали — всё вместе. И через много лет Мария Николаевна напишет: «Я говорила им: «Еще, еще, подумайте, ведь я никогда больше не услышу музыки». Тут был и Пушкин, наш великий поэт...» Нетрудно угадать состояние Марии Николаевны в тот вечер — она прощалась со своей прошлой безмятежной жизнью и решительно вступала в новую, пугающую своей неизвестностью, укрытую временем.

Воспоминание о вечере, столь памятном и значимом, оставил ещё один участник его — Алексей Веневитинов, брат поэта Дмитрия Веневитинова, утонченного эстета, безнадежно влюбленного в Зинаиду Александровну. Алексей так озаглавил свои воспоминания: «Вечер у княгини Зинаиды Волконской. 27 декабря 1826 г.». Дата подсказывает, что запись сделана на следующий день, по свежим впечатлениям, когда детали, образы и мысли оставались ещё яркими и сильными, а потому и достоверность этих воспоминаний огромная. «Вчера провел

я вечер незабвенный для меня. Я видел во второй раз и еще более узнал несчастную княгиню Марию Волконскую, коей муж сослан в Сибирь и которая 26-го января сама отправляется в путь, вслед за ним, вместе с Муравьевой». Строки проникнуты сочувствием и уважением, и мы узнаём, сколь сильное впечатление производила Мария Волконская на общественность Москвы в дни своего отъезда; и узнаём также, что ехать она собиралась не одна, а вместе с Александриной Муравьевой, но у них не получилось. «Когда все разъехались и осталось только очень мало самых близких и вхожих к княгине Зинаиде, она (Мария Николаевна) вошла сперва в гостиную, села в угол, все слушала музыку, которая для неё не переставала, восхищалась ею, потом робко приблизилась к клавикордам, смела уже глядеть на тех, которые возле них стояли, села на диван, говорила тихим голосом очень мало, изредка улыбаясь; иногда в облако воспоминаний и ожиданий затмевало её глаза, но она обеими руками закрывала тогда лицо и старалась победить свое чувство. Она всех просила ей спеть что-нибудь, простодушно уверяя, что память участия, которое принимают в её положении, облегчит ей трудный путь в Сибирь...»

Тонкие наблюдения. Мы видим, что как бы ни сочувствовали ей окружающие люди, как бы ни старалась её чудная невестка развеять её состояние, Мария Николаевна всё же уже чувствовала себя изгоем, человеком, если и не отверженным людьми, но уже отверженной самой судьбой, что не менее страшно. И нравственность её поступка, как и других женщин-декабристок, была не менее высока, чем нравственность деяний их мужей и братьев, с той только разницей, что мужчин увозили в Сибирь по приговору, а женщины ехали добровольно.

А что же Пушкин и его послание осуждённому? Ведь Мария Волконская утверждает, что он хотел передать ей послание «Во глубине сибирских руд», чтобы она увезла его узникам. «...Но я уехала в ту же ночь», — объяснила она, почему послание привезла не она. При воспоминании нескольких людей о том вечере о самом послании — ни слова! Пушкин, несомненно, был в числе самых близких, и он оставался после отъезда многих, поскольку в такой день он не мог нанести мимолетного визита, да и Волконская вышла в зал, когда многие уже уехали. Всё, что она описывает в воспоминаниях, случилось уже потом, после отъезда многих, в узком кругу близких, когда она могла дать волю своим чувствам. И было время, был такой момент, когда в окружении самых близких, а, значит, и самых верных людей, можно было прочесть стихи и передать их Марии Волконской. Там, куда она направлялась, были его лицейские друзья — Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Муравьевы, Сергей Волконский, они все в равной степени были для него друзьями и братьями, как сам он об этом говорил не скрываясь. Но Пушкин в тот вечер ничего не читал, а если бы это случилось, то стало бы известно всей Москве, возможно, потому и не читал.

«Он хотел мне вручить свое «Послание к узникам»...», — вспоминала Мария Николаевна тридцать лет спустя, когда писала свои «Записки». И точно ли было всё так, как она написала? Нет, не всё, даже забыла, что провела у невестки не один день, а три. Во-первых, известна дата отъезда Марии Николаевны — 29 декабря, а не 26-е, а во-вторых, и Зинаида Волконская подтверждает, что гостила Мария у неё три дня:

*О ты, пришедшая в мой дом!
Ты, которую я видела только три дня...*

А стихи княгини Зинаиды, как и записи Алексея Веневитинова, сделаны по горячим следам. И остаётся другой вопрос: о каких стихах говорил Пушкин с княгиней Марией? Будучи в крайне экзальтированном состоянии, вряд ли княгиня могла запомнить всё точно, да и говорила она с Пушкиным, судя по всему, мало. Да и сам Пушкин ещё не был готов к пространным и возвышенным разговорам. Всего за семь дней до встречи с Волконской он вернулся из поездки в Михайловское, а путь в родовое поместье пролегал через Псков. В Пскове тогда проживала Екатерина Ивановна Набокова, родная сестра лучшего лицейского друга Ивана Ивановича Пущина. На обратном пути Александр Сергеевич останавливался у сестры друга, и здесь, в самый канун годовщины восстания, а именно, 13 декабря 1826 года, он пишет послание Пущину:

*Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.*

*Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!*

Стихи Пушкин оставил Екатерине Ивановне, а ровно через две недели он встречается с Волконской, и было бы странно, если бы Пушкин в тот вечер не упомянул лицейского друга — все разговоры кружились вокруг тех, кто уже следовал в Сибирь. То, что Пушкин и Волконская говорили о Пущине, подтверждает письмо самой Волконской к Вере Фёдоровне Вяземской. Муж Вяземской, князь Пётр Андреевич Вяземский, во все годы жизни Пушкина оставался его искренним и откровенным другом. И Волконская пишет: «Я встретила Пущина, Коновницына и кого-то третьего около Оханска; они едут на Кавказ; передайте это тому, кто интересуется первым из них...» Письмо написано с дороги, на пути в Сибирь, и поэтому можно с уверенностью считать, что Пушкин в тот вечер говорил с Волконской о стихах, написанных несколькими днями раньше и посвященных Ивану Пущину. Почему мы с такой же уверенностью не можем говорить о послании «Во глубине сибирских руд»? Потому, что нам не известна дата написания этого стихотворения, а посвящение лицейскому другу Пущину уже было написано. Нет ничего удивительного в том, что, вспоминая через тридцать лет давний вечер и разговор, Мария Николаевна назвала более значимое послание, адресованное всем. По многим данным, «Во глубине сибирских руд» в декабре 1826 года ещё не было написано, и поэтому во всех пушкинских изданиях оно датируется 1827 годом. Анализ записок Марии Николаевны не опровергает эту дату.

Оба послания в Сибирь привезла Александрина Григорьевна Муравьёва. Она была одной из тех жён декабристов, что решились ехать в Сибирь, несмотря ни на какие препоны и угрозы со стороны властей. Она была замужем за капитаном генерального штаба Никитой Михайловичем Муравьёвым — крупнейшим идеологом декабристского движения. Он состоял членом Союза Спасения, Союза Благоденствия и членом Верховной думы Северного общества декабристов. Он автор проекта конституции, которую должна была принять Россия по свержении самодержавия. Когда Муравьев при аресте, встав перед женою на колени, испросил у неё прощения за то, что скрыл от неё свою причастность к заговорщикам, Александрина Григорьевна ни минуты не колеблясь приняла его сторону, бросилась к нему на шею и при всех громко сказала, что последует за ним хоть куда и во всём разделит его участь. Александрина Григорьевна была человеком чистойшей, необыкновенно чуткой и отзывчивой души. Она первой из декабристок ушла из жизни, хотя не жаловалась на здоровье. Имея право на свободу передвижения, она вместе с другими женщинами заботилась об узниках тюремных казематов, и не только о соратниках мужа, но и простых, тёмных сидельцах тюрьмы Петровского Завода. Она помогала кому чем могла, делала это самоотверженно, не считаясь со временем и средствами, и в сентябре 1832 года, постоянно посещая тюрьму и возвращаясь домой, она сильно простудилась, заболела и умерла от воспаления лёгких. Врачи, прилагая все усилия, ничего не могли сделать. Её так сильно любили, что все узники, все до единого, обратились к коменданту тюрьмы генералу С.С. Лепарскому с просьбой выпустить их из камер под честное слово; они вернутся в свои камеры после проводов общей любимицы. И Лепарский разрешил, и вот она, неодолимая сила чистой души и доброты! Часть пути к месту погребения узники, освободив из упряжи коней, несли гроб, подняв его на руках вместе с катафалком. И все до единого вернулись потом в камеры. И это не легенда, это было!

Иван Пущин вспоминал: «В самый день моего приезда в Читу, призывает меня к частоколу А.Г. Муравьёва и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было: Мой первый друг, мой друг бесценный!.. Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня... когда я первый раз посетил его в изгнании... Я не мог даже пожать руку той, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга... Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного знакомого перед самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла, наконец, исполнить порученное поэтом...»

Когда Александрина Григорьевна приехала в Москву, близкие Зинаиды Волконской были ещё под впечатлением прощания с Марией Николаевной, и слух о том, что третья декабристка едет в Сибирь, разнеслась по Москве. Пущин пишет, что стихи Муравьёвой передал один знакомый, И.П. Бартенев. В материалах к биографии Пушкина сообщает другое: «Стихи были принесены в Москву, в начале 1827 года, самим Пушкиным... перед отъездом её в Сибирь. Прощаясь с нею, Пушкин так крепко сжал её руку, что она не могла продолжать письма, которое писала, когда он к ней вошёл...»

Академик М.П. Алексеев во «Временнике пушкинской комиссии» за 1969 год приводит строки из малоизвестного письма графини Е.П. Ростопчиной Александру Дюма: «Вот Вам на десерт стихотворение Пушкина, которое не было и никогда не сможет быть напечатано на русском языке. Придя однажды в дом друга, он (Пушкин) узнал, что там пишется письмо к изгнанникам в Сибирь... Он взял перо и экспромтом написал следующие стихи: «К изгнанникам»...». И дальше следует текст «Во глубине сибирских руд». О чём доме и о каком друге пишет Ростопчина, неизвестно, но, положив рядом запись Бартенева и письмо Ростопчиной, можно догадаться, о ком идёт речь. Сговориться Бартенев и Ростопчина не могли — не было никакого смысла, но её письмо подтверждает слова Бартенева о том, что, выражая восторг от поступка Александрины Григорьевны, Пушкин писал послание экспромтом, своей рукой. Но Пушкин пишет, что Муравьёва передала ему список, сделанный рукой незнакомой. Однако существует и ещё один документ, это письмо декабриста И.Д. Якушкина Герцену. В черновике письма Якушкин упоминает, что «Во глубине сибирских руд» написаны у Муравьёвой, и он повторяет это два раза. Если сведения о послании Ростопчина получила из вторых рук, то Якушкин мог их узнать от самой Муравьёвой.

С.А. Соболевский, в московском доме которого Пушкин жил в с декабря 1826-го по май 1827 года, в свою очередь, сообщает: «...Они сочинены им у меня в доме». И не доверять Соболевскому трудно. «Стихи были принесены...» — пишет Бартенев; не написаны в доме, где остановилась Александрина Григорьевна, а принесены в дом. А в чём тут вообще вопрос? А в том, что если бы мы знали, что послание написано в присутствии Муравьёвой, мы бы знали и дату написания.

У Пушкина была тетрадь «Заветных сокровищ», куда он вписывал и вклеивал дорогие для него письма и сведения. И вот на одном из экземпляров «Во глубине сибирских руд», вклеенных в тетрадь, Пушкин написал: «В Москве, А.Г.М., 16 января 1827 года». Этой датой Пушкин отметил день встречи Пушкина Муравьёвой в Москве. А.Г.М. — инициалы Муравьёвой. Никогда этой датой Пушкин не обозначал день написания «Во глубине сибирских руд», нигде больше и никогда эту дату не уточнял, не оговаривал, не зачёркивал, в то время как всегда обозначал дату написания «Мой первый друг...» — 13 декабря 1826 года, которую знал точно. А если верить Бартеневу, что «Во глубине сибирских руд» написаны экспромтом в присутствии Муравьёвой, то день встречи и есть день написания послания. Но пока сведения Бартенева более достоверно проверить нельзя. Однако, если когда-нибудь достоверность сообщения Бартенева будет доказана, то будет доказано и то, что в Сибирь привезены пушкинские подлинники. Ведь получается, что если послание принёс сам Пушкин, то зачем он понесёт стихи, написанные кем-то? А если он писал экспромт, то тем более он передал Муравьёвой только подлинник. Никто из декабристов никогда и нигде не обмолвился ни словом, что видел сам «Во глубине сибирских руд» или слышал от товарищей про подлинник Пушкина. А Иван Иванович Пушкин интересовался подлинниками особо. В тетради «Заветных сокровищ» есть запись: «... в 1842 г. брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который хранится у меня в числе заветных сокровищ...» Но здесь речь идёт о стихах «Мой первый друг...», которые Пушкин оставил в Пскове сестре Ивану Пушкину. И тут как будто всё проясняется: подлинник посвящения ему Пушкин нашёл, а подлинника послания не было — был список, сделанный неизвестно рукой. Но тогда зачем столько поисков, дебатов и скрупулёзного чтения множества разноречивых сведений? Не было, и не надо искать! Но не всё так просто: есть версия, и не какого-то дилетанта, а академика Милицы Васильевны Нечкиной, всю жизнь отдавшей изучению и расшифровке декабристских и пушкинских материалов, отмеченной за свой огромный труд Государственной премией и тремя высшими орденами СССР — орденами Ленина. Версия простая, логичная, но трудно доказуемая, как всё, что связано с тайнами государства.

Как раз в те дни, когда Пушкин и Муравьёва встречались в Москве, в доме княгини Зинаиды Волконской на письменном столе Пушкина лежал грозный запрос полицмейстера Шульгина, когда, где и при каких обстоятельствах была написана Пушкиным элегия «Андрей Шенье». А написана она и предъявлена в цензуру была ещё в 1825 году, до восстания декабристов. Цензура вычеркнула многие строки, но разрешила элегию печатать. Но после разгрома декабристов, казалось бы, навсегда утраченные строки обрели новое звучание и новую жизнь. Некто штабс-капитан Алексеев переписал их и дал им новое название: «На 14 декабря». Стихи зазвучали с необыкновенной силой и стали расходиться в списках. Алексеева арестовали, началось следствие, в результате которого его разжаловали и сдали рядовым в батальон, а

имя Пушкина ещё раз внесли в списки неблагонадёжных. Дело тянулось несколько месяцев и было хорошо известно друзьям Пушкина. Поэтому даже в письме Волконская не ставит имени Пушкина рядом с именем Пушина: «Передайте это тому, кто интересуется первым из них...» Конечно, знала всё это и Александрина Муравьёва; то было время, когда за один намёк, только за написание смелого заглавия к старым стихам могли приговорить к разжалованию или даже к виселице. Послание Пушкина «Во глубине сибирских руд» было напрямую адресовано государственным преступникам, декабристам, где он совсем недвусмысленно признавал их историческую правоту: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление...» Пушкин первым предсказал победу идей декабристов в будущем: «Темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа...» И тогда уж судить будут сами декабристы: «И братья меч вам отдадут...»

Пушкин был человеком не робкого десятка, и он вполне мог сесть и написать оба послания своею рукой и передать их Александрине Григорьевне, но ведь и она, столь чуткая к каждому движению души других людей, прекрасно понимала, что, передавая ей стихи, Пушкин рисковал, как никто, являя этим согласие с делами декабристов и проявляя высокое гражданское мужество. Как все, он имел право распоряжаться своей судьбой и жизнью, как распорядились ею его друзья и товарищи, как распорядились ею их верные жёны. Но судьбой другого человека никто из них распорядиться не мог, тем более этого никогда бы не допустила Александрина Муравьёва. Она могла попросить переписать пушкинские строки кого-то из знакомых, кому доверяла, а подлинники потом уничтожить или оставить у кого-нибудь до лучших времён. Поэтому искать надо всегда и везде — жизнь полна неожиданностей! Нашлась же целая связка! Нашёлся же в 1944 году целый чемодан прекрасных акварелей Бестужева, и мы теперь знаем в лицо почти всех декабристов! Нашлась же в наше время целая пачка писем Натальи Николаевны к своему любимому и любящему супругу Александру Сергеевичу Пушкину, и мы узнали, какая чистая, светлая и верная душа была у этой прекрасной женщины!

Читинский краевед Е. Петряев обнаружил в одной из читинских библиотек список послания «Во глубине сибирских руд», сделанный рукою Ивана Пушина. Разве найти автограф Ивана Ивановича Пушина не интересно? Я бы очень хотел поймать такую удачу!

12 февраля 1836 года лицейский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер пишет поэту из Баргузина: «Двенадцать лет, любезный друг, я не писал к тебе... Мой долг прежде всех лицейских товарищей вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным... Книги, которые время от времени пересылал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны». Письмо может показаться странным, если не знать сути.

Не писал Кюхля своему другу потому, что десять лет — 1826–1835 годы — сидел в Шлиссельбургской и других крепостях, куда Пушкин и передавал ему книги. В 1836 году его отправили на поселение в Забайкалье, где он и почувствовал себя свободным. Книги, полученные от Пушкина, Кюхельбекер забрал с собой в Сибирь, где они и могут ещё находиться.

В своё время я тоже кое-что находил: вазу и зеркало Трубецких, иконку-складень Кюхельбекера, определял дома, где останавливались и какое-то время жили в Иркутске Трубецкая, Волконская и Муравьёва; я рассказал об этом в моей книжке, опубликованной в 1975 году «В гостях у декабристов». Все находки, связанные с конкретными именами, должны быть определены документально и доказательно, и для этого существует множество методов. И самый надёжный из них — это научная добросовестность, а иначе можно найти и живую Царевну-лягушку всю в золоте, но в сказочный дворец Истины так и не попасть!

Попадались мне и реликвии, связанные с Пушкиным. Одна из них, простая, мало приметная, но удивительная по сути. Например, в 1880 году, по инициативе выпускников Царскосельского лицея, был открыт памятник Пушкину в Москве скульптора Александра Михайловича Опекушина. При открытии приглашённым гостям раздавали памятные жетоны-запонки, где с одной стороны был изображен памятник, а на другой стороне был прилив в виде пуговицы на ножке, и жетон можно было пристегнуть к лацкану, к воротнику или к жилетке. Я нашёл такой жетон в Иркутске: у потомков иркутского летописца А.В. Кротова и, будучи в Москве, рассказал о нём заместителю директора по научной части Государственного музея А.С. Пушкина в Москве, на Кропоткина, 12, Елене Владимировне Музе, обаятельной и интеллигентной женщине, автору нескольких альбомов о пушкинской Москве. Из всей переписки с музеем приведу несколько строк: «Спасибо Вам за обещание передать нам медальон-запонку... Вашу работу еще не успела прочитать, но сделаю это обязательно и сообщу Вам. Ел. Муза, май 75 г. ».

«Государственный музей А.С. Пушкина с искренней признательностью принимает Ваш дар: жетон 1880 года с изображением памятника Пушкину в Москве. Ваш дар представляет особый интерес в связи с его редкостью, он не описан в специальных справочниках и отсутствует даже в таком крупном собрании, как собрание Исторического музея. Зам. директора Ел. Муза. Хранитель фондов А. Тишечкина».

От музея я тоже получил ценный памятный подарок, связанный с именем Пушкина.

Вообще в разные музеи страны я подарил в общей сложности свыше четырёх тысяч разных документов и экспонатов, и только один, всего один из них, не самый дорогой и не самый лучший, так сложились обстоятельства, я продал за деньги.

Некоторые мои публикации и экспонаты попали в Пушкинский Дом в Ленинграде, и это имело интересные последствия. По планам академии, в 1978 году проводилась двадцать пятая, юбилейная Пушкинская конференция, первая из которых проходила, как я уже упоминал, в 1948 году. Тогда торжества, в связи со 150-летним юбилеем Пушкина, широко прошли и в Китае; и в 1949 году они совпали с торжествами по провозглашению Китайской Народной Республики. Одним из учредителей первой конференции стал академик Михаил Павлович Алексеев, имя которого по жизни мне регулярно встречалось. Юбилейную конференцию 1978 года так же проводил Пушкинский Дом в Ленинграде, где директором долгие годы оставался Михаил Павлович. Не знаю, уж какими путями, но в мае 1978 года я получаю персональное приглашение на конференцию, куда приглашались в честь юбилея пушкинисты со всего Союза. Приглашение было отпечатано в виде пригласительного многостраничного билета с программой и рисунками Пушкина и просто ошеломило меня своей неожиданностью и изяществом. Я пошёл в Союз писателей к Марку Сергееву, показал приглашение и попросил командировку. Реакция была неожиданной — мне дали командировку в один конец, в Ленинград: я мог лететь и больше не возвращаться в Иркутск! Сослались на то, что нет денег. Однако мои друзья тут же собрали мне столько денег, что я мог лететь даже в Париж и дальше.

Готовясь в командировку, я вспомнил о книге, изданной в Иркутске в 1941 году — «Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей», автором которой был преподаватель нашего ИГУ и тоже Михаил Павлович Алексеев. Наш Михаил Павлович в 1937 году публиковался в сборнике «Пушкин и Сибирь», и невольно возникала аналогия: ленинградский академик М.П. Алексеев и наш преподаватель из универа М.П. Алексеев, и оба причастны к пушкинской теме. Троицким нашим литературоведам, В.П. Трушкину, М.Д. Сергееву, Г.Ф. Богачу, я задал тогда один и тот же вопрос: «Тот академик Алексеев, глава Пушкинского Дома в Ленинграде, наш Алексеев или нет?» Но никто из них не мог развеять мое невежество. Ленинградский Алексеев — академик, председатель Пушкинской комиссии, основатель Пушкинского «Временника», бессменный руководитель Пушкинского Дома, то есть института Русской литературы, ведущий пушкинист страны, почётный член нескольких академий мира, а наш был простой преподаватель, читал лекции, и всё. Но выслушав всех, я на всякий случай, набрал для подарков разных книг, взял «Сибирь в известиях...» и полетел на конференцию.

В Ленинграде всё хорошо: океан встреч, уже много знакомых из музеев и по заочной переписке — цвет пушкинистов страны. Программа захватывающая — слушай, живи, учись и радуйся. Михаил Павлович, глава Пушкинского Дома, открыл конференцию. Говорил он мягко, спокойно, прямо-таки излучая любовь к Пушкину и ко всем, кто Пушкина любит. Академические перерывы большие, тридцать — сорок минут, и в перерывах Михаила Павловича окружают — не подойдёшь. Пушкинисты со всей страны, все его знают, все как-то с ним работали, только мы, иркутяне, не удосужились этого сделать. Пробываться я не стал, а поднялся рядом на ступеньку подиума повыше, прижал книгу к груди, так, чтобы, если глянет в мою сторону, то узнает, если это его книга, да ещё одна из первых. И он меня увидел!.. Я никогда не забуду, как он, интеллигентный, сдержанный, вдруг засветился лицом, умолк и, вскинув брови, мягко отстранил собеседников: «Извините, товарищи, тут, кажется, ко мне из Сибири приехали...» Он хорошо меня понял и спросил: «Откуда у вас эта книга?» Я тоже понял: это он! Он, наш Михаил Павлович Алексеев из Иркутска, бывший преподаватель Иркутского университета, основатель группы иркутских пушкинистов 30-х годов, а теперь вот академик, главный пушкинист страны! Михаил Павлович извинился перед всеми и увёл меня в свой кабинет. Над его столом, за спиною, висит знаменитый портрет Пушкина, кисти Кипренского, — лучший из известных портретов. «Ну, рассказывайте, как там Сибирь, Байкал, Иркутск, живы ли Шостакович, Кудрявцев, Хороших?..» Всё оставшееся время перерыва мы говорили с ним, и нашу беседу, и то,

что происходило на конференции, я описал в очерке «Букет цветов поэту», который опубликовала наша «Советская молодёжь» в полный разворот подвала. Повторяться не буду, и закончу тем, что среди всех пушкинских реликвий, нашли мы и нашего М.П. Алексеева, зачинателя работы пушкинистов в нашем городе, вернули его в пушкинистику нашего города, который достойно чтит и память Пушкина, и память декабристов, и всех наших выдающихся литераторов.

В 1999 году, в дни празднования 200-летия со дня рождения Пушкина, в центральном актовом зале, в здании библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского на Российской, проходило торжественное заседание и публичные чтения. В эти же дни, как и в далёкий послевоенный год, проходила юбилейная конференции и в Пекине, и посол Российской Федерации в КНР Игорь Рогачёв говорил: «Трудно назвать другое место в мире, кроме родины Александра Сергеевича, где так часто и такими огромными тиражами выпускаются его произведения...»

Отмечали 200-летний юбилей Пушкина в Иркутске и китайские студенты, в том числе и студентка кафедры журналистики ИГУ Тань Пин, которая рассказывала о любви к Пушкину в Китае.

На 200-летнем юбилее А.С. Пушкина довелось выступить и мне. Я рассказал и передал библиотеке записку о главном пушкинисте в СССР, об академике Михаиле Павловиче Алексееве, который жил и преподавал в Иркутске, и пожелал, чтобы наша российская пушкиниана, в том числе и сибирская, никогда не оскудевала и малыми и огромными потоками наполняла океан жизни новыми открытиями и познаниями.

ИВАН КОЗЛОВ

Декабристы. Сибирские ночи

Жены декабристов привезли в Сибирь послание Пушкина «Во глубине сибирских руд»,
на которое ответил самый молодой декабрист — поэт Одоевский.

* * *

Снега текут легко и плавно —
Им сострадания не дано...
В слезах Мария Николавна
Смотрела в лунное окно.
Печальной памяти удел —
Волна у берегов Одессы,
Где мальчик,
Прописной повеса,
Её в стихах безумных пел.
Всё далеко,
И, может, поздно
Далёким эхом вспоминать,
Как он умел полусерьёзно
Душою девочки играть,
Как он мучительно страдал,
Презрев хвалу минутной славы?
Певец Петра,
Певец Полтавы,
Он племя дерзостных являл.
Они, герои декабря,
Листая шпагами скрижали,
С насмешкой глянув на царя,
Себе бессмертье записали.
Был самодержец лстив и крут,
А он, терзаемый печалью,
Бросал во след друзьям опальным:
«Во глубине сибирских руд...».
Былого тёмные приметы

Перепополняют тесный зал —
Плывёт луна, летят кареты,
Блистают звёзды, эполеты,
И кто-то объявляет: «Бал!»
И там, где некая особа
Державной поступью прошла,
Застыла тяжкой каплей злоба,
Как пуля в кратере ствола.
А зал блистает, зал кружится,
Смыкая тесное кольцо,
И — отблеск выстрела ложится
Посмертной маской на лицо.
Уже в который раз ей снится,
Как гаснет нельская луна,
А мир, как тёмную гробницу,
Перепополняет тишина.
И глухо мучаясь загадкой,
Сквозь снегопад, который год,
Плывет тяжёлый гул набатный:
Убит не тот. Убит не тот!
Снега текут легко и плавно —
То разгораясь, то темно —
В слезах Мария Николавна
Всё смотрит в лунное окно.
И давних строк тепло не стынет,
И не смолкнет в шуме дней:
«Твоя печальная пустыня...
Одна любовь души моей».

* * *

В холщовом армяке.
Не напомажен, без орденов,
Давно не молодой,
Задумчиво склонился у трельяжа
Иркутский поселенец Трубецкой.
Да, пронеслась тяжёлая гроза,
Но в зеркалах, холодного накала,
В стекле смертельно-бледного овала
Ещё светились строгостью глаза.
В них боль была,
И было торжество
Мятежного, не сломленного братства...
А завтра там, в России, Рождество —
Балы и фейерверки на Сенатской.
Там самодержец властью упоён,
К нему фортуна лъстивая склонилась,

И росчерком единым может он
Мятежникам явить монаршью милость.
Да, завтра Рождество.
В Иркутске снег — пушистый,
Искромётный, музыкальный —
Раскачивает звоны снежный век,
Смешав поющий звон
И звон кандалный.
Душа давно нашла себе приют
В посланье друга и благословенье —
Хранить во глубине сибирских руд
Достойное и гордое терпенье.
В России ночь. В России спит народ.
Но, слава Богу, бодрствует отвага.
И явится ещё России шпага,
Которая обидчика найдёт.

* * *

Вот багульник зацвёл
Кабаний — растираю пахучий лист...
Здесь когда-то, в Большой Елани,
Жил Одоевский, декабрист.
Ни проклятие, ни пророчество —
А невидимою рукой
Обнимало его одиночество
Присянскою тишиной.
Здесь дороги во все просторы,
Но они — не постичь уму,
Понадёжнее всех затворов
Обложили его тюрьму.
Тишина тяжелее хмеля —
И река, и тайга — тюрьма.
Он по средам в седло — и в Тельму,
Чтобы здесь не сойти с ума.
Чтоб в пути захлебнуться ветром,
Отрезветь от лесной глуши...
Только буря нужна поэту,
Чтобы выдохнуть взрыв души.
И везли из далекого края
Сургучом запечатанный крик:
«Книг, любезный отец, умоляю —
Только книг. Ничего кроме книг!

Да ещё бы строку посланий:
Чем там жив наш великий поэт?..
Я ему из Большой Елани,
Как тогда, напишу ответ.
Здесь, конечно, не райские кущи,
Но хотя б на один часок
Посетил бы любезный Пушкин
Всем ветрам открытый острог.
И была б велика минута,
Как сказал он царю в укор:
«Я приеду искать приюта
В глубине ваших каторжных нор».
Пусть простит Александр Сергеевич,
Понесло мою боль по Руси —
Он и здесь и пророк, и царевич,
Но сюда — его Бог упаси...
Здесь, отец, хоть куда пространно,
Только нет дороги домой.
Здесь страна Китай за Саяном —
А за лесом река Кitoй...
Лобызаю, отец, твои длани,
Но прости — мне былого не жаль...
И в деревне, Большой Елани,
Тихой ночью гремит рояль.

*Известный сибирский поэт, историк, краевед,
создатель нескольких музеев на территории Иркутской области
Иван Иванович КОЗЛОВ отмечает свой юбилей. Ему исполняется 80 лет!
Немало прожито, но как молодо блестят его глаза!
От всей души желаем нашему юбиляру долгих лет творчества в здравии и любви!*

Редакция журнала «Сибирь»,
Иркутское региональное отделение Союза писателей России

Иван Иванович Козлов — сибирский патриарх истории и краеведения

Несколько слов к 80-летию юбилею

Хотя я дипломированный журналист, однако большого опыта публичных выступлений не имею. Но хочу поведать читателям «Сибири» о Иване Ивановиче Козлове, потому что, как сказал на прошлом юбилее, я знаю его двадцать лет, а теперь, значит, больше: уже четверть века.

Иван Иванович родился в Иркутске, 1 сентября 1936 года, в тогдашнем центральном роддоме города, как сам он шутит, между кинотеатром «Художественный», бывшим рестораном «Арктика», и редакцией газеты «Восточно-Сибирская правда», помещения которой теперь занимает Областной краеведческий музей. И вот так, с его слов, «между всеми этими ипостасями» и протекает его жизнь. Хорошо устроился!

И.И. Козлов историк, писатель, поэт и литературовед, член Союза писателей России, живёт и работает в Иркутске, однако в Прибайкалье нет ни одного города, где бы он не выступал с лекциями, не участвовал в разных литературно-просветительских делах и праздниках. Случается, на выступлениях или в беседах, порой шутя, а чаще с потаённой гордостью, говорит о себе, что он сибиряк и иркутянин в девятом поколении, и это именно так. Он знает, когда его предки пришли в Сибирь, кто они, как их звали и чем они тут занимались на протяжении трёх веков. Он тщательно занимался своей родословной и уверен, что четверть жителей нашей области имеют глубокие сибирские корни, и зная свою родословную — это выражать дань уважения к тем, кто пришёл сюда первым, кто обживал и обустроивал нашу родную сибирскую землю.

Иван Иванович автор более десяти книг по истории искусства, культуры и литературы Сибири, среди них — «В гостях у декабристов», «Колокола не умолкают», «Самая долгая зима», «Колокола Байкала», «Первая по праву», «На Шелеховском меридиане», «Шелехов», «Путеводитель по Иркутску», «Запрещенный барельеф», автор поэтического сборника «Путь земной и небесный», все стихи которого посвящены Прибайкалью и всем здесь жившим и живущим.

Он посетил все города, поставленные ещё первопроходцами, изучил музеи этих городов, как того требует та самая жизненная ипостась: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Дудинка, Улан-Удэ, Кяхта, Чита, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, — чего, спрашивается, человеку дома не сиделось?! И везде он что-то высматривал, выпрашивал, искал и находил. Его интересовало всё: и старые сибирские мастера — литейщики пушек и колоколов, резчики по дереву, серебряники, иконописцы, умельцы по резьбе цветного камня, часовых дел мастера, а ещё декабристы, польские повстанцы, выдающиеся люди и события Сибири. Он многое что нашёл, «перетаскил» свои находки в современное время, сближая поколения и эпохи.

Дома у него всегда как в музее, но современников он не обижал: собрал, построил и сдал под ключ пятнадцать ведомственных и муниципальных музеев, и в четырёх из них, временно или подолгу, бывал то директором, то научным сотрудником.

Первый ведомственный музей в Иркутске появился в 1967 году, как раз в год 50-летия Октябрьской революции, — это музей Иркутской чаеразвесочной фабрики, музей чая и чайной торговли в Сибири. Чай в Сибири любили всегда, фабрика была миллионером, и первая получила почётное звание «Предприятие коммунистического труда». Иван Иванович тогда уже собрал интересный материал и о самой фабрике, и о чае в Сибири. Пришёл к директору фабрики Георгию Олимпиевичу Девятко и сказал: «Давайте делать музей». На что тот, ни секунды не колеблясь ответил: «Давайте».

Потом был знаменитый сегодня Музей часов в Ангарске, где поначалу — ни денег, ни штатов. Однако уже существовала удивительная и оригинальная коллекция, которую собрал часовщик-реставратор, фанат своего дела Павел Васильевич Курдюков. Ивану Ивановичу сразу же довелось стать и научным сотрудником музея, и художником-оформителем, и первым сторожем. Благо, площадь выделили стоящую: весь нижний этаж четырехэтажного дома, потом произвели ремонт, и сотрудник-художник-сторож там работал и жил безвылазно, зарабатывая себе квартиру, которую, как и пообещали, вскоре дали. Сегодня Музей часов Ангарска известен во всём мире — о нём много писали и у нас, и за рубежом. Считаю, что П. Курдюков и И. Козлов в своё время совершили подвиг.

Потом был музей курорта «Ангара», музей на железной дороге, где Иван Иванович директорствовал десять лет, потом несколько музеев энергетиков — в Иркутске, в Усолье, в Ангарске и Шелехове. Заключительным аккордом в ряду ведомственных музеев стал музей истории областной прокуратуры. Создавался он стремительно, в течение всего трёх недель, и был открыт 12 января 2004 года в День работников прокуратуры РФ.

Оригинальными в этом ряду были — Музей истории иркутской и сибирской фотографии; открыт в Иркутске в 1989 году. И музей-памятник «Ледокол «Ангара»». Музей фотографии был первым музеем такого профиля в Сибири.

Иван Иванович участвовал в создании Музея истории города Иркутска, родного своего города. Музей открыли 4 октября 1996 года. Ивану Иванович тоже довелось первому исполнять обязанности директора, но, став пенсионером, проработал в музее замом по издательским делам ещё десять лет. За это время он написал три книги по истории развития энергетики в Прибайкалье. Дело в том, что по первому образованию этот неугомонный человек был энергетиком, строил в Сибири такие огромные энергокомбинаты, как ТЭЦ-10 в Ангарске, она, к слову, мощнее Иркутской ГЭС в два раза. Потом — ТЭЦ-5 в Шелехове, ТЭЦ-1 за Полярным кругом, в Норильске, где командировка затянулась на четыре года. Но строительством ТЭЦ, монтажом турбин, генерирующих и передающих энергию устройств, дело не закончилось. Современная энергетика очень громоздкая, затратная и дорогая в эксплуатации, а ещё и вредна, и опасна природе и человеку, но в то же время нам, жителям Сибири, уже в ближайшее время не выжить без дешёвой и качественной энергии. И Иван Иванович в 1991 году, найдя, так скажем, удобный момент в хаосе перестройки, учреждает свой, независимый научно-исследовательский центр «Экосфера-Байкал», регистрирует его в государственном реестре и получает «Свидетельство» на его легальность. И вот уже четверть века, независимо ни от кого, ни разу не взяв у государства ни копейки денег, центр исследует проблемы и возможности нетрадиционной энергетики, участвует в областных и региональных научных конференциях и программах, проводит исследования и эксперименты.

Фактически на Севере, где раньше всего заявили о себе проблемы энергетики, началось увлечение и историей: Иван Иванович один на лыжах прошел часть маршрута, по которому шли лейтенант Колчак и мичман Бегичев — участники первой русской Полярной экспедиции Эдуарда Толля в 1901–1903 годах. А.В. Колчак не раз был в Иркутске, читал лекции, знал многих иркутян. И здесь же, по возвращении из экспедиции и перед отбытием на Русско-японскую войну, 5 марта 1904 года он венчался с С.Ф. Омировой в Харлампиевском храме, а свидетелем при венчании был Бегичев. Этот храм в Иркутске ещё называют «Морским»: здесь всегда молились перед дорогой на Север и Тихий океан иркутские чиновники, промышленники и купцы. Я знаю, у Ивана Ивановича собран большой материал о пребывании лейтенанта, а потом и адмирала А.В. Колчака в Иркутске: в 2008 году в городском музее г. Шелехова он оформил и открыл выставку «Роль российских военных моряков в открытии и освоении Севера», где было представлено много фотографий и экспонатов, имеющих отношение и к самому адмиралу, и к его окружению.

Иван Иванович Козлов, этот сибирский Иван Калита, всегда и везде собирал всё, что относилось к истории Сибири — к декабристам и польским повстанцам, к сибирской пушкиниане, к художественной культуре края, и в разное время передал в музеи Москвы, Ленинграда, Иркутска, Ангарска, Читы и Кяхты в общей сложности свыше четырех с половиной тысяч экспонатов, причём безвозмездно. Экспонаты стоили немалых денег, которые, понятно, были оторваны от семьи, но всё это, несомненно, лучшее наследство для его потомков, которые родились и живут в Сибири: дочь Ольга, сыновья Игорь, Кирилл, Данил и Филипп, а теперь внуки и правнуки — десятое, одиннадцатое и двенадцатое поколение сибиряков этого семейства. Я имею право так говорить. Ничуть не упрекаю его за безвозмездные пожертвования в пользу сибирской культуры и науки, потому что я — его сын. И я тоже всю свою жизнь видел и касался руками до разного рода антиквариата, раритетов, старинных вещей, мебели, которые приходили и уходили. Неизменным в нашем доме оставалось одно — на полках хранились и хранятся старинные книги: богатейшая библиотека по истории Сибири.

От всего нашего раскидистого родового древа желаю нашему дорогому сибирскому патриарху истории и краеведения оставаться таким, каким он был всегда, — неустанным в замыслах и делах, верной подмогой всем нам, большим и маленьким!

По одобрению всех Филипп К.



Новинки — 2016



Валентин РАСПУТИН написал в 90-е годы XX века цикл рассказов о Сене Позднякове, в прошлом «пьянице-забудлыге», неизвестно откуда появившемся в деревне Заморы, а ныне человеке, осознающем себя частью круговорота крестьянского бытия, думающем о себе и государстве, — и показал пробуждение и возрождение личности, её упорство при столкновении с негативными социально-общественными явлениями. Поздняков, несмотря на свою незащищенность перед жестокостью современного мира, полон созидательной энергии, поэтому рядом с ним другой человек может обрести душевное равновесие (издательство «ЭКСМО», серия: Pocket book)

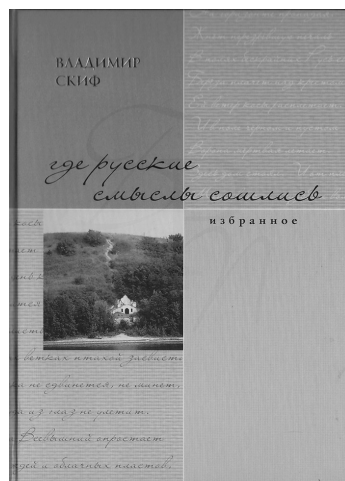
Лира, созвучная русской душе

(ИЗБРАННОЕ, ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАМАТОВ»)

Поэзия Владимира СКИФА неукротима и многогранна. В ней явлена целая гамма чувств и страстей — от любви до ненависти, от праведного гнева до тихого покаяния, от искромётного веселья до ностальгической грусти. Разливаясь, как река в половодье, лирика Скифа созвучна широте и безоглядности русской души.

Русская душа — вот главное сокровище, которое поэт хотел бы уберечь для мира, для Вселенной. Ставя душу превыше всех материальных благ, Владимир Скиф готов то защищать её с мечом в руке, то баюкать, как дитя в колыбели. Недаром его лирическое «я» иногда приобретает богатырские, былинные черты:

*Обниму полмира, полземли,
Рассеку ладонью небеса,
Чтобы ливни Божьи сошли
И омыли святостью глаза.*



Ставя знак равенства между душой и вечностью, поэт восклицает:

*...Между моей душой и вечностью земли
Совсем зазора нет. Мы с ней нерасторжимы.
Мы в космосе — вдвоем! Друг друга мы нашли.*

Символично, что поэт с таким мироощущением родился на берегу священного Байкала. В лирике Скифа Байкал занимает особое место, выступая как абсолютная мера неподкупности, чистоты и силы. «Посмотри, как небесное зеркало стало светом байкальской воды», — призывает поэт, отвергая «призрачные мерки» суетной бездуховности:

*И лишь Всевышнему угодный,
В веках, во времени сквозной,
Байкал, холодный и свободный,
Сияет звёздной глубиной.*

Такова же и щедрая, многозвучная, покорная лишь Всевышнему поэтическая лира Владимира Скифа, без остатка преданная России и родному Иркутскому краю. Знаменательно, что поэт обогащает отечественную литературу целой галереей ярких портретов русских писателей, своих земляков и живописных пейзажей Прибайкалья.

*Светлана СЫРНЕВА,
секретарь Союза писателей России*

Венгрия и Сибирь стали чуточку ближе



В майском номере за 2016 год будапештского литературного журнала «Szozat» («Зов») на венгерском языке опубликованы стихи и проза иркутских авторов — поэтов Владимира СКИФА, Елизаветы ОВОДНЕВОЙ и прозаика Александра ДОНСКИХ. Переводчиком выступил известный венгерский поэт, издатель и общественный деятель Арон ГААЛ. Он не первый раз переводит сибиряков, находя в их творчестве живое биение жизни, неподдельные чувства и глубокие мысли.

В этом же номере представлены фотографии старого, дореволюционного Иркутска, видов Байкала, а также информация о журнале «Сибирь», о истории и культурной жизни нашего региона.

www.szozat.org

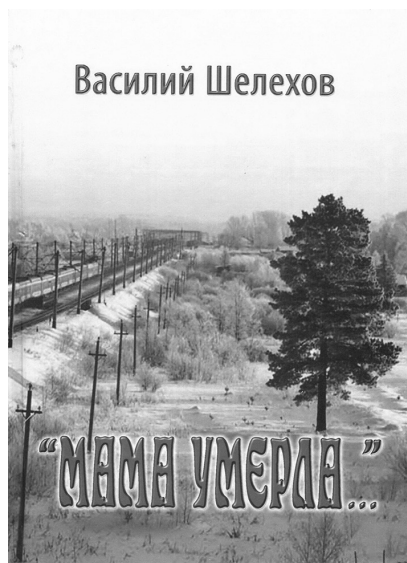
В мае 2016 года в берлинском издательстве «Univers» вышла повесть на немецком языке иркутского писателя Александра ДОНСКИХ «Солнце всегда взойдёт» («Die Sonne geht immer wieder auf»). Её представление с участием автора немецким читателям состоялось в Берлинской Государственной Европейской школе имени Льва Толстого 10 июня в рамках ежегодного Германо-Российского фестиваля «Встреча двух народов», который в этом году прошёл под девизом «Мы вместе!». Повесть переведена на немецкий язык старейшим в Германии филологом и переводчиком со славянских языков Петером Демелем. Как отмечено в ремарке, «повесть о детстве, о взрослении, о семье. Читается легко, а мыслей рождает много. Произведение отличается строгостью формы, яркой изобразительностью, высокой духовной сосредоточенностью...».



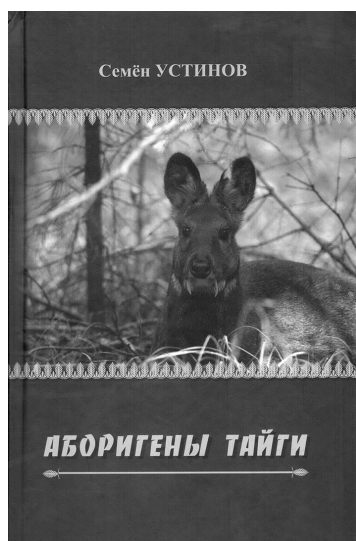


В конце прошлого года вышло очередное издание романа Глеба ПАКУЛОВА «Гарь». Этот роман является итогом многолетнего изучения истории русского церковного раскола середины 17-го века, потрясшего вековые устои народной жизни и, как многие считают, послужившего созреванию в будущем русских революций. В центре романа — судьба выдающегося писателя и «стоятеля за святоотеческую веру» протопопа Аввакума Петрова. Никакие мучения не смогли заставить Аввакума отказаться от своей правды, и после пятнадцатилетнего сидения в земляной яме города Пустозёрска он вместе со своими единомышленниками — иереем Лазарем, дьяконом Фёдором и иноком Епифанием — был заживо сожжён. Живёт предание: из пламени сруба поднялась опалённая рука Аввакума с древлеотеческим перстосложением и раздался зычный его голос — «Вот так креститесь! А покинете этот крест — город ваш песок занесёт!» Занесло-таки песком Пустозёрск. Годы смыли со скорбного места гарь и пепел, но стоят чёрными гвоздями вбитые в память народную «Аввакумовы пенёшки».

В новую книгу известного сибирского писателя Василия ШЕЛЕХОВА (Гинкулова) «Мама умерла...» вошла повесть «Мама умерла...». Автор неторопливо и обстоятельно рассказывает историю жизни обычной семьи, в которой есть всё: тяжкий труд, забота о детях, усталость и мужество, преодоление каждодневных трудностей. При всём этом члены семьи живут словно бы по инерции, не замечая чего-то существенного. Но когда главный герой повествования получает известие о смерти матери, он словно бы прозревает и уже иначе смотрит на себя и на своих престарелых родителей, на свой долг перед стариками. Повесть Василия Шелехова перекликается со знаменитой повестью Валентина Распутина «Последний срок». В ней та же глубина и всё те же вечные вопросы нашего непростого существования.

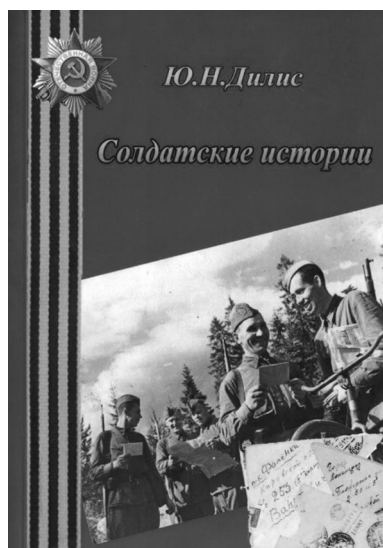
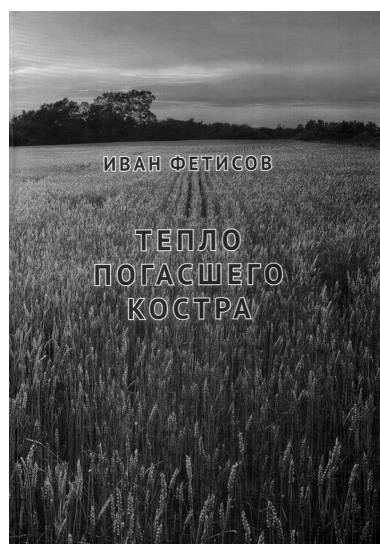


Книга Татьяны АНДРЕЙКО «Сказка о голубом замке» издана при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей. Оригинальный сюжет, психологическая достоверность и естественность интонации в сочетании с серьёзным исследовательским подходом к становлению творческой личности обещают увлекательное чтение тем, кто откроет эту книгу. Автор предлагает читателю ответить на вопрос, нужны ли в современном обществе такие люди, как герой повести «Как решите». А о том, как вмешательство неведомого может изменить человеческую жизнь, казалось бы, predetermined средой, наследственностью и воспитание, — повесть «Сказка о голубом замке».



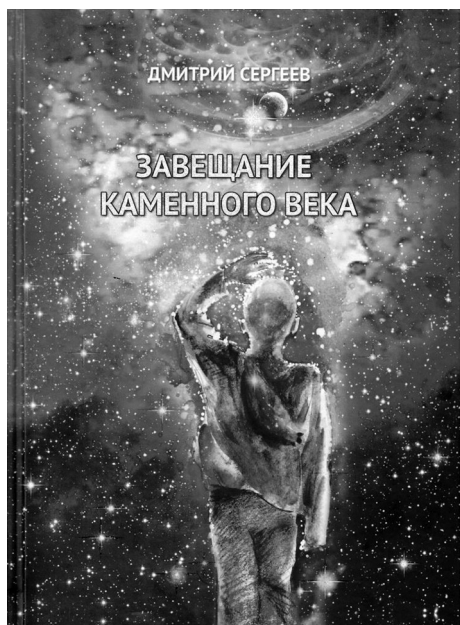
У старейшего сибирского писателя и эколога Семёна УСТИНОВА вышла книга «Аборигены тайги». В её основу легли произведения ранее уже издававшиеся — «Загадочные тропы кабарги» и «Год и вся жизнь медведя». Она представляет собой научно-популярное издание, посвящённое экологии кабарги и бурого медведя. Основным материалом послужили результаты личных исследований автором этих двух видов животного мира Сибири. В книге много описаний личных встреч и впечатлений, особенно от встреч человека с шатунами-медведями, рассказов охотников. Это делает её интересной для читателей разных возрастов, специальностей и рода занятий.

В книгу Ивана ФЕТИСОВА (1926–2013) «Тепло погасшего костра», выпущенную по решению Издательского совета ОГАУ «Иркутский Дом литераторов», вошли произведения различных жанров из ранее опубликованных книг автора — «Колос жизни и тревоги», «Крест на чёрной грани», «Подпасок», «Детярная помада», печатавшихся в 1997–2012 годах.



В Иркутске тиражом 100 экземпляров вышла в свет книга самодеятельного художника, участника ТОО «Бабр», поэта, прозаика, бывшего начальника Иркутского городского радиотрансляционного узла связи, создателя Иркутского городского радиоканала Юрия ДИЛИСА «Солдатские истории». Ранее у него вышла книга «Рассказы о животных» (2010). В феврале 2014 года на мероприятии в Гуманитарном центре имени семьи Полевых, посвящённом освобождению Сталинграда, Ю. Дилис рассказал о своём старшем брате, фронтовике, геологе, Дмитрии Николаевиче, который был награждён медалями «За Отвагу» и «За оборону Сталинграда». Книга Ю. Дилиса — документально-художественное повествование, основанное на реальных событиях. Глава «Детство, опалённое войной» — о детских годах в оккупации. «Солдатские истории», «Семеро смелых», «В окопах Сталинграда» — рассказы и повести о войне, пережитые страшным братом-фронтовиком и его однополчанами. «Тридцать восьмой и другие» рассказывает об отце, прошедшем сталинские лагеря. Вернулся живым с фронта брат, выжил в ГУЛАГе отец, их рассказы легли в основу этой книги.

Юрию Дилису не удалось поддержать в руках эту книгу — год назад он ушёл из жизни. Его дети, зная, как он мечтал об издании «Солдатских историй», выполнили его просьбу, подарив Гуманитарному центру экземпляр с посвящением.

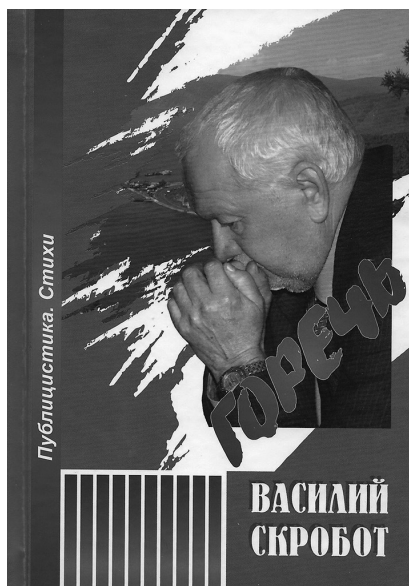


В иркутском издательстве «Востсибкнига» вышла в свет повесть известного сибирского писателя Дмитрия СЕРГЕЕВА (1922–2000) «Завещание каменного века». В дни летних каникул книгу представили библиотекарям областного центра. Стоит отметить, «Завещание каменного века» напечатали по тексту повести Д. Сергеева, опубликованной в Восточно-Сибирском книжном издательстве в 1972 году. С тех пор произведение ни разу не переиздавалось.

В прошлом сотрудник Восточно-Сибирского книжного издательства, а ныне главный редактор «Востсибкниги» Ольга Арбатская, представляя издание 2016 года, сделала некоторые пояснения: «Итак, почему же всё-таки эта повесть «Завещание каменного века» появляется в 70-е годы? Мне кажется, что правильнее было бы сказать, что продиктовано это, прежде всего, временем. «Шестидесятники» получили возможность открыто говорить о проблемах социалистического общества, в частности, об уравниловке, о творческом нивелировании, когда все должны были быть одинаковыми, об отношении к природе, к творчеству, о познании мира,

об освоении космоса. ...Многие писатели этим воспользовались. В том числе и наш удивительный прозаик Дмитрий Гаврилович Сергеев, фронтовик, геолог, который, в общем-то, много писал для детей. Это и «Особняк на Почтамтской», и «За стенами острога» — произведения историко-краеведческие, историко-приключенческие. Повесть «Завещание каменного века» была практически единственным произведением в творчестве Дмитрия Сергеева в жанре фантастики, и тем оно более ценно. В Прибайкалье не так много писателей, работающих в этом направлении... В своё время повесть «Завещание каменного века» была воспринята официальной критикой как антиутопия, как безыдейная по содержанию. Почему же мы обратили внимание на эту книгу? Ведь море книг достойны быть изданными в «Библиотеке «Добрый свет». Мы посчитали, что именно сейчас, когда развитие нашего общества семимильными шагами движется к освоению Космоса и всего околоземного пространства, когда идёт стремительное развитие техники и робототехники, те трепетные вопросы, которые волновали людей в 60-е и 70-е годы, звучат необыкновенно своевременно. Главный герой — геолог Оленев, попав под снежную лавину на Земле, приходит в себя через 30 миллионов лет в больнице на планете Земтер. Автор показывает общество будущего, в котором машины поработили человечество, у всех людей внешность — по единому стандарту, одинаковое жильё, пища из минерального сырья. Детям, которые выросли на «Звёздных войнах», будет удивительно, что полвека назад наши писатели многое предвидели. На планете Земтер используются для связи стереофоны, самокатные буфы, сигрибы, которые, как пишет автор, «много тошнее телевизора... Развлекательная программа то и дело перерывалась обязательными пятиминутками. В это время внушались строгие чувства бдительности, любви к общественному порядку и всеобщему благополучию». По сюжету повести именно машина задумала клонирование человека, и что вы думаете, кого она использовала для эксперимента? Овцу!.. Этот автор необыкновенно прозорливый! Мы с вами должны понять, как глубоко и далеко смотрел он, когда говорил о завещании из прошлого. И мы должны помочь детям найти это завещание, расшифровать его. Иллюстратор книги Александра Мартынова сопроводила издание набором авторских открыток. В этих открытках художница «зашифровала» то завещание, которое нам оставил писатель. Для того чтобы завещание прочитать, надо эти открытки очень внимательно рассмотреть. Любой, прочитавший книгу, подумав, сможет найти в этих открытках письменное завещание...»

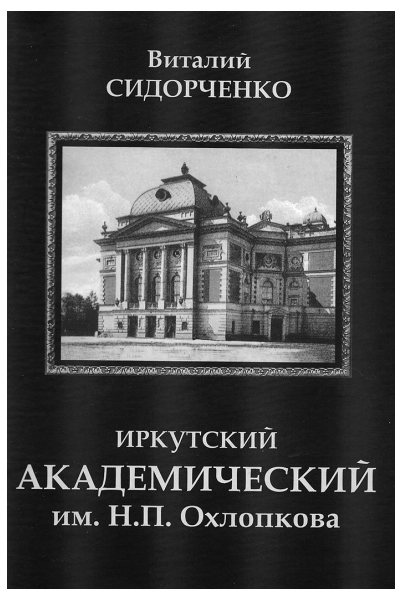
Весь тираж книги в 2000 экземпляров будет направлен в муниципальные библиотеки, социальные учреждения и детские дома.



Василий СКРОБОТ — поэт и публицист, член Союза писателей России, автор пяти поэтических сборников, книги «Моя родня», книги-исповеди «Исцеление», а также избранных произведений «Повиниться хочу». В настоящую книгу, изданную в июне 2016 года, вошли стихотворения разных лет, публицистика, а также статьи-воспоминания об известных сибирских писателях и поэтах — Геннадии Михасенко, Иннокентии Черемных, Юрии Черных и Викторе Сербском. Эти произведения со всей полнотой раскрывают литературное дарование Василия Скробота, а также являются ярким свидетельством эпохи. Свидетельством, явленным человеком с зорким глазом и неравнодушным сердцем.

Вышедшая в издательстве «Оттиск» книга заслуженного артиста России Виталия СИДОРЧЕНКО посвящена истории Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова в советский период: с 1920-го по 1960 год. Это вторая книга автора, на создание которой ушли десять лет. Первая — «Иркутская антреприза», рассказывающая о дореволюционной истории иркутского театра, вышла в 2003 году и уже стала библиографической редкостью.

В своей новой работе автор также использовал большое количество материалов, ранее не публиковавшихся: афиши, фотографии, театральные программки. Они помогут проследить непростой путь становления и развития старейшего сибирского театра в 1920–1960-е годы. Эта книга будет полезна как историкам и краоведам, так и студентам гуманитарных вузов и училищ культуры, а также для всех любителей театра.



*Отдел критики и публицистики
По материалам журналов, издательств, библиотек, книжных магазинов*



ЭЛЬМИРА ТУЛЬКИБАЕВА

СТУДЕНТКА ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Н. Карамзин и Н. Полевой Два взгляда на историю России

Унаследовав от отца сильный характер, а от матери — религиозность и мягкосердечие, Н. Полевой с самого раннего детства стал проявлять оригинальные черты своей личности: выказывал сильную любознательность и наклонность к авторству. По собственным его словам, он прочитал тысячу томов всякой всячины и помнил всё прочитанное. Уже с десяти лет он издавал рукописные газеты и журналы, писал драмы и стихи, истории, посвящая этим занятиям всё свободное время, остававшееся ему от управления отцовскими делами.

На протяжении всей жизни история была одним из главных увлечений Н. Полевого. Уже в детстве он успел ознакомиться с «Разговором о всеобщей истории» Боссюэта, путешествиями Ансона и Кука, «Деяниями Петра Великого» Голикова, некоторыми произведениями Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, Коцебу и другими.

В зрелом возрасте, во времена литературной деятельности, накопленные знания позволили ему стать издателем журнала «Московский Телеграф», который просуществовал с 1825 по 1834 год. Эти годы наиболее полно проявили разнообразие талантов Николая Алексеевича, на этом поприще заявившего о себе не только как литератор и журналист, но и как историк. На страницах «Телеграфа», наряду с критическими статьями и беллетристическими произведениями, публиковались исторические статьи и выдержки из сочинений Варанта, Кине, Геерена, Мишле и др.

Интересуясь иностранным, Н. Полевой, согласно своей задаче, не забывал и отечественного. Почти все члены образовавшегося вокруг него кружка, поддерживавшего его смелое предприятие, были сотрудниками его журнала. А было таковых немало: князя П.А. Вяземский и В.Ф. Одоевский, В.К. Кюхельбекер, И.И. Козлов, Кс.А. Полевой, М.А. Максимович, В.А. Ушаков; несколько позже — И.А. Крылов, А.Ф. Вельтман, А.А. Марлинский, В.И. Даль, И.П. Сахаров, отец Иакинф (Бичурин) и другие, они вносили посильную лепту в «Московский Телеграф». Помимо того, князь Вяземский, бывший после Н. Полевого «главным одушевителем редакции», постарался привлечь новых сотрудников — своих приятелей из так называемого Пушкинского кружка, державшегося довольно замкнуто.

По мере продолжения изучения различных исторических трудов, Н. Полевой знакомится с трудами Тьерри, Гизо и Нибура, выдвигавших на первый план историю учреждений и на второй план отодвигавших военную, придворную и дипломатическую историю. Это вызвало в нём стремление приложить новый философский взгляд к объяснению явлений древнего и нового периода русской жизни и обусловило выход в свет в 1829 году «Истории Русского Народа».

«В то время, когда образованность и просвещение соединяют все народы союзом дружбы, основанной на высшем созерцании жребия человечества, когда высокие помышления, плоды философских наблюдений и великие истины Прошедшего и Настоящего составляют общее наследие различных народов и быстро разделяются между обитателями отдаленных одна от другой стран... тогда — что б вы думали? я осмеливаюсь поднести вам мою Историю русского народа» (Из Предисловия автора). «История русского народа» Н. Полевого, написанная в противовес «Истории государства Россий-

ского» Н. Карамзина, — крупное явление в развитии исторической науки в России. *«Я не поколебался писать историю России после Карамзина, — отметил Н. Полевой, — ... утвердительно скажу, что я верно изобразил историю России; я знал подробности событий, я чувствовал их, как русский; я был беспристрастен, как гражданин мира».*

Н. Полевой старался обнаружить и показать органическое развитие народного начала в исторической жизни, обратился к истории народного быта, к фольклору. Первые тома «Истории» Н. Полевого содержали новое для своего времени изображение общественного строя Киевской Руси. Отрицая, в отличие от Н. Карамзина, существование единого государства на Руси до конца XV века, Н. Полевой поставил задачу исторического изучения развития единовластия.

Первоначально Н. Полевой планировал написать двенадцать томов (как и Н. Карамзин) и объявил подписку именно на такое количество томов, однако из-за личных сложностей смог написать и издать лишь шесть, что вызвало обвинения его в финансовой недобропорядочности. Последние тома «Истории Русского Народа» не столь интересны, как первые два; в них сказывается спешка пишущего, который «сбивается» на традиционную «государственническую» схему изложения, пересказывает источники и т. п. Свою версию «Истории» Н. Полевой довёл до взятия Казани Иваном Грозным.

Были и ошибки в труде Н. Полевого: история общества, по-старому, характеризовалась историей власти; по мере приближения к образованию государства Российского чувствуется все возрастающее сходство со схемой Н. Карамзина, встречается недостаток специальных знаний и ошибочность взглядов, но не надо забывать, что для изображения истории народа не было настоящих средств и долгое время спустя после Н. Полевого, а идея была им угадана верно, и попытка подойти к органическому взгляду на жизнь народа до некоторой степени сближает его с позднейшей историко-юридической школой.

«История Русского Народа» вызвала очень неоднозначную оценку в обществе. Своим оспариванием труда Н. Карамзина она наделала много шума в печати и подвергла автора даже оскорбительным нападкам со стороны поклонников официального историографа.

Н. Полевой положил начало неприязненным к себе отношениям очень многих лиц. Были им недовольны журналисты, литераторы, вознегодовал весь Пушкинский кружок за критику на труд Н. Карамзина, и князь Вяземский отказался от участия в «Телеграфе»; были неприятно поражены записные ученые выходом в свет «Истории Русского Народа»; наконец, враждебно настроилось и Министерство народного просвещения с графом Уваровым во главе.

Александр Пушкин отозвался на труды Н. Полевого двумя критическими статьями. В первой статье А. Пушкин обвиняет Н. Полевого в чрезмерной самоуверенности и нескромности. Николай Алексеевич посвятил свои труды историку Нибуру, чьими трудами он восхищался, чем вызвал особенное недовольство Александра Сергеевича:

«Мы не охотники разбирать заглавия и предисловия книг, о коих обязываемся отдавать отчет публике; но перед нами первый том «Истории русского народа», соч. г. Полевым, и поневоле должны мы остановиться на первой строке посвящения: Г-ну Нибуру, первому историку нашего века. Спрашивается: кем и каким образом г. Полевой уполномочен назначать места писателям, заслужившим всемирную известность? Должен ли г. Нибур быть благодарен г. Полевому за милостивое производство в первые историки нашего века, не в пример другим? Нет ли тут со стороны г. Полевого излишней самонадеянности? Зачем с первой страницы вооружать уже на себя читателя всегда недоверчивого к выходкам авторского самолюбия и предубежденного против нескромности?..

Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, что он поступил по крайней мере не искусно, напав на «Историю государства Российского» в то самое время, как начиная печатать «Историю русского народа». Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника...

Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегами хронике. Критика его состоит в уче-

ном сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его неудовлетворителен, там недоставало ему источников: он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, своею инокескою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял, как краски, но не полагал в них никакой существенной важности. Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели. Историк, добросовестно рассказав происшествие, выводит одно заключение, вы другое, г-н Полевой никакого: вольному воля, как говорили наши предки...»

Во второй статье А. Пушкин обвиняет Н. Полевого в том, что желание противоречить Н. Карамзину поминутно увлекает его в мелочные придирки, в пустые замечания, по большей части несправедливые. Он то соглашается с Татищевым, то ссылается на Розенкампа, то утвердительно и без доказательства повторяет некоторые скептические намеки г-на Каченовского.

Многие критики отмечали, что также литературный язык и стиль Н. Полевого не может сравниться с Н. Карамзиным — он лишен обаяния, привлекательности или чувства юмора.

В конце 1833 года был отпечатан VI и последний том «Истории»; в начале 1834 года вышел последний номер «Телеграфа» — и блестящая пора обширной и разнообразной деятельности Полевого завершилась. Ещё несколько лет попыток возобновления своей литературной деятельности не принесли результатов.

В поисках лучшей жизни Н. Полевой переехал в Санкт-Петербург, однако там столкнулся с ещё большими проблемами. Неудачи на литературном поприще и в качестве театрального критика, закрытие нескольких его журналов, долговые обязательства приводят к тяжёлой болезни журналиста, и 22 февраля 1846 года его не стало.

Ещё при жизни Н. Полевого, несмотря на критику его «Истории», общество не могло не признать её большую значимость. Выдающиеся учёные позднейшей эпохи разошлись со своими предшественниками в оценке труда Н. Полевого; в последнем видели уже не «сумбур», посвященный Нибуру, а значительный шаг вперёд против Н. Карамзина, возражения которому были сделаны весьма остроумно.

По влиянию, которое Н. Полевой имел на русскую поэзию и литературу, В. Белинский ставит его на один уровень с Ломоносовым и Карамзиным и сразу после его смерти почтил память прекрасной статьей, в которой, под свежим впечатлением понесенной утраты, отметил важные заслуги покойного как выдающегося литературного деятеля.

Восторженно высказывался об «Истории» Бестужев-Рюмин:

«Вместо национального самовозвеличения, вместо искания практической пользы в уроках добродетели, Полевой, стремясь философски истолковывать факты, ставил задачами исследователя: «введение национальной истории в ряд других национальных историй» и «представление моментов отдельной национальной истории во взаимной связи...»

Наиболее удовлетворительно разрешена вторая задача. Полагая, что до конца XV века в России существовало несколько государств, а не одно, Н. Полевой изменяет взгляд на весь древнейший период русской истории и основной идеей, требуемой философской теорией, считает развитие единовласти. Все личное, случайное устраняется Н. Полевым.

«Вместо ряда ошибок, поведших к ряду бедствий и исправленных восстановлением на Руси исконного самодержавия, — пишет Милюков, — мы начинаем видеть в нашей истории ряд периодов, необходимых следующих один за другим и неизбежно вытекающих из данного состояния общества и из всемирно-исторических событий...»

Кроме того, Н. Полевой высказал своеобразный взгляд на удельный период, который он не считал временем упадка, указал, как из уделов, составлявших «нечто целое», развилась постепенно «самобытная жизнь отдельных частей» вследствие уничтожения достоинства великого князя. Сосредоточивая затем внимание на междукняжеских отношениях, он проницательно отмечает накопление поводов для усобиц между внуками Ярослава (обде-

ление трёх княжеских родов), предвосхищает соловьёвское наблюдение о Тмутаракани — прибежище обделенных князей, доказывает, что с ограничением старшинства Мономаховым родом только «сила и удача решали участь великого княжения», что татарское иго было неизбежно, с одной стороны, и благотельно для объединения Руси, с другой, что отношения великих князей к татарам изменились и началось эксплуатирование Орды в пользу Москвы. В начале же II тома он даёт художественную и чрезвычайно верную картину внутреннего быта русского общества, в которой он проявил «мастерскую группировку, умение выбирать факты и ещё более замечательное умение пользоваться аналогией».

Важность такого исторического труда не должна умаляться. Н. Полевой в создании своей «Истории» был движим благородными помыслами, хотел показать историческую важность русского народа, исправить, по его мнению, некоторые упущения Н. Карамзина. Несмотря на большую критику, его труды были признаны многими ведущими литераторами.

Нужно обладать большой уверенностью и смелостью, чтобы бросить вызов такому историку и литератору, как Н. Карамзину, и всё-таки на этом поприще Н. Полевой показал себя достойно. Целью его трудов было показать роль обычного русского народа, а не власти в формировании российской истории; сформировать настоящий, истинный патриотизм, а не «квасной», коим он называл патриотизм, воспетый в трудах Н. Карамзина, и цель эта, полагаем, была полностью достигнута.



Журнал «Сибирь» на X ежегодном Германо-Российском фестивале



Германо-Российский Deutsch-Russische
Фестиваль Festtage

С 9 по 12 июня 2016 года в парке «Карлсхорст» Берлина прошёл X ежегодный юбилейный Германо-Российский фестиваль «Встреча двух народов», объединивший политиков, бизнесменов, музыкантов, спортсменов и писателей из Германии и России. Девиз нынешнего фестиваля — «Мы вместе!».

К участникам фестиваля в ратуше района Лихтенберг Берлина со словами приветствия обратились известные политики и государственные деятели, в частности, российский посол в Германии Владимир Гринин, бургомистр Лихтенберга Биргит Монтейро, советник президента России Михаил Швыдкой, сенаторы Франк Хенкель и Марио Кзэй (Czaja), директор фестиваля Штеффен Шварц. Обращение министра культуры и архивов Иркутской области читал участник фестиваля прозаик, главный редактор журнала «Сибирь» Александр Донских:

Уважаемые дамы и господа!

От всей души приветствую организаторов, участников и гостей X юбилейного Германо-Российского фестиваля.

Германо-Российский фестиваль — это важный этап в развитии культурного диалога между нашими странами. Выражаю уверенность, что участие деятелей литературы Иркутской области в этом знаковом событии не только познакомит читающую аудиторию Германии с яркими произведениями сибирской литературы, но и позволит установить надежные партнерские контакты в сфере культуры и искусства.

Надеюсь, что и в дальнейшем Фестиваль будет способствовать подъему культурного потенциала России и Германии, стремлению народов к взаимному пониманию и сотрудничеству.

Искренне желаю всем участникам Фестиваля в Берлине новых открытий и прекрасного настроения, интересных встреч и дружеского тепла!

Министр культуры и архивов Иркутской области О.К. Стасюлевич

Александр Донских представил организаторам фестиваля и своё приветствие — «Германия — Россия: пусть говорят поэты», в котором особое внимание уделил культурным связям немцев и русских, в частности, ярко проявившимся в дружеской переписке между великими поэтами обеих наций — Райнером Марией Рильке, Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой.

От писателей из России в мероприятиях фестиваля приняли участие главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, писатель-фантаст, автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко, детская писательница Анна Гончарова.

В «Литературном шатре» Александр Донских представил немецкой публике журнал «Сибирь»: рассказал о его истории, авторах, темах, которые отражаются на его страницах. Особое внимание уделил творчеству молодых, начинающих литераторов — поэтам Валерии Домрачевой, Елизавете Оводневой, Веронике Лузгиной, прозаикам Вячеславу Архипову и Андрею Антипину. Также было представлено творчество поэтов Валентины Сидоренко и Владимира Скифа, книги для детей Юрия Баранова.

Программа фестиваля была обширной и привлекла в парк «Карлсхорст» более 130 тысяч посетителей.

Редакция журнала «Сибирь»

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

Германия — Россия: пусть говорят поэты

По сердцу, мне хочется сказать вам просто: «Братья и сестры, здравствуйте!» Но в современном мире принято *по уму* иметь дело с другим человеком, и я говорю: «Дамы и господа». Однако в сердце моём вы братья и сестры мои, потому что по-другому русский человек жить не может и не хочет. И уж коли я заговорил о русских, то вкраплю маленькое пояснение: русский, давно сказано и благодатно пошло по свету, — это не национальность, а это состояние души. Как недавно пояснил глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров: «Я — русский. Чеченской национальности», так и многие из вас, собравшихся на наш ежегодный, уже 10-й, Форум германо-российской дружбы, думается, могут сказать: «Я — русский», а про себя или деликатно-тихонечко прискажет: такой-то национальности.

О взаимоотношениях между государствами и народами весь XX и нынешний век отчего-то много и громко, порой *оченно* громко, как рычание царя зверей, говорят-вещают политики, особенно всевозможного рода-звания депутаты, а с ними в компашке — разношёрстные ватаги газетчиков. Может быть, им кажется, что они лучше знают нашу с вами жизнь с её семейными, глубоко личными маленькими и большими горестями-радостями? Порой такими расшвыриваются словечками, что у нас, простых граждан, как говорится, волосы шевелятся. И думаем мы думку: «Ну чего они к нам прицепились? Вот банные листы!..» Но «банные листы» — сие выпадает на нашу скромную долю, конечно же, в лучшем случае.

Однако, где же правда, как у нас говорят, правда-матка? Как её распознать, не пройти мимо неё, не впасть в искушение? Русские пословицы учат: мир правдой держится; ржа ест железо, а ложь — душу. Или так: шила в мешке не утаишь. И уже на высшем накале: за правду-матку и умереть сладко. Несомненно, что любой народ чтит правду. И правда, уверен, всегда таится в сердце человека, даже самого плохонького из нас. А кто, скажите, издревле главные на земле сердцеведы и правдолюбцы? Конечно же, поэты! Так давайте хотя бы изредка прислушиваться к нашим пиитам, этим ведунам и певцам тайной и явной жизни душ человеческих, а не только к политикам и газетчикам. У настоящего поэта есть одна выгода — распахнуть перед нами своё сердце. А что надо политику и газетчику? Да сам чёрт их не разберёт! Впрочем, как написано в Библии: «Каждому — своё». Или: «Не суди, да не судим будешь».

Мне недавно попала на глаза потрясающая и, к сожалению, мало известная переписка трёх выдающихся поэтов XX века — Райнера Марии Рильке с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Они недолго, к тому же так и не встретившись друг с другом вживе, слали друг другу письма — несколько месяцев 1926 года, до безвременной, отчаянно несправедливой кончины пятидесятиоднолетнего Рильке.

Известно, что Рильке знал и любил Россию, даже освоил русский язык, и даже, кажется, что-то писал на нём поэтическое. Впервые поэт прибыл в Россию в апреле 1899 года, и уже через несколько дней воскликнул: «Вот она, страна незавершённого Бога!» Те дни в Москве царила Страстная неделя широкой русской Пасхи. Протяжные звоны благовестников, призывающие к молитве, переключки перезвонов малых колоколов о скорби или радости, завораживающие своей красотой, но и суровостью молебны, толпы паломников разных сословий и званий, иконы, иконы, и одна чудеснее и древнее другой, а ещё — свечи, ладан, рясы, крестные знамена, точёные ангельские голоса с клироса — всё захватывающе и чарующе ново, красочно, самородно. А храмов, церквей и церквушек — не счесть! И как они прекрасны, ни на что не похожие, но в то же время — скромны и безмятежны! Поэт ненасытно глотал воздух какой-то необыкновенной, стародавней, кондовой жизни,

не уступающей дороги надвигающемуся железному веку. Двадцатитрёхлетний, но сердцем ещё мальчик, Райнер был потрясён, он был счастлив, он блаженствовал. «Впервые в жизни мной овладело невыразимое чувство, похожее на «чувство родины...» — признавался он позже. Но поэт, конечно же, не мог не заметить половодье нищих, неустроенность быта русской жизни, какое-то старчески-младенческое невежество народа, боготворящего своего царя-батюшку, и невежественность закоснелого чиновничества. Однако все эти и многие другие несовершенства и несообразности он, чистая, отроческая, поэтичная душа, воспринимал как неоспоримые, непреложные свидетельства духовно-нравственной «избранности» русских людей. И Россию ощутил, невольно сравнивая её с «перезрелой» западной культурой, молодой, здоровой, но скромной красавицей.

Борис Пастернак и Марина Цветаева с малолетства, как в тёплое озеро, окунались с головой в немецкую культуру. Марина благоговейно почитала немецкий язык, немецкую романтическую поэзию и музыку. Из её дневников молодости вырываются, как искры, максимы: «Германия — моё безумье! Германия — моя любовь... Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! — записала она в 1919 году. — Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлёбываюсь... Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, одновременно... Гейне ревнует меня к Платену, Платен к Гёльдерлину, Гёльдерлин к Гёте, только Гёте ни к кому не ревнует: Бог!»; «...Был бы убит Блок — оплакивала бы Блока (лучшую Россию), был бы убит Рильке — оплакивала бы Рильке (лучшую Германию), и никакая победа, наша ли, их ли, не утешила бы». И много позже, рассудочно и строго, сказалось: «Из равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака».

Уезжая в начале Великой Отечественной войны из прифронтовой Москвы, навстречу, как потом оказалось, своей трагической гибели, она выделила из своего архива лишь пакет с письмами Рильке, его фотографиями и книгами с его щедрыми дарственными росчерками. В тот же пакет были вложены одиннадцать писем Бориса Пастернака. Передала их в надёжные руки и уехала в эвакуацию в Елабугу, к своим последним дням на земле. Она, были приметы, уже знала, что жизнь её закончилась, но письма Рильке и Пастернака, был очевидный посыл всем нам, должны жить с людьми вечно.

В начале 1926 года Рильке писал художнику Леониду Пастернаку, отцу Бориса Пастернака, кажется, в Берлин: «...Я хочу Вас сразу же заверить, что Вы и Ваши близкие, всё, что касается старой России (незабываемая таинственная сказка), всё то, о чем Вы мне напомнили Вашим письмом, — всё это осталось для меня родным, дорогим, святым и навечно легло в основание моей жизни! Да, всем нам пришлось пережить немало перемен и прежде всего — Вашей стране. Но если нам и не суждено дожить до ее возрождения, то потому лишь, что глубинная, исконная, вечно претерпевающая Россия вернулась ныне к своим потаённым корням, как это было уже с ней однажды под игом татарщины; кто усомнится в том, что она живёт и, объятая темнотой, незримо и медленно, в святой своей неторопливости, собирается с силами для какого-нибудь еще, быть может, далёкого будущего? Ваше изгнание, изгнание многих бесконечно преданных ей людей питается этим подготовлением, которое протекает в известной мере подспудно; и подобно тому как исконная Россия ушла под землю, скрылась в земле, так и все Вы покинули ее лишь для того, чтобы хранить ей верность сейчас, когда она затаилась...»

В этом же письме он похвалил Бориса Пастернака.

«Великий обожаемый поэт! — словно задыхаясь, выкликивал из Москвы в письме к Рильке остававшийся юным к своим тридцати шести годам Борис Пастернак. — Я не знаю, где окончилось бы это письмо и чем бы оно отличалось от жизни, позволь я заговорить в полный голос чувствам любви, удивления и признательности, которые испытываю вот уже двадцать лет. Я обязан Вам основными чертами моего характера, всем складом духовной жизни. Они созданы Вами. Я говорю с Вами, как говорят о давно прошедшем, которое впоследствии считают истоком происходящего, словно оно взяло оттуда свое начало. Я вне себя от радости, что стал Вам известен как поэт, — мне так же трудно представить себе это, как если бы речь шла о Пушкине или Эсхиле...» И тут же — фейерверком чувств как в небеса: «Я люблю Вас так, как поэзия может и должна быть любима, как

живая культура славит свои вершины, радуется им и существует ими. Я люблю Вас и могу гордиться тем, что Вас не унижит ни моя любовь, ни любовь моего самого большого и, вероятно, единственного друга Марины, о которой я уже упоминал...» И ещё где-то сияют, только что не прожигают бумагу, вот такие строки: «Чувство невообразимости такого сцепления судеб, своей щемящей невозможностью пронизывающего меня, когда я пишу эти строки, не поддается выражению...»

Кажется, в эти же дни Райнер и Марина обменялись первыми письмами. Он выслал ей из швейцарского Валь-Мона во французский Сен Жиль-сюр-Ви свою книгу — «Дуинезские элегии», с надписью:

Марине Ивановне Цветаевой

Касаемся друг друга. Чем? Крылами.

Издалека свое ведём родство.

Поэт один. И тот, кто нёс его,

Встречается с несущим временами.

В ответ потрясённая, воскрылённая Марина пишет, как будто летит... О! послушайте, други, музыку слов и культуру:

«Райнер Мария Рильке!

Смею ли я так назвать Вас? Ведь Вы — воплощенная поэзия, должны знать, что уже само Ваше имя — стихотворение. Райнер Мария — это звучит по-церковному — по-детски — по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью, — оно — из прошлого или будущего — *издалека*. Ваше имя хотело, чтоб Вы его выбрали. (Мы сами выбираем наши имена, случившееся — всегда лишь следствие.)

Ваше крещение было прологом к Вам всему, и священник, крестивший Вас, поистину не ведал, что творил.

Вы не самый мой любимый поэт («самый любимый» — степень), Вы — явление природы, которое не может быть моим и которое не любишь, а ощущаешь всем существом, или (еще не всё!) Вы — воплощённая пятая стихия: сама поэзия, или (еще не всё) Вы — то, из чего рождается поэзия и что больше ее самой — Вас.

Речь идет не о человеке-Рильке (человек — то, на что мы осуждены!), — а о духе-Рильке, который еще больше поэта и который, собственно, и называется для меня Рильке — Рильке из послезавтра.

Вы должны взглянуть на себя моими глазами: охватить себя их охватом, когда я смотрю на Вас, охватить себя — во всю даль и ширь.

Что после Вас остаётся делать поэту? Можно преодолеть мастера (например, Гёте), но преодолеть Вас — означает (означало бы) преодолеть поэзию. Поэт — тот, кто преодолевает (должен преодолеть) жизнь.

Вы — неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придет после Вас, должен быть Вами, т. е. Вы должны еще раз родиться...»

И ещё в этом или в каком-то другом письме — как россыпь драгоценностей, всемилостиво брошенных царицей поэзии всем нам: «...Вы всегда будете воспринимать меня как русскую, я же Вас — как чисто-человеческое (божественное) явление. В этом сложность нашей слишком своеобразной нации: все что в нас — наше Я, европейцы считают «русским»...» И в каких-то учёных текстах какого-то доктора наук мне отыскалось сокровенное и потаённое: «...Когда я говорю тебе, Райнер, что я — твоя Россия, я говорю тебе лишь (еще раз), что люблю тебя. Любовь живет исключениями, обособлениями, отстранениями. Она живет в словах и умирает в поступках. Стремиться быть твоей Россией в действительности — для этого я слишком умна!..»

Под Новый год, под этот праздник жизни Рильке умирает. И о Борисе и Марине сказать, что они потеряли дорого человека — ни-че-го (!) не сказать. Они потеряли Солнце, они потеряли Вселенную всю. Как жить, как жить в обрушившейся на них тьме жизни и судьбы?! «Борис, — неразборчиво, как слепая, пишет Марина Пастернаку, — он умер 30-го декабря, не 31-го. Еще один жизненный промах. Последняя мелкая мстительность жизни — поэту...»

Они, как обезумевшие, оба пишут письма-поэмы Рильке... на тот свет. А Марина 31 декабря того же 1926 года написала ему по-немецки, а потом, кажется, ещё и по-французски, и по-русски: «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало! Ты самому себе — самый новый год. (Любимый, я знаю, Ты меня читаешь раньше, чем я пишу) — Райнер, вот я плачу, Ты льёшься у меня из глаз!

Милый, раз ты умер, — значит, нет никакой смерти (или никакой жизни!). Что еще? Маленький городок в Савойе — когда? где? Райнер, а как же гнездо для сна? Ты, ведь, теперь знаешь по-русски и знаешь, что Nest — *гнездо* и многое другое.

Не хочу перечитывать твоих писем, а то я захочу к тебе — захочу туда, — а я не смею хотеть, — ты ведь знаешь, что связано с этим «хотеть»...

Спустя годы, мало-мало оправившись, Марина стала обдумывать несколько замыслов, которые были связаны с жизнеописанием возлюбленного поэта. Одной из задумок она поделилась в 1932 году с Н. Вундерли-Фолькарт: «Прежде всего мне хотелось бы выбрать из писем Рильке всё, что относится к России, и — перевести. R.M. Rilke et la Russie или La Russie de R.M. Rilke — это звучит глубже, поистине глубоко. (Его Россия, словно *его* смерть: всё и только то, что не принадлежит никому, принадлежит *ему*. *Его* жена — нет, *его* ребенок — нет, *его* Россия — да). Имею ли я право сделать такую подборку (и — французский перевод)? La Russie fut le grand evenement de son etre — et de son devenir (Россия была огромным событием его бытия и — его становления) так начиналось бы мое предисловие. *Мой* французский был бы в точности как *его* немецкий.

Это не должно превратиться в книгу, то есть для книги еще не пришла пора, ведь в последующих томах о России будет еще не раз говориться (еще не раз — повеет Россией). Пока что это могло бы появиться в каком-нибудь хорошем журнале. И в конце концов стать книгой, той книгой Рильке — Россия, которую ведь он хотел написать. И в конце концов написал. Ее нужно всего-навсего составить — и — вот она!

Не: Рильке о России, не Рильке и Россия — *Россия* в Рильке, такой она видится мне.

Россия Рильке, переведённая русским поэтом на его второй поэтический язык, — французский. Я думаю, он был бы (будет) рад».

Но задумка Марины о книге «Россия в Рильке» на французском языке не была воплощена, потому что Марина тоже рано и отчаянно несправедливо ушла из жизни: наверное, неспроста она когда-то написала умершему Рильке — «я захочу к тебе — захочу туда». А может быть, душа поэта не вынесла, что *её* Германию и что *её* Россию снова столкнули лоб в лоб в мировой войне? Мы можем только гадать.

Так что же книга, задуманная Мариной? Смею сообщить вам, что эта ненаписанная книга всё же существует! Существует с той поры, когда Рильке, Марина и Борис обменялись первыми строками. Сама жизнь написала эту книгу — книгу культур, книгу жизней, книгу судеб. Думается, есть книги, которым не надо ни бумажной, ни иного другого рода оболочек, потому что они уже живут и в национальных культурах, и в культурах народов мира; и задуманная Мариной книга — именно такая книга. И если бы даже до нас не дошли письма Рильке, Цветаевой и Пастернака друг к другу, мы всё равно увидели бы, распознали бы в их произведениях их взаимную и страстную любовь друг к другу, мы распознали бы — и распознали! — их взаимный и страстный призыв ко всем нам.

Смотрите, в этих трёх поэтах как-то предельно гармонично, природно, судьбоносно переплелись три, по крайней мере отчётливо видимые, культуры — немецкая, русская, французская. И, скажите, где в этом сплетении, в этой изысканной вязи начинается одна, а заканчивается другая? Не прищуривайтесь, не напрягайтесь — не заметите! Потому что в людях высокой духовной жизни все культуры мира, то есть всё добро мира, — в единстве. Культуры притягиваются в лучших людях человечества друг к другу, единятся, при этом не утрачивая ни на грош изначального своеобразия, магнетизма, масштабности. И пример этих трёх глубоко и ярко *национальных* поэтов — пример для нас к тому, как можно было бы и как нужно образовывать, обустривать и длить для других поколений свою жизнь. Как лично свою жизнь, так и общественную, государственную, а то и межгосударственную.

Мы интересны друг для друга прежде всего потому, что мы разные. Но в современном мире буйствуют стихии, стремящиеся перемешать всё и вся, чтобы, возможно, Восток стал походить на Запад, а Запад — на Восток. Это путь к однообразию, бесцветности, безликости нашей жизни. Не дай, Святой, нарушиться природному, богодарованному строю мира людей, соединиться Востоку и Западу друг с другом! Не будет на нашей прекрасной Земле ни рассветов, ни закатов, а — либо тьма крошечная, либо жар адов.

Незадолго до ухода Рильке посвятил Марине Цветаевой стихотворение:

*О утраты вселенной, Марина, звездная россыпь!
Мы не умножим ее, куда мы не кинься, к любому
в руки созвездью. А в общем-то, все сочтено.
Падая, тоже святого числа не уменьшишь.
И исцеление нам есть в безнадежном прыжке...*

Может быть, стоит нам хотя бы изредка, хотя бы мельком оборачиваться мыслью к Вечности, поднимать голову к звёздам, когда хотим исторгнуть из себя худое слово? А словом, как известно, можно и убить.

Разумные, причастные к высотам своих национальных культур люди должны искать другие слова — слова поддержки и дружества. Может быть, тихим гимном наших встреч на много претерпевшей, но терпеливой, трудолюбивой, доброжелательной немецкой земле-объединительнице могут стать слова Булата Шалвовича Окуджавы?

*Как возжеленно жаждет век
Нацунать брешь у нас в цепочке,
Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.*